Николай Месяцев
Горизонты и лабиринты моей жизни

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — яркое свидетельство нашей недавней истории. Ее автор, Николай Николаевич Месяцев, познал в жизни все: взлеты и падения, признание и опалу… Начинал он в 1941-м следователем в Управлении особых отделов НКВД СССР, затем, в 1943 году, служил в Главном управлении контрразведки СМЕРШ. После войны его карьера складывалась блестяще: в 1955–1959 годах его избирают секретарем ЦК ВЛКСМ, он отвечает за подготовку советской программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957 г.), в 1962 году он советник-посланник Посольства СССР в КНР… С 1964 по 1970 год Месяцев возглавляет Государственный комитет СССР по радиовещанию и телевидению. Потом — отстранение от должности и исключение из членов КПСС. Но навсегда он останется верен идеалам партии…

- Николай Месяцев
  - Пролог
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV
  - Глава XV
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

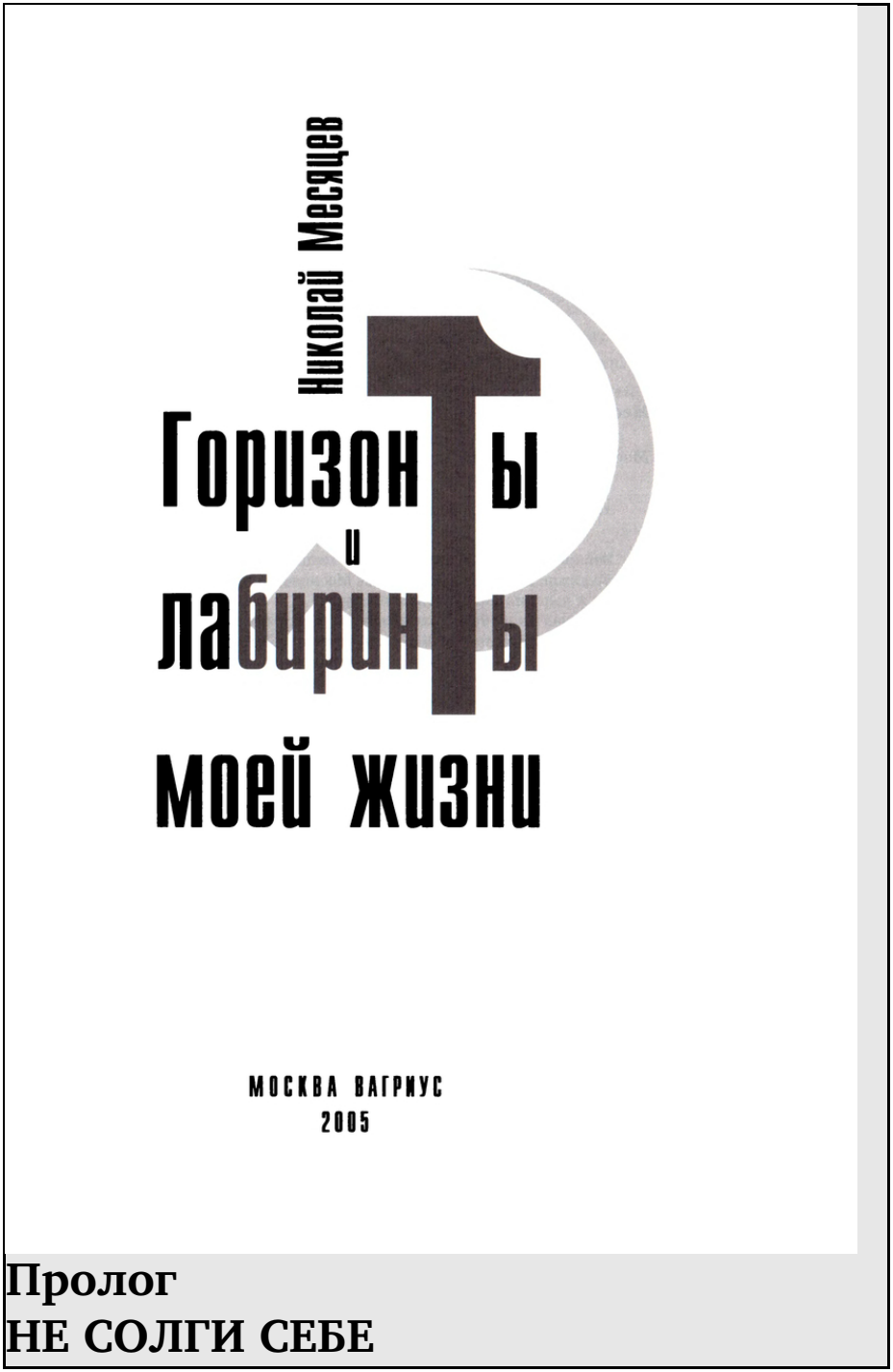
○ 9

Николай Месяцев
ГОРИЗОНТЫ И ЛАБИРИНТЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

Моей незабвенной маме
Анне Ивановне Месяцевой
посвящаю

Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Сергей Есенин



Пролог
НЕ СОЛГИ СЕБЕ

2 августа 1972 года. В Москве около полудня. Я выхожу из здания Центрального комитета КПСС на Старой площади. За

мной неторопливо закрывается высокая тяжелая дверь третьего подъезда «Большого дома» (как его называли в ту пору в Москве), с которым у меня связано многое.

…В первый раз я пришел туда четырнадцати летним мальчишкой — нас, семерых лучших председателей пионерских баз (дружин), собрали со всей страны, чтобы затем отправить в боевые части краснознаменной Балтики. Радости моей не было границ ни в школе, ни дома, ни даже во всем Останкине, где в ту пору я жил…

Тогда в Центральном комитете ВЛКСМ, Цекомоле, — он размещался там же, на Старой площади, — секретарь ЦК комсомола Павел Горшенин поблагодарил нас за активную работу в пионерии и, пожелав доброго пути, напутствовал: «Наденьте на флоте тельняшку и не снимайте. Она поможет вам смело идти по жизни во славу нашей Родины».

Пройдет немного времени, и я узнаю, что этого молодежного вожака расстреляли как «врага народа». В мыслях я пожалею его, человека с добрым, открытым лицом, желавшего счастья Отчизне. А спустя почти двадцать лет Ольга Пикина, проходившая по следственному делу комсомольского генсека Александра Косарева (так же, как и Павла Горшенина), расскажет нам, секретарям ЦК ВЛКСМ 50-х годов, как делали «врагов народа» в комсомоле и как следователи не смогли заставить арестованных секретарей Цекомола давать ложные показания друг на друга…

…А через три года, в канун окончания средней школы, я в числе небольшой группы выпускников был приглашен в «Большой дом», чтобы сообща написать приветственное письмо И.В. Сталину от имени учащихся 10-х классов г. Москвы. Пришел я на Старую площадь загодя. Толкаясь среди прохожих перед зданием ЦК, не заметил милиционера, который, вдруг цепко взяв меня за руку, проговорил в самое ухо: «Чего ошиваешься? Часики пришел срезать?!» Я опешил от неожиданности и упавшим от горькой обиды голосом ответил: «Я пришел сюда не часики срезать, а писать приветственное письмо товарищу Сталину». И направился к подъезду ЦК, шаркая по тротуару растоптанными, надетыми на босу ногу сандалиями, хлопая на ветру хлопчатобумажными штанами.

На следующий год меня, студента Московского юридического института, горком комсомола рекомендовал на работу вожатым в пионерские лагеря Управления делами ЦК КПСС и Исполкома Коминтерна (в те годы редко кто из студентов не подрабатывал на житье-бытье в каникулярное, и не только, время). Так в третий раз я пришел в «Большой дом», где со мной беседовали серьезные

дяди и тети по поводу предстоящей работы.

Мне нравились эти здания в самом центре Москвы, называемые «Большим домом», где все было просто, но как-то строго-торжественно, и люди, работающие там, были простыми и приветливыми. Так казалось мне, только что вступившему в самостоятельную жизнь и имевшему схематичные о ней представления. В те годы, годы моей далекой юности, несмотря на начавшиеся вокруг аресты, о чем ходили слухи по Москве и, быть может, даже вопреки им, над нами еще ярко полыхали зарницы Великого Октября, окрашивая нашу жизнь революционной романтикой, питая бесконечной верой в справедливость социалистического строя, укрепляя дух надежды на светлые дали жизненного пути.

Наверное, именно тогда и поселилась в моем сознании и в моем сердце, как и у всего моего поколения, неистребимая вера в коммунизм, в силу и мудрость своего народа и его большевистской партии, избравших этот путь. Конечно, на первых порах это была вера, воспринятая от отцов, но с годами она превратилась в твердые, вполне осознанные убеждения.

По окончании Великой Отечественной войны, многому научившей и просветившей, уже в зрелые годы мне часто приходилось бывать на Старой площади, в ЦК. Ходил туда за товарищеским советом по тому или иному трудному для меня делу, реже — чтобы выслушать одобрение или получить взбучку.

Все бывало… И при всех самых тяжелых перипетиях личной жизни для меня «Большой дом» был родным домом. Какие бы изломы исторического свойства ни совершались в стране, в мире, я надеялся на то, что в этом доме — умные люди, настоящие бойцы, готовые отдать свою жизнь во имя счастья народного.

Однако это оказалось жесточайшим, трагическим заблуждением. Пройдут годы, десятилетия, и в «Большом доме» у руля власти появятся маленькие люди, которые, не обладая широтой государственного мышления, из личной амбициозности и корысти, а то и по «забугорным» приказам пойдут, вполне сознательно, на развал Великой Державы — Союза Советских Социалистических Республик, — созданной умом, душой, трудом поколений советского народа, моим поколением в том числе.

В годы, когда мне довелось работать в аппарате ЦК КПСС в качестве заместителя заведующего Отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, который возглавлял секретарь Центрального комитета КПСС Юрий Владимирович Андропов, я многое благодаря ему увидел и познал. Он учил меня: «Мы с тобой не имеем права на

ошибку в любом деле — большом или малом, — впереди нас, перед Центральным комитетом КПСС, никого нет; вводить в заблуждение, толкать на ложные оценки, неверные действия несовместимо с нашей партийностью, с нашей совестью. А это, как ты знаешь, к сожалению, бывает».

Выйдя августовским днем 1972 года из третьего подъезда «Большого дома», куда с радостью ходил на работу, я не мог до конца осознать, что же со мной случилось. Мне казалось, что все происшедшее в кабинете председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС А.Я. Пельше — бред, небывальщина, не имеющие ко мне ровным счетом никакого отношения. Во мне нарастало чувство тревоги, боли, бессилия из-за невозможности вернуться и закричать, чтобы услышали все, у кого есть совесть: «Что вы делаете?!» Боли из-за попрания человеческого достоинства, тревоги за то, что в «Большом доме» снова в угоду кому-то совершают сделки с совестью, фальсифицируют факты, события, явления, ломают человеческие жизни.

Но эти тревоги и боль еще не овладели мной в полной мере.

В третий подъезд «Большого дома» в тот день, 2 августа 1972 года, я входил с партбилетом, а вышел исключенным Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС из рядов КПСС за грубое нарушение норм коммунистической морали в бытность мою Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза в Австралийском Союзе. Спустя 14 лет, в 1986 году, по моей апелляции в адрес XXVIII съезда КПСС меня восстановят в партии.

А тем августовским днем уже далекого 1972 года ноги понесли меня вверх по Старой площади. На улице было душно. Туфли влипались в размягченный от палящего солнца асфальт. Идти было тяжко. Шел я никем не останавливаемый и никого не видящий. Хотя потом случайно встречавшие меня знакомые говорили о непонятной для них необычной моей отрешенности.

Шел я и вспоминал, что на этом московском пятачке, очерченном снизу площадью Ногина, справа улицей Богдана Хмельницкого, Сретенкой, улицей Кирова, слева — Куйбышева, Черкасскими переулками и улицей 25-го Октября[1], прошли долгие годы работы, увлечений, надежд и тревог. Жизнь в своей круговерти порой отбрасывала меня с этого пятачка в другие места, и подчас весьма далекие. Но потом снова нежданно-негаданно возвращала на этот пятачок, однако уже в иное место, в новом общественном или служебном качестве.

За годы работы я узнал, что такое власть. Узнал не только из научных исследований, но и из опыта, естественно, и из прошедших передо мной длинной вереницей властителей, в том числе таких, как И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В.

Андропов, К.У. Черненко. Из опыта людей другой ипостаси — М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин — и собственного опыта.

Вот и сейчас, вспыхнуло в затуманенном сознании, против меня, судя по всему, использована высшая партийная власть. Обрушена до самого предела. За этим пределом или тюрьма, или смерть. А может быть, ни то и ни другое. Ведь сила жизни сильнее и тюрьмы и смерти. Разум может в конечном счете посмеяться над силой власти, которая опьяняет кое-кого, превращая в моральных уродов.

…А ноги несли меня вперед. Справа почти полностью открылось здание Центрального комитета ВЛКСМ. Здесь вскоре после окончания Великой Отечественной и демобилизации из органов государственной безопасности я начал отсчитывать свое новое время. И оно, с перерывами, продолжалось довольно долго. В окнах кабинета на четвертом, секретарском этаже, где я когда-то трудился, промелькнула чья-то фигура. Или показалось?.. Я отмахнулся от этих наплывших на меня воспоминаний далекой молодости. Но впереди сразу выросла громада Политехнического музея, построенного еще в дореволюционное время на пожертвования российской интеллигенции ради дела народного просвещения. И здесь я трудился, продолжая ее благородные традиции.

Роящиеся в голове воспоминания перескочили на дом № 2 на площади Дзержинского, куда в начале Великой Отечественной войны судьба привела меня на работу; втащила через перипетии допроса сотрудником НКВД СССР меня как антисоветчика и пораженца во второй раз — после окончания войны; и в третий — по личному распоряжению Сталина — в следственную часть по Особо важным делам МГБ СССР, где в то время находились в производстве известные дела: «врачей-убийц», бывшего министра Государственной безопасности СССР Абакумова и иже с ним.

Отливая солнечными бликами, на меня смотрели зеркальные стекла кабинета председателя КГБ, в котором трудились в свое время и два бывших первых секретаря ЦК ВЛКСМ — А.Н. Шелепин и В.Е. Семичастный. С ними многое в моей жизни связано. «Сейчас работает на этом посту мой бывший сотоварищ по „Большому дому“ — Ю.В. Андропов», — подумал я.

Шел не зная куда и никак не мог сосредоточиться на том, что же все-таки со мной произошло. В какой-то определенной степени это было ясно, но на каком основании, ради чего, я осознать не мог.

Жара на улице усиливалась. Духота и на этом московском бугре-пятачке обволакивала с ног до головы. Идти становилось все труднее. В голове стоял звон. Машинально свернул на улицу

25-го Октября. Может быть, потому, что здесь, в одном из домов (до революции гостиница «Славянский базар», после революции 3-й Дом Советов) я жил короткое время у своего старшего брата Бориса во время переезда нашей семьи в Москву с Волги, из Вольска.

Тогда, весной 1930 года, будучи в Москве в гостях у Бориса, во время первомайского праздника я пробрался на Красную площадь и стал свидетелем потрясшего меня действа: тысячи красноармейцев, сведенных в стройные ряды, вслед за человеком, звавшимся Всесоюзным старостой — Калининым, на едином вздохе произносили слова воинской присяги. Мое сердце трепетало, готово было выскочить из груди, покатиться по булыжнику вслед уходящим батальонам красноармейцев. «Кто знает, — подумалось мне как бы в ответ на весь трагизм случившегося сегодня, — может быть, тогда и вспыхнуло во мне великое чувство общности со всей этой массой людей». Сквозь нарастающий звон в ушах и одолевающую тяжесть я явственно слышал могучее и гордое: «Я сын трудового народа!»

…Мне становилось все хуже и хуже. Но я двигался. Пересек Красную площадь и остановился у Мавзолея Ленина. С тех пор как в силу своего мальчишеского разумения я стал пристальнее вглядываться в окружающий меня мир, со мной всегда были два человека, точнее два образа, — Мама и Ленин. С ними я делился радостями и горестями, им поверял свои тайны, к ним шел за советом и помощью. Так было постоянно, в течение долгих лет. В них я верил в том русском старинном смысле слова «вера», означающем клятвенное обещание исполнить что-то главное, нужное людям.

У всякого нравственно здорового человека должна быть вера. Своя вера. В кого-то и во что-то! Моя вера сливалась с господствующим общественным сознанием, помогала мне в чем-то даже опережать его.

Вот и сейчас, стоя перед мавзолеем Ленина, я думал и о нем, и о своей Маме. Она, родная моя, всегда со мною… Ей я клялся приносить людям счастье. Ей — потому что она, придавленная постоянной нуждой, передавала мне все, чем была богата ее душа, дарила все, до последней кровинки. Ему — ибо он учил тому, как сделать все народы счастливыми.

Мне вспомнилось, как мама со стеснительной улыбкой рассказывала: «Я сегодня гадала на тебя. Цыганка сказала: младшему из твоих сыновей, сыну, (т. е. мне. — *Н.М.*), выпала большая судьба. Достигнет он многого. Будет Народным комиссаром в правительстве». Мама спросила гадалку: «Ну и что? А дальше?» Гадалка ответила: «Всё. Дальше в его судьбе ничего не

видно. Всё смазано, плывет».

…Наверное, сегодня и был день начала того, когда в жизни моей всё плыло… В пору гадания мне было шестнадцать лет.

Сколько помню я свою маму, она никогда не проходила мимо людского горя. Ее сострадание всегда было обращено ко мне призывом любить людей, творить на земле добро, творить каждый день.

…А идти уже было невмоготу. Я не помню, как добрался до дома. Сказал жене, что исключен из партии. Она уже знала: звонили из ЦК и просили меня срочно написать и передать в Центральный комитет партии на имя члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС А.П. Кириленко письмо о своей невиновности. Позвонил инструктор ЦК И. Егоров, продиктовал мне содержание письма. Я его переписал начисто. Письмо везти в ЦК был не в состоянии. Отвезли жена и младший сын Алеша.

Меня светило, как потом говорили врачи, нервное потрясение. Я впал в забытье. Сколько оно продолжалось — вечер, ночь, утро, день, опять вечер, — я не знал. Распухли руки, ноги, да и весь стал раздуваться, словно резиновый мяч. Казалось, все готово было лопнуть. В голове стоял звон, который то нарастет, разламывая ее, то убаюкивал, унося меня в неведомые выси. Но было легко и потому приятно, даже радостно.

Это ощущение приносило с собою картины прошлого. Они менялись во временном беспорядке, но были связаны единой нитью. В них я присутствовал, участвовал, действовал. Приносило удовлетворение, что даже в забытьи я продолжал жить. Мысль билась в моем сознании, виденное было из разных времен и из мест, подчас далеких друг от друга. Населены они были людьми разными, чаще теми, с кем я прошел вместе через многое, а то и такими, которые нередко казались сторонними, незнакомыми и даже чужими. Часто возникали картины, сюжет которых при всем моем желании я не мог разглядеть. Их конец терялся в густом тумане, подобном тому, наверное, что застлал взор цыганке, предсказывающей маме мою судьбу. А конец очень хотелось увидеть. Увидеть исход жизни — на него в конечном счете направлялась собственная воля, накапливались знания и опыт, выстраивались отношения, использовалась помощь товарищей, друзей и прочее, и прочее. Словом, все то, из чего складывается жизнь. Ее исход в тумане. Что это — урок? Игра судьбы?

Мое кредо — человек, будучи величайшим и высочайшим порождением природы, вполне в состоянии избрать свой «рок», «сделать» свою жизнь.

Мой рок, как мне казалось по мере преодоления горячки,

состоял в том, что я вполне сознательно вступил в острое противоречие с личностями, стоящими у кормила власти. Это противоречие постепенно нарастало. И то, что случилось со мной августовским утром 1972 года в «Большом доме», явилось со стороны властей предержащих разрешением этого противоречия. Но к такому выводу я пришел позже, когда окончательно справился с болезнью.

Именно тогда, шаг за шагом, я пытался не только восстановить в своей памяти многое из пережитого, но и понять это пережитое, на что ранее не хватало времени, осмыслить свою жизнь, посмотреть как бы взглядом человека стороннего — не приукрашивая себя, не преувеличивая свои возможности, не питая к себе жалости.

Мне еще до всего случившегося приходилось по долгу службы и естественному интересу анализировать происходящие в нашей стране изменения, нарастающие в ней негативные тенденции. Полагаю, что уже в предвоенные, а затем и в послевоенные годы в нашем обществе стала давать себя знать тенденция, развившаяся затем в закономерность. По мере затухания в обществе борьбы классов, содержание которой в конечном счете выливается в борьбу за власть, вырастает и усиливается внеклассовая борьба, борьба за власть личностей, окруженных приспешниками в виде групп единомышленников либо землячеств, кланов.

Мое поколение, на известном этапе своей жизни, работало именно в условиях действия этой закономерности. Оно испытывало на себе, несло в себе противоречия между людьми, олицетворяющими власть, и теми, кто считал, что стоящие у власти старые по возрасту вожди не способны учитывать огромные изменения, происходящие в окружающем мире, не могут вследствие своей духовной и физической немощи чувствовать новые реалии жизни и потому быть во главе общества и вести вперед поколения, впитавшие в себя новизну своего времени, глубоко чувствующие потребности современного им общественного развития и сознающие необходимость прокладывания новых дорог. Конечно, под поколением понимается не какой-то верхушечный слой, а весь его массив, впитавший вполне естественную значимость преемственности всего лучшего от предыдущих поколений и несущий в себе заряд собственного опыта, умноженного на новизну видения современного мира.

Оно, поколение, вместе со своими предшественниками, выдвигая из своей среды руководителей разных уровней, призвано способствовать прогрессивному развитию общества.

Еще не оправившись окончательно от своих болячек, я решил написать о себе и о своем поколении. О жизни…

Мой жизненный путь был тесно связан с различными сферами общественной практики: комсомольской, военной, контрразведывательной, дипломатической, партийной, государственной, научной, просветительской. В определенной мере он отражает судьбу того поколения, которое вступило в жизнь в начале советской власти, взрослело на марше первых пятилеток, возмужало в Великую Отечественную, затем, вместе с оставшимися в живых отцами, матерями, братьями и сестрами, вытаскивало Отчизну свою из неимоверной послевоенной разрухи.

К 50-м годам это поколение, как я думаю, окончательно сформировалось. Приобрело свои, присущие ему характерные черты и особенности: честное и бескорыстное служение народному счастью, Родине. Идеи XX съезда КПСС были созвучны его духу, нравственным устоям и подвигам ради приближения человечества к коммунистической мечте. Однако на рубеже 70-х годов, представляется мне, естественная преемственность поколений была нарушена. Через это поколение, мое поколение, перешагнули. В жизнь советского общества в полном объеме не влилась свежая кровь. Дела в Отчем доме пошли все хуже и хуже. Стагнация охватила все сферы общественной жизни. Поколению не позволили реализовать свое видение быстро меняющегося современного мира. И прежде всего использовать достижения научно-технической революции, помноженные на свободу мысли и действия каждого советского человека.

Мое поколение — фронтовое поколение. Поколение Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Поколение победителей.

Все мои друзья — да и не только мои друзья — независимо от деятельности в последующие годы считают главным в своей жизни участие в тяжкой, но героической войне советского народа, сыгравшего огромную роль в спасении мировой цивилизации от фашистской чумы.

Что такое поколение? История свидетельствует, что поколение как явление складывается в переломные моменты развития общества. Именно тогда миллионы людей чувствуют себя сопричастными к этому событию и друг к другу. И эта сопричастность сопровождает человека в течение всей его жизни.

Великая Отечественная война всколыхнула каждого ее участника, объединила священной идеей защиты Отечества от оккупантов, породила в них общенародный дух мужества, альтруизма, благородства, верности идеалам, преданности делу,

умению дружить — словом, нравственной красоты. Конечно, в семье не без урода: в многомиллионной армии были и бесчестные, дезертиры и даже предатели; они не определяли лица поколения.

Поколение победителей окрасило собою целую эпоху.

В ней был взлет патриотических чувств, нежная любовь к родному дому. Конечно, фундаментальные основы духовного облика воина, труженика закладывались еще в мирное время. Справедливая Отечественная воина вызвала их к жизни, сцементировала в единое целое. Казалось бы, жестокости войны должны привести к очерствлению характера. Однако в своей массовости, наоборот, — к соучастию людей в горе и беде, к взаимопомощи в преодолении трудностей и тягот. Думалось, что фронтовая жизнь с ее подчинением армейской дисциплине, боевым приказам приведет к подавлению воли воина, но она при сохранении дисциплины побуждала к развитию в характере человека инициативы, находчивости, способности принимать самостоятельные решения, исходя из боевой обстановки и собственного военного опыта.

Поколение победителей обладало свободой мысли и действия.

Что бы ни говорилось ныне худого, очернительного в адрес поколения времен Великой Отечественной войны, история не позволит вытравить из сознания последующих поколений благородство духа и героизм поведения поколения победителей. Оно — поколение — было и сегодня остается становым хребтом нравственной силы народов России, всех других народов бывшего Советского Союза.

«Может быть, — думал я, — мои воспоминания о прожитом, в котором причудливо уживались счастье и трагедии моего поколения, обогатят и уберегут от ошибок кого-то из поколений, идущих следом за нами, и вместе с тем позволят им укрепить свой оптимизм, свою волю».

…Но пройдут долгие, длинные годы, прежде чем я сяду за эту работу. Много воды утечет. Многое изменится. Страна переживет, как сейчас говорят, «время застоя». Войдет в «перестройку», в которую много будут говорить и мало делать; и под этой дымовой завесой начнут разваливать Великую Державу — Союз Советских Социалистических Республик. Но и это еще не все! Не спрашивая мнения народа, вопреки ему, начнут преобразовывать социально-политические основы его бытия, подвергнут трансформации мировоззренческие устои. Будет ниспровергнуто то, что было истинным. Очернительство и ложь покроют многое из того, чем

жил и гордился мой народ, мое поколение. Немало появится таких, кто напялит маску, дабы не было стыдно смотреть людям в глаза из-за новых идейно-духовных привязанностей. Вылезут на поверхность и те, кто вовсе без масок среди бела дня начнет предавать и распродавать свои былые социалистические устремления.

И все эти годы меня будет мучить один вопрос: справлюсь ли я с поставленной перед собой задачей? Друзья, да и просто знакомые, будут убеждать меня написать книгу воспоминаний.

Тогда юная, красивая душой, вся в аспирантских изысках, Тамара Зайчикова первой услышит начальные строки и побудит меня продолжить, помогая мне дальше на всем жизненном пути, продлевая его.

И эти побуждения по мере хода в стране перестройки, использования ее определенными силами в реставраторско-капиталистических целях будут усиливаться. Я же в светлое время суток буду отшучиваться, а по ночам в московском гуле слышать усиливающиеся внутренние позывы к работе над воспоминаниями, тем более что в писаниях некоторых, состоявших некогда, как они аттестуют себя, «советниками при вождях», а ныне надевших другие маски и «преуспевающих» на различных поприщах, возводятся воистину дикие поклепы на наше недавнее прошлое. В сознание большинства о делах и людях минувшего времени вносится ложь.

…Надо писать!

С тех пор я стал замечать, что, с одной стороны, живу с постоянным ощущением реальности, повседневности, будничности, а с другой — с тем же постоянным ощущением прошлого. Память о прошлом все чаще накладывается на жизнь сегодняшнюю, переплетаясь между собой как бы в двух жизнях одновременно. Может быть, потому, что прошлое ярче, сильнее, значительнее моего настоящего на склоне лет, так думается мне. Конечно, память — это и мой путеводитель по жизни, ее опытный рулевой и двигатель, который, образуясь с окружающими реалиями, избирает путь и накручивает на нем время жизни. Наверное, потому и определяется память как способность каждого из нас к воспроизведению прошлого опыта, как одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить информацию о событиях окружающего нас мира и реакциях организма и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения.

Без памяти нет человека, и это безусловно так. Однако как часто ее надо напрягать, использовать? Хватит ли душевных сил ворошить посредством памяти свою жизнь с самого начета? Ведь

в этом случае радость и мука снова и снова, как наяву, будут постоянно идти рядом. Эти сестры-близнецы в разное время и при разных обстоятельствах, каждая по-своему, бередят наши души, бьют по нашим сердцам.

Для меня тогда, сразу после случившегося на Старой площади, даже в страданиях, вызванных памятью, была отрада.

Тогда и потом ко мне приходила мысль, что писать воспоминания я могу, лишь когда пройду через самосуд, в котором их активным участником, свидетелем, является память, а высшим судьей собственная совесть.

Мне думается, что природа, наградив homo sapiens памятью, рассчитывается с ним за его неизбежную смерть. Она, память, постоянно напоминает человеку о смерти, как бы говоря: «А что, Человек, оставляешь после себя людям?» У каждого поколения есть своя память. Уходит из жизни поколение, и возникает вопрос: «А что ты, поколение, оставляешь после себя поколениям грядущим?» Есть память и у моего поколения. Она часть исторической памяти народа.

Умирает человек. Уходит из жизни целое поколение. Но память остается. И эта память должна быть честной.

Честная память…

Свою память я решил судить судом своей совести. Самосуд покажет, что одержит верх — честность памяти или честь совести, или и то и другое не выдержит проверку самосудом.

Честная память…

Память своего поколения я не могу судить судом своей совести. Такого права у меня нет. И быть не может. Было бы правильным поступить по-другому: совестью поколения соизмерять свою собственную совесть. Почему? Да потому, что я лишь маленькая частица своего поколения, его кроха. У целого поколения есть то, чего у меня быть не может: исторические деяния, историческая преемственность поколений, историческое сознание, требования совести павших и их совесть, равно как и благородство стремлений оставшихся в живых. Моя личная совесть может лишь приблизиться к этой большой Совести целого поколения, хотя бы адекватно отразить и выразить ее. Надеюсь, что мои воспоминания будут искренними, честными.

Честная память…

Я постараюсь передать то наиболее существенное, что выпало на мою долю и моих сверстников. Оно окрашено в светлые и темные краски, озвучено мажорными и минорными тонами и самыми невероятными полутонами. Мое поколение, и я вместе с ним, прошло босоногим по своему детству, радовалось отмене карточек на хлеб в юности, приходило в восторг от деяний отцов

и дедов, старших братьев и сестер на стройках пятилеток, плакало над безвременно погибшими в монгольских степях, училось у академиков братьев Вавиловых, грызя гранит науки, приобщалось к высокой культуре на концертах Ивана Козловского, Надежды Обуховой, Давида Ойстраха, Вадима Козина, хохотало до слез, падая со стульев, над перипетиями киногероев Орловой и Утесова. Словом — жило. Жило и тогда, когда из семей сверстников вырывали отцов и матерей, братьев и сестер и без вины виноватые шли они с клеймом «врагов народа» в места отдаленные: на Колыму, на Соловки.

Мои сверстники и я, не долго раздумывая, записывались в Красную армию до начала Великой Отечественной и в ходе ее. Многие друзья, товарищи, сверстники не вернулись с полей сражений. Мое поколение называют поколением, вырубленным войной. И после войны не щадя живота своего люди моего времени восстанавливали из руин дома, колхозы и МТС[2], шахты, рудники, заводы. Они выдвинули из своей среды выдающихся мастеров культуры — ученых, писателей, композиторов, художников, артистов, — рабочих, крестьян…

Честная память…

Время и события оставили рубцы на сердце моего поколения… Несмотря на все это, вопреки дикостям и мерзостям, которые пришлось пережить, мои сверстники остались верны до конца идеалам своей юности и молодости. В этом я убежден.

Время придет! Наш великий народ одолеет недуги нынешнего времени. Он разберется и в реставраторских замыслах новоявленных «друзей народа» из так называемых демократов. Эти новоявленные деятели истории забыли напоминание Гёте: «Чтобы что-нибудь создать, надо чем-то быть».

…Горя людского насмотрелся я немало. Страну свою, да и другие страны и континенты, я облетел на самолетах, изъездил в поездах, объехал на лошадях, ишаках и собаках. А сколько человеческих судеб прошло передо мною! Я знал труд волжского плотогона и цементника, московского лекальщика, магнитогорского металлурга, колхозника с сусанинских бедных почв и с Черноземья Кубани. Бывал в чуме у эвенка и делил с ним сухую лепешку. Сидел на званых обедах во дворцах и резиденциях. Спал в цыганской кибитке под открытым небом и купался в мраморных ваннах фешенебельных отелей Лондона, Парижа, Токио, Ниццы… И где бы я ни был, куда бы ни забрасывала меня судьба, повсюду я чувствовал себя сыном своего народа, своей милой Отчизны.

Глава I
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

В нижнем течении матушки Волги, в ста сорока километрах выше Саратова, на правом ее берегу, между гор Приволжской возвышенности расположился город цементников Вольск. На окраинах его стоят цементные заводы — вверх по Волге — «Большевик» и «Коммунар», вниз — «Красный Октябрь» и «Комсомолец». Вот в рабочем поселке завода «Комсомолец» я и родился в 1920 году — в год страшной засухи, а с ней и зловещего голода, охватившего тогда Нижнее Поволжье.

Неповторимы своей красотой тамошние места. Над широкой, сверкающей под горячими лучами солнца гладью Волги высится Ечина гора, с которой открывается даль Заволжья, подернутая голубой дымкой. Смотришь, а ребячье сердечко рвется наружу в эти дали, внутри все поет волей вольною, хочется кричать от восторга, от избытка чувств… А внизу, под тобой, разместился завод, казармы[3] рабочего поселка, в котором живут отец, мать, здравствуют твои братья и сестры, бегают друзья-товарищи. В необъятных просторах завод и поселок кажутся маленькими, даже игрушечными.

Это моя Родина!

Наверное, широта характера волжан, вольность их духа заложены привольем окружающего природного естества.

Возникновение моего родного города уходит в далекое прошлое. Еще в 1690 году в устье речки Малыковки, что впадает в Волгу, появилось небольшое сельцо с тем же названием. Улицы его видели, как гласит молва, Емельяна Пугачева и его сотоварищей. Прошли столетия, в 1870 году при образовании Саратовского наместничества село Малыковка было преобразовано в уездный город Волгск от имени родимой Волги; кстати говоря, другого города с таким названием на всей ее протяженности нет. Чем тоже надо гордиться! А позже Волгск, получивший смягченное звучание, превратился в Вольск. Город рос. В его окрестностях строились цементные заводы. В 1912 году акционерным обществом «Ассерин» по соседству с цементным заводом Зейферта был построен цементный завод, названный в 1929 году после восстановления «Комсомолец».

Вольск славен своими революционными и трудовыми традициями. В нем до революции действовала сильная организация РСДРП. Большую роль в борьбе за становление и укрепление Советской власти в городе играла Вольская красная

флотилия, созданная в апреле 1918 года под руководством члена Центробалта И. Сарычева. Флотилия — первое самостоятельное соединение вооруженных сил молодой советской республики на Волге. Она действовала на протяжении от Саратова до Сызрани. Позже Вольская флотилия была объединена с симбирским отрядом Волжской военной флотилии и воевала под Царицыном.

В годы первых пятилеток Вольский цемент шел на строительство заводов, фабрик, электростанций, колхозов, МТС, совхозов. Из него строилась первая очередь московского метро, Беломорско-Балтийский и Волго-Донской каналы и многое другое. В бытность мою председателем Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, Останкинская телевизионная башня и телецентр строились также из цемента с моего родного завода «Комсомолец», цемента, считавшегося по качеству лучшим в стране. И мне это было очень приятно.

Во время Великой Отечественной войны город и район дали фронту тысячи бойцов. На средства, собранные трудящимися, было построено 22 боевых самолета, отправлено более 30 тысяч теплых вещей, школьники собрали 9 тонн 550 килограммов лекарственных трав. Производство цемента за годы войны достигло более одного миллиона тонн.

И все это родные места!

Вольск издавна славен и своими людьми: мастерами-умельцами, учеными, деятелями культуры, бесстрашными воинами, революционерами. В Вольске родилась член партии «Народная воля» Софья Перовская, летчик Герой Советского Союза Виктор Талалихин, политрук Герой Советского Союза Василий Клочков-Диев, медсестра Герой Советского Союза Зинаида Маресева. 30 воинов-вольчан удостоены звания Герой Советского Союза. В Вольске творили писатели Федор Панферов, Александр Яковлев, изобретатель прототипа гусеничного трактора Федор Блинов, первооткрыватель саратовского газа Б. Мажаровский, зоолог Виноградов и многие другие.

Это тоже мои родимые места! Мой отчий дом. Традиции живы в каждом городе, в каждой деревне.

Родина — не абстракция. Она — и вся огромная страна, и мой, и твой завод, село, деревня, город, улица, дом. С ней — со дня рождения, на всю жизнь — связан своей пуповиной и я, и ты, мой читатель. Сколь бы ни жил на белом свете, а картинки из прошлого постоянно всплывают в памяти.

Мне кажется, что свое детство я помню лет с четырех. И первое, что воскрешается в памяти: мама одевает меня в поддёвку (так назывались длинные пальто с мелкими оборками по талии), нахлобучивает шапку и завязывает башлыком. Одевается сама, и

мы с ней сквозь ревущую, сшибающую с ног метель (надо знать, как сильны ветры, дующие и зимой, и летом из Заволжья!) идем в заводской клуб, что стоит на самом обрыве над Волгой. Папа уже там. Народу много. Почему-то тихо. Ни шума, ни улыбок. Красный с черным флаг на сцене, на которую поднимались люди. Слышал часто повторяемые слова «Ленин» и «умер». Но я не понимал, что происходит. И, лишь придя домой, мама и папа мне сказали: «Умер вождь. Ленин. Вот его наши рабочие жалеют». Так было.

Наша семья приехала в Вольск, на «Ассерин», в 1918 году из подмосковного Подольска, где мама работала на заводе швейных машин Зингера, а папа на цементном заводе. Жили в деревне Студенцы, в семи километрах от города. Семья была большая, только детей семь человек: Борис — 1902 г., Георгий — 1905 г., двойняшки Николай и Лидия — 1907 г., Александр — 1911 г., Алексей — 1913 г., Евгения — 1915 г. Жили бедно. В голодный 1918 год Николай и Лидия скончались. Голодуха принудила родителей двинуться на хлеба в Нижнее Поволжье. Приехали. Немного подкормились, а в 1920 году голодная смерть пришла и на Волгу — косила людей нещадно. Брат Алексей рассказывал мне о том страшном годе. Отец, дабы уберечь всех детей от смерти (Борис еще раньше ушел добровольцем в Красную армию), решил двоих сыновей — Алексея и Александра — отвести в созданный в городе приют; на заводе говорили, что там дети могут выжить. Пришли в приют, вспоминал брат, посмотрели на ходячие смерти — на таких же, как мы, ребят, — и отец сказал, что лучше помирать дома, чем здесь, в приюте.

В тот 1920 год я, появившийся на свет, выжил благодаря маме. А чуть позже появились на заводе «нансеновские» обеды[4]. Они-то и не дали заводским рабочим и их детям погибнуть. В 1923 году родилась моя сестра Лидия.

Пережили страшные времена, и жизнь на заводе стала из года в год улучшаться. Появлялись ростки того нового, что несла с собой советская власть.

Помню, с какой завистью я смотрел на старших ребят, ставших пионерами. Их матери на лавочках под нашими окнами и под началом моей мамы шили им пионерскую форму. Швейных машинок не хватало, шили на руках и пели песни, задушевно, о волжском раздолье. Здесь, на зеленой лужайке, после тяжелой работы собирались мужчины: кто играл в карты, в домино, а кто просто лежал, широко раскинув натруженное за день тело. Так тоже было.

Чувство рабочей спайки ощущалось во многом. Никогда не забуду маевок. Собирались за заводским поселком на большой

поляне у подножия лесистых гор. Каждая семья в узелке приносила снедь, кто что мог — жареную рыбу, пироги, тушеное мясо… Прихватывали с собой купленную вскладчину водку и, конечно, целые ведра знаменитого жигулевского пива, что варилось в Вольске. В рабочем поселке иногда вспыхивали ссоры, драк я не видел. Все было ладно, по-доброму. В наших местах к началу мая Волга разливалась широко, и на нее, несущую свои быстрые воды вниз, в далекие края, можно было смотреть и смотреть — до бесконечности. Сидели на ее крутых берегах цементники со своими чадами и впитывали в души свои ее раздолье, предания о вольности своих пращуров, их силе и мудрости. Конечно, не было тогда в моей детской головенке таких мыслей и слов. Но если бы в сердце не было заложено нечто от тех времен, то и не вспоминалось бы сейчас, как вспоминается.

Мне нравилось слушать заводские гудки, особенно с левобережья Волги. Сидишь, а через волжскую ширь доносится до тебя сначала гудок с родного завода, что ближе, затем к нему присоединяется голос с завода «Красный Октябрь». И несется их гуд по Волге — вверх и вниз — уходит в заволжские степи, поднимается по горам Правобережья. Гудит, то сзывая рабочих в свои цеха, сбивая их в коллективы, то отпуская на отдых.

Надо сказать, что дух коллективизма, доверия друг к другу царил не только во время праздников — Первомая, Пасхи, годовщины Октября, Рождества Христова, но и в будни. В казарме, где жили десятки семей, все было открыто, без замков и запоров — ухищрений на дверях квартир, которые придумываются сегодня. Забывается, что в русском народе всегда были открытость, доверие. Замки не вешали ни на души, ни на имущество. Так было в народе. Толстосумы вели себя по-иному, но их было мало, не они создавали народный обычай доверия друг к другу.

Напротив завода, в Заволжье, находились немецкие колонии — поселения, входившие в состав Республики немцев Поволжья. Помню как каждый год, по осени, подплывали к заводу с левого берега груженые лодки, сходили с них люди в одежде из грубой, шерстяной ткани, в заправленных в гетры брюках, в ботинках на толстой подошве, ходили по казармам, доставали из карманов замасленные записные книжки, химические карандаши и начинали справлять торг. Они знали, что рабочие небогаты, многосемейны и не в состоянии расплатиться сразу за все, что им надо на год до следующего урожая, дабы прожить. По договоренности, они ссыпали в лари, стоявшие в коридорах казарм, около комнат каждой семьи, крупчатую саратовскую,

пеклеванную и ржаную муку, набивали картошкой, капустой, арбузами, огурцами и прочей снедью погреба и сараи. Записывали, что сколько стоит в свои «долговые» книжки. А потом ежемесячно, во время получки приезжали, и рабочие постепенно расплачивались. Я уже кое-что соображал и помню, что долги нашей семьи переносились немцами из года в год. Так тоже было.

Было и то, что я дважды тонул. Плавать, как и все ребятишки на Волге, я начал рано — лет пяти. Однажды мои братья Александр и Алексей взяли меня с собой за Волгу, на острова, покупаться и поесть стерляжьей ухи. Долго ли коротко ли, преодолев на лодках под веслами двухкилометровую ширину Волги, мы прибыли к месту, разбрелись. Ушел от братьев и других старших ребят и я. Пошел купаться. Шел-шел, забираясь в глубину, и провалился в омут…

Читатель, наверное, заметил, что я все время пишу — Волга, и ни разу — река, речка; в низовьях Волги ее не называют рекой, речкой, а всегда Волгой и только Волгой! В этой традиции и любовь, и привязанность к ней, красавице, и дань уважения как к матушке-кормилице, и надежда на то, что смерть не унесет тебя в безвестность, а ты будешь жить в ее, Волги, памяти, пока она течет по Руси.

…Так вот, попал я в омут и меня закрутило в нем. Силенок справиться с течением хватает лишь на то, чтобы высовывать из воды руки. На счастье, увидел мои появляющиеся на поверхности руки бывший недалеко наш заводской парнишка, немец, бросился в воду и вытащил меня. Дома обо всем случившемся, конечно, ни гу-гу.

Тонул я на Волге и второй раз. К концу весны с верховьев Камы и Волги приходили плоты, а с ними вместе шли косяки всяческой рыбы. Для удачной рыбалки времени лучше не придумать: за час-другой можно наловить рыбы на всю семью. Как-то поутру, когда солнце только начало пригревать, собралась нас ватага ребятишек и пошли на только что пришедший плот рыбачить. Перебрались с берега на плот и разбрелись по нему в поисках приглянувшегося места.

Пошел и я. Солнце еще не обсушило после ночи лежавшие сверху бревна. Они были скользкие. Я шел-шел и провалился между ними. Меня подхватило быстрое течение и потащило вдоль плота. Я видел солнечный свет, пробивающийся между бревен, пытался протиснуться между ними, но голова не пролезала. Воздуха уже не хватало. На мое счастье, голова попала между двух разошедшихся бревен. Я закричал, прибежали плотогоны, раздвинули баграми бревна и вытащили меня из воды. А на

прощание надавали мне веревками по одному месту так, что я и поныне помню. Помню и то, что плотогоны пожаловались моим отцу и матери, а они по сговору с другими родителями запретили без старших ходить на плоты. Тонул два раза, но боязни воды у меня никогда не было.

Я был младшим сыном в нашей большой семье, любимцем отца.

Своего отца — Николая Андреевича Месяцева — я помню плохо. Он носил длинную бороду и усы. В карманах его пиджака в день получки всегда для меня были сладости. Работал он на цемзаводе «Красный Октябрь» счетоводом-статистиком. Я часто бегал встречать отца при возвращении его с работы.

Он любил бывать на Волге у рыбаков и в хорошую погоду брал меня с собой. Для меня это было большой радостью. Обычно вечером, незадолго до захода солнца, отец брал меня за руку, и мы по крутой тропке спускались от нашей казармы к Волге. Шли через цеха не восстановленного еще завода «Ассерин» («Комсомолец»). Мы шли на так называемые синие камешки, где стояли лагерем рыбаки. Приходили, когда солнце садилось в горы. Волга отражала вечернюю зарю. Стихали птичьи голоса. Где-то перекликались гудками пароходы. Становилось тихо. Торжественно. Все усаживались у костра за большой котел со стерляжьей ухой. Отец доставал бутылочку. Старшие выпивали. Что-то говорили. Я засыпал. Спящего отец приносил меня домой.

Папа умер внезапно, «от разрыва сердца», как тогда говорили. Мне было шесть лет. Помню, что гроб везли на санях. На «Красном Октябре» собралось много рабочих. У гроба что-то говорили, я не плакал. Похоронили отца под стенания мамы и плач близких на городском кладбище. Земля в могиле была красного цвета с белыми камнями…

Было жутко смотреть, для меня это была первая смерть и первые похороны. А потом я видел столько смертей, что не приведи господи видеть другому.

Моя мать — Анна Ивановна Месяцева — вышла замуж, когда ей было шестнадцать лет. Жила она тогда в крестьянской семье в деревне Студенцы, что под Подольском. Мать была светло-русая, а отец — брюнет. И мы, дети, походили кто на отца, кто на мать.

После смерти отца на руках моей матери остались пять ребятишек — три сына, считая меня, и две дочери, одной из которых, Лидии, было три годика. Георгий уже работал на «Красном Октябре», а старший брат Борис, демобилизовавшись из Красной армии, учился на рабфаке в Саратове. Пошла работать и пятнадцатилетняя сестра Евгения, подсобной рабочей в бондарный цех «Красного Октября». Братья — Александр и

Алексей — учились в школе фабрично-заводского ученичества, а мы с сестрой Лидией были малолетки. По мере мужания каждый из нас — братьев и сестер — считал своим долгом помогать маме. Она всех нас поставила на ноги, продолжая работать. Я учился в Московском юридическом институте, сестра Лидия — в школе, а мама работала уборщицей в одном из общежитий ВЦСПС. Умерла моя незабвенная мама во время войны, находясь в эвакуации в Вольске, у сестры Евгении. Пошла мама за керосином. В очереди промерзла, заболела крупозным воспалением легких и скончалась.

Мама скончалась. Но она не ушла от меня, а всю жизнь была со мной. Моему чувству к маме очень созвучны стихи Юрия Петровича Воронова, моего хорошего товарища еще с комсомольских времен, который значительно позже стал редактором газеты «Комсомольская правда». Они так и называются — «Мать».

Всего лишь два четверостишия:

И он прошел от стула до стола,
Хоть пол шатало, будто на причале;
Ведь две ее руки, как два крыла,
Парили над сыновними плечами.

Наступит время: сын — через порог,
За встречами — отъезды и разлуки…
И у начала всех его дорог
Опять ее протянутые руки.

Мама умерла в марте 1942 года. Отец мой тоже скончался в марте. Идя по жизни, я всегда «с поры той дальней» с тревогой ожидал прихода марта — и мои ожидания были не напрасны. Многие повороты, значительные события в моей жизни совершались в марте.

Из всей нашей семьи остался в живых только я. Остальные все ушли из жизни. Скончался Борис, работавший начальником одного из главных управлений Министерства авиационной промышленности; Георгий пропал без вести во время боев в Великую Отечественную в 1941 году где-то под Москвой; Александр трудился слесарем-лекальщиком на машиностроительном заводе в Челябинске; Алексей служил морским летчиком на Дальнем Востоке, затем в штабе ВМФ СССР. Все братья были членами Коммунистической партии Советского Союза. Сестра Евгения большую часть жизни проработала на заводе «Красный Октябрь» рабочей. В годы войны трудилась она

экскаваторщицей на меловом карьере, работа, конечно, далеко не женская. Но была война, Отечественная. Сестра Лидия по окончании Московского института геодезии и картографии работала инженером-картографом. Последняя ее работа — ответственный редактор Атласа СССР, издание 1984 года.

…После смерти отца в нашем доме опустело. В нем поселилась нужда. За столом делилось на каждый рот всё — от картошки до сахара. Одежда перекраивалась, перешивалась и передавалась от старшего к среднему и от среднего к младшему.

Но мир не без добрых людей. Волжская Русь всегда славилась людской добротой. Заводские рабочие коллективы сильны своей спайкой, взаимовыручкой. И нашу семью, как рассказывала мне мама, не обошла стороной забота заводчан. Да и немцы-колонисты помогали хлебом, картошкой, крупами, мясом. Кормила Волга. Так было. Я часто, в разное время вспоминая свое детство, задумывался над тем, почему мы так беззаботны к сохранению и развитию тех благородных качеств, которые заложены в нашем народе, особенно — доброты. С помощью доброты, и я убеждался в этом на собственном опыте, можно сделать почти невозможное, в определенных условиях даже больше, чем посредством необузданной силы, давления, грубого принуждения. Более того, представляется, что соотношение добра и зла при их диалектической взаимосвязи всегда должно учитываться «большими политиками» в стратегическом плане, а всеми нами в обыденности житейских дел.

В 1927 году мама отвела меня в школу. Учился я хорошо. Первого своего учителя, Василия Николаевича Шкенева, я помню и сейчас. Среднего роста, голубоглазый, русый, хорошо сложенный, он притягивал к себе нас — заводскую детвору. Мы с радостью ходили с ним на Волгу купаться, в лес, в горы, по ягоды и грибы. Играли в лапту, в футбол. Он был веселым, заводилой и строгим, взыскательным учителем. Может быть, все эти нужные педагогу качества были заложены в нем — сыне священника — природой, а может быть, благоприобретены. Учил он нас хорошо. Во всяком случае, когда меня после окончания трех классов заводской школы перевели в другую, то мои знания были крепче, чем у одноклассников.

Летом 1930 года мама, брат Александр, я и сестра Лидия переехали с завода «Комсомолец» из Вольска в село Щурово близ Коломны, под Москву, тоже на цементный завод. Переезд был вызван тем, что Александр после окончания школы фабрично-заводского ученичества был направлен на работу слесарем на

этот завод. Александр уже становился основным кормильцем семьи. Переехал в Москву и Георгий. Да и старший, Борис, жил в Москве, что к Щурову поближе, чем к Вольску. К тому времени сестра Евгения вышла замуж и осталась с мужем в Вольске. Брат Алексей жил на попечении брата Бориса в Москве.

Село Щурово расположилось на правом берегу реки Оки, напротив впадения в нее Москвы-реки. Село большое. Проходящая через него шоссейная дорога Москва — Рязань как бы делила его на две части, а посередине, на самой горе, стояла огромная церковь — символ села. Конечно, в селе богатыми были не все. Значительная часть крестьянского и рабочего люда жила бедно. Между богатыми и бедными в начале 30-х годов в ходе коллективизации шли скрытые, но острые схватки, природу которых я понял гораздо позже, а ощутил на себе тогда, в детстве.

В школе, расположенной в богатой части села, верховодили великовозрастные ученики из зажиточных семей. Однажды, вскоре после того, как я начал ходить в школу, группа таких ребят затащила меня в пустой класс, сорвала с меня пионерский галстук и зверски избила ногами, пригрозив, что если я или мои родители пожалуемся на них, то мне несдобровать. Избитый, я ушел из школы на Оку, очистил там от грязи свою одежонку. Искупался. А придя домой, ничего не сказал о случившемся со мной в школе — синяков на лице не было: куда и как бить — знали. В этой школе своим детским умишком я понял, что щуровская жизнь с ее делением на богатых и бедных, разобщенностью селян, отгороженностью, отчужденностью одних от других — это нечто иное, противоположное заводскому коллективу рабочих-цементников.

А второй эпизод, запавший в память, лишь укрепил в моем ребячьем сознании факт наличия в жизни богатых и бедных, несхожести интересов, их противостояния друг другу.

К моменту приезда в Щурово я хорошо плавал, наверное, лучше всех других учащихся сельской школы, в которой было всего пять классов. Плавал поволжски, как говорят в подмосковных весях, — саженками. Как-то в один из погожих дней я спустился к речке на место, где обычно купались и куда приходила Таня — девчонка, к которой меня тянуло, как, думаю, и ее ко мне. «Любви, — писал Пушкин, — все возрасты покорны». Кстати, она была из богатой семьи. Я не видел, как к Тане и ко мне, стоящим рядом, подошли несколько ребят чуть постарше меня и, оттолкнув, сказали, чтобы я «мотал» с речки и не «сватался» к Тане, «она тебе, голодранцу, не пара». Таню не смутили эти слова. Она засмеялась и пошла куда-то вместе с этими ребятами. Я остался на речке. Увидел, как из Москвы-реки

входит в Оку двухпалубный пассажирский пароход. Я поплыл ему навстречу. Доплыл до середины реки. По-волжски лег на спину, широко раскинув руки и ноги, и смотрел в летнюю голубую небесную синь, покачиваясь на волнах, оставленных удалявшимся вниз по реке пароходом.

Подобно воде в реке, течение моей жизни продолжалось. С Волги я попал на ее большой приток — Оку. С Оки поздним летом 1932 года наша семья переехала на берега ее притока — реку Москву — аж в саму Первопрестольную.

Начался самый яркий и самый плодотворный период становления меня как личности. Москва быстро «расправилась» с моим детством.

В день моего 50-летия школьные друзья писали мне:

«Дорогой друг!

Ты вырос в нашем родном Останкине. Прелесть останкинских рощ, парка и прудов, атмосфера юношеской чистоты и дружбы, идеи служения Родине формировали твой характер, твои помыслы, твою жизнь.

Еще будучи учеником 7 класса ты возглавил Совет Базы пионерской организации, затем был вожатым отряда, комсомольским руководителем школы.

После окончания школы мы не теряли друг друга из виду. Наша пионерская цепочка продолжала действовать. Мы шли рядом.

Нам приятно отметить, что твой жизненный путь — большой и славный. Ты всегда в гуще самых важных событий жизни.

В суровые годы Великой Отечественной войны ты был на фронте, после войны на ответственной комсомольской, партийной, дипломатической и государственной работе.

На любом посту ты работаешь, как подлинный коммунист, с присущей тебе целеустремленностью, энергией и высокой партийной ответственностью.

…Как бы далеко и высоко ни ставила тебя жизнь, ты всегда остаешься нашим близким и верным товарищем. За это мы любим тебя как родного, как брата. Подписали: Сима Торбан, Маша Мазурова, Толя Серебряков, Вия Штокман, Георгий Лейбо, Катя Крестьянцева, Алик Пешков, Гаяна Китаева, Илья Бурштейн».

Сельцо Останкино начала 30-х годов представляло собой далекую московскую окраину, до которой незадолго до нашего приезда пустили трамвай. Оно складывалось как бы из двух частей: старого Останкина, состоявшего из деревенских домов московского типа, примыкавшего к бывшим владениям графа Шереметева — в создании которого принимало участие целое

созвездие прославленных архитекторов: Дж. Кваренги, Е. Назаров, Ф. Кампорези, П. Аргунов, парку, а также нового Останкина, выросшего на пустырях между двумя проточными прудами. Новое Останкино было застроено деревянными стандартными домами. В одном из таких домов по 3-й Ново-Останкинской улице поселилась и наша семья. Под материнское крыло, в Москву, в Останкино, то собирались «в стаю» почти все братья и сестры, то разлетались кто куда. Страна строила заводы, электростанции, рудники, шахты, организовывала колхозы и совхозы, за парты усаживались и молодые, и старые. Новости об этих свершениях входили и в наш дом, непосредственно касаясь того или иного члена нашей семьи.

Старое Останкино было населено людьми, имевшими до революции, как правило, свое небольшое дело — ремесло, извоз, мелкую торговлю. Новое Останкино — преимущественно служащими различных учреждений, рабочими, строившими неподалеку инструментальный завод «Калибр». В Новом Останкине находился и большой студенческий городок со своими читальным залом, библиотекой, медпунктом, танцплощадкой, волейбольными, городошными и другими спортивными площадками. Студгородок тоже был сотворен из стандартных домов с коридорной системой. Жили в городке студенты из медицинского, геолого-разведочного, педагогического и других институтов, а ближе к началу Великой Отечественной появились слушатели высших военных учебных заведений. Студенты вносили свой колорит в жизнь Останкино, делая его население по виду и духу своему интернациональным, молодым, живущим с верой в будущее.

Успешное выполнение пятилетних планов, постепенное улучшение жизни сказывалось на настроении старших, на наших ребячьих делах. Веселее зажило все Останкино. В парке, в его дубравах, на площадках студгородка, да и просто на улицах возле домов распевали песни, сбивались в импровизированные струнные трио, квартеты, квинтеты, играли в волейбол и в домино, гуляли в дубравах и борах, купались до посинения. Часто три моих брата, Георгий, Александр и Алексей, хорошо игравшие на гитаре, мандолине и балалайке, садились во дворе нашего дома на скамеечку и играли. Собирались десятки парней, девушек. Они пели и танцевали, вокруг сидели и судачили пожилые люди, а мы, ребятишки, крутились вокруг них. Это бывало по вечерам, после работы, уже на закате солнца, и продолжалось до тех пор, пока не высыпят на небе мириады звезд — далеких, манящих. С детства осталась у меня любовь к звездному небу. В нем, где бы я ни был — у нас в Европе, в Азии,

в Африке, в Америке, в Австралии, — везде разглядывал это удивительное чудо. Смотришь в его дневную лазурь или ночную тьму и не можешь постичь его глубины. Разум отказывается проникнуть в бесконечность Вселенной. Может быть, Космос, чьим порождением ты, Человек, являешься, ставит тебе, разуму твоему заслон?! Мир конечен в своей бесконечности. Познание его идет от низшего к высшему, от простого к более сложному. Каждое новое поколение наследует знания и опыт предшественников, и уже оно само дерзает в процессе познания бесконечности Космоса, микро- и макромира, уяснения разумности своего собственного, общественного обустройства в этом бесконечно конечном мире.

О разумности, в смысле истинной достойности человека, общественного бытия и перспектив его развития в нашей стране, совсем не худо было бы глубоко и всерьез задуматься поколениям, вступившим в новый, XXI век. Особенно тем из их представителей, кто вследствие разных причин и обстоятельств и в том числе под воздействием разного рода «новых» демократов, популистов, демагогов и прочих политиканов пытается затащить народ в капиталистический «рай». История может допустить зигзаг, при котором общество, как это произошло в нашей стране, в бывших социалистических странах Восточной Европы, пойдет вспять, назад к капитализму. Однако этот исторический зигзаг со временем самим народом будет исправлен. История непременно пойдет «вперед и выше — по спирали», а ее «изготовитель» — народ в конечном счете непременно придет к социализму. Так будет! Но для этого надо быть разумным, много знать, ибо знать — значит победить.

…В 1934 году мама записала меня учеником в 6-й класс школы № 36 Дзержинского отдела народного образования г. Москвы. Школа находилась за Шереметевским дворцовым парком в деревне Марфино в трехэтажном кирпичном здании, в котором до революции и некоторое время после нее была духовная семинария.

Являясь Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза в Австралийском Союзе, я как-то поздним вечером в своей резиденции взялся за чтение только что вышедшего в свет (не помню в какой стране) на русском языке романа А.И. Солженицына «В круге первом». Каково было мое удивление, когда я понял, что действие романа разворачивается в основном в стенах нашей марфинской школы! Автор водит героев романа по коридорам, переходам, лестницам, по которым бегали мы, учащиеся, поселяет в комнаты, бывшие нашими классами. Со

страниц романа повеяло далеким близким, несмотря на трагедии, разыгрывавшиеся в этом первом круге. Жаль, конечно, что А.И. Солженицын ни словом не обмолвился о том, что в этом здании был детский дом, была школа. В ней жили, учились те, кто через несколько лет мог вместе с некоторыми из его героев быть на Великой войне. Но это, конечно, дело автора, его привязанностей.

Здание школы находилось на окраине деревни Марфино, стояло на бугре. Внизу протекала речка-ручеек Копытовка, впадавшая в верхний пруд, что перед графским дворцом. Слева было небольшое поле, а за ним лес. Здание школы окаймляли старые липы. И сейчас это место легко узнать: надо доехать на троллейбусе до остановки «Главный вход в Ботанический сад», оглядеться вокруг, и все встанет перед глазами.

В школе-детдоме жили ребята и девчата, бывшие беспризорники, а мы, ученики, приходили из Старого и Нового Останкина, из деревни Марфино и даже из Марьиной рощи и Марьиной деревни. В школе я пропадал допоздна, благо по решению педсовета я пользовался, как и некоторые другие ребята-учащиеся, бесплатным питанием. Школа была моим вторым родным домом. Она накрепко сдружила всех нас — и детдомовцев, и останкинских, и рощинских ребят, детей разных национальностей. Никогда ни в школе, ни на улице не было каких-либо недоразумений на национальной почве — мы просто не замечали, кто какой национальности, и не придавали этому никакого значения. И когда в первомайские и октябрьские праздники все мы, разноплеменные, но все в пионерских галстуках, со знаменами, под бой барабанов и фанфары шли строем от Останкинского парка по нынешнему проспекту Мира, по Сретенке до Красной площади и обратно, шли с песнями, стройными рядами, то сама Москва радовалась нам; так мне казалось тогда.

Школа № 36 Дзержинского отдела народного образования, наша школа, была прекрасна своим дружным, спаянным коллективом учащихся, самоотверженным педагогическим коллективом, старшей пионерской вожатой Валей Сарычевой — нашей ребячьей поверенной во всех бедах и радостях.

Сейчас, когда пионерские и комсомольские организации в школах развалены взрослыми дядями и тетями, хочется рассказать о том, на каких китах покоились эти массовые общественные организации, что питало их жизнедеятельность, каковы те исходные, на которых строилась вся деятельность пионерской и комсомольской организаций. Во всей школе было 18 членов ВЛКСМ. Но эти восемнадцать были ее душой, силой, ведущей и увлекающей учащихся к получению прочных знаний, к

развитию в каждом чувства коллективизма, ответственности за любое порученное дело и, конечно, честности, совестливости.

В основу всей деятельности детского коллектива, его комсомольской и пионерской организаций была положена ребячья самодеятельность. Все придумывалось, изобреталось самими ребятами — их разумом — и превращалось в дело, в действие их рук, при тактичной педагогической помощи, подсказке учителей. В школе были созданы два драмкружка, один из которых был «классического» направления, а другой, как ныне говорят, «модернистского», руководили ими на добровольных началах артисты театра Ю. Завадского, расположенного тогда в одном из переулков Сретенки. Действовал балетный кружок, занятия и котором вел хореограф из Большого театра СССР.

Работало несколько авиамодельных кружков, военно-морская секция — всего не перечесть, на любой интерес и любой вкус.

Дальние походы вместе с учителем химии Сергеем Евгеньевичем Козленко вызывали у нас дикий восторг. Военные игры иногда затягивались до захода солнца: спустится оно за горизонт, а «бойцы» из отряда «синих» продолжают гоняться за «зелеными». Так было.

Гордостью нашей школы был созданный при горячем участии учителя физики Ивана Марковича Капусты первый в Советском Союзе детский аэроклуб. Нам подарили настоящий самолет Р-5 и планер, на котором мы летали. Я был маленького роста, весил немного и часто во время полета «зависал» в воздухе, что, конечно, вызывало всеобщее веселье. А кто только не побывал в нашей школе, нашем аэроклубе: Антонов — будущий знаменитый авиаконструктор, Машковский — конструктор парашютов, Камнева — известная парашютистка, чей образ воссоздан Е. Долматовским в поэме «Добровольцы» и повторен в одноименном фильме Ю. Егорова. Бывали писатели К. Чуковский, Л. Кассиль и многие другие.

В основе комсомольской и пионерской организаций лежал также принцип ребячьего самоуправления. Все, что ни делалось в школе, управлялось самими учащимися. Вот один из примеров: пионерские лагеря оборудовались руками учащихся старших классов. Ими создавалась бригада, она заранее выезжала на место размещения лагеря и проводила всю необходимую к его открытию подготовительную работу, качество которой оценивалось специальной группой актива при участии старшей пионервожатой. В лагере продукты повару выдавал завхоз, выделенный комсомольской организацией. Обслуживали ребята сами себя по заведенному распорядку. И «привес» ребят в лагере всегда был высок, что в нашу юность считалось первейшим

критерием успеха лагерной кампании и что, наверное, правильно, учитывая тогдашнюю скудость домашних рационов. Да и в детдоме не всегда наедались. В такие «постные» дни придешь к повару и попросишь: «Дядя Коля, дай добавки». Посмотрит он и посоветует: «Приходи тридцать второго числа».

Непреложным правилом школьных общественных организаций была ответственность одного за всех и всех за одного. Ребята из старого и нового Останкино, детского дома жили дружно. Стояли друг за друга стеной, в обиду своих не давали, а нужда в этом была. Тогда одно городское поселение (Марьина роща) дралось с другим (Останкино).

Врезалось в память, как однажды поздней осенью я шел в школу, а учились, замечу, мы во вторую смену. Шел через верхний останкинский пруд, он только что замерз. Его ледяная гладь была зеркальной. При ходьбе лед звенел и немного прогибался. Не дошел я и до середины пруда, как меня догнали четверо ребят, схватили за руки, сбили с ног и стали стаскивать пионерский галстук (я тогда был председателем совета пионерской базы (дружины) школы). Избили меня, но галстук я не отдал. Вот так в драках приходилось отстаивать свою пионерскую принадлежность. Через какое-то время несколько классов из марьинорощинской школы перевели к нам в Марфино. И среди новеньких я узнал тех, кто бил меня на пруду. Рассказал я своим, как было дело, собрались и устроили им такую «баню», что с тех пор ходили по Марьиной роще в пионерских галстуках днем и ночью и никто пальцем не смел нас тронуть. С одним из марьинских ребят, Наумом Бруславским, который отдал жизнь, защищая своего командира под Одессой во время Великой Отечественной, я крепко подружился.

Все промахи, а иногда и грубые нарушения трудовой или учебной дисциплины, недостойное поведение на улице, отношение к старшим или к младшим, становились достоянием или совета пионерского отряда, базы, учкома, или комитета комсомола. То же самое, когда случались добрые дела: о них рассказывалось на пионерских сборах, комсомольских собраниях, пионерских линейках, на заседаниях педагогического коллектива, родительских собраниях. Словом, сами ребята судили-рядили.

Забота об авторитете учителя, старшего товарища была заложена в систему воспитания. Рассказы старших о пережитом, об участии в Октябрьской революции, Гражданской войне, о работе на стройках пятилеток — все это способствовало преемственности революционных, боевых, трудовых традиций первого поколения советского народа.

Большую помощь оказывали школьному коллективу во всех

его начинаниях шефы. В разное время ими были коллективы фабрики «Целлугал» — совместного советско-германского акционерного общества, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, Промышленной академии. Шефами немало было сделано по оборудованию учебных кабинетов, проведению лагерных кампаний, постановке воспитательной работы среди учащихся.

Идейно-политическое воспитание учащихся было в центре внимания учителей и учебных организаций. Помимо определенной направленности гуманитарных дисциплин проводились различного рода политбои, политконкурсы, политинформации, политвикторины, вечера вопросов и ответов, создавались политкружки. Во всех этих и других мероприятиях было немало надуманного, подражательства взрослым, что, конечно, оказывало политико-воспитательную работу. Но и в эти «казенные дела» вносился ребячий дух состязательности, увлеченности, тяги к познанию неизвестного. Яркими, незабываемыми были пионерские сборы, к которым подолгу готовились и томились в их ожидании.

Наиболее существенным в комсомольской и пионерской работе 30-х годов был ее демократизм. Мы, естественно, не знали тогда, какое великое богатство заключено в этом понятии и в его практическом жизненном содержании. Однако мы все и каждый из нас интуитивно — человек рождается свободным! — чувствовали это на первых шагах своей общественной практики, действовали свободно и открыто в интересах общего школьного, пионерского, комсомольского дела. А оно тонким ручейком вливалось в общий поток жизнедеятельности страны, исторических свершений народа.

Можно только сожалеть, что в последующие годы самодеятельные, демократические начала и другие благородные принципы работы пионерии и комсомола в школе начали подменяться подчиненностью этих организаций администрации школы, учителю. Думается, что начало этому было положено в 1935 году введением в школах должности комсорга ЦК ВЛКСМ[5]. Не стоит думать, что усилия комсорга были направлены на подавление инициативы ребят. Как бы там ни было, пока мы учились, училось наше поколение, подменить нашу ребячью самодеятельность и инициативу никому не удалось. По-прежнему голос комсомольской организации и в школе, и на педсовете был весьма весом.

Восстановление в школах детских организаций и их жизнедеятельная способность возможны лишь при воскрешении в полной мере самодеятельных начал. Именно на них, посредством

их, при всяческом развитии ребячьего самоуправления, при широчайшем и искреннем доверии к здоровым стремлениям и начинаниям учащихся вкупе с безусловным соблюдением педагогического такта в процессе формирования мировоззрения и культурных запросов учащихся можно вернуть к полнокровной жизни бывшие детские и юношеские организации, естественно, сообразуясь с условиями и требованиями современной жизни в самом широком смысле, какой можно вложить в слово «жизнь».

Это мое убеждение покоится на личном опыте, на опыте моих друзей из 10-го «А» класса школы № 279 г. Москвы. Так стала называться наша 36-я после того, как нас, учащихся, перевели в 1936–1937 учебном году в школу-новостройку в селе Алексеевской, на Церковную горку, напротив нынешней аллеи Космонавтов, где когда-то, как гласит молва, Петр I делал первую остановку по пути в Троице-Сергиев монастырь.

Понятно, что один ученик есть лишь самая маленькая частичка своего поколения, в него закладываются, передаются от других поколений те или иные качества, которые также благоприобретаются в процессе собственного формирования как личности. Он, отдельно взятый учащийся, может и не нести в себе все совокупные свойства, качества своего поколения.

Учащиеся одного, старшего класса школы — это уже группа молодых людей, определенная ячейка своего поколения, с его характерными чертами, усвоенными от предшественников и обогащенными собственной практикой.

Поэтому я просто обязан рассказать о своем 10-м «А» классе, с бывшими учениками которого я связан всю свою жизнь.

Мой родной класс! Как о тебе поведать? Не смогу! Не хватит на то способностей. Простите меня великодушно, мои милые ныне живущие соученики, да и ушедшие из жизни…

Бедность, писал Достоевский, может быть благородной, нищета всегда унизительна. В нашем классе никто не выделялся достатком. Бедность же сквозила из многих щелей. Но ее не замечали. Проходили мимо. Не стеснялись. Для нас, ребят, она не была большой помехой во взаимоотношениях с окружающим миром. Советская власть знала о нашем ребячьем положении и чем могла помогала: бесплатными завтраками, когда кому-то было особенно худо — обувью, одеждой, бесплатными поездками в пионерские лагеря и т. п. Достоевский прав. Наша бедность была благородна!.. Мы горячо любили свою Отчизну, Москву, Останкино, свою школу, свой дом. Наше отношение к родителям, к старшим и к младшим, к девчатам было уважительным. Каждый готов был выполнить общественное поручение, как бы тяжело, не

ко времени, не по вкусу оно ни было. Никто из нас не покушался на чужое. Доброта и уважение друг к другу были в наших помыслах и поступках. Благородству учили и наши прекрасные учителя. Интеллигенты-подвижники. В конечном счете интеллигент тот, кто служит своему народу по совести: творя настоящее, помнит о прошлом.

Сейчас некоторые испытывают удовольствие от того, что мажут черной краской даже самое светлое из недавнего нашего прошлого, а стало быть, и жизнь моего поколения.

Они, конечно, не знают, что, поступая таким образом, жестоко бьют людей и без того измученных множеством мерзостей сегодняшнего дня, истязают самою нравственную душу недавнего прошлого Отчизны. Но о чем они, наверное, забывают, так это о том, что снова придут смелые и честные люди, которые с уважением и любовью, с состраданием и гордостью расскажут о людях, создавших Великую державу, о моем поколении. Да, Советский Союз был Великой державой, первой попытавшейся дойти до общего добра и справедливости, и мое поколение внесло в это благородное дело свою лепту.

В нашем классе все делалось на виду у всех, с согласия всех. Мы были вольны в мыслях и в поступках. И вопреки всему смелыми вышли в самостоятельную жизнь в 1937 году, окончив школу.

Массовые репрессии 30-х годов нас не коснулись, прошли мимо. Почти. Но из жизни ушла Лена Моркова, заводила школьных игр, танцев и других забав летом на школьном дворе, а в ненастье и холод — в большом зале. Невысокого роста, красиво сложенная, с копной русых, с рыжинкой волос, усыпанная веснушками, с голубыми глазами, она, казалось, заполняла собой и своим с хрипотцой голосом всю школу. Лена одновременно и тут, и там — повсюду. Я бывал у нее дома вместе с другими ребятами. Во время чаепитий она показывала семейные фотографии. На одной из них В.И. Ленин был сфотографирован вместе с В.В. Старковым, одним из организаторов и руководителей петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», а на некоторых других кто-то из видных работников партии в первые годы после Октября 1917-го. Кто? Не помню.

В те годы прием в комсомол был строгий. Но Елену наша комсомольская организация приняла в свои ряды с радостью, и она пошла в райком, где ей отказали в членстве в ВЛКСМ. Был уже поздний вечер, когда мы с моим другом Колей Кухтиным узнали от нее о случившемся. Она не отвечала на наши вопросы, а все твердила и твердила, что происшедшего не переживет. Мы

пытались уговорить ее пойти домой. Но она внезапно побежала на трамвайную остановку. Мы за ней. И так, перескакивая с трамвая на автобус, с автобуса на трамвай, мы следом за ней добрались из далекого Останкино до центра, до Дома правительства. Почему именно до Дома правительства? Здесь мы ее перехватили, уговаривали вернуться, но она сказала, чтобы мы не волновались, возвращались в Останкино, а она пойдет в «Ударник» — шел последний сеанс. Взяла билет и вошла в кинотеатр. Домой мы не поехали, мы не могли ее покинуть в таком состоянии. Денег на билеты в кино у нас не было. Билетерша бесплатно не пустила, администратор не стал слушать наши пояснения о необходимости попасть в зал. Время шло. Мы ждали. Кончился сеанс. Двери кинотеатра заперли за последним зрителем, а Лены не было…

На следующий день Лена в школе не появилась. Обо всем случившемся мы рассказали Вале Сарычевой, старшей пионервожатой школы. Не появилась Лена в школе и на следующий день, и в последующие дни; на четвертый — ее тело всплыло около Малого Каменного моста близ Дома правительства. Почему она покончила с собой именно у Дома правительства? У кого из проживавших там она хотела вызвать сочувствие или получить поддержку, или выразить свой протест? Конец был самый крайний, на который способен пойти человек!

Хоронили Лену Моркову всей школой. Природа плакала, дождинки катились по нашим лицам и смешивались со слезами. Хоронили молча.

Поразительным во всей этой печальной истории было то, что случай самоубийства умолчали. Нас с Кухтиным никто не расспрашивал и не допрашивал. С годами, взрослея, я возвращался к потрясшему меня событию, обдумывал случившееся с Леной Морковой как профессиональный следователь-чекист и пришел к выводу, что кому-то, кто имел власть, было невыгодно провести объективное расследование по поводу самоубийства молодой, в расцвете сил и способностей девушки, всей душой любившей Советскую отчизну. Смерть Лены Морковой потрясла меня. Она побуждала к тому, чтобы быть честным и смелым и не впадать в отчаяние, в крайности, даже в самых, казалось бы, безысходных обстоятельствах. Смерть Лены взывала к справедливости против произвола.

Школа дала мне знания, привила вкус к труду и общественной работе. Научила уважать старших товарищей, ценить дружбу. Воспитала верность идеалам справедливости, добра, совестливости. Такими же делала школа и моих соучеников. Вглядываясь из настоящего в их прожитое прошлое, я

не отыщу ни одного, кто предал бы идеалы нашей юности. Таких нет!

Да пусть не посетует на меня читатель за мою, может быть, неуклюжую попытку дать хотя бы краткую характеристику некоторым моим друзьям по школе. Надеюсь, что сказанного будет достаточно, чтобы убедиться в их нравственной силе и красоте. Из таких ребят складывалось наше поколение. Ведь 10-й «А» класс 279-й московской школы был не единственный — таких, с такими красивыми юношами и девушками, было тысячи, десятки тысяч. И не только в школах… Но сначала я хочу немного рассказать о наших школьных учителях.

Учитель химии — наш классный руководитель — Сергей Евгеньевич Козленко. Для нас он был и педагогом, и старшим товарищем, и другом. Он одним из первых ушел на фронт, где и сложил свою голову. Он не страшился тяжелых обстоятельств жизни и старался воспитать нас смелыми людьми.

Из-за тяжелой болезни в годы войны, рано, в возрасте 39 лет, ушел из жизни замечательный человек, отдававший свой педагогический талант, организаторские способности сплочению школьного коллектива учитель физики Иван Маркович Капуста. И С.Е. Козленко и И.М. Капуста были настолько ревнивы в части нашего ребячьего отношения к ним, что на заседаниях педагогического совета школы их рассаживали подальше друг от друга, чтобы Козленко не «съел» Капусту.

Вера Николаевна Лукашевич — учительница русского языка и литературы, мастерски, под стать лучшим актерам, читала вслух. Каждый новый учебный год ее первый урок начинался с чтения небольшого рассказа о тяжелой людской доле и вмешательстве человека честного, сильного и торжестве, в конечном счете, правды и справедливости. В классе всегда стояла необычная тишина, на которую накладывался голос Веры Николаевны. Она читала, и по мере нарастания драматизма в рассказе нос ее краснел, из глаз начинали катиться слезы — она их не стеснялась. Не стеснялись и мы своих слез. …С какой радостью мы ходили на ее уроки литературы — уроки жизни.

…Шла Великая Отечественная. В середине лета 1944 года, перед боями на центральном участке советско-германского фронта, мне дали на пять дней отпуск. Из-под Смоленска доехал до Москвы, до своего Останкино. Отпустил у Шереметевского дворца автомобиль и пошел вдоль берега пруда. Тихо. Шагаю и всматриваюсь в родные места… Все как до войны: сверкает солнце, пышная зелень укрыла дома, на зеркальной поверхности воды плавают чайки… И все-таки было не как до войны. Во всем

чувствовались настороженность, скрытая тревога, а может, это шло от меня самого: состояние постоянного напряжения, выработанного там, на фронте, стало привычным.

Иду. Впереди медленно семенит старушка с мешком на спине. Подошел поближе, и что-то знакомое показалось мне в ее фигуре, во всем облике. Поровнялись. Смотрю — Вера Николаевна. Я, ничего не говоря, стал аккуратно снимать с ее плеч мешок. Она крепче схватилась за него, подняла на меня, «покусителя», глаза и узнала. Поставил я мешок с картошкой на землю. Обнял Веру Николаевну и пошел ее провожать домой. Рассказы, расспросы обо всех и обо всем, что было близко и дорого в довоенную пору.

Поведала Вера Николаевна и о том, что по ходатайству педагогического совета школы решением районного отдела народного образования было разрешено ознакомить троих из 10-го «А» класса — меня, Толю Серебрякова, Володю Брюханова — с вопросами, которые будут содержаться в билетах на выпускных экзаменах по немецкому языку. У каждого из нас в течение ряда лет стоял по немецкому языку круглый неуд, при положительных отметках по другим предметам. Это была новость, подтверждающая внимание и заботу, которые проявляли наши учителя к будущему своих питомцев.

…А дело было так. Накануне выпускного экзамена сидел я в комсомольской комнате и занимался какими-то делами. Заходит Василий Митрофанович — учитель немецкого языка, который вел уроки не в нашем классе, и спрашивает: «Ты готов завтра сдавать экзамен?» Отвечаю: «Нет, летом пойду куда-нибудь работать, а осенью сдам». Василий Митрофанович говорит: «Пойдем в останкинский парк, поговорить надо». В парке сели в тенечке на скамейку, достал он учебник немецкого языка, открыл в нем статью «Front zum Front». Отчеркнув первый параграф, сказал, чтобы я его выучил наизусть; помог сделать грамматический разбор фраз этого параграфа и для верности продиктовал мне все, что я должен вызубрить. Василий Митрофанович сказал также, чтобы я нашел Серебрякова и Брюханова и сообщил им, что Серебряков должен знать назубок второй параграф, а Брюханов — третий из той же статьи, что я быстро и сделал. Нашли Илью Бурштейна — знатока немецкого, он вдолбил в наши головы все, что было нужно.

Утром мы, как и весь класс, пришли на экзамен. Сидим. За столом экзаменационная комиссия. Мария Исааковна, учительница немецкого языка нашего класса, вызывает к столу, на котором стопкой сложены экзаменационные билеты, нас троих: «Месяцев, Серебряков, Брюханов». Подхожу и хочу взять

билет из середины стопки. Василий Митрофанович говорит: «Чего ты копаешься в билетах?» Я понял его «намек», засунул билет обратно в середину, взял первый сверху, а там вопросы, подсказанные мне накануне. Ответил. Получил удовлетворительную оценку. За мной следом «сдали» экзамен Толя Серебряков и Володя Брюханов.

Рассказывала Вера Николаевна, а сама была грустной. Отдал я ей на прощание свой офицерский фронтовой паек. Обнял. Она заплакала. Я пошел. В Москве других родных у меня тогда никого не было. Была Москва, Останкино…

Не помню в каком году, мы отмечали день рождения Веры Николаевны. Собралось нас, ее учеников, столько, что сидели и стояли в ее «самой большой» комнате впритык, по очереди пили чай, вспоминали школьные годы. Прощаясь, Вера Николаевна показала мне на орден Ленина, висевший на ее груди, затем положила свою руку на значок депутата Верховного Совета СССР, который был на лацкане моего пиджака, и, обняв меня, сказала: «Будь всегда похож на него!»

Наши дорогие школьные учителя прививали нам чувство глубочайшего уважения к своему народу, породившему созвездие великих людей науки, литературы, искусства, людей, которым подражали миллионы. Выделили из своей среды когорты альтруистов, пожертвовавших своим благополучием. Они, наши учителя, убеждали нас в том, что социалистический строй — это прежде всего строй справедливости, и не только социальной: вместе с ним в обществе восторжествуют красота и свобода. Низкий поклон вам, наши учителя!

…Теперь о некоторых учениках нашего 10-го «А» класса. Учился в нем тихий, застенчивый юноша — Изя Трояновский. Хороший спортсмен-лыжник. По окончании школы поступил в Московский институт геодезии и картографии. Во время финских событий добровольно ушел на фронт в лыжный батальон, бойцом. Пал смертью храбрых где-то в снегах, около «линии Маннергейма». Исаак Трояновский — первая военная утрата нашего класса.

Первая, но не последняя…

Во время Великой Отечественной войны положил на алтарь отечества свою жизнь Сергей Пузаков. Ниже среднего роста, хорошо сложенный, с живыми карими глазами. Учился он прилежно. Был добр, внимателен к товарищам. Володя Брюханов отличался спокойным, выдержанным характером. Был безотказным в разного рода школьных делах. Где сложил он свою

голову в боях с немецко-фашистскими захватчиками — неведомо. Юра Семенов, балагур и весельчак, с напускным безразличием относившийся к приобретению знаний, после окончания школы учился в Военно-инженерной академии Красной армии им. В.В. Куйбышева. Погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Наш класс любил моего друга Наума Бруславского, парня из большой семьи, жившей в деревянном домике по соседству с церковью «Нечаянной радости», что в Марьиной роще. Если бы не война, из него сформировался бы великий актер нашего времени. Еще в школьные годы его артистический талант проявлял себя и в самодеятельных спектаклях, и в сольном литературном чтении. Но судьба распорядилась так, что Наум под Одессой, в выжженной солнцем рыжей пыльной степи принял смерть, спасая командира. Какой человеческий поступок может быть выше по своей нравственной силе и красоте?! Пионерская дружина нашей 279-й школы носила имя Наума Бруславского.

О многом задумываешься, когда стоишь, склонив уже седую голову, перед врезанной в школьную стену мраморной плитой с именами павших товарищей. Память о них свята и вечна! За этими именами в сознании возникают другие образы — друзей здравствующих. Между мертвыми и живыми сразу возникают прочные связи.

Константин Симонов, чей образ и чье творчество для меня очень близки, о чем я еще скажу, нашел сочетание слов «живые» и «мертвые», которое навечно единит идущие друг за другом поколения и связывает их воедино в их общей ответственности за судьбу Родины — ее независимость, честь, свободу, процветание. Нет такой силы, которая смогла бы разорвать эти крепчайшие связи. Так думаем мы, бывшие ученики 279-й школы.

Мой милый, закадычный друг Сима (Самуил Соломонович) Торбан, с которым, как утверждают наши «биографы», мы еще в детский садик ходили вместе, взявшись за ручки, как-то сказал: «Если мы перестанем верить отцам, то останемся без роду без племени, одни в пустыне». А он человек мудрый. Сима, пожалуй, был самым красивым среди мальчишек школы. Девчата были от него без ума. Нежный, чуткий и бескорыстный в дружбе. Он в свои шестнадцать мальчишеских лет как лучший вожатый пионерского отряда был награжден Полным собранием сочинений В.И. Ленина.

…Как-то в октябрьскую непогоду возвращались мы с Симой из школы. На улице хоть глаз выколи. Во всю мочь хлестал дождь. Прохожих никого, да и время уже к одиннадцати вечера. Распрощавшись разошлись в разные стороны, по домам. Пройдя

немного, Сима сначала услышал стоны, а потом увидел лежащую на земле женщину. Она рожала. Сима поднял ее, довел до своей маленькой комнатки, в которой жил с отцом и матерью и где впритык стояли кровать, диван, столик и четыре стула. Женщина благополучно родила мальчика.

После окончания школы Сима работал, затем учился в Мосрыбвтузе, откуда, прервав учебу, добровольно ушел в действующую армию. В тяжелых боях под Ржевом был ранен, во второй раз тяжело, с последующей ампутацией ноги.

Утром одного из сентябрьских дней 1942 года мне позвонила женщина и спросила, есть ли у меня знакомый по фамилии Торбан. Я подтвердил. Она сказала, что он тяжело раненный лежит в Военной академии им. Фрунзе, где развернут госпиталь.

Сима лежал в огромной палате, очевидно бывшем лекционном зале. Когда меня подвели к нему, он спал. Его красивое лицо было неестественно розовым. Я присел у изголовья. В палате раздавались тяжелые стоны. Впервые довелось мне увидеть сразу такое количество искалеченных людей. И впервые война дыхнула на меня тяжкими людскими страданиями, непоправимой бедой моего друга-побратима. Сима проснулся. Увидел меня. Повел взглядом вниз, к своим ногам. И тут я увидел вместо ноги под одеялом пустоту. Я понял. Встал, наклонился. Поцеловал Симу. На губах моих было солоно. Сима плакал…

Жизнелюбие, стойкость, мужество взяли свое. Сима, будучи инвалидом, окончил институт, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, сочетая научную и преподавательскую деятельность с работой секретаря комитета комсомола, а затем парткома института. Был членом бюро Тимирязевского райкома КПСС Москвы. По учебникам Самуила Соломоновича Торбана учатся в техникумах и вузах. То, что совершил в жизни мой друг Торбан, достойно настоящего человека.

В нашем классе учились Вия Штокман и Толя Серебряков. С Толей я дружил неразлучно. Так же неразлучно дружил Толя с Вией. Будучи в старших классах, Толя и в снег, и в ветер провожал Вию из деревни Марфино, через всю тогдашнюю глухомань леса, прилегающего к Останкинскому парку, в село Свиблово, что за селом Ростокино. Это было далеко. Но что поделаешь, любовь пуще неволи.

Толя после окончания школы вскоре был призван в армию, проходил службу недалеко от нашей западной границы, где и встретил Великую Отечественную. Вия после начала войны как немка была выслана на лесоповал в район Хабаровска, а затем

переведена на шахту близ Караганды.

Кончилась война. Толя демобилизовался и начал разыскивать Вию. Нашел ее в середине 50-х годов. По просьбе Толи я, будучи секретарем ЦК ВЛКСМ, обратился к Генеральному прокурору Союза ССР Р.А. Руденко с просьбой разрешить Ливии Александровне Штокман вернуться в Москву. Роман Андреевич выслушал мой рассказ о любви двух сердец, разлученных войной, помог Вие возвратиться в Москву. Вскоре Вия стала носить фамилию Серебрякова.

Война и ссылка не ожесточили моих друзей, не сломили их характеры, а лишь отточили и закалили в них подлинно доброе, человеческое. Толя, несмотря на пенсионный возраст, долго работал, возглавляя большой коллектив. Светлая ему память! Вия на пенсии.

Нашли друг друга после различных перипетий судьбы еще два наших ученика — Катя Крестьянцева и Алик Панков. Катя — это наша «мамочка», обо всех проявлявшая заботу, приходившая на помощь в трудное время. Алик Панков в школе увлекался физикой и химией. Был вдумчивым и рассудительным. Учился он отлично. Став со временем доктором химических наук, полковником, руководил важными исследованиями. Алексей Кузьмич Панков и Екатерина Федоровна Паньшина (Крестьянцева) часто собирали нас, своих школьных друзей, под свое крылышко.

В большую науку пошел и Илья Бурштейн, которому учителя, называя «бездельником», ставили наивысшие оценки. Будучи доктором технических наук, профессором, он занимался научными изысканиями в области высоких энергий.

Внес свой вклад в развитие отечественной авиации и Вася Лебедев, который в школе был чемпионом по авиационному моделированию. Вася (Василий Иванович) мне очень близок своей скромностью, искренним товариществом, теплотой по отношению к людям. Мы с ним вместе немало поработали в разных пионерских лагерях во время студенческих каникул. При всей «застенчивости» Вася никогда не предавал своих убеждений, защищал их право на жизнь.

Умела отстоять свои взгляды и Лиля (Людмила Николаевна) Бабкина — мой верный друг и партнерша по драмкружку. Наша троица — Лиля, Наум Бруславский и я — в водевиле А.П. Чехова «Предложение» гремели по всему району, да что там району… В каких только залах нам не рукоплескали! Лиля любила литературу и стала ее преподавателем в московских и зарубежных высших учебных заведениях. Сколько незабвенных вечеров наша троица провела в останкинских дубравах! Сколько

было переговорено, какие только планы не выстраивались в неокрепших в ту пору умах и восторженных душах!

…Летний погожий вечер. Солнце уже скрылось за горизонтом. Все вокруг замирает. Становится тихо. И в этой тишине откуда-то издали льется в своей необъятной широте русская мелодия. Лиля просвещала нас, давая свое толкование музыкальным произведениям. Она серьезно увлекалась музыкой. К слову сказать, Лиля — родная тетка Зои и Александра Космодемьянских, Героев Советского Союза, хотя об этом я ни разу не слышал из ее уст.

Девчата нашего класса — Клава (Клавдия Владимировна) Лясина, Мила (Людмила Дмитриевна) Жмотова — были очень симпатичные. И потому, наверное, быстро выскочили замуж, но, как и все остальные, не покидали наши классные ряды.

Староста нашего 10-го «А» класса Гоша (Игорь Анатольевич) Лейбо — добрый, милый человек, нередко с напускной строгостью на лице. Он был нашим надежным громоотводом — разного рода недозволенные шалости, совершаемые кем-то из нас, он брал на себя, пытался по-хорошему спасти виновника. Гоша любил и знал литературу, имел свои взгляды на литературные произведения. Будучи от природы остроумным человеком, он не щадил никого из нас в своих шутках. Гоша прошел всю войну. За мужество и отвагу отмечен высокими наградами. Мне порой кажется, что Гога — так любя мы его звали, — именно он, сам не замечая того, делал огромное дело: пестовал наш коллектив, сплачивал его, воспитывал в каждом из нас благородное чувство товарищества.

Может быть, никто не вложил в нас свою душу так, как это делала Маша (Мария Семеновна) Мазурова, пионерская вожатая нашего отряда в течение ряда лет. Она училась на два класса старше, чем мы. Жила тоже в Останкино, между его старой и новой частью, ближе к Марьиной роще. Вспоминая прошлое, я разглядываю в Маше те черты, которые должны быть присущи воспитателю пионерии: ребячий задор и здравость мысли, искренность и совестливость, безупречная порядочность, страстность в борьбе, именно в борьбе за справедливость, против пакостей и гадостей, встречающихся на жизненном пути.

Когда немецко-фашистские войска стали приближаться к Москве, Машу под именем Елены Князевой оставили в городе для проведения подпольной работы. И после войны Мария Семеновна была тесно связана с воспитательной работой, будучи старшей пионервожатой школы, инструктором МГК ВЛКСМ. С нами дружили подруги Маши по школе — Гаяна Китаева, Люся Баланина, Валя Киреева, Ира Остроумова, — они тоже хорошие

люди.

Вдумаемся: из нашего 10-го «А» класса советская власть создала возможность состояться в жизни двум профессорам, докторам наук, трем кандидатам наук, конструктору вертолетов, двум организаторам производства, врачу и так далее — какой интеллектуальный потенциал только одного класса! А ведь это обычный класс предвоенной средней школы! А каков интеллектуальный потенциал целого поколения! А если бы оно, наше поколение, в своей большей части не было выкошено кровавой войной?! Может быть, история Отечества не была бы столь несуразна, как сегодня? Несомненно!

Ежегодно, в первую субботу после Дня Победы, мы — одноклассники — собирались в своей школе, что на Церковной горке. Там нас ждали… Мы были желанны. Хотя мы гораздо старше нынешних учителей, а учащиеся — под стать нашим внукам, даже правнукам. Но это никого не смущало. В своей школе мы как бы равны. Царила торжественная приподнятость. Ребята слушали наши рассказы о былом, читали нам стихи, пели песни. Но уже другие. У каждого поколения свои песни. По просьбе пели и «наши» песни. Слушаешь, а горло перехватывает от волнения, на глаза набегают слезы. Это песни военных лет. Они не уйдут из жизни вместе с нами. Будут жить вечно. Создателями таких песен стали творцы моего поколения, хорошо мне знакомые.

После встречи в школе шли к кому-нибудь на чаепитие. Сидели, вспоминали. Каждая такая встреча с «мальчиками» и «девочками» из далекого 10-го «А», а ныне бабушками и дедушками, становилась для меня, давно уже убеленного сединами, чистым источником радости, счастья, гордости. Радости — потому, что люди моего поколения продолжают жить; счастья — ибо я им нужен, как и они мне; гордости — потому, что они, мои верные друзья, не свернули с избранного пути даже на самых крутых поворотах истории, на ее изломах.

Когда я встречаюсь с одноклассниками, то снова и снова глубоко осознаю, что в жизни нет ничего более важного, чем чувствовать рядом с собой верных друзей. Без их сочувствия, поддержки, участия, сопричастности я, наверное, не был бы таким, какой есть, и вряд ли дожил бы до своих седин. Все мои друзья по школе, по институту, службе в армии и по работе — из моего поколения, которое поднялось до высочайших нравственных высот и не опустилось с них в болото мещанской обывательщины.

Присмотримся к поколению, которое идет следом за

поколением, свершившим Великую Октябрьскую социалистическую революцию, отстоявшим ее в боях с белогвардейцами и интервентами, а затем поднявшим страну к новой жизни. Вглядимся в это поколение. Это поколение, к которому принадлежу и я. Назовем его вторым поколением в череде других идущих после революции 1917 года.

На долю второго поколения тоже выпала война — война тяжкая, с неописуемыми трагедиями поражений и радостями победы, со слезами на глазах, как поется в песне. Война Отечественная и потому Великая. К сожалению, в нашей исторической науке, да и в целом в обществоведении до сих пор не раскрыты во всей глубине смысл и содержание, которое народ дважды вложил в это благородное по своему духу и смыслу понятие — в 1812 году и в 1941 году, в разные исторические эпохи. В обоих случаях на священную войну поднялся весь Народ, все Отечество встало на защиту чести, свободы и независимости своей Родины.

Второе поколение с молоком матери, под еще свежие, не затасканные в словоблудии идеи свободы, равенства, братства всех угнетенных и обездоленных, под могучие призывы к пролетариям всех стран объединяться в боевые когорты на штурм мира насилия и эксплуатации усваивало эти идеи и призывы. Отцы и старшие братья из первого поколения поднимали нас, из второго поколения, на свои руки, сажали на свои плечи, несли на маевки, туда, где славили Октябрь, дабы мы впитали их революционные порывы. Отцы и матери строили для нас школы, стадионы, показывали нам творения разума и рук своих: Днепрогэс, Магнитку, «Калибр», «Шарикоподшипник», раздолье полей, с которых была стерта чересполосица. Мы, из второго поколения, учились и взрослели, гордились деяниями старших.

В эти юношеские годы мы вбирали в себя бескорыстие старших, их альтруизм, мужество и отвагу в борьбе с трудностями. Они были коллективистами и ничего не боялись. Мы тоже хотели быть бесстрашными!

На уроках, на пионерских сборах и комсомольских собраниях мы ничего не говорили о неведомых нам (разве только из книг) стяжательстве, карьеризме, коррупции и тому подобном. Они были нам неизвестны, может быть потому, что этими недугами не страдали в ту пору старшие. Мещанство нас беспокоило. Но не потому, что кто-то носит галстук, шляпу или ходит в начищенных ботинках (а именно такой подход был в известной мере присущ первому поколению)… Мещанство мы усматривали прежде всего в индивидуализме, личном эгоизме, аполитичности.

С переходом из класса в класс мы взрослели. Мужание

сказывалось в нарастании чувства ответственности за судьбу страны. Мы уже знали, как собиралась воедино Земля русская, российская, оценивали деяния Ивана III, Ивана Грозного, Петра I. Были немало наслышаны о том, как Русь защищала Запад от накатов орд степняков в воротах между Уральским хребтом и Каспием… Осознавалась нами и роль Октябрьского переворота в сохранении многонационального Российского государства как единого целого от всех тех, кто лелеял (и лелеет сейчас) мечту о расчленении страны на части, низведении ее до третьестепенной державы тогдашними (и новоявленными) воротилами миропорядка.

И потому защита нашего социалистического отечества, находящегося в капиталистическом окружении, не была лозунговым пустячком. Наш юношеский разум уже тогда, в школьные годы, понимал, что выстоять в этом окружении Родина может только при одном и непременном условии — быть единой, ибо в единстве сила. Как хотелось бы, чтобы сегодняшние наши сверстники по далеким прошлым школьным годам поднялись все как один на защиту единства отечества! Разве не очевидно, что идеологи и политики Запада спят и видят желаемое — убрать с исторической сцены нашу отчизну как единое многонациональное государство? Поколения, идущие за нами, призваны, обязаны мыслить в широких исторических масштабах, учитывать опыт прошлого, не поддаваться на подстрекательские призывы политиканов, прикрывающихся разговорами о суверенитете. Чувство патриотизма, преемственность исторических свершений всех предшествующих нынешнему поколений — вот то средство, которое может уберечь родину от дальнейшего развала.

В научной литературе понятие «поколение» употребляется в демографии, биологии, социологии и истории. В исторических исследованиях, а также изысканиях в области культуры понятие «поколение» имеет обычно символический смысл и связывается не столько с одновременностью рождения, сколько с общезначимыми переживаниями людей, ставших участниками важных исторических событий или объединяемых общностью интеллектуальных ориентаций, настроений и тому подобным.

Мое поколение занимает особое место в новейшей истории отечества. Оно вошло в жизнь вслед за поколением Великой Октябрьской социалистической революции. Было свидетелем коренных преобразований в стране — индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, ликвидации неграмотности и взлета культуры народов многонационального государства. Родина заботилась о здоровье, образовании,

социальной защищенности моего поколения, его подготовленности к вступлению в жизнь в качестве субъекта исторического процесса, продолжателя дела первого поколения советских людей, поколения, способного внести свой вклад в мировую цивилизацию.

По зову своего разума и сердца миллионы юношей и девушек встали в годы Великой Отечественной войны на защиту своей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Они вместе со своими отцами, старшими братьями и сестрами в небывалой до тех времен кровопролитной, тяжкой, полной трагизма и радостей победе отстояли честь и независимость Родины, приняли участие в разгроме японского милитаризма, освободили многие народы Европы и Азии от коричневой чумы и чужеземных захватчиков, вместе со своими союзниками спасли мировую цивилизацию, внеся в это историческое свершение решающий вклад.

Но, как никакое другое поколение, оно оставило на полях сражений большую свою часть. И потому мое поколение называют «вырубленным поколением».

После Великой войны оно вместе со всем многонациональным народом за пять лет подняло страну из пепла и развалин, достигнув предвоенного уровня производства.

Быстро повзрослев в огне фронтовых будней, закалив свой характер и приобретя свои взгляды на жизнь, оно в мирное время набирало опыт.

Жизнь продолжала учить. Вторая половина XX века стала временем возникновения мировой системы социализма, распада колониальной системы империализма.

Мое поколение вместе со всем человечеством стало свидетелем и участником фантастических научных открытий и технических достижений. Высвобождение атомной энергии и первый человек в космосе, затем на Луне, исследования Марса, Венеры, Сатурна. Кибернетика. Компьютер и создание искусственного интеллекта. Генетика. Бионика. Преодоление многих болезней.

Научно-техническая революция подвинула человечество к современным технологиям, к резкому скачку производительности труда, к изменению роли человека в производстве. Новое в науке, в технике, в производстве диктовало необходимость внесения структурных изменений в общую социально-политическую практику людей.

Мы видели новизну времени, осознавали необходимость глубоких перемен, тем более что в США, Японии, Франции, Германии, Италии и в некоторых других странах Запада нарастал процесс широкого внедрения достижений научно-технической

революции в хозяйственную практику, и на этой основе развивалась тенденция отрыва от Советского Союза и других социалистических стран в экономическом развитии. А в СССР с конца 60-х годов обозначился процесс стабилизации в экономической и общественной жизни.

Дряхлеющее высшее руководство во главе с Л.И. Брежневым выбило из руководящих партийных и советских органов представителей моего поколения, спасая себя от утраты власти ввиду нарастающей угрозы дальнейшего отставания от промышленно развитых стран Запада. К этому времени стало ясно, что стоящие у власти перешагнули через наше поколение, не дали ему внести изменения в социально-политическую жизнь страны.

К руководству пришли люди третьего и сразу же четвертого поколения, которые привели СССР к развалу, а социалистическую общественную систему к слому. Они повернули страну на путь регресса.

И это не всё. Мы являемся свидетелями того, что Человеческий гений «победил» силы природы. Нарастает экологический кризис, разрушается биосфера. Развернулась пока прикрытая пропагандистской завесой острейшая борьба за сырьевые богатства планеты и в том числе нашей России. Уже сейчас основное потребление природных ресурсов приходится на долю развитых стран. На долю же развивающихся стран приходится всего одна треть общемировой продукции, хотя проживает в них три четверти населения планеты. Каждый ребенок, родившийся в развитой части мира, потребляет за свою жизнь в 20–30 раз больше ресурсов планеты, чем ребенок из неразвитой страны. Выход из этой величайшей несправедливости в социально-плановом распределении.

Мое поколение за эти годы постарело и, наверное, превратилось из активных участников исторического процесса в сторонних наблюдателей.

Но все это произойдет позже, после того как захлопнутся за спиной двери школы и пройдет полстолетия, о чем я и попытаюсь рассказать в своих воспоминаниях.

…К концу десятого класса я уже многое понимал — учила школа, учила жизнь. Неизбежно вставал вопрос: что дальше, идти работать или продолжать учиться? Конечно, хотелось продолжать образование, но пора было (уже не маленький — почти 17 лет) взвалить на свои плечи содержание матери и младшей сестры Лидии, освободив от этих забот своих старших братьев и сестру — каждый из них понемногу помогал, а с каждого по нитке —

голому рубаха. И потому я решил после окончания школы поступать в Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбышева, что в Москве на Покровском бульваре; стипендия там была высокая, прожить на нее семье было вполне возможно. В этом случае мать могла бы бросить работу уборщицы, о чем я давно мечтал.

Прошли выпускные экзамены. Школа опустела. В коридорах и классах было гулко. Готовясь к выпускному вечеру, крутили в пионерской комнате пластинки с любимыми мелодиями: «Дождь идет», «Брызги шампанского», «Цыган». До упаду танцевали танго, оно позволяло быть ближе к партнерше — природа, наверное, брала свое. У каждого из нас, ребят и девчат, были свои привязанности. Они были чистыми, платоническими.

Выпускной вечер прошел торжественно-грустно. Учителями были сказаны прощальные слова. Вера Николаевна сквозь слезы напомнила нам слова из «Мертвых душ» Гоголя: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом». Горячо благодарили и мы своих наставников. Понемножку выпили бывшего тогда в моде портвейна «Три семерки». Пели полюбившиеся песни. Танцевали. Разбредались по группкам и снова собирались вместе за столом. В последний раз зашли в свой класс, сели на свои насиженные места, но уже никто из учителей никого из нас к доске не вызывал. Также в последний раз мы всем классом вышли на улицу.

Стояла белесая июньская ночь. Она накрыла собой и сосновый бор с прудом, и домишки, стоявшие под горой, и возвышающуюся над ними церковь. Не помню почему, но мы пошли к церкви. Там, за ее оградой, были захоронены незнакомые нам люди с незнакомыми фамилиями. Говорить не хотелось. Обняв друг друга, мы группками разбрелись. Помню, у меня было ощущение, что в этой белесой ночи все вокруг куда-то плывет.

…Уплывали из школы в большую неизведанную жизнь и мы, уже бывшие ученики 10-го «А» класса.

Прощай, родная школа! Ты воистину была моим вторым домом. Подарила мне счастливые, полные жизнедеятельности отрочество и юность, ввела в молодость. Ты, школа, привила мне смелость. И нет у меня страха перед неизбежными невзгодами и тяготами. Я с уверенностью вступаю в самостоятельную жизнь. Знаю, что советская власть не дала мне, как и тысячам тысяч других ребят, погибнуть под забором, не стать, как пелось в песне беспризорника, «позабытым, позаброшенным с молодых, юных лет». Верю, что она, советская власть, открывает передо мной,

сыном людей труда — цементника и уборщицы, — в последующей жизни ясную перспективу. Я был счастлив в свои неполные 17 лет. Так думалось мне, когда я окончил среднюю школу.

Глава II
ВЕТРЫ ЮНОСТИ

Лета 1937 года я не заметил. Прокатилось оно мимо меня, сидевшего за книгами. К подготовке к вступительным экзаменам отнесся я серьезно. Когда носил свои документы в приемную комиссию Военно-инженерной академии им. Куйбышева, то был поражен размерами ее аудиторий, лабораторий, лекционных залов, широченных коридоров. Полковник, председатель приемной комиссии, знакомивший абитуриентов с академией — одним из старейших в России военных учебных заведений, — говорил тихо, внятно, тоном лектора. Она ведет свою историю от Главного инженерного училища, основанного в Петербурге в 1819 году и преобразованного в 1855 году в Николаевскую инженерную академию. С 1932 года — в Москве. Из ее стен вышли многие крупные военные деятели и ученые. Поступить в академию было лестно — профессия военного была в те годы в большой чести. К тому же я был бы одет, обут, сыт, содержал бы мать и сестренку. Да и ездить от дома из Останкино до Покровского бульвара, где находилась академия, мне было сподручно.

Наступили экзамены. Первым из них была письменная математика. Написал. Следующий — математика устная. Экзаменатор предложил задачу. Я решил. Он посмотрел и спросил: «Ты из Москвы в Ленинград поедешь через Владивосток?» Ответил: «Нет, напрямую». «А задачи решаешь объездным манером», — и вкатил двойку. Пошел в приемную комиссию за своими документами. Уже знакомый мне полковник долго уговаривал меня поступить в Военно-инженерное училище без экзаменов, а академия-де не уйдет…

Документы я забрал. Вышел на бульвар и увидел доску объявлений о продолжающемся приеме абитуриентов в ряд московских вузов. Среди них значился и Московский юридический институт, что на улице Герцена[6], куда, как я быстро сообразил, тоже было удобно трамваем добираться от дома.

Конечно, провал поступления в академию развеял все мои грезы. Но я не пришел в уныние, может быть потому, что знал: редко, когда выпускник десятого класса попадает в высшее военное учебное заведение, туда принимают преимущественно из числа действующего командного состава. Не упал я духом еще и потому, что большее влечение у меня было к гуманитарным

наукам, а юридическое образование дает, как известно, весьма широкую подготовку в различных отраслях знаний. Что же касается содержания матери и сестренки, то я надеялся, что смогу подрабатывать во время учебы.

Приехал я в юридический институт. Сдал документы, получил на руки расписание приема экзаменов, за четыре дня сдал все, что было положено, и был зачислен студентом первого курса Московского юридического института.

Все государственные мужи выходили, как правило, из юристов. А почему бы не рискнуть?! — думал я. Но это не все. К тому времени у меня была и некоторая юридическая практика.

…Летом и зимой вся наша классная ватага проводила время в Останкинском парке. Летом — на волейбольных площадках, на прудах, в парковых дубравах. Зимой — на катке. Во время одного из посещений катка зимой 1936–1937 гг. у меня в раздевалке пропали ботинки с калошами. Калоши были сравнительно новые, а ботинки все в дырах, держались на ногах на честном слове. В связи с пропажей около гардероба собрались друзья. Думали-рядили: что делать? Помогла своим советом гардеробщица: «Подайте в суд!» Мы ухватились за эту подсказку. Долго ли коротко ли, я по всем правилам юриспруденции при помощи народного судьи оформил гражданский иск. В назначенный день и час рассмотрения моего иска в суде в зале заседаний собрались мои приятели, которые в ходе судебного разбирательства, выступая в качестве свидетелей, так расписали мои ботинки с калошами, что я по суду получил за них баснословную по тем временам сумму, часть которой потратил на покупку себе модных тогда ботинок на каучуковой подошве, а остальные деньги отдал маме.

Первого сентября 1937 года в малом лекционном зале института я сидел и слушал первую лекцию по курсу «Общая теория государства и права». Читал ее профессор Стальевич. Единственное, что я понял из лекции, это то, что теория государства и права «запутана врагами народа сознательно и бессознательно». Как можно запутать ту или иную проблему или вопрос «сознательно», я мог себе представить, а вот как запутать «бессознательно» — был не в состоянии. Самым главным действующим лицом среди врагов народа из числа юристов был, оказывается, Пашуканис, за ним следовал Стучка, а уже потом и другие (Е.Б. Пашуканис и П.И. Стучка впоследствии были реабилитированы и занимают ныне свое достойное место в ряду других видных советских юристов).

Большой лекционный зал нашего института носил имя

тогдашнего Генерального прокурора СССР А.Я. Вышинского. В этом зале в канун двадцатилетия Великой Октябрьской социалистической революции с докладом-воспоминаниями выступал Н.В. Крыленко, член партии большевиков с 1904 года, член первого Совета Народных Комиссаров, Верховный главнокомандующий и нарком — член Комитета по военно-морским делам, нарком юстиции РСФСР (а с 1936 года — СССР), автор многих научных трудов. Зал был набит до отказа. Никогда до этого я не думал, что один человек своим выступлением так может объединить людей, сплотить их в единый монолитный коллектив, зажечь сердца слушателей чистотой, возвышенностью революционных идей от своего пламенного сердца. Небольшого роста, в поношенном костюме, почти совершенно лысый человек негромким голосом просто и ясно говорил нам, студентам, каким должен быть советский юрист. Ушел я с этого первого в моей жизни студенческого вечера с твердым обещанием самому себе — стать настоящим юристом, помогающим людям в беде.

Несколько дней спустя стало известно, что Николай Васильевич Крыленко арестован как враг народа.

Чему верить? Тому, кто с юных лет боролся за народное счастье, не щадя самого себя, кто так искренне и по-юношески пылко ратовал за Советскую власть?! Или тому, что, если арестован как враг народа, стало быть, так оно и есть?! И в этом аресте вся правда?! В голове пробудились сомнения. И, конечно, не только у меня. Однако эти сомнения тонули в большом хоре поддержки несомненной «правильности» подобных арестов, глушились тем объективно происходящим в стране улучшением условий жизни людей, что я ощущал, знал на примере своей семьи и что находило отражение в различных жанрах искусства — кинофильмах, спектаклях, музыке, живописи и так далее.

В пору массовых арестов в институте состоялось несколько общих комсомольских собраний, на которых ставился вопрос: оставлять того или иного сына или дочь «врага народа» в комсомоле или исключать из его рядов? Некоторые собрания продолжались несколько вечеров. Проходили они в острых спорах и дебатах. Я не помню ни одного случая, чтобы комсомольская организация исключила кого-либо из рядов ВЛКСМ по подобному поводу. Единодушно принимаемые решения укрепляли веру в возможность достижения справедливости коллективными действиями.

Думаю, что это свидетельствовало о зрелости организации, которая формировала в нас тем самым самостоятельность, мужество, веру в торжество справедливости.

На нашем курсе учились студенты разных возрастов — от

недавних выпускников десятых классов до отцов семейств. Учились серьезно, с увлечением. Многие начали потихоньку определяться с будущей профессией, кем быть: адвокатом, судьей, прокурором, нотариусом, юрисконсультом, государственным служащим?

В какую сферу юриспруденции направить свои стопы, я не очень-то раздумывал. Наверное потому, что еще мало знал. Но занимался я прилежно — за книгами просиживал подолгу, чаще в библиотеке института, реже дома. Помимо рекомендуемой юридической литературы я продолжил свое школьное увлечение — ознакомление с историей отечественной революционной мысли и революционной практики. Меня интересовали декабристы и разночинцы, герои «Народной воли» и первые российские социал-демократы, волновало все, что относилось к истории большевистской партии, к ее предшественникам. Посещал я и научный кружок по истории политических учений.

Уже на втором курсе мы ходили на защиту диссертационных работ различных ученых степеней. Хорошо запомнилась мне защита докторской диссертации М.А. Аржановым в Институте права Академии наук СССР. (Михаил Александрович Аржанов, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Академии наук СССР, станет моим научным руководителем в Академии общественных наук при ЦК КПСС.) Помню я ее по двум обстоятельствам: во-первых, потому, что диссертация была посвящена анализу сущности германского фашизма, проблеме, волновавшей миллионы советских людей, а во-вторых, потому что официальным оппонентом по диссертации выступал Генеральный прокурор Союза ССР А.Я. Вышинский. Мне было интересно узнать, каков же собой Генеральный прокурор. Сравнить его с понравившимся мне «врагом народа» Крыленко.

Вышинский — среднего роста, хорошо сложенный, с округлым с правильными чертами лицом, в очках, подвижный — производил внешне впечатление больше ученого, чем прокурора. Его речь лилась плавно, как давно заученная. Говорил так, словно отвешивал слушающим им полагающееся, но не более того.

Я слушал Вышинского и все время сравнивал его с Крыленко. Слеплены они были из разного теста, замешены на разных дрожжах. Ощущение было такое, что речь Крыленко шла от его внутренней сущности, убежденности, что усиливало ее содержательную и эмоциональную сторону. Речь Вышинского напоминала чтение лектора, с хорошо поставленным голосом, строгая логика, но казенная. Может быть, такое впечатление создавалось самой темой докторской диссертации и той академической средой, в которой проходила ее защита. Может

быть, впечатление от Генерального прокурора обуславливалось и тем, что я не разделял выдвинутую Вышинским концепцию: признание обвиняемого является «царицей доказательств». Эта концепция обосновывала произвол следователя по отношению к подследственному, выбивала из рук прокурора, адвоката, суда возможность требовать доказательств невиновности подследственного, как то предполагает презумпция невиновности обвиняемого, чему учил и на чем настаивал Н.В. Крыленко.

Когда я работал во Всесоюзном обществе «Знание», мне часто рассказывала о своем отце Марина Николаевна Крыленко, много сделавшая для восстановления его светлого имени — большевика-ленинца.

Комсомольская и особенно профсоюзная организация института проявляли заботу о том, чтобы постоянно расширять кругозор студенчества, повышать культурный уровень. Мы, студенты, пользовались невесть как доставаемыми бесплатными билетами и контрамарками на концерты и спектакли к нашим соседям — в консерваторию, в театры — Революции, Камерный, им. Вахтангова, во МХАТ. Любили ходить в Колонный зал Дома союзов, на концерты, проводимые специально для московского студенчества, в которых участвовали лучшие артисты страны: Степанова, Обухова, Козловский, Лемешев, Ойстрах, Гилельс, Тарасова, Коонен, Москвин, Качалов, Хенкин — всех не перечесть. Не будет преувеличением, если скажу, что ни одно крупное художественное явление в жизни столицы — будь то новый спектакль или выставка — не проходило мимо нас.

Вспоминается один забавный случай из моего тогдашнего знакомства с представителями мира большого искусства. Во время выборов в Верховный Совет СССР я был делегирован институтской комсомольской организацией в заместители председателя участковой избирательной комиссии, а моим председателем стал выдвиженец Московской консерватории Давид Федорович Ойстрах. Как-то сидим мы, от текущих дел отстранясь, он и спрашивает, глядя на меня: «Коля, ты, наверное, на чем-нибудь хорошо играешь?» — «А почему вы так думаете?» — «Потому, что у тебя идеальная ушная раковина». — «Нет, ни на чем не играю». — «Не может быть!» — «Я действительно ни на чем не играю», — к немалому своему сожалению, заключил я.

С первого курса я стал получать стипендию. Со второго начал подрабатывать — вести политкружок в кондитерской, что в Столешниковом переулке. Не знаю, как сейчас, а в те времена при кондитерской была своя пекарня, в которой пекли удивительно

вкусные пирожные, торты и прочее, славящиеся на всю Москву. Занятия проводил раз в неделю. Приходил к обеденному перерыву в кабинет к директору, которого тоже звали Николаем Николаевичем. Мой тезка вызывал кого-нибудь и говорил ему, чтобы занес какао или чаю, а к ним пирожных и других вкусных изделий. Ставил передо мной тарелку со всеми этими яствами. На пустой студенческий желудок я быстро их уминал, а затем проводил здесь же, в директорской комнате, политзанятия. Работницы и работники кондитерской были как на подбор, словно только что выпечены: свежие, румяные, пышные. Однажды Николай Николаевич говорит мне: «Привел бы ты, Коля, кого-нибудь из своих приятелей с собой, к нам. Хочу посмотреть и на других студентов». Я и привел, аж пять человек. Тезке деваться было некуда, и он нас всех накормил, как говорится, до отвала. Но я понял, что такой гурьбой наваливаться на Николая Николаевича негоже.

Много времени у меня уходило на комсомольскую работу. Избирался я комсоргом в нашей академической группе, заместителем секретаря бюро курса. Комсомольская организация сложилась сразу в дружный коллектив, с развитым чувством взаимопомощи и поддержки друг друга во всех добрых делах и всякого рода студенческих забавах: никто из нас не пижонил, не выпендривался. Так было в стенах института и в общежитии.

Мне кажется, что ко всем делам, чем жила комсомольская организация, все мы относились с уважением и ответственностью. Эта ответственность порождалась демократичностью молодежного союза: все, что делалось в комсомольской организации, шло преимущественно от самих ее членов, их желаний, стремлений, увлечений, потребностей и запросов — от их самодеятельности. Именно из этого вырастала и на этом покоилась ответственность всех и каждого за дела своей комсомольской организации. Конечно, наша комсомольская организация жила также и интересами районной, городской организаций ВЛКСМ и всего Союза молодежи в целом. Рекомендации, шедшие «сверху», не ломали нашу инициативу.

Не потому ли с таким товарищеским пристрастием шел отбор из своей собственной среды вожаков, способных в силу своего ума организаторских навыков, искреннего участия в судьбах других повести за собой комсомольскую организацию — группы ли, всего ли курса института.

Пройдут годы — многие лета, и я до конца осознаю, какие прекрасные люди учились со мной на курсе: Юра Менушкин, Лена Шорина, Сережа Дроздов, Володя Шафир, Алексей Ковалев,

Юля Данкова, Леонид Ростовцев — да всех и не перечислить. Многие уже ушли из жизни, оставив в ней свой неугасимый свет душевной красоты.

Однажды Владимир Шафир — заведующий одной из московских юридических консультаций во Всеволожском переулке, что между Пречистенкой и Остоженкой, — собрал всех нас, однокурсников, оставшихся на этой бренной земле, всего четырнадцать человек, а было… Странное чувство испытывал я, всматриваясь в лица институтских друзей: сквозь седины и морщины проступала былая молодость…

Верховодил нами, старушками и старичками, Владимир Шафир — с круглой головой, большим открытым лбом, с по-прежнему живыми карими глазами и полными губами, над которыми сидит почти римский нос; фигура стала грузной, сутуловатой, наверное, от тяжести прожитого, ведь он увенчан многими орденами и медалями за участие в боях на советско-германском фронте, которые просто так не давались. Да и после — сколько добра он принес людям как адвокат. Лена Шорина, доктор юридических наук, с таким же, как и в юности звонким голосом и русыми посеребренными волосами. Саша Ковалев, прошедший муки немецкого плена, но не согнувшийся под его тяготами, сохранил свою честь, достоинство и чуткость к людям. О каждом можно писать книгу… Каждая человеческая судьба — роман поколения победителей.

В сентябре 1939 года я был принят кандидатом в члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). К этой высокой чести я стремился с тех пор, как узнал, что такое партия Ленина. Но, конечно, не только чести. Мне хотелось в рядах партии коммунистов прикоснуться к ее коллективному уму, учиться у нее совести, без которой немыслимо созидание народного счастья. К тому времени я уже хорошо понимал, что народное счастье это не абстракция, а счастье отдельно взятого человека — моей матери, сестренки, братьев, друзей и их родителей, товарищей по институту, всех, кто ездит со мной в трамвае, метро, живет в одном доме, в Москве, во всей нашей необъятной стране. Так я понимал тогда. И не я один. Впереди нас, нашего поколения, шло поколение первых борцов за народное счастье, с их жертвенностью, альтруизмом ради осуществления этой самой великой цели на земле. Для молодых коммунистов тех лет революционный романтизм окрашивал собой многие явления действительности. Естественно, что это было присуще и коммунистическому союзу молодежи. А разве без революционного романтизма может жить и действовать

коммунистическая юношеская организация?! Романтизм заложен в природе юности…

Авторитет комсомольской организации института был высок и в нашем районе Красной Пресни, и среди всей комсомолии Москвы.

Надо заметить, что ни в школе, ни в институте я не чувствовал какого-либо администрирования со стороны партийных организаций, хотя их влияние ощущалось постоянно. В школе — потому что коммунисты-педагоги в силу своей профессиональной подготовки понимали, что администрирование — это бич самодеятельных начал, без которых не может нормально жить детский, юношеский коллектив. В институте парторг нашего курса был гораздо старше нас, опытнее, и мы прислушивались к его советам, как к советам старшего, потому что они были разумными, полезными. Не докучал и общеинститутский партком. Комсомольская организация института действовала вполне самостоятельно, осознавая, что придет время, и все мы — студенты — станем частицей советской интеллигенции, тем ее отрядом, который призван судить людей, себе подобных. На белом свете издревле существуют три профессии: учить, лечить и судить. Говорят, и справедливо, что это самые благородные профессии, а потому требующие высокой нравственной культуры и научной подготовки. И, самое главное, как мне кажется, доброты и честности. Без этих двух последних человеческих качеств не следует посвящать себя этим профессиям, даже не профессиям, а призванию. Мои сотоварищи по юридическому институту, люди второго после Октября поколения, по мере взросления и овладения совокупным запасом юридических знаний вполне осознавали это.

Мы знали и то, что подготовка кадров интеллигенции в 30-е годы шла преимущественно через высшие и средние специальные учебные заведения. К тому времени фактически были исчерпаны два других источника, вызванных к жизни исторически сложившейся обстановкой после Октября 1917 года: привлечение старой, дореволюционной интеллигенции и выдвижение рабочих и крестьян на руководящие посты.

Коммунистическая партия и советское государство не жалели сил и средств на дело подготовки кадров интеллигенции, на дело народного образования вообще. Следовало бы подчеркнуть, что в те годы народы Страны Советов по своей грамотности ушли далеко вперед по сравнению с гражданами других государств, что и явилось одним из решающих факторов успехов, одержанных во всех сферах социалистического строительства и подготовки к

обороне.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что одним из верных и надежных путей возвращения страны в русло передовых, развитых в экономическом отношении стран, является наилучшая постановка народного образования в средней школе, в средних специальных и высших учебных заведениях с учетом достижений современной науки, техники, культуры. На это поистине величайшее дело нельзя жалеть ни сил, ни средств, подобно тому, как это делалось в годы формирования моего поколения.

Ни переход на рыночные отношения, ни введение различных форм собственности, ни преобразования в сфере управления, никакие другие реформы не смогут дать эффекта без по-настоящему обученных новых поколений, прочно стоящих на уровне не только современных знаний, но и способных вносить качественные изменения в развитие мировой цивилизации. История учит, что знания, приобретать которые дает возможность Родина, оборачиваются все возрастающей к ней любовью.

Мы горячо любили свою Родину — Страну Советов, — под крылом которой в дружном институтском коллективе учились, с открытой душой шли навстречу друг другу люди разных национальностей. Никто не делил Родину на части. Она была одна и единственная: с отчим домом, тайгой или сыпучими песками, небольшим ручейком, Волгой или морем. Одна и единственная. Чувства советского патриотизма и пролетарского интернационализма были частью личностной сущности каждого из нас. На защиту Родины мог по первому зову встать любой.

Формированию наших идейно-нравственных позиций способствовали романы Н. Островского «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», книги А. Макаренко «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях», Б. Горбатова «Мое поколение», А. Фадеева «Последний из Удэге». Нас увлекали тогда стихи М. Исаковского, А. Твардовского, А. Суркова. С удовольствием распевали песни И. Дунаевского, М. Блантера, Дм. Покрасса. По нескольку раз смотрели фильмы «Ленин в Октябре», «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Трилогию о Максиме», «Семеро смелых», героям которых хотелось подражать. Всего, что увлекало, интересовало, шлифовало наши характеры, не перечесть.

Но главным нашим учителем становилась уже не книга, как бы ни велика была ее роль, а жизнь — ее повседневность, будничность, трагические и героические мотивы окружающего нас внешнего мира. Наши познания создавали возможность самим анализировать происходящее вокруг.

Вторая половина 30-х годов стала временем моего

становления как личности. Детство и юность с их специфическими возрастными особенностями остались за плечами навсегда.

Время побуждало к быстрому мужанию. Народ строил социализм. Усиливалась экономическая и военная мощь государства. Шла титаническая работа по созиданию нового мира. Новизна была во всем: в теории, практике, во внутренней политике и в международном положении. В воздухе уже пахло порохом. Советский народ и мы, молодежь, знали, что будет война. И знали с кем!

На наших глазах жертвами агрессии нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии становились многие народы и страны. Политика «умиротворения» агрессивных государств со стороны Англии, Франции и США привела в сентябре 1938 года к мюнхенскому сговору правящей верхушки Англии и Франции с германским фашизмом, что еще более поощрило агрессоров на новые авантюры. Спустя год пожар мировой войны перекинулся на Англию и Францию. Потерпела крах попытка определенных кругов этих стран повернуть войну на Восток, оставить Запад в стороне от нее.

Советский Союз в этой сложной международной обстановке предпринимал усилия, чтобы отсрочить начало войны, выиграть время для подготовки к отражению вражеского нашествия.

С прочтения новостей на газетных полосах до начала лекций и, чего греха таить, во время некоторых из них начинался трудовой день тогдашнего студенчества. Жаркие споры, дискуссии, разные предположения о развитии событий на фронтах Второй мировой войны… Острота переживаний сама собой сместилась с текущих учебных и общественных забот к проблемам войны и мира.

Наши переживания не носили абстрактного характера. Мы стали историческими свидетелями того, как гитлеровская Германия с легкостью подминает под себя народы и страны Европы, лишая их свободы и независимости, заглядывается на Восток и строит планы не только порабощения, но и истребления народов нашей страны. С немецкой педантичностью расписывалось, что уготовано русскому, еврею, цыгану. И мы это тоже знали. И не боялись грядущих схваток. Наши знания суровой действительности побуждали к действиям.

На этом нелегком пути были и заблуждения, и крупные просчеты, и даже тягчайшие преступления. Многое было… От истребления командных кадров армии и флота до ничем не объяснимой веры Сталина и его сподвижников в заверения гитлеровской правящей верхушки о верности советско-

германскому пакту 1939 года. Кое-что из этого мы знали, о чем-то догадывались, чему-то не хотели верить.

Но было и другое, что мы знали наверняка, ощущали каждой своей клеточкой: народ наш денно и нощно готовится к защите своего социалистического отечества.

К сожалению, сейчас пишут такое, что вызывает удивление: откуда появилась такая злоба по отношению к героическому прошлому народа? Вольности обращения с фактами, событиями, явлениями тех лет позавидовал бы, будь жив, доктор Геббельс.

Не пускаясь в детальный критический разбор подобных писаний, хочу, однако, сказать о двух характерных явлениях периода конца 30-х годов, которые пронизывали всю жизнь нашего многонационального народа и которые подрубают основы возможных фальсификаций истории тех лет.

Во-первых, это сам дух того времени. Дух, пронизанный героикой социалистических свершений, атмосферой всеобщей приподнятости, даже в будничных делах, рост чувства взаимного уважения, товарищества, гордость за Красную армию. Это и есть те исторические реалии, в которых жили Отчизна и ее народ. Любой факт, событие, явление того времени, взятое вне исторического контекста, без учета духа того времени, исказят правду.

И во-вторых: чем объяснить, что массовые аресты ни в чем не повинных людей не привели к общему изменению этой атмосферы, к ломке духовного настроя народа? Может быть, мое восприятие тех лет весьма субъективно и идет от молодости, которая, как правило, не замечает трагического. Или от того, что ни я, ни мои сверстники лично не были причастны к фактам насилия и произвола.

А может быть, в данном случае мы имеем дело с историческим парадоксом, а точнее, с диалектическим соотношением добра и зла применительно к целому народу и его части, когда добро берет верх над злом и создает соответствующую атмосферу — порождает дух веры в идеалы.

Совесть пишущего не должна позволять ему забывать о глубоких и крепких причинных связях, где одно порождает другое. Историю прошлого нельзя судить мерками современности, в которой ныне многое еще шатко, не устоялось, не утвердилось, изломано.

Наше поколение тоже когда-то было молодым. Оно вправе рассчитывать на правдивый рассказ о нем со стороны последующих за ним поколений. Прошлое не грозит реальной опасностью ни крупному, ни мелкому критику. За прошлым можно прятать современные проблемы, однако их не спрячешь от

глаз истории. Ведь рано или поздно историческая правда берет верх.

Правда состоит в том, что в итоге досрочного выполнения второй пятилетки мы, советские люди, стали лучше жить — питаться, одеваться, отдыхать, учиться, больше любить жизнь. Фактически завершилась техническая реконструкция народного хозяйства. Народ ничего не жалел для своих Вооруженных сил. Создавались новые виды оружия. Делались выводы из финской кампании, событий в Испании, боев на Халхин-Голе. Готовились кадры для армии, флота, авиации. Были созданы спецшколы, новые военные училища и военные академии, учиться в которых считалось для каждого молодого человека большой честью. Так было…

В марте 1940 года я добровольно с рекомендацией партийной организации с третьего курса института пошел на второй курс вновь созданной Военно-юридической академии Красной армии. Желающих было много. С нашего курса были зачислены слушателями академии восемь человек, из юридических вузов Саратова, Харькова, Свердловска[7] и других городов страны еще человек пятьдесят. Академия разворачивалась на базе ранее существовавшего военно-юридического факультета Военно-политической академии им. В.И. Ленина. В каждом учебном отделении были старослужащие в различных воинских, и весьма солидных, званиях, и мы, как говорится, рядовые — необученные.

Из этих двух разных по своим возрастным особенностям, и прежде всего по степени опыта военной службы частей, довольно быстро сложился дружный коллектив, который объединило стремление сполна овладевать знаниями. Если юридические дисциплины для нас, бывших студентов, были в известной мере проторенными дорожками, то военные специальности приходилось осваивать почти с самых азов. Здесь и подставляли свое плечо слушателям старослужащие. Мы же помогали им в усвоении юридических наук, в чем, честно говоря, были сильнее. Взаимопомощь считалась делом естественным, осуществлялась сама собой и даже с удовольствием.

Учиться без прилежания было совестно. Страна обеспечивала «академиков», так нас величали в миру, всем необходимым, урезая расходы в других сферах. Слушатели в достатке получали различное добротное вещевое довольствие, что позволяло начальнику академии требовать, чтобы каждый из нас на московских улицах выглядел не только опрятно одетым, но являл собой «военного щеголя» в лучшем смысле этого слова. Идет по Москве слушатель Военно-юридической академии Красной

армии, говорил он, прохожие, глядя на него, останавливаются и говорят друг другу — это идет «военный щеголь». Слушатели получали высокую стипендию. Это позволило мне освободить маму от работы уборщицей, а сестренке Лидии поступить в Институт геодезии и картографии. Не без грусти распрощался я с добрыми, милыми людьми из кондитерской в Столешниковом.

Загрузка в академии была большой. Аудиторные часы перемежались полевыми занятиями, стрельбами; немало времени уходило и на строевую подготовку.

Летом 1940 года у нас прошла первая и как оказалось последняя практика на Балтфлоте, преимущественно на крейсере «Аврора». Это была моя вторая встреча с краснознаменной «Авророй», а первая, если помнит читатель, состоялась в мальчишеские, школьные годы. В ходе практики мы осваивали различные виды работ, входящих в расписание воинской службы краснофлотца, младшего командира, старшего офицера. Мне особое удовлетворение приносили артиллерийские стрельбы, нравилась ходьба под парусами на баркасах, что-то в ней было от детства на Волге. Постепенно усваивался ритуал морской службы, познавались превосходные традиции русского военного флота. В кают-компании все — от командира крейсера до нас, слушателей, — были равны. Каждый сидящий за столом был учтив к другому и раскован в своих мыслях, мог вести разговор, поддерживать беседу на любую интересующую его тему, кроме служебных отношений, что считалось неэтичным. Где-где, а на флоте чувство коллективизма, товарищеской спайки стоит, мне кажется, превыше всего. Без этого на плаву не удержаться.

Белые балтийские ночи располагали к раздумьям, дружеским откровениям. Всматриваешься в горизонт, в его неоглядную даль, смотришь, как тонет солнце в бескрайности, и не хочется думать о том, что где-то там, на Западе, бушует война и что ее пламя может перебросится и на нас… Старшие командиры не торопясь делились пережитым, словно пели свои песни о былых походах, о юности своих друзей. Радовало, что и ты влился в огромный коллектив нашего славного военного флота. Смотришь в морскую даль и чувствуешь, что и за тобой, за твоими плечами раскинулась твоя Родина и ты ее защитник.

Вспомнились Москва, домашние, друзья. Очень, до боли, хотелось, чтобы сбылось несбыточное: хотя бы одним глазком посмотрела мама на своего сына и вспыхнула бы в ней материнская гордость за него, стоящего у флага легендарной «Авроры». Думается, что родительская радость особенно велика, когда родители видят, что их дети — сын, дочь — состоялись как личности, стали нужны людям, стране. Мне всегда было жаль, что

эта радость приходит обычно на склоне лет наших отцов и матерей или тогда, когда она им уже не нужна — их нет в живых. Может быть, подобные мысли приходили потому, что я слишком рано потерял и отца и мать.

В ходе практики на крейсере все, даже самое тяжелое, делалось легко — по команде, но без понукания, без принуждения.

Учеба, как и в институте, спорилась, хотя даже считанных часов на различные забавы почти не оставалось. Много времени занимала общественная работа — я был избран секретарем комитета ВЛКСМ военно-морского факультета академии. Особой разницы в постановке комсомольской работы в условиях военной академии по сравнению с институтом я почти не заметил, разве что был упор на воспитание в духе безусловного соблюдения воинских уставов и наставлений.

В академии историю партии вел у нас бригадный комиссар (к сожалению, фамилию не помню), который умел разжечь споры, повести дискуссию по острым, животрепещущим проблемам, в прямой связи с изучаемой темой. Он побуждал нас к тому, чтобы мы вырабатывали умение использовать научные абстракции, законы общественного развития при анализе явлений, видеть их проявления в окружающей действительности.

В ходе споров и дискуссий выдвигалось много проблем, которые требовали совершенно определенного уяснения. В их ряду меня помимо другого занимал вопрос о соотношении морали и права, что я и выдвигал в качестве предмета товарищеских дискуссий. В самом деле, разве эта проблема не лежит в основе отношений воинского начальника и подчиненного? Где находится водораздел между моральной ответственностью и наказанием по закону? Что должно лежать в основе отношений между бойцом и командиром: жесткая палочная дисциплина или высокий авторитет командира — с одной стороны, и вера подчиненного, рядового бойца в справедливость требований воинского начальника — с другой? Иначе говоря, проблема соотношения морали и права выступала на первый план. Она была практически значима для нас, военных юристов. В ее правильное понимание упиралась оценка действия (бездействия) лица (или лиц), совершившего преступление, которому необходимо найти совершенно точную в смысле справедливости оценку — то ли морального осуждения, то ли уголовного наказания.

Полагаю, что проблема соотношения морали и права актуальна и сейчас. Без определенного понимания соотношения морали и права, их диалектической взаимосвязи, умения четко

разграничить категории морали и права нельзя строить государство, основанное на праве. Ныне стала крылатой фраза: «Дозволено все, что не запрещено законом». Она преподносится даже высшими руководителями нашего государства как некое достижение правовой мысли, как один из критериев становления правового государства.

Однако провозглашение этого постулата в отрыве от норм морали есть не что иное, как открытый путь к вседозволенности, к безнравственным поступкам — обману, стяжательству, наживе и прочим мерзостям, которые могут быть неподсудны. Наряду с этим закон может быть несовершенен в том смысле, что он не регулирует вновь появившиеся общественные отношения, как это случилось, например, с законом о кооперации, открывшим заслон для формирования спекулятивных кооперативов, грабящих трудящихся.

В академии многие возникающие вопросы подчас не находили в ходе учебного процесса убедительного разрешения. Среди них центральный, вокруг которого, по существу, должна была выстраиваться вся система советского социалистического права — свобода человека. Он остро вставал еще во время моей учебы в институте, на фоне репрессий 1937–1938 гг. Его острота не сгладилась и во время моей учебы в академии. По-прежнему решение сводилось к отсылу к положениям, содержащимся в Конституции СССР 1936 года, которая стала несомненным шагом вперед по сравнению с Основным законом прошлых лет. Конечно, юридический анализ содержания соответствующих статей Основного закона страны очень важен, они составляют правовой фундамент свободы личности. Однако механизм их юридической реализации и защиты, что также архиважно для юриста, в необходимом виде разработан не был.

Юрист помимо знания науки права обязан хорошо знать историю своей страны и историю других стран и народов. Без этого научного багажа его кругозор будет страдать узостью, скрадывать возможность объективно оценивать теоретические позиции, жизненные устои других, в том числе тех, кто попадет в сферу его следственных, судейских, прокурорских, адвокатских функций.

Меня до душевной боли доводила несправедливость, которую я видел вокруг себя. Вся русская литература, передовая российская общественная мысль восставала против злоупотребления властью, против ее насилия над личностью, а она имела место в нашей действительности.

Передо мной постоянно стоял вопрос: как мне, будущему военному юристу, человеку, состоящему на службе у власти,

быть? Творить насилие от имени власти или от ее же имени выступать против насилия — насилия несправедливого? А есть ли праведное насилие? Да, есть. А обоснование тому лежит в плоскости гуманизма общества, то есть способности защитить себя и своих граждан от элементов, посягающих на его нравственность и правопорядок, но опять-таки в рамках закона.

При всей важности этих и других проблем, встающих в ходе учебы, меня и моих товарищей, конечно, волновали события Второй мировой войны. Мое поколение и я вместе с ним продолжали вбирать в свою историческую память то, как в течение 1938–1940 годов фашистская Германия захватила всю Чехословакию, Австрию, Мемель и Мемельскую область, Данию, Норвегию, Польшу и большую часть Франции; что 14 мая 1939 г. Япония напала на Монголию в районе реки Халхин-Гол, а Италия захватила Албанию.

Война подбиралась к нашему отечеству. Все эти исторические факты выстраивались в один ряд и не могли не привести к закономерному выводу о том, что империализм и его зловещее порождение — фашизм — это война.

В мае 1941 года меня приняли в члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Тогда, на общем собрании коммунистов, я дал слово вместе со всеми товарищами активно участвовать в строительстве социализма, поклялся верой и правдой служить своему народу, его счастью. Эти слова были альфой и омегой моего бытия.

…Прошло чуть больше месяца, и началась война, война Великая, война Отечественная. О неизбежности войны с гитлеровской Германией догадывались многие.

Поздно вечером 21 июня я после встречи с друзьями по школе возвращался из Останкинского парка, шел вдоль пруда, а в тишине разливалась раздольная русская песня. Песня без слов. Одна распевная мелодия. Она вливалась в сердце, рассказывая о широчайших просторах отчизны, о приволье, о свободе, возносящей человека высоко-высоко и делающей его сильным, непобедимым. Так думалось мне. Песня поднимала ввысь. Хотелось жить, шагая вперед и вперед. С тех пор эта мелодия постоянно со мной, она и сейчас звучит во мне.

Утром 22 июня я после завтрака пошел в читальный зал библиотеки останкинского студенческого городка, чтобы подготовиться к очередному экзамену: шла сессия. Сижу, читаю материалы. Около двенадцати часов раздается на весь читальный зал знакомый мальчишеский голос: «Дядя Коля, скорее иди домой. Пришел с работы дядя Саша и сказал, что по радио будет

важное сообщение». Я быстро собрал свои конспекты, сдал книги и побежал с племянником домой. Вслед за мной стали покидать читальный зал и другие его посетители.

Дома из выступления В.М. Молотова по радио узнали о нападении фашистской Германии на нашу страну. Мама плакала, брат Александр заторопился на свой завод «Калибр», сестренка молчала. Мне показалось, что комната стала меньше, ниже. Я быстро надел форменную одежду и поехал в академию.

На улице во всей красе своей ликовал июньский день. Но на лицах людей, в их фигурах уже была тревога. Знакомые и незнакомые люди говорили тихо, вполголоса: весть о войне сразу и цепко схватила каждого и всех сразу. В академии все были необычайно сдержанны. Дежурные по академии, факультетам и курсам объявили, что состоятся митинги — сначала по факультетам, потом общеакадемический. Среди нас, бывших студентов, возникла идея подать рапорт об уходе в действующую армию. Старослужащие осадили нашу горячность — командование академии поступит с каждым так, как это полезнее для ратного дела.

Митинги прошли с большим подъемом. Выступающие говорили о неизбежном и скором разгроме врага. Слушателям было приказано учиться, овладевать военными знаниями, а о всякого рода рапортах с просьбами об отправке на фронт забыть.

Академию вывезли в военные лагеря в район Болшево, под Москву. В нашу повседневную жизнь вошло новое: ежедневные сводки с советско-германского фронта и раздирающие душу ежедневные налеты вражеской авиации на Москву. Мы слышали завывающий гул немецких самолетов, видели их в лучах наших прожекторных подразделений и в разрывах зенитных снарядов, наблюдали, как горизонт окрашивался заревом пожарищ, но мы были бессильны что-либо сделать, чем-либо помочь москвичам. Я, человек военный, чувствовал себя ужасно: было горько и стыдно…

Война начала учить мое поколение своим правилам: оттачивать такие грани характера, о существовании которых в природе человека мы и не знали. Однако все по порядку.

А урок состоял в том, что нельзя, невозможно быть безучастным, когда фашистские захватчики убивают детей и стариков, женщин и подростков, терзают столицу, превращают в руины и пепел города и села, идут словно маршем по просторам Родины; слыша, как стонет родная земля, сердце наливалось ненавистью к врагу, священным чувством отмщения, стремлением, не жалея ничего, воевать на любом участке Родины.

Священная месть. Умение защищаться. Эти уроки первого

периода войны войдут в нашу плоть и кровь.

Немецко-фашистские войска быстро продвигались в глубь страны. Но уныния и растерянности у нас не было. Мы списывали успехи гитлеровских войск на счет внезапности нападения и считали их временными. Конечно, правда всегда неодномерна. Но в главном мы не ошиблись — победа была за нами.

Сегодня, спустя 60 лет после Победы, новоявленные «демократы» с необыкновенной легкостью расписывают на все лады, что страна наша не была готова к войне, что внезапность нападения фашистской Германии показала несостоятельность военно-политической системы; некоторые, из той же среды, ставят себя на место верховной власти времен войны и на словах одерживают или бескровную победу над мощным и коварным врагом, каким был тогда германский фашизм, или вообще предотвращают войну. Вот так — и не менее того! Эти новоявленные «демократы» и им подобные забывают одну простую истину: предполагать в истории — пустое занятие.

Немецкая военная машина к июню 1941 года, опираясь на экономический потенциал оккупированных стран Западной Европы и возможности своих союзников, набрала такую экономическую силу и военно-стратегическую инерцию, что ее не смогли насторожить ни победа Красной армии на Халхин-Голе, ни необходимость вести войну на два фронта.

Что касается тезиса о нашей экономической несостоятельности в подготовке к войне, то, новоявленным «демократам» и просто хулителям всего, что было в истории отечества после 1917 года, ни к чему факты. А они таковы, что расходы нашей страны на оборону в первой пятилетке равнялись 5,5 процента от госбюджета. Во второй пятилетке они составляли уже 12,7, а в третьей, недовыполненной, они были запланированы в размере 16,4 процента. Специально для хулителей подчеркнем, что в конце третьей пятилетки по величине и качеству оборонного потенциала страна могла выйти на уровень, гарантирующий нашему отечеству практически абсолютную неприкосновенность. Об этом надо было поинтересоваться, если уж берешься за перо. Хорошо было бы знать и о том, что на всех главных направлениях научно-технического развития СССР выходил тогда на первое место в мире: в области твердотопливного и жидкостного моторостроения, радиолокации, материаловедения, гидроаэродинамики и так далее.

Именно благодаря советской социалистической экономической системе наша страна в области военной экономики к июлю 1943 года практически превосходила

довоенный уровень и продолжала наращивать темпы производства. Однако какое дело радетелям «демократии» и их борзописцам до этих и других исторических реалий, творцами которых был наш народ!

Пожалуй, трудно в истории нашей страны найти период времени, который был бы столь напряженным по своему драматизму и героизму, как начало войны. Историография того времени накопила за прошедшие десятилетия огромный материал — от архивных источников до мемуарных свидетельств. Казалось бы, черпай из этого кладезя факты для объективного анализа прошлого. Увы, ныне пытаются не только фальсифицировать обстановку кануна войны, но и сместить смысловые акценты, пустить в ход версию о том, что нападение фашистской Германии на Советский Союз было не преднамеренным, не заранее спланированным, а вынужденным актом.

Историческая память моего поколения, моя историческая память свидетельствуют о заведомой лживости подобных утверждений, которые паразитируют на неосведомленности советских людей, вступивших в жизнь после Великой Отечественной войны, на умышленном сокрытии от них правды.

Ложь новоявленных фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, в частности обеление ими гитлеровского руководства в том плане, что Германия якобы была вынуждена напасть на СССР, опровергается документами Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками фашистского рейха. В числе огромного количества документов, исследованных этим международным трибуналом, есть и показания генерал-лейтенанта гитлеровской армии Франца фон Бентивеньи — бывшего начальника Управления «Абвер-3» гитлеровской военной контрразведки.

Бентивеньи допрашивал я. Спустя некоторое время после окончания войны я был отозван из отдела контрразведки СМЕРШ 5-й Гвардейской танковой армии на работу в Москву, в центральный аппарат Главного управления контрразведки СМЕРШ. И среди других дел, которыми мне пришлось заниматься, было дело Франца фон Бентивеньи. Он, как один из руководителей абвера гитлеровской военной разведки и контрразведки, представлял несомненный оперативный интерес по ряду принципиальных позиций не только сугубо разведывательного и контрразведывательного, но и политического характера. Наше высшее руководство интересовали вопросы, связанные с подготовкой фашистской Германией нападения на Советский Союз. Помимо этого,

показания Франца Бентивеньи могли сыграть свою роль и в разоблачении дьявольских замыслов гитлеровской верхушки на готовившемся тогда Нюрнбергском процессе.

Я начал работать с Бентивеньи в сентябре 1945 года. Сидел он в одиночной камере внутренней тюрьмы, которая находилась в отдельном доме во дворе здания, выходящего своим фасадом на Лубянку и известного среди коренных москвичей как «дом два».

Бентивеньи предстал передо мной в полной генеральской форме, при знаках различия и с орденской колодкой на мундире. Он был свежевыбрит и казался готовым к дипломатическому рауту на любом уровне, что вызвало во мне неприязнь. Несколько лет работы в советской контрразведке против абвера давали мне основание судить, сколь многоопытен стоящий передо мной враг, как много горя и страданий принесла нашему народу возглавляемая им военная контрразведка.

Стройный, моложавый, несмотря на свои почти пятьдесят лет, с умным проницательным взглядом серых глаз, он так же спокойно разглядывал меня, как я его. Я хорошо запомнил генерал-лейтенанта Бентивеньи, потому что допросы его как бы подводили черту под моей собственной работой в нашей контрразведке в годы войны, давали мне лично уникальную возможность сравнить: какая же из противоборствующих контрразведок была сильнее — наша или нацистская.

Предложив Бентивеньи сесть, сказал, чтобы он сообщил о себе то, что считает нужным. И так день за днем я работал с ним в интересующем нас плане. Отношения между нами установились ровные — он, безусловно, сознавал свое положение подследственного со всеми вытекающими отсюда для него юридическими последствиями. Его показаниям я верил. Их достоверность подтверждалась показаниями других подследственных из числа верхушки абвера и полученными документами.

Касаясь обстоятельств подготовки фашистской Германии к нападению на Советский Союз, Франц Бентивеньи на допросе, который фигурировал под номером «СССР-230» в перечне доказательств обвинения от СССР на Нюрнберском процессе, в частности, показал (Нюрнбергский процесс. М.: Юрид. лит., 1961. Т. 7. С. 632):

«**Вопрос**: Какие задачи поставил перед вами Канарис в свете подготовки войны против Советского Союза?

Ответ: Канарис поставил передо мной общую задачу: подготовить контрразведывательные органы „Абвера“ к войне против СССР. Разработка и проведение конкретных действий лежала на мне как на руководителе контрразведывательного

отдела „Абвера“.

Канарис лишь предупредил меня, что подготовку к войне нужно вести в строжайшей тайне, не издавая каких-либо письменных приказов или распоряжений.

Вопрос: Как вы практически реализовали эти общие установки Канариса?

Ответ: Деятельность руководимого мною отдела „Абвер-3“ в вопросе подготовки войны против СССР имела три направления:

1. Дезинформация иностранных правительств через их разведывательные органы о том, что германское правительство придерживается якобы тенденции к улучшению отношений с Советским Союзом. На это были специальные приказания адмирала Канариса — начальника „Абвера“.

2. Подготовка низовых контрразведывательных органов „Абвера“ к ведению работы в условиях военных действий против СССР.

3. Мероприятия по блокированию средств связи в период, непосредственно предшествовавший нападению на СССР, с целью сокрытия факта подготовки к войне.

Вопрос: Какие меры были вами предприняты для дезинформирования иностранных правительств?

Ответ: Подготовка войны против СССР велась, как известно, под прикрытием существовавшего Договора о ненападении между СССР и Германией.

В мою задачу входило путем дезинформации иностранных разведорганов вызвать у них убеждение в том, что, намереваясь осуществить в 1941 году вторжение на Британские острова, Германия прежде всего заинтересована в нейтралитете Советского Союза, поэтому стремится улучшать с ним взаимоотношения.

Я помню следующие конкретные случаи дезинформации иностранных правительств: сотрудник „Абверштелле-Кенигсберг“ — капитан Крибитц в 1940 году установил, что советский консул в Кенигсберге имеет среди местного населения доверенных лиц, которые сообщают ему некоторые интересующие советское консульство данные.

В 1941 году мы решили использовать этих людей для дезинформации советских органов по вопросам перспектив германо-советских отношений, и, согласно моим указаниям, Крибитц провел намеченные мероприятия в жизнь…

Швейцарский журналист, под псевдонимом „Хокули“, являлся нашим агентом, находившимся на связи у начальника одного из отделений моего отдела — полковника Ролефера, и по его заданию работал с британской разведкой, в частности с

английским посольством в Швейцарии.

Согласно моим указаниям, Ролефер снабдил „Хокули“ материалами, из которых было ясно, что Германия, рассчитывая осуществить вторжение на Британские острова в 1941 году и желая обеспечить себе тыл на Востоке, стремится к улучшению отношений с СССР. Весь дезинформационный материал мы получали в соответствующих отделах Генерального штаба. Передача дезинформационных материалов имела цель усыпить бдительность Советского Союза и дать возможность германской армии внезапно напасть.

Вопрос: Какие еще мероприятия проводились вами для подготовки войны против СССР?

Ответ: Низовые органы „Абвера“ — абвергруппы и абверкоманды — до нападения на Советский Союз действовали с войсками против Франции, Бельгии, Голландии. Когда я узнал о предполагаемом нападении на Советский Союз, я принял меры к тому, чтобы ввести в состав абвергрупп и абверкоманд людей, владевших русским языком, заполнить все вакантные места. Узнав в Генеральном штабе, какое количество абвергрупп потребуется для Восточного фронта, я расписал абвергруппы по армиям…

Я делал все от меня зависящее для того, чтобы нападение на СССР было произведено внезапно для Красной армии.

Вопрос: Почему, зная о существовании Договора о ненападении между Германией и СССР, вы готовили нападение на Советский Союз?

Ответ: Я считал, что вопросы целесообразности нападения на Советский Союз являются вопросами политическими, в которые я как офицер не должен вмешиваться. Поскольку гитлеровским правительством было принято решение напасть на СССР, я считал своим долгом принять в контрразведывательной области все меры для успешного проведения принятых решений…»

Вот что показал Франц Бентивеньи на допросе!

Для меня и до его допросов было абсолютно ясно, что агрессия фашистской Германии против СССР была заранее запланированным и тщательно разработанным планом, получившим название «Барбаросса». К сожалению, это приходится ныне заново свидетельствовать. Счастье, что еще не ушли в мир иной все участники Великой Отечественной войны.

Для меня Бентивеньи не представлял интереса ни с политической, ни с нравственной стороны. Он мало отличался от других представителей генералитета вермахта — так же был пропитан насквозь духом нацизма, верил в миф о превосходстве

военной мысли вермахта и был высокого мнения об абвере. Даже во время допросов в его поведении, в постоянной напряженной фигуре, даже в посадке головы, вздернутой кверху, сквозил дух превосходства его расы над всеми другими. Однако за внешним воинским лоском — если это назвать лоском — было мало привлекательного.

В ходе допросов я довольно часто обращал мысли Бентивеньи к тому, почему же «сверхчеловеки» проиграли тщательно подготовленную агрессию, вероломную войну против Советского Союза? Его ответы меня не удовлетворяли, были поверхностными, шаблонами: виноват Гитлер, были допущены крупные просчеты высшего командования и тому подобное. Он в своих ответах ни разу не поднялся до понимания бессмысленности войны, причин политико-нравственного краха Германии, преступлений гитлеровской верхушки и его, Бентивеньи, действий против человечности. Его мысль не шла дальше рассуждений о просчетах Гитлера и его окружения в оценке военно-политической мощи Советского Союза, крепости союза народов нашей страны; ведения войны на два фронта, неверного анализа данных разведки и контрразведки о положении на Восточном фронте.

Бентивеньи не испытывал угрызений совести по поводу того, что массовая вербовка агентуры из числа советских военнопленных шла под страхом их медленной голодной смерти; что совершаемые диверсии лишали тысячи людей возможности элементарного человеческого существования: террористические акты против гражданского населения, не имевшего никакого отношения к войне, взорванные зондеркомандами шахты, поселки, целые города… Да разве все перечислить! К сожалению, ныне забыты тысячи томов свидетельских показаний советских людей о зверствах немецко-фашистских войск на советско-германском фронте, к которым имела прямое отношение и контрразведка абвера.

Да и захваченные в ходе разгрома немецко-фашистских войск секретные документы абвера, гестапо и других карательных органов нацистской Германии обнажают варварскую сторону деятельности абвера и его отдела контрразведки.

Конечно, представляла оперативный интерес и документация о функционировании центральных армейских структур абвера, а после окончания Второй мировой войны и их агентурных сетей в других государствах.

Выборочная проверка наиболее интересных связей через Бентивеньи говорила о его превосходной памяти. Он обладал способностью так воспроизвести обстоятельства того или иного контрразведывательного действа и нарисовать словесный

портрет, что перед тобой появлялась живая картина происходящего. Мгновенная реакция на поставленный мной вопрос, четкость ответов дополняли человеческие возможности Бентивеньи.

Как-то в ходе допроса в минуты отдыха Бентивеньи, глядя в окошко на многоцветные листья деревьев, сказал: «Хорошо бы сейчас пройти по улицам Москвы, посмотреть, как закончилась и живут люди после ее окончания».

«То, что война закончилась полной капитуляцией фашистской Германии и милитаристской Японии, вы знаете из газет».

«Газеты можно изготовить любого содержания и на любом языке… А вот посмотреть на людей, на московскую осень очень хотелось бы».

«Да, в Москве стоит, говоря по-русски, бабье лето, последний „пылкий вздох“ уходящей летней поры».

Я, конечно, «засек» просьбу Бентивеньи. И подумав решил, что в преддверии Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками, на котором Бентивеньи должен был выступить в качестве свидетеля, было бы целесообразно совершить с ним прогулку по центру Москвы.

Руководство отдела и Главного управления СМЕРШ поддержало мое предложение (не знаю точно, докладывалось ли оно Абакумову — думаю, что да).

В один из дней после тщательной экипировки Бентивеньи в гражданское платье мы впятером — Бентивеньи, мой постоянный переводчик, я и двое негласно сопровождающих нас сотрудников из службы наружного наблюдения — вышли из дома № 2 на Лубянке. Бентивеньи остановился и долго осматривал открывшиеся виды и особенно площадь Дзержинского и далее к Охотному ряду. Туда мы не спеша и пошли. Бентивеньи внимательно разглядывал прохожих, движущийся транспорт, гостиницу «Метрополь», Малый и Большой театры. Обогнув гостиницу «Москва», мы вышли к Красной площади, потом, спустившись к Музею В.И. Ленина, пошли обратно.

Бентивеньи был задумчив. За все время прогулки он произнес только одну фразу: «Эти места я хорошо знаю по многочисленным кадрам кинохроники». И после того, как я пригласил его выпить пива в бар, находившийся на месте нынешнего магазина «Детский мир», Бентивеньи сказал: «Да, война нами проиграна. Москва выглядит так, как будто войны не было. Только по лицам людей — истощенным и озабоченным — можно догадаться, что их коснулось большое горе».

«Рана, нанесенная фашистской Германией, вами в том числе,

столь глубока, что вряд ли когда-либо окончательно зарастет…»

В баре было немноголюдно. Сели за столик, официант принес по паре кружек пива и вареных раков.

Пили пиво молча. Так же молча вошли в дом № 2, зашли ко мне в кабинет, оттуда я отправил Бентивеньи в камеру.

На следующем допросе Бентивеньи говорил мне о том, что он не спал всю ночь. Как бы рассматривал строгим взглядом свою жизнь.

Да, Гитлер и его ближайшее окружение допустило грубейшую ошибку, развязав войну против Советской России, и его родина была повержена.

«Расскажите трибуналу о том, сколь тщательно и скрытно готовилась гитлеровская Германия к нападению на СССР».

«Я это непременно сделаю».

И Бентивеньи сдержал свое слово.

Однако вернемся к нашему повествованию. Другим уроком первого этапа войны для каждого из нас явилась необходимость сохранения идейно-нравственной стойкости и силы духа. Не сломаться, не покривить душой перед идеалами, в правоте которых убеждены. Война заставила наше поколение не только закалить свои социалистические убеждения, но и выстрадать их.

Шла великая война. Продолжалась боевая учеба. Слушателям было объявлено, что наш курс выпустят из академии досрочно, без сдачи государственных экзаменов, с дипломами, на что есть соответствующее постановление Совнаркома СССР. Это означало для нас, что фронт уже близко. Времени до выпуска осталось немного. Оно уплотнилось до предела: постигали в сжатые сроки то, что предстояло пройти за два-три семестра.

…Вдруг обнаружилось, что на занятиях отсутствует слушатель Василий Корячко. Куда он запропастился? Никто ничего определенного сказать не мог. «Лег в госпиталь», — говорил кто-то, «Уехал по вызову к родителям», — предполагал другой. Но однажды мой закадычный друг Юра Менушкин, с которым я дружил до самой его кончины, сообщил мне, что его вызывают зачем-то в Москву, на Лубянку, в Особый отдел НКВД СССР. Вернувшись, он рассказал, что его допрашивал следователь по делу нашего Корячко, который находится под следствием по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 58 пункт 10 части II УК РСФСР, — проведение антисоветской пораженческой агитации в военное время. В этот же день, но в разное время по делу Корячко там же, на Лубянке, были допрошены и другие слушатели.

Я спросил у Юры:

— Что же ты мог показать по поводу антисоветских пораженческих взглядов Корячко?

— Ничего существенного, хотя следователь нажимал. Единственное, что я сказал, так это то, что у Корячко были заметны украинские националистические мотивы. Ты же сам с ним по этому поводу спорил.

— Но в наших спорах не было ничего предосудительного, а тем более криминального, и ты об этом прекрасно знаешь.

Я не мог понять, за что же арестован Корячко. Ведь он все время был с нами. Мы не могли пройти мимо его пораженческих настроений, если бы таковые были. После обмена мнениями в нашей академической группе решили, что арест Корячко — ошибка, разберутся и освободят. Однако время шло. Корячко в академии не появлялся.

Подходил к концу август. Вечера стали заметно прохладнее. После дневных занятий допоздна не засиживались. Наступательный порыв немецко-фашистских войск не ослабевал на центральном участке советско-германского фронта и на московском направлении.

В один из таких вечеров, когда я уже собирался ложиться спать, к нам в палатку зашел дневальный и сказал мне, чтобы я следовал за ним, он проводит меня до палатки оперуполномоченного Особого отдела НКВД СССР. Было около 10 часов вечера. Горнисты еще не сыграли отбой. Было темно. В некоторых палатках уже горели керосиновые лампы.

Шел я за дневальным и думал: «Зачем же я понадобился особисту? Наверное, из-за связи с Корячко — хотят установить истину, поступить по справедливости, освободить его».

Зашел в палатку. Доложился по уставу. В палатке стояла кровать, посередине стол, по обеим сторонам его две табуретки, на столе горящая керосиновая лампа. Хозяин палатки в армейской форме с шевроном чекиста на рукаве гимнастерки, с одной шпалой в петлице. На вид моложавый, подтянутый. Я видел его неоднократно раньше, обычно в свите, сопровождавшей начальника академии, или с кем-либо из другого академического начальства.

Особист сел за стол, предложил мне сесть напротив, сдвинул лампу к краю стола, достал из внутреннего ящика какие-то листы бумаги, чернильницу и ручку. Развернул бумагу, положил перед собой. Я увидел, что на листе сверху написано «НКВД СССР. Главное управление Особых отделов», а ниже жирными буквами «Протокол допроса» и далее перечень обычных биографических данных о допрашиваемом.

Особист взял ручку, макнул ее в чернильницу и начал

вписывать мои данные: фамилия, имя и отчество и прочее. Закончив, особист открыл второй лист, обмакнул ручку в чернильницу-непроливайку, и я вижу, как он выводит: «Вопрос: дайте показания о проводимой вами совместно с Корячко антисоветской пораженческой агитации».

Во мне поднялась буря негодования, вся моя предыдущая недолгая, но честная жизнь восстала против этого гнусного, омерзительного вопроса. Не поднимая на меня глаз, он членораздельно прочитал вопрос и тут впервые, как мне показалось, посмотрел на меня. Не знаю, были ли заметны мои переживания или особисту было на них просто-напросто наплевать. Я молчал.

Особист сказал: «Отвечайте на поставленный вопрос».

Я ответил, что этот вопрос для меня оскорбителен. Никакой антисоветской пораженческой агитации я не проводил, так же, как не проводил ее и Корячко. И потому мне отвечать нечего.

Допрос длился примерно с десяти вечера до рассвета. Вряд ли нужно пересказывать брань и угрозы, которые сыпались в мой адрес со стороны особиста: я и бесчестный, и антисоветчик, и врун, и негодяй; выгораживаю себя и такого же прохвоста, как я, Корячко; а будет так, что посадят не только меня, но и моих близких, и тому подобное. Чем больше сыпалось угроз, тем спокойнее становился я. Со мной и раньше так бывало: чем труднее ситуация, тем я спокойнее. На какие-то мгновения мои мысли уносились куда-то в сторону от этого кошмара. В палатку иногда залетали ночные бабочки. Они влетали на свет горящей керосиновой лампы. Кружились вокруг нее. Некоторые неразумные влетали внутрь, спасаясь от огня, бились о стекло и, обессилев, сгорали. «Я не сгорю, — решил я. — Сила моей воли тебе, особист, не по зубам. Я волжанин. В душе моей такая вольность, которая тебе и не снилась».

Чем дольше длился допрос, усиливалась брань, тем становилось яснее, что особист, не имея никаких конкретных фактов, относящихся к поставленному передо мною вопросу, хочет меня сломить. Заставить оговорить не только себя. Превратить Корячко, а может быть, и еще кого-то в антисоветчиков-пораженцев.

Что бы ни было, я решил не сдаваться, не оговаривать ни себя, ни товарищей. Я стал говорить особисту:

— Поймите, я без пяти минут юрист, неужели испугаюсь ваших угроз и встану на путь ложных показаний? Соберите нашу учебную группу и спросите о Корячко и Месяцеве. Вам скажут, какие они «антисоветчики»! Если вы продолжите вести допрос в таком недопустимом тоне, я встану и уйду, что хотите то и

делайте!

Мои показания и заявления особист в протокол не занес, их содержание, судя по всему, его не устраивало. Я ушел.

…На улице было светло. Солнце уже поднялось над горизонтом. Но лагерь еще спал. Дошел я до своей палатки, смотрю, а мои друзья сидят на топчанах, не спят. Ждут меня. Я рассказал им все как было. Днем пошел в политотдел академии, доложил о случившемся и попросил защиты. В противном случае, сказал я, соберу общее комсомольское собрание академии и расскажу всем, в чем меня обвиняют и как добивается показаний уполномоченный Особого отдела НКВД СССР. Заместитель начальника политотдела сказал, чтобы я никаких мер сам не принимал.

Дни шли за днями. Меня больше не беспокоили ни из Особого отдела, ни из политотдела. Все шло так, как будто ночного допроса и не было. Но так только казалось. В моем сознании, в чувственном восприятии бытия произошло переосмысление многих жизненных позиций. Я это понял не сразу. Допрос особиста в сознании всплывал всякий раз, когда речь шла о моем отношении к человеку и могли быть затронуты его честь, достоинство, а тем более что-то поставить ему в вину.

Особист своим допросом преподал мне хороший урок. И не один…

На собственном примере я понял, какой дьявольский смысл заложен в концепции Вышинского о том, что признание обвиняемого (подследственного, подозреваемого) является «царицей доказательств», которую карьерные профессора вдалбливали в наши не замутненные еще политиканством головы. Опираясь на эту концепцию, с любым человеком (я это до конца осознал чуть позже) можно сделать все или почти все, если он не тверд характером, испечь «врага народа» любой масти: шпиона, антисоветчика, диверсанта и так далее. Она, эта зловещая концепция, позволяла обосновывать произвол и насилие над человеком целой системе государственных органов, таких, как НКВД, прокуратура, суд, а их должностным лицам — вроде допрашивавшего меня особиста — учинять произвол и насилие над личностью. Своим допросом оперуполномоченный НКВД СССР преподал мне и второй урок, который я отлично усвоил.

Урок состоял в следующем: идет тяжелейшая война с коварным, вооруженным до зубов врагом. На фронте ежедневно гибнут тысячи людей. Не счесть тех, кто попадает во вражеский плен, испытывая там физические и моральные муки. А здесь, в лагерях военной академии, в которой готовят военных юристов,

призванных в скором времени творить праведный суд, представитель органов Государственной безопасности всю ночь напролет стремится добиться дачи показаний об антисоветской пораженческой деятельности, не располагая к тому никакими доказательствами, а прибегая к угрозам, шантажу, психологическому давлению по отношению к допрашиваемому.

Разве была нужда плодить таким образом врагов Родины?! Или в нашем Отечестве цена человека — ломаный грош?! Урок, преподанный особистом (хотя, конечно, он и не думал о каких-то уроках), состоял в том, что чем тяжелее в стране, чем горше родному народу, тем больше внимания, больше заботы и тепла должны проявлять все органы государственной власти и управления по отношению к человеку. Плодить сознательно врагов народа — преступление, которому нет оправданий!

Первый этап Великой Отечественной учил нас, молодых, тому, чтобы ни при каких обстоятельствах — самых тяжких, трагических — не терять чувства личного достоинства. Из него складывается, вырастает достоинство всего народа, не позволяет врагу поставить его на колени.

В первые месяцы войны, как и позже, советский народ не склонил головы и не стоял преклоненным перед врагом. Его честь и достоинство вырастало из его исторического прошлого. Народ, который отказывается от прошлого, — не имеет будущего. Сейчас новоявленные «демократы» пытаются лишить нас прошлого. Надо быть начеку, восстать против подобных бессовестных попыток.

В первых числах сентября в актовом зале академии нам вручили дипломы об окончании Военно-юридической академии Красной армии и присвоении квалификации военного юриста. На радостях гурьбой поехали в мастерскую Военторга, где нашили на рукава кителя соответствующие воинскому званию галуны и преисполненные чувства собственного достоинства разбежались к своим пенатам.

Дома меня ждали родные и друзья. Мама приготовила праздничный обед. Конечно, меня поздравили. Но было не до радости. У каждого кто-то уже воевал — отец, брат, сестра. На фронте был брат Георгий — второй по старшинству. Самый старший, Борис, перестраивал в Уфе завод комбайнов на авиамоторный; брат Александр, лекальщик, продолжал работать на заводе «Калибр», делая эталоны прибора, автоматически выводящего самолеты-бомбардировщики из пике; брат Алексей, морской летчик, служил на Дальнем Востоке в Советской Гавани; сестра Лидия и мама были дома.

Спустя несколько дней состоялось назначение выпускников

на работу. Вызывали каждого в отдельности и после короткой беседы вручали служебное предписание о явке в соответствующее воинское соединение для дальнейшего прохождения службы. Товарищи получали назначения на флоты и флотилии. Большая часть — на Балтийский и Северный. Вызывали по алфавиту. Юра Менушкин направлялся в Севастополь. Следующим должны были вызвать меня, но пригласили Женю Новикова — назначение в Ленинград.

И так шли мои товарищи друг за другом, а я сидел, ждал. Начал волноваться. Остался один, последний. Приглашают. Председатель комиссии говорит: «Есть мнение направить вас на работу в органы государственной безопасности — в Третье управление наркомата Военно-морского флота СССР (так называлось Главное управление Особых отделов НКВД СССР на флоте) на должность младшего следователя. Ваше назначение — большая честь для всего выпуска военно-морского факультета Академии. Вы единственный, кто сразу назначается на работу в Центральный аппарат разведки и контрразведки. Поздравляем вас!»

«Я не могу принять это назначение, — сказал я комиссии. — Всего три недели тому назад оперуполномоченный Особого отдела НКВД СССР допрашивал меня, обвиняя в том, что я вместе со слушателем Корячко, который и сейчас находится под следствием, проводил антисоветскую пораженческую агитацию. Искорежил мне душу этот допрос. Работа в органах госбезопасности не по мне. Направьте меня, пожалуйста, на любой воюющий флот».

Члены комиссии переглянулись и попросили меня выйти. Через какое-то время я был приглашен снова.

Мне было сказано, что назначение остается в силе, а что касается допроса, то это недоразумение, служебная ошибка оперуполномоченного Особого отдела. Из-за стола вышел человек с нашивками бригадного комиссара и сказал: «Вам надлежит завтра с документами, которые возьмете в отделе кадров академии, прибыть в дом № 2 на площади Дзержинского, этаж и номер кабинета будут указаны в прилагаемом к документам пропуске».

Мне оставалось только поблагодарить членов государственной комиссии.

Глава III
ПО НЕИЗВЕДАННОМУ ПУТИ

О полученном мною назначении рассказал своим сокурсникам. Они поздравили меня и вместе с тем насторожили. «Возьмешь личное дело из академии, придешь на Лубянку, сдашь его и прощай — как в воду канул, — говорили „знатоки“, — комиссия комиссией, а у органов свои планы». Кто-то превратил все это в шутку, и само собой забылось. Но вечером Юра Менушкин потихоньку сообщил мне, что ребята на всякий случай решили, что будут ждать меня у подъезда дома № 2 на Лубянке в четыре часа дня, к этому времени, по их расчетам, я должен освободиться. Думаю, чем черт не шутит. В Москве родных никого, друзья по академии разъезжаются по фронтам и флотам, школьных — тоже не осталось никого. Мама эвакуирована в Вольск, старшие братья — Борис в Уфе, Георгий на фронте, Александр слесарит в Челябинске, вместе с ним сестра Лидия работает в охране эвакуированного из Москвы завода «Калибр», брат Алексей и вовсе далеко — летает на Дальнем Востоке. Согласился, оговорив, что если я в четыре часа дня не появлюсь, то Юра и товарищи дают телеграмму моему старшему брату в Уфу, а сами идут в Центральный Комитет партии и обо всем случившемся рассказывают.

Как и было предписано, без четверти два я, выполнив необходимые формальности, вошел в дом № 2. Поднялся на шестой этаж и, поблуждав по его длинным, замкнутым в нечто подобное кольцу коридорам, нашел нужный мне кабинет, постучал. Это, как я понял, была приемная — большая, светлая, со скромной мебелью. Я отрекомендовался. Женщина в штатском платье, очевидно секретарь, попросила подождать. Не прошло и десяти минут, как она сказала мне: «Начальник следственной части бригадный комиссар Николай Иванович Макаров приглашает вас».

В кабинете, гораздо меньшем, чем приемная, но таком же светлом и высоком, обставленном красивой мягкой мебелью, около письменного стола стоял бригадный комиссар: среднего роста, с небольшим животиком, с русыми волосами, голубовато-серыми немного навыкате глазами. Он выслушал мой рапорт о прибытии, взял поданный мною пакет, вскрыл его, пробежал содержащиеся в нем бумаги, внимательно с головы до ног оглядел меня и спросил: «Вы что, в академии в морской форме по-пластунски ползали?» «Так точно. Ползали», — ответил я.

Он кому-то позвонил. Почти немедленно явился капитан-лейтенант, которому бригадный комиссар сказал: «Это наш новый младший следователь. Его нужно экипировать, выдать оружие, удостоверение личности и все прочее, что положено». Затем обратился ко мне: «Идите — это наш комендант, он приведет вас в надлежащий вид».

После этих слов все мои страхи пропали. Я успокоился. Бригадный комиссар, очевидно, заметил перемену в моем настроении и спросил: «Вас что-то беспокоит?» Я попросил разрешения перенести экипировку на завтра, а сегодня, если это возможно, отпустить меня. Бригадный комиссар сказал коменданту, что он свободен, а меня спросил: «Не могли бы вы поделиться, что именно вас беспокоит? Может быть, я могу помочь, ведь я теперь ваш начальник».

И я все подробно рассказал: как меня допрашивал особист, о советах «знатоков» деятельности органов госбезопасности и о том, что в четыре часа меня ждет компания моих друзей, готовая прийти мне на помощь.

Бригадный комиссар сидел, обхватив голову руками, слушал не перебивая, по-прежнему внимательно разглядывал меня. Лицо его почти не менялось. О чем он думал, догадаться я не мог. Лишь когда я закончил свою «исповедь» почти со слезами на глазах, он встал подошел ко мне, положил обе руки мне на плечи и спросил: «Вы не будете возражать, если я встречусь с вашими товарищами?» Я растерялся от неожиданности и промямлил: «Пожалуйста». Тот, кто мог видеть нас со стороны — одетого с иголочки бригадного комиссара и младшего военного юриста в потерявшем свой первоначальный синий цвет морском обмундировании, — наверное, удивился. Мы шли по коридорам, комиссар о чем-то меня спрашивал, я отвечал, — что не помню.

Выйдя на улицу, я увидел Юру Менушкина, фланирующего вдоль здания, а на противоположной стороне, у магазина «Гастроном», остальных своих друзей, показал их комиссару, и он прямехонько к ним направился. Я, естественно, за ним, а за мной Юра. При нашем приближении друзья по всем правилам строевой службы откозыряли бригадному комиссару. Он с улыбкой сказал: «Вот доставил вам в целости и сохранности вашего друга. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Не надо думать, что в органах нет честных и порядочных людей, их большинство». Расспросил каждого, кто и откуда родом, где семья, куда получили назначение. Бригадный комиссар пожелал нам доброго здоровья, честной, самоотверженной службы.

А мы пошли в казарму собирать в путь-дорогу отбывающих в действующую армию наших товарищей: вечером уезжала на

Балтийский и Северный флоты первая группа. У вагонов провожающих было мало, да и то в основном военнослужащие.

Тускло горели фонари. В Москве действовали жесткие правила светомаскировки. В купе распили по чарке водки. Расцеловались и пошли домой. Юра Менушкин жил у меня. Долго бродили вдоль пруда в Останкино. На противоположной стороне его белела колоннада дворца, да на фоне темного неба проглядывали купола и кресты церкви. Спать не хотелось. Говорили обо всем, кроме нашего будущего, нашей судьбы. Она была во мраке войны…

Вечером следующего дня мне предстояло проводить в Севастополь Юру, а утром пойти на службу в Третье управление Военно-морского флота СССР, на Лубянку, в дом № 2. Там комендант и его помощники довольно быстро меня экипировали, выдали оружие, удостоверение личности. В таком блестящем обличье я предстал перед начальником следчасти Третьего управления бригадным комиссаром Николаем Ивановичем Макаровым.

Он посоветовал мне внимательно ознакомиться с постановлением Центрального комитета ВКП(б) об извращениях, имевших место в органах госбезопасности в то время, когда наркомом внутренних дел был Ежов, с целым рядом приказов, касающихся следственной и агентурной работы, поприсутствовать при проведении сотрудниками управления различных оперативных действий и так далее. Для меня все это было очень важно, так как я не имел ни малейшего представления о деятельности органов государственной безопасности вообще, в армии и на флоте в особенности. Николай Иванович познакомил меня с отдельными следственными делами, интересуясь моей оценкой, делился своими впечатлениями и рекомендациями. В его отношении я почувствовал теплоту и участие. Может быть потому, что у него не было детей, или потому, что мое детство чем-то напоминало ему его детство, о чем я узнал гораздо позже.

Тогда же меня заполнило чувство благодарности к этому чекисту из питерских рабочих. Николай Иванович внушал мне, что я обязан всегда помнить и всегда непременно руководствоваться в делах тем, что чекист, как говорил Дзержинский, должен быть человеком с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. «Ты, — наставлял меня бригадный комиссар, — не имеешь никакого права дотрагиваться даже пальцем до подследственного; применение мер физического воздействия со стороны следователя к подозреваемому, обвиняемому есть первейшее свидетельство профессиональной слабости и непригодности следователя. Надо уметь видеть

другого человека, ставить себя на его место. Радоваться его радостями. Болеть его болями». Уроки бригадного комиссара прошли со мною по всей жизни, независимо от того, где я впоследствии работал.

В первые дни пребывания на службе в доме № 2 на Лубянке в моем подсознании почти постоянно возникал Василий Корячко. Здесь, по этим коридорам, его водили на допросы, может быть, все это было не здесь, а на других этажах этого огромного здания или в тюрьме, где я пока по долгу службы еще не был. В моей голове не укладывалось, как соотносятся то, что мне внушал начальник следственной части и что с удовлетворением воспринималось мною, как человеком с определенной юридической подготовкой, и факт ареста Корячко. Я исключал даже саму возможность следственной ошибки при таком начальнике, как бригадный комиссар. Может быть, следствие по делу Корячко, рассуждал я, велось в другой следственной части — Особых отделах, при другом плохом руководителе (что и было в действительности, о чем я узнал спустя много лет). Спросить напрямую бригадного генерала о том, говорит ли ему что-либо фамилия Корячко, не позволяла служебная этика: было принято как норма поведения не лезть в дела других следователей или оперативников.

Проблема истины, справедливости следствия в органах государственной безопасности встала передо мной сразу после того, как я начал вчитываться в документы, с которыми рекомендовал мне ознакомиться начальник следственной части. Меня насторожило то, что в них на первый план, как совершенно определенная доминанта, выдвигались интересы безопасности государства и уходило в сторону, тонуло то, что должно было бы стоять на защите чести и достоинства человека, что так обстоятельно разработано наукой уголовного процесса.

Концепция Вышинского «признание обвиняемого — царица доказательств» проглядывала в этих документах. Передо мной вставал один основной вопрос: об отношении государства в лице его органов безопасности к человеку, его чести и достоинству. И не в теоретическом плане, здесь все было более или менее ясно, а в практическом — в повседневной следственной практике. Ответ на этот вопрос я буду искать…

А пока дело Василия Корячко было для меня свидетельством беззакония и произвола органов госбезопасности. Среди моих знакомых, а тем более близких никто не пострадал в период известных массовых репрессий. Чужая боль была от меня далека, непосредственно я ей не сопереживал. Более того, считал за правило, что, если человека арестовывают от имени советской —

народной — власти, значит, он виновен, заслуживает наказания…

Пройдет Великая война, наступит мирное время, а Василий Корячко будет находиться в заключении. После XX съезда КПСС, когда начался пересмотр следственных дел осужденных по контрреволюционным составам преступлений, мне позвонил прокурор Главной военной прокуратуры с просьбой разрешить приехать ко мне в ЦК ВЛКСМ, где я трудился секретарем Центрального Комитета, и поговорить о Корячко, который просил о пересмотре его дела и реабилитации. Я сказал, что приеду в Главную военную прокуратуру сам. Она размещалась в одном из зданий нашей академии и ее посещение многое воскресило в моей памяти.

Прокурор рассказал, что Корячко дважды совершал побег из мест заключения, дважды его ловили и каждый раз снова судили и добавляли, по совокупности, срок заключения. У прокурора сложилось убеждение, что дело Корячко было сфальсифицировано. Пригласил же он меня в связи с тем, что Корячко в ходе следствия просил и настаивал на том, чтобы в качестве свидетеля по его делу допросили меня, аргументируя, что мои показания могли бы опрокинуть выдвинутые против него обвинения, которые носили характер грубых искажений фактов, имевших место, но оцененных предвзято.

Прокурор спросил, какого я был мнения о Корячко, было ли в его взглядах, высказываниях то, что можно было бы вменить ему в вину. Ответил, что нет. Он был таким же слушателем, как мы все, с такими же, как у нас, взглядами, может быть, с более критической оценкой положения на фронтах, о чем я ему говорил.

Единственное, чем он выделялся среди нас, так это любовью к своему украинскому народу, иногда в его сравнительных оценках культур различных народов сквозили элементы превосходства родной ему культуры, но это не криминал. Я подробно рассказал прокурору о допросе меня особистом. Стало совершенно очевидным, почему он не дал подписать мне протокол моего допроса — его содержание разрушало выстроенную против Корячко версию обвинения.

Прокурор, поблагодарив меня, сказал на прощание, что он подготовит материалы на полную реабилитацию Корячко, что и было сделано. Но никакая реабилитация не вернет — никогда не вернет! — молодые годы, и не только — любые годы, проведенные за колючей проволокой.

Шел я из Главной военной прокуратуры в Цекомол, а душа так же плакала и страдала, как тогда, августовской ночью 1941

года, в военных лагерях под Москвой, в Болшево, во время и после допроса меня особистом. Я шел и слышал его вопрос: «Дайте показания о проводимой вами совместно с Корячко антисоветской пораженческой агитации».

…Теперь мне, младшему следователю Третьего управления Военно-морского флота СССР, чекисту, придется допрашивать граждан СССР и иностранных, арестованных за контрреволюционную деятельность в ее различных проявлениях: измена Родине, шпионаж, террор, диверсия и прочее, в том числе и антисоветская агитация и пропаганда. Придется вести следствие в условиях войны, то есть при обстоятельствах, отягчающих любое преступление.

Война приобретала свою логику. Под Смоленском почти на месяц были остановлены немецко-фашистские войска. Несмотря на тяжелейшие потери наших войск, просматривалось одно: ставка гитлеровцев на блицкриг, молниеносный разгром Советского Союза терпит неудачу.

В Москве становилось пустынно. Заметно поубавилось жителей. Многие предприятия и учреждения были эвакуированы. Выйдешь на площадь Дзержинского, оглянешься вокруг и увидишь далекие очертания Манежной и Старой площади, Сретенки, улицы Кирова. А на них редких прохожих.

В сентябре 1941 года гитлеровское командование, пополнив резервы, начало новое наступление на основных стратегических направлениях: на севере — на Ленинград, на центральном участке фронта — на Москву, на юге на Киев, Крым, Донбасс.

В следственной части у меня не было еще товарищей, с кем бы я мог поделиться своими тревогами о ходе боевых действий на фронтах Великой Отечественной. Сердце обливалось кровью, когда доходили вести об окружении наших армейских группировок, о массовых пленениях. Товарищи по следчасти, которые работали с немецкими военнопленными, рассказывали, что те ведут себя высокомерно, нахально. У каждого гитлеровского офицера была при себе книжечка, содержащая «двенадцать заповедей в обращении с русскими», в которой, в частности, говорилось: «Вы должны осознавать, что являетесь представителями великой Германии. В интересах немецкого народа вы должны применять самые жестокие и самые безжалостные меры. Иначе вы никогда не сможете занимать ответственные посты у себя на родине. Держите русских на расстоянии. Никогда не вступайте с ними в спор: действуйте!»

И они действовали, не щадя никого и ничего…

Тянуло в действующую армию, туда, где мои сверстники совершали почти невозможное в боях с врагом! Однако были долг и приказ.

Оружием следователя госбезопасности, моим повседневным оружием должна стать честь и честность. Именно этим всегда был силен и славен мой народ. Мне шел уже двадцать второй год, и я хорошо знал, что бесчестье — тоже оружие. Я обязан был искать истину. Это тоже был мой урок первого этапа Великой Отечественной. Мое поколение шло в бой против бесчестия гитлеровцев за честь своего народа, Отчизны своей.

С такими мыслями и чувствами я приступил к работе. Следственная часть была эвакуирована в Ульяновск, где находились все основные подразделения Наркомата Военно-морского флота СССР, в том числе и его Третье управление. В Москве оставались несколько человек для текущей оперативной работы. Но и мы 21 октября 1941 года должны были выехать из Москвы.

Трагические дни начала и середины октября 1941 года отложились в памяти отдельными картинами, из которых трудно сейчас составить панораму жизни Москвы. Она стала ближайшим тылом действующей Красной армии. В некоторых местах немцы подходили к дальним окраинам города. С захваченных ближних аэродромов они днем и ночью терзали столицу. Пытались взять ее в клещи, окружить и захватить. В те дни, и особенно 16 октября, на восток двинулись тысячи москвичей.

Пешком, на повозках, в автомашинах, вперемежку с перегоняемым скотом уходили советские люди подальше от нацистского нашествия. В городе стало необычно тихо и пустынно. Он насторожился. Пепел сжигаемых документов лохмотьями висел в сером небе и нехотя падал на землю. Ночную тишину можно было слушать. Она нарушалась шумом редких автомашин да перекличкой патрульной службы. Мы были на казарменном положении, дабы в случае надобности заткнуть образовавшиеся в обороне бреши.

Изредка удавалось с разрешения руководства отлучиться. В одну из таких отлучек я навестил на нелегальной квартире Машу Мазурову — свою соученицу. Она была оставлена для подпольной работы в городе. В ее «нелегалке» было уютно, как в былые мирные дни, казавшиеся уже далекими. Война сразу отодвинула все в прошлое. Сделала историей. Сидели мы с Машей за круглым столом под розовым шелковым абажуром («крик» предвоенной моды), пили чай, вспоминая друзей. Пожелали друг другу счастья и разошлись. Больше прощаться во всей Москве мне было не с кем. Война разбросала всех друзей и близких. Кого куда…

До Ульяновска мы доехали быстро. Поезда на восток шли почти впритык друг к другу. Казалось, что все сдвинулось с места. Переезжали целые заводы, театры, детские дома… Но сдвинулось, конечно, не всё и не все. Страна, ее тыл жил и трудился, каждодневно питая фронт всем необходимым, зачастую отрывая от себя последнее. А фронт в боях учился воевать.

Народ был един в своем духовном порыве спасти родину от фашистского рабства. Он жил Великой верой в грядущую Победу.

О, если бы сейчас, в наше время, нашлась политическая сила, которой бы удалось вселить в народ веру в возможности социализма, он, народ, вопреки всякого рода кликушествам снова совершил бы чудеса и его государству не пришлось бы ходить по миру, собирая нищенские подачки на колбасу и колготки. К сожалению, эту веру продолжают убивать.

Мне думается, что главным выводом из первого этапа — самого трудного — Великой Отечественной войны является то, что советский народ, его молодое поколение имело Веру, жило Верой в победу.

Представляется, что органы госбезопасности призваны так строить свою деятельность, чтобы укреплять народную веру, а не разрушать ее. Путь к тому — стремление к познанию истины в каждом следственном деле, а стало быть, обеспечение справедливости по отношению к каждому человеку. Естественно, что в данном и в последующих случаях я говорю применительно к следственному процессу.

В Ульяновске (бывшем Симбирске — городе семи ветров) я снова встретился с родной Волгой. Она лежала, скованная льдом. Ветер из Заволжья гнал вниз, к Куйбышеву, к Вольску, снег, как будто там не хватало своего. Я вспоминал детство и огромные сугробы, что наметали заволжские ветры в наших местах, — огромные! А может быть, мне, тогда малышу, они казались такими.

Город был переполнен эвакуированными. На его окраинах обосновывались эвакуированные заводы; действующие работали на полную мощность, а люди все прибывали и прибывали. Жили тесно, но не в обиде, а в соучастии. Ведь лихая беда объединяет, мелочи жизни перешагивает.

Наша московская группа влилась в основной коллектив Третьего управления, которое размещалось на улице Труда, около гимназии, где учились В.И. Ленин и А.Ф. Керенский, а директором гимназии был отец Керенского. Но это к слову.

Уже на следующий день нас загрузили работой. Не помню всех следственных дел, которые я принял к производству. Одно из

них врезалось мне в память на всю жизнь, о другом спустя много-много лет мне напомнил мой друг Николай Иванович Любомиров. Вот о них-то я и попытаюсь рассказать.

В следственной части находились под арестом по подозрению в шпионаже два профессора ленинградской Военно-морской академии.

Один из них — специалист в области металлографии занимался исследованием материалов по изготовлению броневых плит, навешиваемых на боевые корабли с целью их защиты, другой — специалист в сфере рулевых корабельных устройств и других вспомогательных механизмов. Допрашивали их два старших следователя. Это следственное дело, судя по разговорам, считалось перспективным, то есть помимо пресечения шпионской деятельности этих двух людей можно было выявить связи, каналы и направления деятельности германской разведки на нашем военном флоте.

Однако время шло, а дело стояло. Арестованные показаний о своей шпионской работе не давали. Дело это вели следователи, которые были гораздо старше меня, посматривали на меня свысока, давали понять, что каждый сверчок должен знать свой шесток и не лезть со своим высшим юридическим образованием не в свои дела, хотя я и не лез.

Надо заметить, что среди следователей Третьего управления НКВМФ СССР с высшим юридическим образованием помимо меня был еще лишь один человек. Эта беда, как я потом узнал, имела быть и в следственной части Особых отделов НКВД СССР, и в следственной части по Особо важным делам МГБ СССР, в которых мне в разное время позже пришлось работать. Следователи почему-то нередко рекрутировались из людей с низкой общеобразовательной подготовкой, низким культурным уровнем.

Однажды меня пригласил к себе в кабинет бригадный комиссар Макаров и приказал принять к производству дело на профессора Владимира (отчества не помню) Сурвилло — специалиста, как я уже говорил, в области рулевых устройств и вспомогательных механизмов боевых кораблей. Внимательно ознакомившись с делом, я не нашел там каких-либо прямых или «сильных» косвенных улик, свидетельствующих о справедливости подозрений в адрес Сурвилло, обвиняемого в шпионаже в пользу немецкой разведки. Допросы моего предшественника были бесплодны. Они почему-то совершенно не затрагивали высокую профессиональную подготовку подследственного и тот несомненный интерес, который он может представлять для вражеской разведки с точки зрения его оценок состояния боевых кораблей отечественного флота. Надо сказать, что и в работе с

агентурными данными эта сторона не была в сфере активных оперативных действий нашей контрразведки. Я решил учесть этот пробел, сделать его ведущим началом при допросах Сурвилло.

В один из предпраздничных ноябрьских дней ко мне по моему вызову ввели Сурвилло. Я поздоровался с ним, пригласил сесть и, представившись, сказал, что отныне его следственное дело поручено вести мне. Передо мною сидел старик, хотя Сурвилло было пятьдесят четыре года. Ниже среднего роста, согбенный, с руками, висящими словно плети. В его взгляде отсутствовал, как мне показалось, всякий интерес к окружающему. Да и всей фигурой своей он выражал безразличие и безмерную усталость.

«Прежде чем допрашивать по существу дела, — подумал я, — надо дать ему возможность отдохнуть».

— Мне кажется, — сказал я, — что вы очень устали. Может быть, вам полезно было бы отдохнуть. Идите поспите. Соберетесь с силами, попроситесь ко мне на допрос, и я вас приглашу.

Думаю, что подследственный не сразу понял, что я ему предложил, а если и понял, то раздумывал — нет ли здесь какого-либо подвоха.

— Идите, — настаивал я.

Сурвилло долго молчал, рассматривал меня, а потом сказал:

— Да, я очень измотан. Мне действительно тяжко. Позвольте, я уйду.

На этом мы расстались.

Мне нужен был Сурвилло выспавшийся, с нормально работающей головой и приведенными в порядок нервами. Только в этом случае я мог оценить его как человека, с его характерными свойствами, повадками, волевыми качествами.

Допрос — это столкновение двух волевых начал, заложенных в следователе и в его подследственном. Надо уметь ставить эти две стороны (обоих субъектов) уголовного процесса в одинаковые по возможности условия. Именно по возможности, ибо неравенства не избежать: одна сторона свободна, а другая — с ограниченной арестом свободой. И все-таки подследственный не есть осужденный, его виновность находится в стадии доказательства, и потому он ограниченно свободен в выборе своей стратегии и тактики — признавать вину или нет (стратегия); в какой мере брать на себя вину: в полном истинном объеме или частично, укрывая что-то от следствия (тактика).

Через несколько дней Сурвилло попросился ко мне на допрос.

Выглядел он несравненно лучше. Я справился о его самочувствии. Он поблагодарил и сказал, что готов мне помочь в

делах. Я сделал вид, что не заметил сказанного, и попросил его рассказать о своей жизни; рассказать мне все, что он хочет. Я буду слушать и записывать. «В деле останется для потомков, — заметил я, — ваше жизнеописание, в конце которого будет черным по белому значится: „мною прочитано, с моих слов записано верно“. И ваша подпись».

Рассказ Сурвилло был длинным. В ходе его я дважды заказывал чай. Он с удовольствием пил и с большими подробностями и откровением рассказывал о себе.

Владимир Сурвилло был кадровым морским офицером с дореволюционным стажем. Он любил русский военно-морской флот, с упоением рассказывал о его доблестях. Иногда его показания были похожи на чтение лекции на вольно избранную тему.

Из этих первых допросов я вынес впечатление, что Сурвилло ценит жизнь, товарищество, привязанности близких ему людей. Несомненно, беспокоится о своем достоинстве, личностном «я» — как человек и специалист.

В ходе следствия я постепенно допросы превратил в беседы. Теперь свое пребывание на допросах подследственный воспринимал как отдых, как возможность предаться дорогим воспоминаниям о прожитом, об утраченной, неповторимой свободе, а возвращение в камеру — как насилие над ним и над его человеческой природой.

Так продолжалось недели две, но ежедневно. Сурвилло, по его собственным словам, уже не мог обходиться без меня.

И вот однажды Сурвилло, войдя ко мне, поздоровавшись и не садясь, сказал, что все продумал и решил дать подробные показания о своей шпионской деятельности в пользу немецкой разведки. Я, наверное, не мог скрыть своего удивления (ибо я начинал приходить к убеждению в его невиновности), а Сурвилло еще раз повторил сказанное. Я предложил ему написать в камере собственноручные показания. Подследственный мягко отвел мое предложение: «Мне будет легче, если мое признание вы зафиксируете в протоколе допроса». В моем сознании не возникло никаких соображений по поводу отказа Сурвилло от его показаний. Я только пытался остудить свое нетерпение. «Не торопись — говорил я себе, — остынь, не горячись. Иди вслед за арестованным, за его желанием. Анализируй, сопоставляй его поступки, стремления, умысел сиюминутных настроений».

«Вы готовы, — спросил я Сурвилло, — к даче показаний?»

Он ответил утвердительно. Я заказал чай с бутербродами. Мы перекусили, и Сурвилло начал рассказывать. Допросы шли ежедневно. Его показания были очень серьезны, касались многих

людей, боевого состояния кораблей (применительно к его профессиональной сфере) и, конечно, шпионских связей.

О ходе допросов я ежедневно докладывал начальнику следственной части. Он воспринял признание Сурвилло как должное, но потребовал тщательной перепроверки его показаний. Ежедневно после окончания допроса я готовил запросы в различные подразделения нашей контрразведки с постановкой в них конкретных вопросов, связанных с оценкой показаний подследственного и проведения соответствующих экспертиз. Я понимал, что бригадный комиссар прав. Я верил в аксиому, что признание обвиняемого в совершенном преступлении не есть царица доказательств. Его показания должны быть тщательно перепроверены и перекрыты другими доказательствами. В ходе следствия на мои запросы приходили ответы, подтверждающие прямо или косвенно показания подследственного, что убеждало в их правдивости.

Сурвилло вел себя спокойно. Нередко соскальзывал на житейские темы, вспоминал о своем житье-бытье, о своих увлечениях, особенно балетом, восходящей тогда на балетном небосводе звездой, а затем превратившейся в звезду первой величины — балериной У. Мне было интересно слушать эти не относящиеся к делу воспоминания. Жизнь всякого человека интересна и по-своему поучительна, надо уметь слушать и слышать, что именно и как играет на струнах своей души твой собеседник.

Конечно, Сурвилло был настоящим русским человеком, широко образованным, со своими взглядами на культуру, на окружающую действительность. И для меня первостепенным было раскрытие умысла Сурвилло в совершении такого тяжкого преступления, каким является шпионаж. Что двигало им? Какие интересы направляли его на путь измены Отечеству? Без наличия умысла, прямого или косвенного, не может быть состава контрреволюционного (я употребляю терминологию тех лет) преступления.

…Молодой гардемарин Владимир Сурвилло удостоился чести быть зачисленным на царскую яхту «Штандарт» во время ее похода с императором Николаем II на встречу в Балтийском море с кайзером Вильгельмом, состоявшуюся в преддверии Первой мировой войны. Во время захода яхты в Киль Сурвилло вместе с другими членами команды списался на берег. Здесь, после большой выпивки и случайной связи с «дамой, прекрасной во всех отношениях», он, боясь компрометации, дал согласие офицеру германской разведки сотрудничать.

Вот такая банальная легенда была заложена в основу показаний Сурвилло. По его словам, германская разведка не обременяла его никакими заданиями ни в годы Первой мировой и Гражданской войн, ни в мирное время, вплоть до конца 1938 года. Вот тогда Сурвилло напомнили о его обязательствах перед германской разведслужбой и потребовали конкретной работы. Сурвилло уже был профессором, с большими связями в Ленинграде и прежде всего во флотской среде. Сурвилло, по его словам, испугался возможных провокаций и шантажа со стороны германской разведки и не явился в органы госбезопасности с повинной — его испугали массовые репрессии, имевшие место в то время.

Страх повел Сурвилло дальше. С ним вышел на связь резидент, снабдил адресами явок, способом передачи шпионских данных. Перепроверка этой части показаний подследственного подтверждала их достоверность. Германскую разведку интересовали данные о боевых качествах кораблей, недавно спущенных на воду и приписанных к флотам, преимущественно Балтийскому. На допросах Сурвилло показал, какие именно данные он передавал своим связникам: где, каким образом, в каком виде и так далее. Особое внимание он обращал на недостатки боевых кораблей новых серий, в том числе серии крейсер «Киров». И в этой части показаний их перепроверка также свидетельствовала о том, что эти недостатки действительно присущи нашим новым боевым кораблям. Сурвилло назвал многих командиров флота, которые по разным обстоятельствам помогали ему в сборе шпионских данных.

Показания Сурвилло были настолько серьезны, что к его перекрестным допросам приступили начальник следчасти Макаров и прокурор, наблюдавший за работой следователей Третьего управления НКВМФ, за моей работой в том числе. И на их допросах в моем, естественно, присутствии Сурвилло подтверждал ранее данные им показания и конкретизировал обстоятельства, условия, характер и прочее своей шпионской деятельности.

Пройдет сравнительно немного времени, и меня, уже в качестве следователя Управления Особых отделов НКВД СССР (о чем я еще расскажу), пригласит в свой рабочий кабинет на Лубянке начальник управления В.С. Абакумов. Вызовет к себе моего подследственного — Сурвилло, и он, Сурвилло, в моем присутствии откажется от данных мне показаний о шпионской деятельности, осуществляемой им в пользу германской разведки.

Абакумов воспринял эти заявления Сурвилло совершенно спокойно. Так же спокойно он переведет взгляд на меня и, не

глядя на Сурвилло, спросит его, чуть повысив голос: «Почему же вы давали ложные показания следователю?»

— Потому что за все время пребывания под стражей после кошмара допросов у других следователей у него, — и Сурвилло показал взглядом на меня, — я снова почувствовал себя человеком, обрел человеческое достоинство. И в таком состоянии готов был пойти на смерть. Это первое и главное, что меня подвигло на ложные показания.

— Что же еще побудило вас к этому недостойному поведению? — спросил Абакумов.

— Мой следователь еще очень молод. Вся жизнь его впереди. Моя жизнь в прошлом, она прожита. Мне казалось, что на моем деле следователь сможет сделать хорошую карьеру.

Я не поверил своим ушам. Стыд вдавил меня в стул. Не сдержавшись, я, обращаясь к Сурвилло, воскликнул: «За что такое унижение?!»

Слезы навернулись на глаза. Мне стало совершенно безразлично происходящее. Я встал.

«Садитесь», — сказал мне Абакумов. Я сел. — «Садитесь ближе».

Я подсел к его маленькому столику, образующему букву «Т» с большим письменным столом.

— Вы понимаете, в чем состоит ваша ошибка?

— Догадываюсь. Но мне надо все заново продумать.

— Подумайте. Я подскажу допущенную вами ошибку. Вы уговорили, умаслили своего подследственного.

Работа с В. Сурвилло многому меня научила. В следственном процессе, в допросе, конечно, действуют законы диалектики, и в том числе закон борьбы противоположностей. Подобно тому как нельзя разрушать личность обвиняемого, так недопустимо и «умасливать» его.

После встречи в кабинете Абакумова я долго не мог прийти в себя. Стыд за свою профессиональную ошибку и уязвленная честь не давали мне покоя. Какое право имел Сурвилло даже подумать, а тем более выстраивать мою судьбу на своих собственных костях!.. Ужасно…

Больше я Владимира Сурвилло не видел.

Виктора Семеновича Абакумова видел. Мне известен и конец его жизненного пути.

Теперь о другом следственном деле. Расскажу о нем словами Николая Ивановича Любомирова — моего славного, давнего друга, так много сделавшего в трагические для меня времена:

«Эту историю мне поведал в пятидесятые годы главный

редактор журнала „Спортивные игры“ Анатолий Петрович Чернышев. В то время я работал главным редактором газеты „Советский спорт“.

Был обычный летний день. Перед началом очередного футбольного матча на первенство страны мы сидели в редакционном кабинете, беседуя о предстоящем поединке и о проблемах спорта.

Нашу беседу прервал телефонный звонок. В разговоре с абонентом я называл имя моего хорошего и давнего друга Николая Месяцева. Это, видимо, привлекло внимание Анатолия Петровича.

По окончании телефонного разговора он как-то задумчиво произнес:

— Интересно. Имя, которое вы упомянули в разговоре, вернуло меня к событиям пятнадцатилетней давности. Человек с таким именем сыграл важную роль в моей жизни. Этого человека я буду помнить до конца дней своих. А вот встретить его и прилюдно выразить свою признательность и благодарность не пришлось. А дело было в 41-м. Работал я тогда в „Красном флоте“. После начала войны по чьему-то, видимо, доносу „загребли“ меня. Предъявили страшное обвинение по статье 58 пункт 10. Начались допросы. Следователь поначалу, видимо, был матерый, умел выбить нужные ему показания. Но при всех его методах допроса я не признавал себя виновным, да и не мог признать. Вины-то за собой никакой не чувствовал. И вот однажды опять вызывают. Смотрю, сидит какой-то другой следователь. Этакий молодой. Ну, думаю, начинается все сначала. Приглашает сесть. И с какой-то необычной заинтересованностью и вниманием начинает расспрашивать о жизни, о делах. Чувствую, что с моим делом знаком: вопросы-то по существу, без какого-либо нажима и намека на провокацию. А в конце допроса он заявил, что не видит оснований для содержания меня в заключении.

С тех пор я всегда с чувством большой благодарности вспоминаю об этом человеке. Среди следователей я видел и других. А вот ведь были и есть среди них такие, и их, наверное, большинство, с трезвым взглядом и с чистой совестью…

Меня заинтересовала эта история и при первой же встрече я поведал о ней Николаю Николаевичу. И, к моему удивлению, он подтвердил, что такой факт действительно был в его практике. Удивление мое в большей степени было связано с тем, что мы познакомились с Месяцевым на работе в аппарате ЦК ВЛКСМ, и я никак не мог предполагать, что история с Чернышевым могла иметь какое-то к нему отношение.

Естественно, я рассказал Анатолию Петровичу, что секретарь ЦК ВЛКСМ Николай Николаевич Месяцев и есть тот самый человек, который встретился ему в трудные дни.

Вскоре мне пришлось поменять место работы, и в этой связи не приходилось видеться с Чернышевым. Знаю, что в 1968 году он вышел на пенсию, а через несколько лет его не стало. Так мне и не удалось узнать: состоялась ли встреча или хотя бы телефонный разговор между этими людьми. А со временем эта история как-то ушла из моей памяти. Не спросил я об этом и самого Николая Николаевича».

К сожалению, моя встреча с А.П. Чернышевым не состоялась. Как никогда не состоялись встречи и с другими моими подследственными, кого по моему предложению освобождали из-под ареста. Может быть, если будет к месту в моем повествовании, я напишу и о других.

Наряду со следственными делами Сурвилло и Чернышева, о которых я рассказал, были и другие. Работы было много — изнурительной, требующей больших нервно-психологических нагрузок. Следователь, который не сопереживает подследственному, — холодный ремесленник.

В один из дней декабря 1941 года, когда, казалось, мороз сковывал даже губы, а ветер помогал ему обжигать не защищенные ничем лицо и руки, в Ульяновск по радио пришла волнующая весть, побудившая забыть хотя бы на время, как мне казалось, невзгоды и беды каждого, — весть о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой.

Контрнаступление Красной армии на западном направлении началось 5–6 декабря, а 13 декабря Совинформбюро сообщило о провале немецкого плана окружения Москвы и о первом результате — одержанной Красной армией победе. Радости не было предела. Мы побросали работу и побежали в окружной Дом офицеров. Там уже яблоку негде было упасть, а народ все прибывал и прибывал. Возник стихийный митинг. Выступающие со слезами на глазах говорили о начале наших побед над коварным врагом. И в мое сердце вселилась еще большая уверенность в то, что враг будет разбит, победа будет за нами.

И как она могла не вселиться, если войска Калининского, Западного и Брянского фронтов разгромили в конце декабря 1941 года и в первых числах января 1942 года — за короткое время — ударные группировки противника под Москвой! Ими были освобождены от немецко-фашистских захватчиков тысячи населенных пунктов. Враг был отброшен от Москвы на запад на 100–126 километров. Угроза столице нашей отчизны и всему

Московскому промышленному району была ликвидирована.

Спустя некоторое время нам, сотрудникам Третьего управления Наркомата Военно-морского флота СССР, было сообщено о том, что управление ликвидируется, а его функции переходят к Управлению Особых отделов НКВД СССР. Что касается последующей работы каждого из сотрудников, то вопросы, связанные со служебными перемещениями, будут решены персонально в отношении каждого специально созданной комиссией. Было приказано работать и ждать своей участи, рапортов с просьбами о направлении в действующую армию не подавать.

Я получил назначение на должность следователя в Центральный аппарат Особых отделов НКВД СССР в Москву. Передал незаконченные мною дела другим следователям. Сел в поезд и приехал в родную столицу. Явился, как было приказано, в секретариат начальника Управления ОО НКВД СССР В.С. Абакумова. Там мне сообщили о том, что я повышен в должности (из младших следователей в следователи) и в звании — присвоено воинское звание «капитан». Конечно, это были приятные вести.

На дворе стоял март 1942 года. Москва была такой же пустынной, как и в тревожные дни октября 1941 года, когда я ее покинул, может быть, даже более малолюдной — гораздо меньше стало военных. Поговаривали, что скоро начнут возвращаться некоторые наркоматы со своими оперативными группами. Но пока в моем родном Останкино сквозь сугробы были проложены узенькие тропки — очевидно, немногочисленными прохожими. Дома, покрытые снегом, казались маленькими, сиротливыми и как будто никому не нужными. Шел я по Останкино своим обычным, нахоженным с детства путем. Сбивался с тропки в сугробы. Вытаскивал снег из ботинок. Шел медленно в надежде встретить кого-либо из знакомых. Но никого.

Родное Останкино безмолвствовало. Недалеко шла кровавая, беспощадная война. Об этом мне напомнил и дом, в котором я жил со своей мамой, братьями, сестрой. Он смотрел на меня вывороченными входными дверями, вышибленными окнами и сорванной крышей. И его не миновала война. Вошел я в засыпанную снегом квартиру. В ней, кроме железных кроватей, ничего не осталось. Наверное, позаимствовали на отопление замерзающие жители соседних домов. Жаль было одного — мама довольно регулярно писала дневник о своей и нашей жизни. Его я не нашел. Валялись обрывки моих конспектов, книг и журналов, но все это было уже не пригодно даже разжечь печку. Сидел я на железных прутьях кровати, которая совсем еще недавно была

мною так любима за уют и тепло, смотрел в разбитые окна на улицу и думал: «Что же ты наделала, треклятая война?! Измеримы ли потоки человеческой крови и слез, пролитых в муках, страданиях, смертях на поле брани, в студеных домах и цехах? Какое наказание должно быть избрано тем, кто развязал эту войну?!»

Время, историческое время ответит на эти вопросы. Мы, его свидетели и действующие лица… Сколько друзей заходили ко мне в мой неказистый, бедный дом. Но человеческого тепла в нем всегда хватало на всех. Где вы, друзья? Отзовитесь!

…Но все молчало в холодном снежном безмолвии Останкино. Ни родных, ни друзей. Один.

Вернулся я на Лубянку не в лучшей, как говорится, форме. Представился начальнику следственной части 00 НКВД СССР Павловскому — человеку с ромбом в петличке. Ниже среднего роста, с кривыми ногами, сравнительно молодому, но с плешивой головой. Посмотрел он на меня так, словно спрашивал, а зачем ты мне нужен?! Предложил обратиться к своему заму — подполковнику Лихачеву, что я и сделал. Лихачев набрал номер телефона и сказал кому-то в трубку: «Сейчас к вам зайдет новый следователь, ознакомьте его с нашими порядками, сидеть он будет вместе с вами». «Когда разберетесь, — продолжал Лихачев, — что к чему, мы выделим в ваше производство следственные дела». И назвал номер кабинета на том же шестом этаже, где я сидел, когда работал в Третьем управлении Наркомата ВМФ.

Кабинет, в который я вошел, станет для меня всем — и местом работы, и местом отдыха, и даже сна. За одним из столов сидел человек в морской форме, с нашивками капитана третьего ранга. Я представился. Он встал из-за стола, подошел ко мне, протянул руку, крепко сжал мою, сказал: «Здравствуй, коллега». И отрекомендовался: «Коваленко Петр Тимофеевич». Предложил сесть на один из диванов и стал расспрашивать меня — кто я и с чем меня «едят», а потом рассказал о себе. Наша первая встреча с Петром Тимофеевичем мне понравилась, и мы крепко подружились — надолго, до его кончины в 1963 году.

Петр был выше среднего роста, хорошо сложен, общителен, в отношениях прост, в жизни — без особых претензий. Следственное дело знал хорошо. Допрашивал умеючи. Я многому хорошему у него научился. Мы вместе с ним ездили в Лефортовскую тюрьму, завтракали, обедали, ужинали, делясь всем, чем были богаты. Такие добрые, искренние отношения скрашивали однообразную и тяжелую жизнь: допросы, допросы, допросы — с утра до поздней ночи, а то и всю ночь напролет.

Следственных дел у каждого следователя было много, даже с избытком. По характеру дел было очевидным, что немецкие разведывательные и контрразведывательные органы избрали двойную тактику в борьбе против нас. С одной стороны, они вели тщательную подготовку своей агентуры в специальных учебных заведениях (школах), с другой — прибегли к массовой вербовке агентуры из числа уголовников, лиц недовольных Советской властью, особенно националистически настроенных, а также из военнопленных, создавая последним неимоверно тяжкие, подчас нечеловеческие условия существования.

Наши люди, бежавшие, в частности, из брянских лагерей военнопленных, которые гитлеровцы устроили на территории паровозовагоностроительного завода, рассказывали, что в этом лагере было собрано около ста тысяч человек. Доведенные до отчаяния голодом и жаждой наши отцы и братья были вынуждены пить собственную мочу, а по ночам выедать ягодицы недавно умерших своих товарищей…

Да, так было. И не только в Брянске. Будучи на фронте, я собственными глазами видел, каким изуверским преследованиям подвергались советские люди, мои сверстники в концлагерях Треблинки, Освенцима, Равенсбрюка и в других. Так что я знал цену, которую платили эти люди за то, чтобы выжить. Тогда они шли на вербовку. Приходили на свою родимую сторону и обо всем рассказывали, раскаиваясь и винясь в слабости своей. Так тоже было. И часто. Однако у немцев была агентура, готовая идти почти на все ради выполнения порученного задания.

И с той и с другой категорией немецкой агентуры я внимательно знакомился, изучал ее интересы, повадки, способы и виды вербовки, характерные агентурные задания и тому подобное. Но главным для меня являлось проникновение в человеческую психологию. Познание психологии того или иного подследственного — ключ к исследованию виновности или невиновности его, к установлению следственной истины. Представляется, что и сейчас наука стоит у самого порога разгадки тайн человеческой натуры.

Нагрузка у меня была большая. Мои подследственные содержались во внутренней или в Лефортовской тюрьмах, всего в двух случаях — в Бутырской, так что и с ней я был знаком. Надо заметить, что знакомство следователей с той или иной тюрьмой ограничивалось (в моем случае) ее внешним видом и следственным корпусом, то есть тем помещением, где расположены кабинеты следователей, используемые при допросах. В тюремных камерах я ни разу не был. Жалоб со стороны арестованных на плохие условия содержания я не

слышал.

В Москве нелегко было, например, найти тюрьму, получившую название Лефортовская, что в бывшей Немецкой слободе. Не знаю, как сейчас, но в мое время вход в нее был сокрыт густыми зарослями старых тополей и лип, а с других сторон ее загораживали корпуса студенческого общежития Энергетического института и Центрального института авиационного моторостроения, в котором, кстати говоря, долгое время до войны работал главным инженером мой старший брат Борис.

Следственный корпус в Лефортовской тюрьме был большой — в два этажа. На первом этаже работали немногие, в основном занимали кабинеты второго этажа, тянувшиеся вдоль длинного коридора. Воздух в коридоре был застоявшийся, с какими-то своими, ни на что не похожими запахами. Идешь по нему и чувствуешь, как собственным телом рассекаешь плотную воздушную неподвижность. Каждый из нас, следователей, обычно работал в одном и том же кабинете, с табуреткой и маленьким столиком для подследственного, стоявшими напротив письменного стола следователя. Напротив окна стоял кожаный диван, на котором можно было в перерыве между допросами отдохнуть или даже ночью поспать, что тоже случалось нередко. Некоторые следственные дела, особенно по признакам терроризма и диверсий, требовали активных следственных действий — упусти следователь время, и может прийти неотвратимая беда.

Так в напряженной работе день сменяла ночь и снова приходил день. Иногда не замечал даже смены времени суток. Я был молод и физически крепок. Но и моих физических и духовных сил не хватало на пятнадцать — двадцать моих подследственных. Я недосыпал, изматывался, но знал, что на фронте тяжелее, там рядом смерть.

Во время шедшей по людским судьбам войны смерть косила людей не только на фронте. 18 апреля 1942 года я получил из Вольска известие от сестры Евгении, о том, что месяц назад, 18 марта, умерла мама. Она стояла в очереди за керосином, сильно простыла, заболела крупозным воспалением легких, проболела двенадцать дней и скончалась.

Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит пожелтевшая, с выцветшими от прошедшего почти полувека с тех пор чернилами, штемпелями почтовая открытка, в которой Евгения описывала свое неутешное горе и просила передать горькую весть всем нашим родным и близким. С той дальней поры эта открытка всегда — где бы я ни был, что бы со мной ни

было — со мной, в кармане у моего сердца, а вместе с нею одна из последних маминых фотографий. С простенькой фотографии, очевидно сделанной для паспорта, смотрит на меня моя родная, незабвенная, давшая мне жизнь, научившая трудиться и любить людей. Знай, мама, что если выйдет в свет то, что я сейчас пишу — мои воспоминания, — они принадлежат Тебе. Знай, мама, и то, что с тобой в сердце я вошел в жизнь и с тобой уйду из нее.

…Не знаю, любит ли нынешнее поколение своих родителей так же, как самозабвенно и глубоко любили мы?! Наверное.

Известие о смерти мамы выбило меня из рабочего ритма. Я написал рапорт на имя В.С. Абакумова с просьбой предоставить мне отпуск за свой счет на пять дней для поездки в Вольск, на могилу матери. Абакумов вызвал меня. Расспросил об обстоятельствах случившегося, поинтересовался, давно ли работает моя сестра экскаваторщицей на цементном заводе; сказал, что он подписал мне командировочное удостоверение на семь дней, что по приезде в Вольск я должен явиться к начальнику Особого отдела гарнизона, и пожелал доброго пути.

Я поблагодарил и вышел. Абакумов крепко держал в своих руках коллектив Центрального аппарата Особых отделов. Его побаивались. Как рассказывали старожилы, был он весьма крут, своенравен. Много работал сам и заставлял других. Внешне он производил приятное впечатление, даже располагал к себе. Был выше среднего роста, с крупной, хорошо посаженной головой, умным пристальным взглядом. Его служебная карьера была головокружительной: за какие-то три-четыре года он от оперуполномоченного Ростовского областного управления НКВД поднялся до начальника одного из ведущих управлений НКВД СССР. Надо заметить, что эта карьера была сделана в годы, когда во главе органов госбезопасности стоял Берия.

С командировочным удостоверением, подписанным Абакумовым, я без задержек на пересадочных пунктах доехал до Вольска. Прямо со станции, как и было приказано, зашел в Особый отдел гарнизона. Там меня уже ждали. Начальник отдела загрузил в розвальни продукты, и я поехал на завод, к сестре Евгении, последней, кто сидел около больничной койки умирающей мамы. Встретились с Женей. Поплакали. Вспоминали наше прошлое с мамой. Вместе со всеми домочадцами, соседями помянули родимую. На следующее утро пошли на кладбище, что километрах в шести от завода, на горах.

Шли медленно. Почти ни о чем не говорили. А о чем говорить?! Все, что лежало на сердце, было высказано вчера. В сознании мелькали обрывки из далекого детства и накладывались

на их теперешнее видение. Там — заводской клуб, площадь, где был митинг, когда хоронили отца. Тогда был март. Мама тоже умерла в марте, а сейчас апрель. Отец — скончался на моих глазах. Мама — нет. Тогда мне было около семи лет, а ныне двадцать два.

В детстве все казалось большим, а сейчас представлялось маленьким, игрушечным: и завод с его трубами, выбрасывающими в голубое небо белесый дым, и прилепившийся к нему рабочий поселок, скатывающийся с подножия гор к Волге, и Волга, моя Волга в снегах…

Мы шли на встречу с мамой. Медленно приближались к ее последнему упокойному пристанищу. Могила казалось еще свежей. В земельной черноте блестели меловые камушки, словно светлячки, ниспосланные откуда-то в этот апрельский, с легким морозцем день. Было тихо. Мы были одни. Слезы застилали глаза, всхлипывания перешли в рыдания. Стояли мы с Женей, поддерживая и успокаивая друг друга. Говорят в народе: выплачешься — будет легче. Наверное, не всегда так. Боль не проходила.

Она, эта боль по маме, осталась со мною на всю жизнь.

На следующий день я пошел на свой родной цементный завод «Комсомолец». С «Красного Октября» до «Комсомольца» километра три. Шел я горами, что над Волгой, воды которой подмывают их, особенно в половодье. День был погожий. В воздухе пахло весной, на припеке подтаивал снег. Я помнил, что стоит мне лишь взобраться еще на одну гору и откроется рабочий поселок «Комсомольца». Стоял и раздумывал — идти или не идти… Зачем? Стереть светлые воспоминания детства новым видением родного завода, да еще в такое лихолетье, как война, да еще после кончины мамы?! Думал, а ноги шли вперед.

Вот и казармы поселка, клуб, баня, а еще ниже, на самом берегу Волги, завод. По поселку двигаются редкие прохожие. Пошел вдоль казарм и я. Изношенность, убогость сквозили вокруг. Строения от старости словно вросли в землю. Такой была и моя казарма. Зашел в коридор. На дверях квартиры, где мы жили, висел замок. Прошел по коридору на другой конец казармы. Никого. На улице присел на скамейку. Посидел. Шли люди. Со своими заботами. Я, человек в морской форме, их не интересовал. Они и не догадывались, что я есть истое порождение коллектива цементников «Комсомольца». И тем горжусь. Война отодвинула возможность воспоминаний, размышлений над прошлым. К тому же, говорила мне Женя, на заводе не осталось никого из тех, с кем дружили мои отец, мать, братья и сестры.

Мужчины моего поколения были на войне.

С тех пор я в Вольске ни разу не был. Это была последняя встреча с родимыми местами, из которых и складывается великое и гордое понятие «Родина» и без чего человек, русский человек, жить полным счастьем не может. Я знаю, что считанные единицы моего поколения по тем или иным причинам покинули родину. Но счастливы ли они?! В последующие годы мне довелось побывать во многих странах и встречаться с представителями различных, как говорят, волн эмиграции — после Октября 1917 года и Гражданской войны, после Великой Отечественной и в период застоя — и их тянуло домой, на Родину. К сожалению, для многих из них возвращение домой было до последнего времени невозможно. Родину-мать — превратили в злую мачеху.

…Вернулся я в Москву к своим подследственным. Кто-то из них строил догадки о том, почему следователь их не беспокоит вызовами на допрос, а кому-то это было все равно.

Работа по-прежнему была напряженной. С фронтов и флотов поступали арестованные, чьи показания все в большей мере раскрывали характер деятельности гитлеровской разведки и контрразведки. Аналитическая работа в ходе следствия позволяла приходить к определенным на сей счет выводам и обобщениям, что позволяло соответствующим образом на уровне руководства вносить необходимые коррективы в практику наших разведывательных и контрразведывательных органов и, конечно, Особых отделов — их важнейшей составной части.

Несомненно, большой коллектив Особых отделов накапливал опыт борьбы с вражеской агентурой и вносил свой вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками, что приносило и личное удовлетворение.

Вместе с тем в деятельности органов были явления, которые настораживали. Я имею в виду в данном случае функционирование Особого совещания НКВД СССР.

Еще занимаясь в институте, а затем в военной академии я был наслышан об этом внесудебном органе, широко использовавшемся в практике НКВД наряду с другими ему подобными, разного рода «тройками», «пятерками» и прочими порождениями беззакония. Об Особом совещании говорили полушепотом, но говорили, а не молчали, ибо внесудебная практика вступала в острое противоречие с тем, что преподносилось в лекциях и содержалось в юридической литературе. То, о чем говорилось в студенческой и академической среде, мне предстояло увидеть. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Увиденное обдумать и намотать на ус», —

добавил я.

В секретариате следственной части мне сказали, что одно из законченных мною следственных дел по шпионажу выносится на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР. Почему — не объяснили. Я был обязан на специальном бланке Особого совещания, представляющем собой развернутый вдоль лист писчей бумаги, разграфленной на несколько колонок, впечатать в первую колонку обычные биографические данные на обвиняемого N: его фамилию, имя, отчество, год и место рождения, национальность, семейное положение, последнее место работы, дату ареста; в другую — формулу обвинения, так, как она записана в обвинительном заключении, подписанном мною, начальником следчасти, и утвержденном начальником управления Особых отделов НКВД СССР и прокурором (в данном случае, что N по заданию немецкой разведки проводил в тылу действующей Красной армии шпионскую деятельность, выражавшуюся конкретно в том-то и том-то, что предусмотрено ст. 58 «б» УК РСФСР). В следующую колонку вписать, что N признался в шпионской деятельности и что его показания подтверждаются соответствующими оперативными данными, документами, показаниями свидетелей и тому подобным.

Каждый такой листок (и ему подобные по другим делам, которые вели другие следователи из других следственных частей НКВД) под своим порядковым номером брошюровался в тетрадь, насчитывающую страниц 250–300. Стало быть, в этот раз Особому совещанию предстояло решить судьбу 250–300 человек.

Заседание Особого совещания проходило в одном из кабинетов на так называемом наркомовском этаже. Кабинет был небольшой. Стены выкрашены в темно-малиновый цвет. Окна зашторены. В углу слева от окон — два углом стоящих письменных стола, на них зажженные настольные лампы. За одним столом сидел заместитель наркома НКВД СССР Круглов, за другим — Генеральный прокурор СССР Бочков (до этого начальник Управления Особых отделов НКВД СССР). Напротив них стояли в два ряда стулья, на которых расположились следователи, чьи следственные дела рассматривало Особое совещание. У каждого из нас был свой листок (у некоторых по нескольку листков), но уже с обозначенным номером, соответствующим номеру в тетрадях, лежащих перед двумя членами Особого совещания. В мои (как и других следователей) обязанности после объявления замнаркома моего номера (номера повестки) входило сказать буквально следующее: «N обвиняется в шпионаже в пользу немецкой разведки по ст. 58 „б“ УК РСФСР. Виновным себя признал, что подтверждается такими-то

материалами следствия».

На весь мой доклад ушло не более минуты. Замнаркома предложил лишить N свободы сроком на 10 лет. Прокурор подтвердил согласием. Судьба обвиняемого была решена. Я покинул комнату Особого совещания.

Покинул, но она не покинула меня: я до сих пор все помню, как будто это было вчера. Особое совещание работало до тех пор, пока не прошелестели все страницы тетрадки до конца…

Особое совещание раскрыло передо мною вопиющее попрание конституционных норм, трактующих права гражданина СССР и обязанности государства по защите этих прав, в том числе и в уголовном процессе. В считанные минуты, без вызова обвиняемого, свидетелей, защиты, без проверки всех совокупных обстоятельств дела решается судьба человека — быть или не быть? Она, судьба, отдана в мою, следователя, власть, начальника следственной части и, в конечном счете, двух членов Особого совещания. Ну а если эти четыре персоны нечестные люди, или им неохота вникать во все тонкости дела, или они встали не с той ноги — тогда как? Нет, думал я, Особое совещание при всех, даже самых благоприятных обстоятельствах по отношению к обвиняемому есть не что иное, как глумление над естественным правом каждого человека — гласно защищать свою невиновность и так же гласно участвовать в установлении степени вины.

Неужели всем людям, сидевшим в этой зашторенной от белого света комнате Особого совещания, неясно, что подобная внесудебная расправа может быть учинена над каждым из них? Кто знает, как повернется судьба? На Лубянке ходила такая присказка: «Микроб гэ-пэ-у пожирает сам себя». Имелось в виду, что в 30-е годы одни сотрудники госбезопасности арестовывали своих предшественников, а их самих — следующие за ними. И все они проходили, как правило, через Особое совещание.

Даже по отношению к врагу надо применять нормы права. Органы правопорядка, допуская недостойности по отношению к обвиняемому, подозреваемому и так далее, оскорбляют тем самым самих себя. Конечно, все эти раздумья не могли не наложить своего положительного (в смысле объективного) отпечатка на мой подход к любому подследственному.

А вот отношение ко мне со стороны начальника следственной части Управления Особых отделов НКВД СССР стало меняться. Сначала оно было нормальным и способствовало работе. Однако по мере накопления мною опыта в следственной практике я стал высказывать ему свое несогласие с его оценками и требованиями, которые он предъявлял по тому или иному следственному делу. Он побуждал меня, да и не только меня, к тому, чтобы усиливать

обвинительные мотивы и смазывать, приглушать обстоятельства, смягчающие степень вины подследственного. Иногда наши разногласия проявлялись на оперативных совещаниях. Конечно, начальнику, да к тому же при его болезненном самолюбии, моя самостоятельность в суждениях была поперек горла, как говорится. Он усматривал в ней покушение на его начальственный авторитет. Разными уловками он пытался то приручить меня, то согнуть.

Однажды где-то часу в четвертом утра я вернулся из Лефортовской тюрьмы на Лубянку, в свой кабинет, дабы разложить там на диване свое постельное бельишко и поспать. Петр Коваленко уже был на своем ложе и что-то читал. Увидев меня, сказал, чтобы я сейчас же явился к Павловскому с протоколом допроса N (к сожалению, сути этого следственного дела я не помню). Начальник следчасти шелестел какими-то бумажками. Я ему передал протокол допроса N. Он, не предложив мне сесть, начал читать. Читал, читал — потом вскочил со стула, схватил листы протокола допроса и бросил их в мою сторону, сопровождая это отборным матом. Я посмотрел на него, сказал: «Хам!» — и вышел из кабинета.

Придя к себе, рассказал все Петру Коваленко и написал рапорт на имя Абакумова с просьбой об освобождении меня в силу сложившихся ненормальных отношений с начальником следчасти от обязанностей следователя Особых отделов НКВД СССР и направлении в действующую армию на любую работу. Тогда же ночью свой рапорт я передал в секретариат Абакумова.

Спустя несколько дней меня пригласил на беседу секретарь парткома, расспросил о причинах, побудивших меня подать рапорт. Я, естественно, рассказал все как было. Секретарь предложил мне перейти в другое подразделение Управления Особых отделов центра. Ответил, что хочу на фронт.

В этот же день вечером меня вызвал Абакумов. Там, на ковре, уже стоял красный как рак начальник следчасти. О чем между ними был разговор, не знаю. Абакумов снова предложил мне перейти в другое управление. Я отказался и попросил разрешения перейти на работу в политорганы действующей армии. Абакумов что-то прикинул в уме и сказал: «Сейчас формируется новая танковая армия — 5-я Гвардейская. Поедете туда в качестве заместителя начальника Первого отделения Особых отделов армии». Поблагодарив, я вышел.

Это была моя третья встреча с Абакумовым. Позже, обдумывая все случившееся, я понял, что, конечно, ломать копья из-за меня с начследчасти Абакумов не будет, он ему нужен. Более того, Абакумов покрывал его хулиганскую, недопустимую

для коммуниста-чекиста выходку, несовместимую со служебным положением. Думаю, что Абакумов мог вообразить себе, что если начальник следчасти позволяет себе швырять протоколом допроса в своего подчиненного, тоже коммуниста, то что же он может «выделывать» по отношению к подследственному…

Передо мною было два Абакумова. Один, который наставлял меня, молодого следователя, помогал мне в личных невзгодах; и другой — покрывавший недостойное поведение своего подчиненного и тем самым толкавший его на путь вседозволенности, беззакония. Каким же был Абакумов? Над ответом на этот вопрос у меня еще будет время подумать. Ведь я оставался работать в Особых отделах, им возглавляемых…

Особым отделам противостоял абвер — орган военной разведки и контрразведки верховного командования вооруженных сил Германии, которое возглавлял уже упоминавшийся адмирал Канарис. Помимо абвера против нас действовали также находившиеся под началом рейхсфюрера Гиммлера гестапо и СД. По мере приближения сроков нападения фашистской Германии на Советский Союз гитлеровская разведка все активнее засылала в нашу страну шпионов, диверсантов и террористов, создавала сеть резидентуры, разведшколы и тому подобное. Обо всем этом свидетельствовала разоблаченная вражеская агентура.

Развертывание вооруженных сил СССР в связи с войной потребовало значительного расширения и укрепления аппарата советской контрразведки.

В ходе боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны Особые отделы вели с гитлеровскими разведывательными и контрразведывательными органами бескомпромиссный поединок, который принимал все более жесткий характер. Фашистская Германия раскручивала свой механизм «тотальной войны», опираясь также и на возможности своих сателлитов.

Из показаний разоблаченной вражеской агентуры стало известно, что для руководства всей разведывательной, диверсионной и контрразведывательной работой на советско-германском фронте в местечке Сулеюве под Варшавой был создан в мае 1941 года специальный центр абвера, штаб «Вали», потом переместившийся в Восточную Пруссию. При штабе «Вали» была организована русская контрразведка — «Зондерштаб-Р», возглавлял его белоэмигрант Смысловский (он же полковник фон Регенау). Для выполнения диверсионно-десантных заданий абверу был придан полк специального назначения «Бранденбург-600», на базе которого в октябре 1942 года была сформирована дивизия. Филиалы абвера имелись при всех

крупных штабах вермахта: «абверкоманды» — в группах армий и крупных войсковых соединениях, «абвергруппы» — в армиях и равных им соединениях. Дивизиям и воинским частям придавались офицеры абвера. Всего на советско-германском фронте в годы войны действовало свыше 130 военно-разведывательных, диверсионных и контрразведывательных органов противника, а также около 60 различных школ для подготовки спецгрупп, не считая гестаповских, эсэсовских и иных полицейско-карательных формирований.

Гитлеровская разведка и контрразведка представляли большую опасность для советских вооруженных сил, для страны в целом. В первые же дни войны в Особые отделы были направлены тысячи работников правоохранительных органов, госбезопасности и чекистов запаса. Не одна тысяча пришла на работу в Особые отделы по путевкам партийных и комсомольских органов. Война учила кадры особистов, вооружала их опытом противоборства с противником, умению навязывать ему свою волю.

Конечно, я не намерен писать здесь историю Особых отделов. Я хочу противопоставить свой рассказ о них вымыслам о том, что органы госбезопасности являли собой палаческий орган коммунистической партии, ее правящей верхушки, обращенный против народа. Да, история органов госбезопасности действительно была трудной и во многом противоречивой. Конечно, нет оправданий репрессиям 30—40-х годов. Но нельзя сбрасывать со счетов и заслуги чекистов, и особенно в период Великой Отечественной войны. Уже к концу 1941 года подготовленные перед войной агентурные кадры абвера были в большинстве своем выловлены советской контрразведкой.

Именно тогда, как это было очевидно из показаний арестованных шпионов, диверсантов, абвер пошел по пути вербовки своей агентуры из числа советских военнопленных. Пытки голодом, подкуп, угроза расправой над родственниками — все было пущено в ход в целях усиления агентуры абвера.

Значительная часть забрасываемых через линию фронта немецких агентов из числа военнопленных сразу же после переброски приходили в Особые отделы или к командованию и чистосердечно рассказывали о полученных разведзаданиях. Абвер, конечно, чувствовал ненадежность этого рода агентуры и делал ставку на элементы, которые по тем или иным причинам были недовольны советской властью, тщательно готовили их в разведшколах. Однако следует заметить, что немецко-фашистские разведслужбы не оставили идею массовой заброски своей агентуры. Только за 1942 год в различных школах, на курсах прошли обучение свыше десяти тысяч человек. Вместе с тем было

очевидно, что такая групповая подготовка была чревата провалами агентуры, которая хорошо знала друг друга. На допросах в Особых отделах не составляло большого труда раскрывать почти всех, кто одновременно проходил подготовку таким образом, и брать агентуру, как говорится, еще «тепленькой».

В начале войны многие из нас, военных чекистов, имели приблизительные познания об организации, структуре и методах работы абвера и других агентурных центров противника.

Большую помощь в преодолении этих пробелов оказывали помимо приобретаемого в ходе работы опыта ориентировки, оперативные разработки, составляемые в центре, в Управлении Особых отделов.

Если внимательно проанализировать статистику по составам преступлений арестованных особыми отделами, затем после их преобразования в контрразведку СМЕРШ, то станут беспочвенными всякие утверждения о том, что сотрудники СМЕРШа выступали в качестве палачей собственного народа. Анализ сделать нетрудно, и не только за время войны, а за все годы советской власти. Следственные дела хранятся вечно. Они ждут своих аналитиков.

Глава IV
ФРОНТ. СМЕРШ

5-я Гвардейская танковая армия формировалась в деревнях у станции Костерево по железной дороге Москва — Горький. Родных в Москве по-прежнему не было, друзей, кроме Петра Коваленко, тоже. Имущество мое было на мне. Кое-что по мелочи ушло в вещмешок, которым «вооружила» меня Женя Герцик, — мы вместе учились в институте. Встретились случайно на улице Кирова. Узнала, что отправляюсь в действующую армию, затащила к себе на Чистые пруды, дала вещмешок с условием возвращения с фронта целым и невредимым. Ее супруг Михаил Матусовский, хороший поэт и человек, спустя много лет после войны грозился мне рассказать о подаренном вещмешке в стихах, но, наверное, увлекло его другое…

Добрался я до станции Костерево. В ее окрестностях нашел деревеньку, а в ней увидел стоящего на пригорке моряка — «впередсмотрящего». Я обрадовался, что в танковых войсках будет еще один при брюках клёш, еще одна морская тельняшка. Подошел, представился по всей форме. Познакомились. Оказалось, эта морская душа тоже будет служить в Особом отделе армии. Новый знакомый, старший лейтенант Георгий Ермолин, прибыл в срединную Русь с далеких берегов Тихого океана. Он станет моим другом на долгие-долгие годы. Русоволосый, с голубыми, словно васильки, глазами, из семьи поморов из-под Холмогор, продолжатель славных традиций отцов и дедов, ходивших на Грумант и далее…

Время было обеденное. Георгий помог мне встать на довольствие и пригласил вместе отобедать в столовой, что размещалась в доме на краю деревни.

Надо заметить, что штаб 5-й Гвардейской танковой армии, в том числе и наш Особый отдел, сформировался довольно быстро, за неделю-полторы. Командующим был назначен генерал-лейтенант танковых войск Павел Алексеевич Ротмистров, до войны преподаватель Академии бронетанковых войск, отличившийся в качестве командира танкового корпуса в боях под Сталинградом.

Начальником нашего Особого отдела стал полковник Фролов Алексей Федорович, в предвоенные годы выпускник артиллерийской академии, а до назначения к нам возглавлявший Особый отдел 2-й ударной армии, которой командовал предатель — генерал Власов. На совести Власова — тысячи погибших и

плененных бойцов и командиров. После того как стало известно, что Власов перешел на сторону немцев, я по заданию Абакумова ознакомился с письмами Власова с фронта к его жене в Москву. В них не было ничего такого, что могло бы даже косвенно свидетельствовать о его изменнических настроениях. Мне ничего не известно о дальнейшей судьбе жены Власова.

Штаб 5-й Гвардейской танковой армии погрузился на станции Костерево в эшелон и двинулся в Миллерово, под Ростов. Туда должны были прибыть входившие в армию танковые, механизированные корпуса и другие боевые подразделения. Ехали долго — больше полумесяца. Часто останавливались в пути, заготавливали для топки паровоза дрова. Теплушки были потрепаны бомбежками. Дыры замазывали ржаными клецками, которые ежедневно получали на завтрак, обед и ужин.

За приоткрытыми дверями теплушек медленно проплывали разрушенные города, поселки, деревни.

Черные снега. Торчащие печные трубы среди пепелищ. Скрюченные металлические фермы былых заводских цехов. Остовы домов, в которых совсем недавно жили люди. На перронах станций — изможденные от горя, голода и холода люди. «Нет этим гитлеровским головорезам прощения, — говорил я себе, — быть не может!» Их может образумить лишь военная мощь, умноженная на гнев народа — каждого советского человека — от малого до старого.

Молодые люди моего поколения видели горе людское, слышали стоны целого народа, впитывая их в сердца и души свои. Твердили об отмщении. Мысленно клялись мстить. Да, мстить! До полной победы. Месть тоже может быть святая! Народный клич: «Кровь за кровь, смерть за смерть!» — приобретал для меня свой смысл. Многие из моих товарищей уже все это пережили раньше. Я видел впервые. Это было начало. Впереди была длинная дорога войны со своими горестями и радостями — они вечно идут по земле рядом, взявшись за руки.

В Миллерове на путях стояли десятки эшелонов. Наш ввели в середину. Утром раздался вой сирен воздушной тревоги. Налетели немцы и начали бомбить. Мы выскакивали из теплушки и под свистящими, рвущимися бомбами, среди пожара, бежали, подныривая под вагоны, пытаясь вырваться из этого кошмара. Впереди меня бежал Федор Тюшин, наш старший оперуполномоченный. Я еле успевал за ним. Мы уже выскочили на обочину насыпи, как вдруг он споткнулся и упал. Я добежал до него, хотел спросить, что случилось. Перевернул его на спину, живот был вспорот как ножом, хлестала кровь. Посмотрел я Федору в лицо. Оно еще было розово от бега, с капельками пота,

но уже с неподвижными карими, пока не потускневшими глазами. Сел рядом. Мне стало все совершенно безразлично на всем белом свете.

Немцы продолжали бомбить. Наши бежали подальше от горящих эшелонов. Федор, этот парень, с ярко-рыжими кудрями, весь в веснушках, весельчак, еще вчера певший под свою семиструнную, лежал мертвый в доселе неизвестном ему Миллерове.

От нашего эшелона, как и от многих других, остались лишь железные остовы вагонов. Было приказано идти в деревню К., где и ждать дальнейших распоряжений. В этой деревне мы похоронили Федора Тюшина вместе с другими товарищами из штаба нашей армии.

Не помню, сколько мы прожили в этой деревне. Было голодно. Сын хозяйки дома, в котором я вместе с тремя товарищами был на постое, пристал ко мне продать ему морскую форму — я по-прежнему в ней вышагивал. Я согласился. Сослуживцы раздобыли мне красноармейскую форму, а свою морскую я отдал. Хозяйка, согласно уговору, устроила для нас, четырех человек, царский обед и поддерживала наше здоровье картошкой с квашеной капустой до нашего отбытия под город Острогожск, что под Воронежем.

Когда прибыли в разрушенный Острогожск, весна вступила в свои права. Гитлеровцы, естественно, это тоже чувствовали и по-своему реагировали на ее приход. На городской площади они оставили целую пирамиду, высотой с местную церковь, эрзац-валенок, этого чуда из соломы и бечевы, воткнутый в которое фриц представлял собою чудище несусветное.

Военный совет армии, ее оперативный, разведывательный, политический и другие отделы полевого штаба, в том числе и ее Особый отдел, разместились в большом селе Сосны, километрах в семи от Острогожска.

Началась будничная работа контрразведчика. Мне, как замначальника первого отделения Особого отдела армии, предстояло вместе с другими ее сотрудниками обеспечивать безопасность Военного совета и всего полевого Управления штаба армии от проникновения вражеской агентуры, скрытность деятельности Военного совета и штаба армии. Был я представлен командарму и члену Военного совета, который приказал начальнику административно-хозяйственного отдела переобмундировать меня в армейскую офицерскую форму. Обмундирование поступало к нам, пошитое в Англии из отличной шерстяной ткани. Переоделся я в новенькую форму с удовольствием, и мой внешний вид получил одобрение члена

Военного совета.

Постепенно накатывало лето. Светлая часть суток увеличивалась. Прибывали новые люди. Обеспечивать скрытность становилось все сложнее. К тому же немцы усилили разведку мест дислокации армии. Прощупывали разными способами и методами. Было принято решение уйти в близлежащие леса, там окопаться и продолжить еще более скрытно боевую учебу.

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом деятельность вражеских разведчиков усилилась. Были созданы новые органы — «Цеппелин», отдел иностранных армий Востока при Главном командовании сухопутных сил гитлеровской армии. Количество перебрасываемых агентов в расположение советских войск возрастало.

Судя по всему, к началу 1943 года борьба разведок подходила к своей кульминации. Обстановка диктовала необходимость еще более сильных ударов по вражеской агентуре.

19 апреля 1943 года Совнарком СССР принял решение о реорганизации Особых отделов в отделы контрразведки и о передаче их из системы НКВД в ведение Наркомата обороны.

Смысл этого решения состоял в том, чтобы на решающем этапе Отечественной войны объединить все дело обороны страны и обеспечение государственной безопасности войск, привлечь еще больше внимания армейского командования к работе армейских чекистов. Словом, подкрепить борьбу с вражеской агентурой всей мощью Вооруженных сил. В самом названии СМЕРШ — «Смерть шпионам» — закладывалась задача всех задач — борьба с подрывной деятельностью иностранных разведок. По всем вопросам оперативной работы нижестоящие органы подчиняются вышестоящим. Главное управление контрразведки — СМЕРШ. Вездесущие люди принесли молву, что название дал Сталин, потребовав закрыть линию фронта — сухопутную, морскую, воздушную — от проникновения вражеской агентуры в наши войска, их близкие и дальние тылы.

В новой структуре контрразведки армии создавалось наряду с другими специальное следственное отделение. Мне было предложено возглавить его. Я согласился. Тогда же меня избрали секретарем партбюро отдела контрразведки СМЕРШа 5-й Гвардейской танковой армии. Предстояло сформировать работоспособное следственное отделение из людей безусловно честных, профессионально готовых вести самостоятельно следствие и оказывать практическую помощь отделам контрразведки в танковых и механизированных корпусах, зенитной дивизии, авиационном полку, отдельных артиллерийских бригадах и в других боевых частях, входящих в

армию.

Немало предстояло сделать, чтобы на партийной, товарищеской основе сплотить весь коллектив армейской контрразведки, помочь руководству сделать его способным на деле бороться против вражеской агентуры, а также внедрять наших людей в разведывательные и контрразведывательные органы противника. В общем, работы хватало.

Наша армия вошла в Степной фронт, который стоял в тылу Воронежского. Для каждого мало-мальски думающего военного, да и не только человека в шинели, было очевидно, что в недалеком будущем должно развернуться сражение на Курской дуге. Гитлеровцы могли стремиться к тому, чтобы взять реванш за Сталинград и снова переломить ход войны на Восточном фронте в свою пользу. Нам, естественно, нужна была победа на Курской дуге для того, чтобы перемолоть фашистские дивизии в боях и погнать их, как говорится, без оглядки, на Запад, и там прикончить этого бешеного зверя.

Наша армия представляла внушительную военную ударную силу. В ее состав входили 3-й Гвардейский Котельниковский танковый корпус, 18-й танковый корпус, 5-й Гвардейский Зимовниковский механизированный корпус, две артиллерийские бригады Резерва Главного командования, зенитная дивизия, мотоциклетный полк, полк самолетов У-2 и др. Вся армия «сидела» на автомашинах — могла мобильно маневрировать в ходе боевых операций. Командовал Степным резервным фронтом Иван Степанович Конев. Конечно, тогда командующий фронтом был весьма и весьма далек от капитана контрразведки, но время эту дистанцию сократит и сведет нас к общему в судьбах, о чем позже.

В последних числах июня к нам приехал Красноармейский ансамбль песни и пляски Юго-Западного фронта. Концерт состоялся под вечер на лесной поляне, где на скорую руку была сооружена эстрадная площадка, а зрители размещались на полукружье естественного амфитеатра. Концерт проходил с большим успехом. Общее настроение было праздничным.

И тут, после того как ансамбль исполнил песню, рассказывающую о споре двух солдат — чей генерал лучше, наш командующий и попросил еще раз спеть эту песню. Конечно, ансамбль исполнил просьбу. Смолкли аплодисменты. Снова встал со скамьи Павел Алексеевич и опять попросил повторить песню о том, чей генерал лучше. Ансамбль и на этот раз уважил просьбу командарма. Слушатели с задором поддержали ансамбль аплодисментами, поглядывая на Ротмистрова — не захочет ли он в четвертый раз послушать полюбившуюся ему песню.

Командующий вновь поднялся со своего места, прошел вдоль рядов слушателей с опущенной головой, взошел на эстраду, снял фуражку и сказал: «Дорогие мои! Вы еще не знаете, что скоро нам предстоит вступить в тяжелые бои. Кто из нас вернется из них живым?..»

Павел Алексеевич хотел, видимо, что-то еще сказать, но замолк, снял очки, достал носовой платок, утер набежавшие на глаза слезы и пошел к своему месту. Установилась тишина. Было слышно, что где-то далеко кукует кукушка, словно отсчитывает каждому положенные ему годы жизни.

Присутствующие поднялись со своих мест. Стояли и молчали, словно ожидая, что их генерал Ротмистров, лучший из других генералов, именно сейчас отдаст им боевой приказ…

Приказ командующего о выступлении армии в боевой поход поступил через несколько дней. Танковая армада двинулась к Курской дуге.

Мне довелось увидеть поле танкового сражения под Прохоровкой спустя считанные часы после того, как наши войска одолели врага в этом самом крупном танковом сражении времен Второй мировой войны.

Поле битвы слева было очерчено высокой, крутой насыпью железной дороги, связывающей Москву с югом нашей страны, справа — глубоким оврагом, поросшим мелким лиственным лесом. Поле было ровным с отлогим скатом с нашей стороны к противнику.

Здесь и схватились в смертном бою более тысячи танков с обеих сторон. Здесь была окончательно похоронена лживая легенда о непобедимости вермахта. На поле боя остались сотни искореженных танков — со сбитыми башнями, порванными гусеницами, пробитой лобовой и бортовой броней. Многие танки догорали, некоторые только дымились. День был жаркий. Безветренный. В воздухе стоял приторный запах горелого человеческого мяса. По полю ходили бойцы похоронной команды, подбирая трупы. Вглядываться в сохранившиеся лица погибших не было сил.

Вот в таких битвах за свободу и независимость Родины уходили из жизни мои сверстники еще до конца не узнавшие, что такое жизнь. Мы же, оставшиеся в живых, все больше и полнее осознавали, что такое жизнь и какой она должна стать после войны. Страх перед смертью не пропадал, но притуплялся, прятался в каких-то закоулках сознания. Нарастало и крепло чувство осознанной смелости, мужества, ответственности за Отечество. Такое происходило не только со мною. С каждым

новым боем, с каждой пройденной верстой боевого пути поколение Великой Отечественной становилось нравственно крепче и краше.

Сыны Отечества клянутся!
И небо слышит клятву их!
О, как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, но пламя в них.
Тебя, Отечество святое,
Тебя любить, тебе служить —
Вот наше звание прямое!
Мы жизнею своей купить
Твое готовы благоденство.
Погибель за тебя — блаженство,
И смерть — бессмертие для нас!

Так вдохновенно писал Анд. И. Тургенев в 1802 году.

Вглядитесь в лица ветеранов прошедшей Великой войны, вдумайтесь в их судьбы, в жизнь, ими прожитую, и почувствуете ту нравственную красоту, которая формировалась в них и под Прохоровной на Курской дуге, и ранее, и позже в еще предстоящих, но пока неизвестных, не названных по именам битвах.

В процессе подготовки к летней кампании 1943 года, в ходе Курской битвы и дальнейшего нашего продвижения на Харьков СМЕРШ армии делал свое дело. Из анализа следственных дел, оперативных мероприятий, ориентировок Главного управления контрразведки СМЕРШ становилось очевидным, что на нашем участке советско-германского фронта действует преимущественно штаб «Вали», а засылаемая агентура, как правило, шла из разведшкол, дислоцировавшихся в Полтаве и Борисове. Надо сказать, что агентура из этих школ забрасывалась как непосредственно в боевые порядки действующей армии, так и в ее ближайшие и дальние тылы. Ничего нового в этой деятельности гитлеровской разведки и контрразведки не было.

Наша 5-я Гвардейская танковая армия выполняла преимущественно боевые задачи командования по прорыву линии фронта противника, окружению его частей и соединений, проникновению в довольно глубокие вражеские тылы. Отсюда следовала и специфика работы нашей армейской контрразведки, особенно ее следственной группы. Мы сами почти не занимались расследованием преступлений, совершенных предателями — старостами, полицейскими, комендантами, руководителями

бандформирований.

У нас не было возможностей задерживаться на одном месте для сбора доказательств виновности-невиновности подозреваемого, а также установления степени его вины, армия катилась вперед. Вышеназванная категория лиц представляла для нас оперативный интерес в том случае, если мы видели возможность выхода при ее посредстве на немецкую агентуру. Разного рода пособниками немецко-фашистских захватчиков занимались шедшие вслед за нами территориальные органы НКВД. Если у нас появлялись материалы, представляющие оперативный интерес, мы пересылали им.

Лишь в одном случае мы расследовали преступления, совершенные пособниками, и довели дело, как того и требовал закон, до осуждения их военным трибуналом. Первый случай имел место в Дергачах, под Харьковом, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков летом 1943 года.

После освобождения Харькова наша армия остановилась, чтобы пополнить свои боевые порядки людьми и техникой. Мы, контрразведчики, расположились в Дергачах, что близ города. От местных жителей к нам поступили заявления, что здесь скрываются не успевшие бежать вместе со своими хозяевами-оккупантами предатели, на совести которых сотни расстрелянных, замученных в застенках, угнанных в Германию советских граждан.

Мы довольно быстро установили восемь человек из числа наиболее активных фашистских пособников. Материалы на остальных передали в территориальные органы НКВД. Показаниями многочисленных свидетелей, пострадавших, вскрытием мест массовых захоронений советских людей, расстрелянных этими преступниками, судебно-медицинской экспертизой эксгумированных трупов, очными ставками обвиняемые были изобличены в совершении инкриминируемых им тяжких преступлений.

Судебный процесс был открытым. И длился несколько дней. Зал заседаний военного трибунала нашей армии был постоянно переполнен. Ни я, ни подчиненные мне следователи не присутствовали на этих заседаниях, но члены трибунала рассказывали потом, что в ходе судебного расследования в зале стоял стон, люди плакали навзрыд, требовали сурового наказания. Трибунал приговорил всех подсудимых к высшей мере наказания — к смерти через повешение. Акт возмездия состоялся здесь же, в Дергачах, при огромном стечении людей не только из этого городка, но и из других окрестных мест.

Естественно, ни я, никто из моих следователей при акте

повешения не присутствовал. Я считал, что присутствие следователя, который вел дело на приговоренного к повешению, явится для него слишком большой нервно-психологической перегрузкой. Работа следователя, особенно если он по своему складу чувствителен, эмоционален, — тяжела.

Нередко после допроса бросишься на койку и думаешь: «За какие такие грехи выпала на долю твою такая горькая участь, за какие провинности приходится копаться в темных закоулках человеческой души, исходить гневом и яростью против бесстыдства, грязи, подлости, лакейства и всяких других мерзостей?»

С трудом успеешь успокоиться под утро, а на следующий день опять все сначала — допрос, допрос, допрос — допрос интересных и скучных, волевых и таких, словно мокрая тряпка: выжимай что хочешь; веселых и грустных; воспитанных и необузданных; умных и дураков — словом, людей разных.

Будучи начальником следственного отделения армейской контрразведки, я щадил своих товарищей-следователей; всякий раз, когда была даже малейшая возможность, давал им отдохнуть, просто отвлечься от изнурительного труда. На протяжении всего времени пребывания в этой должности я вел себя со своими следователями совершенно на равных. Они чувствовали и ценили это отношение, отвечая тем же. Постепенно наше товарищество переросло в дружбу.

Среди нас было одно совсем еще юное создание — Тамара Качалова, работавшая машинисткой. Мы ее очень любили. Наверное, и за то, что ее присутствие облагораживало нас, не давало черстветь нашим сердцам. Среднего роста, словно тростинка, с темно-русыми на чуть откинутой назад головке волосами, спадающими на плечи, кареглазая, с четко очерченным овалом лица, она осеняла нас своей застенчивой — как будто в чем-то виновата — улыбкой, и мы, мужики, становились тоже стеснительными, казалось, более совестливыми. Тамаре шла военная форма, а еще больше — штатское платье, в котором мы ее увидели в День Победы. Однако кто из женщин-фронтовичек не мечтал надеть штатское платье?!

Наша фронтовая дружба долго длилась и после войны, а с некоторыми — Давидом Златопольским, Тамарой Качаловой — длилась до их кончины. Василий Журавлев, Александр Шарапов, Михаил Михайлов, контрразведчики из других отделений — Георгий Ермолин, Иван Сидоров, Семен Кацнельсон ушли в мир иной. Обо всех и о каждом друге-контрразведчике мне хочется рассказать тогда, когда сердце мое мне это подскажет.

Долг памяти. Ведь мы прошли вместе — плечом к плечу — по дорогам войны с марта 1943 года по май 1945 года. Тысячи километров остались за нами. Все, что было на этом пути, было прожито и пережито вместе, сообща. Мы сверстники. Боль каждого была болью всех. Радость одного становилась общей радостью. Так было. Сердечная дружба при высочайшей ответственности за порученное дело. Работа без каких бы то ни было понуканий. Товарищеское обращение, когда требовало дело, звучало как приказ. Большая помощь оказывалась нами коллегам-следователям в боевых соединениях, входящих в состав армии. И не только им, но и руководителям отделов СМЕРШ этих соединений. Я гордился своим отделением. К нам тянулись товарищи из других подразделений армейской контрразведки. Мы радовались этому, ибо росла и крепла дружба всего отряда контрразведчиков. В нашем партийном коллективе не удерживались себялюбцы и карьеристы, которых, к счастью, можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Партийная работа помогала слаженности коллектива, утверждению в нем чувства товарищества и взаимопомощи. После того как каждый из нас более или менее притерся друг к другу, партийные собрания стали проходить оживленно. Без оглядки говорили о недостатках, о своих промахах и не забывали о положительных фактах. В меру оперативной дозволенности делились своими суждениями по текущим и перспективным делам.

С общего, естественно, согласия у нас вошло в практику поочередное выступление коммунистов с докладами, политинформациями, беседами по текущему моменту, по международным делам. Первое смущение и стеснение докладчиков прошло довольно быстро — все свои. На смену им явилась соревновательность — а я не хуже тебя сделаю доклад, проведу беседу!

Отличался у нас по части бесед старший следователь Василий Романович Журавлев, которого на этом поприще обошел после прихода на работу из корпуса в армию Давид Златопольский. Василий Романович был родом из Череповца, тогда еще маленького русского городка с тихим медленным течением жизни, геранью на окнах, городка, где каждый обо всех все знает. Он был старше меня года на два. Среднего роста, эдакий крепыш с хорошо развитой мускулатурой. До работы в органах госбезопасности и окончания спецшколы НКВД он трудился на лесоразработках в бескрайних вологодских лесах.

Василий Романович любил вспоминать байки про Петра I.

Ехал как-то великий царь из Петербурга в Москву, ехал-ехал и уперся в стену вологодского леса. Посмотрел, посмотрел и приказывает своим провожатым поворачивать: «То — тьма!» — и указал на стоящий перед ним лес. С тех пор места эти получили название «Тотьма», и район так зовется. Или: поехал как-то царь Петр по Вологодчине. Притомился. Сбросил с себя парчовый кафтан на землю и улегся. Спит и чует, что кто-то из-под него кафтан вытягивает. Проснулся, увидел виноватых и говорит им: «Вы тигры». Вот отсюда и идет название района — «Вытегра».

Василий Романович обладал завидным трудолюбием. Над некоторыми следственными делами работал с увлечением, добивался безусловной документации фактов, составляющих суть совершенные подследственными преступлений. Отношения с ними устанавливал спокойные, без нервных встрясок, допрашивал умело. В протоколах допроса, составленных Журавлевым, ощущался характер подследственного, даже его лексика. Он не любил, как некоторые следователи, стилизовать протоколы допроса.

Василий Романович в дружбе был крепок. Я знал, что в трудных обстоятельствах всегда могу опереться на его поддержку. Он был женат. Его супруга Шурочка жила вместе с престарелой матерью Василия Романовича. Домой он часто писал длинные письма. Написав очередное письмо, с удовольствием сообщал: «Вот я и поговорил со своими». Василий Романович Журавлев закончил войну в звании гвардии капитана, отмечен орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями. Его вклад в борьбу с вражеской агентурой несомненен. Может показаться, что слово «вклад» в данном случае неуместно, завышает оценку работы в конечном счете рядового работника. Но именно на таких работниках, как Журавлев, держалась контрразведка с ее несомненными успехами.

Начальнику военной контрразведки абвера генералу Бентивеньи незачем было делать заявление о том, что советская контрразведка и разведка брали верх над гитлеровской. В своих оценках успехов советских разведывательных и контрразведывательных органов он не учитывал важнейшего фактора — постоянную, вполне осознанную помощь народа, — солдат и офицеров действующей армии.

Возглавлял отдел СМЕРШ нашей 5-й Гвардейской танковой армии гвардии полковник Фролов Алексей Федорович. Он, как правило, не спускался с высот, связанных с деятельностью Военного совета армии. И это было понятно. Его замы — гвардии подполковники Сагалов и Рощупкин строили свои отношения с

подчиненными на основе товарищеского уважения и доверия к ним. Они и на работе, и на отдыхе были вместе с нами. Мы ценили эти добрые отношения, остались и после войны в крепкой мужской, фронтовой дружбе.

Советская многонациональная литература о минувшей большой войне справедливо воспевает фронтовое братство, истинное товарищество солдата, офицера, генерала, маршала.

Защита социалистического отечества формировала у нашего поколения осознание величайшей ценности — правды. Она выражалась в чеканной формуле: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Перед этой правдой любые ценности мирной жизни тускнели. Поколение жило борьбой за свободу отечества. Эта борьба питалась, множилась, крепла совестью. Мы, участники Великой Отечественной, помнили идущий от поколения к поколению еще издревле завет: «Лучше на родной земле лечь, чем на чужбине в почете быть».

Совесть для нас была тем фундаментом, на котором покоились фронтовая дружба, отношения товарищества, взаимопомощи, взаимовыручки.

Совесть для нас являлась источником советского патриотизма. Глубоко в сознание, в широкий обиход нашего поколения вошли слова о «беззаветной любви к Родине». И это было так, именно так.

Неужели исторический опыт героики времен Великой Отечественной войны, выражавшейся в совести, в боевой фронтовой дружбе, в беззаветной любви к Родине, будет бессовестно предан или забыт? Не бывать этому! Вся история Отечества нашего вопиет против.

Исторический опыт Великой Отечественной войны в духовной сфере есть продолжение народной традиции, ярко запечатленной в классической литературе и народном эпосе.

После битвы на Курской дуге я понял ту истину, что людям можно приказать взять оружие, но на Отечественную войну приказом народ не поднять. На нее он идет по велению своей совести, у которой превыше Отечества никогда ничего не было и не будет.

О, родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя!

Так выражал народные чувства В. Жуковский.

Вглядимся в боевой путь солдат, офицеров, генералов 5-й

Гвардейской танковой армии. В нем, в ее победах выражены неиссякаемый дух любви к отечеству, совесть, звавшая воинов к отмщению за поруганную врагом родную землю.

Отгремел самый первый салют в столице родины Москве — и выражена в приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина благодарность личному составу армии и каждому воину в отдельности за разгром немецко-фашистских войск на Белгородско-Курском направлении (4 июля 1943 года). Прогрохотали в нашу честь салюты за освобождение Белгорода (5 августа 1945 года), а затем Харькова (23 августа 1945 года). С конца августа по октябрь армия в боях с короткими передышками для пополнения людской силы и техники вошла в Полтаву, а затем через Кобеляки на Озеры, где, овладев переправой через Днепр, вышла к Мишурину Рогу.

Помню, что делалось при переправе через Днепр. Под непрекращающейся бомбежкой переправы вражеской авиацией на берегу скопилось большое количество людей, танков, артиллерии, автомашин. Начальник переправы, полковник, не мог навести порядок. Он метался из стороны в сторону, что-то приказывал, кричал, но все было бесполезно. Вражеский огонь превратил наши подразделения в неуправляемые воинские скопища. Гибли люди, горела техника, казалось: вот-вот, и будет снесена переправа.

И вдруг в горловине переправы, в самой гуще наших войск, появился человек в генеральских погонах, без фуражки, с блестевшей на солнце лысой головой, с палкой в руках и начал, раздавая удары направо и налево, наводить порядок. Взобрался на танк и с него, словно регулировщик, стал пропускать через переправу соединение за соединением.

«Командующий фронтом — Конев Иван Степанович!» — полетела из уст в уста весть…

Не прошло, наверное, и пяти минут, как порядок на переправе был восстановлен, в воздухе появились наши ястребки, прикрывшие переправу с воздуха. Я смотрел на командующего фронтом, стоявшего на бугре над Днепром. Он был виден многим и сам многих видел. Лицо его было жестким, в гневе. Около него с повинно опущенной головой стоял начальник переправы.

Через много лет, в середине 60-х годов, как-то за чашкой чая в моем служебном кабинете на Пятницкой, я напомнил Ивану Степановичу этот эпизод. (Маршал часто заходил к нам в Комитет Гостелерадио как командующий Всесоюзной пионерской военизированной игрой «Зарница»).

Он, конечно, его вспомнил. Я спросил, а не забыл ли он, как

гулял палкой по спинам солдат и офицеров. В глазах маршала Советского Союза появилась грусть, и он ответил: «Что, по-твоему, тогда было лучше — применить палку или допустить гибель людей?.. Начальник переправы оказался растяпой», — добавил он.

Иного ответа я не ожидал. Действия командующего фронтом на переправе вызвали одобрение, а те, кому сгоряча попало по спине, в шутку говорили: «Ну вот, теперь и я знаком со своим командующим фронтом».

Переправившись на правый берег Днепра, армия с боями через Лиховку, Владимировну, Лазоватку овладела Пятихатками, за что вновь была отмечена в приказе Верховного (19 октября 1943 года). Затем последовали благодарности за освобождение г. Знаменки (10 декабря 1943 года) и в наступившем 1944 году — г. Кировограда (8 января).

5-я Гвардейская танковая армия наращивала умение воевать. За отличные действия в боях за гг. Звенигородка, Шпола, Смела, Богуслав и Канев она была вновь отмечена в приказе Верховного Главнокомандующего (3 февраля), а через полмесяца 5-я Гвардейская танковая армия отличилась в боях по окружению и уничтожению немецких войск в Корсунь-Шевченковской операции (18 февраля); чуть позже в приказе Верховного Главнокомандующего была выражена благодарность за осуществление прорыва и разгрома Уманьско-Христиновской группировки немецко-фашистских войск (10 марта), а до этого, 6 марта, армия освободила город Умань.

Со времени боев под Прохоровкой наша армия была в составе сначала Степного, а затем 2-го Украинского фронта, которыми командовал Иван Степанович Конев. Под его началом наша 5-я Гвардейская танковая армия форсировала Днестр.

26 марта 1944 года Москва салютовала доблестным войскам, вышедшим на государственную границу. И опять с боями, но уже по чужой, румынской, территории. С 1 по 29 мая были взяты Штефанешты, Ботошани, Хырлэу; армия участвовала в отражении контратак Ясской танковой группировки немцев, а затем снова вернулась в Ботошани и Штефанешты на отдых.

Был месяц май. Все было залито солнечным светом и яблоневым цветом. С отлогих гор спускалась легкая прохлада. Дышалось легко. На сердце было радостно. Мы не знали, когда кончится война. Но мы знали, что конец скоро наступит. Юг страны был очищен от нечести оккупантов. Наши войска набирали силу — тыл давал оружие и провиант, командиры и солдаты обретали умение воевать, побеждать меньшей кровью.

Отдел контрразведки стоял в большом румынском селе Пацкауцы под Штефанештами. Я приехал туда на попутных из молдавского города Сороки, где провалялся с острым воспалением легких, схваченным по молодечеству, — искупался в Днестре, с которого еще до конца не сошел лед.

В Пацкауцах разыскал своих, занялся следственным делом на четырех человек, поступивших из СМЕРШ-бригады. Арестованные имели задание немецкой разведки проникнуть в расположение соединений нашей армии и помимо сбора шпионских сведений совершить террористический акт по отношению к ее командующему — Ротмистрову. Дело это привез следователь из бригады, с ним были доставлены арестованные.

В канцелярии отдела, на бревнах (часть дома еще достраивалась), сидел в кожаном пальто капитан. Красивый овал лица, густые черные волосы, откинутые назад, карие глаза, полные губы. «Симпатичный малый», — подумал я и спросил: «Какое у вас образование?» — «Высшее, окончил Военно-юридическую академию Красной армии».

Я искренне обрадовался, что встретил выпускника своей академии. Капитан уже был определен на постой, и я предложил ему зайти ко мне в дом, естественно, взяв с собой следственное дело.

Знакомясь с делом, я все больше убеждался в том, что это типичная «липа», к тому же сфабрикованная человеком, плохо знающим методы работы германской разведки со своей агентурой, который побудил или принудил, в чем еще предстояло разобраться, четырех молодых ребят восемнадцати-девятнадцати лет, недавно призванных в действующую армию с оккупированных немецко-фашистскими войсками территорий, дать показания об измене родине и готовности совершить другие тяжкие преступления в интересах врага.

В ходе ознакомления с делом я задавал следователю Златопольскому интересующие меня вопросы, затем спросил:

— Верите ли вы в правдивость показаний, данных арестованными?

— Дело вел начальник отдела СМЕРШ-бригады, — ответил Златопольский, — я же фактически не принимал в этом участия.

— Ну что же, — сказал я, — поработаем вместе. — И попросил, чтобы привели ко мне арестованного К. — одного из четырех, старшего в этой агентурной связке.

Мы с Давидом Златопольским были молоды — по двадцать четыре года, — а тот, кого привели на допрос, показался мне совсем юным, этаким недорослем.

Попросил К. сесть. Он сел. Посмотрел я на него и спросил:

— Ты зачем оговорил себя, что завербован немецкой разведкой и в составе группы, согласно заданию, должен совершить террористический акт против командующего армией? Ты знаешь, что данные тобой показания, в которые я не верю, могут привести тебя в могилу?

К. молчал.

— Ты подтверждаешь свои показания, данные ранее, или отказываешься от них?

Следователь Златопольский не ожидал от меня того, что я сразу поведу допрос на отказ арестованных от показаний о вражеской деятельности. Молчал. В допрос не вмешивался.

— Почему ты оговорил себя? — спросил я К. — Тебя били?

К. молчал.

— Не бойся. Говори правду.

— Били.

— Следователь, что сидит напротив меня, тебя бил?

— Нет.

— А кто?

— Майор (начальник отдела СМЕРШ танковой бригады, фамилию его не помню. — *Н.М.*), который допрашивал меня и моих товарищей. Он бил и говорил, что если я сознаюсь в том, о чем он говорил, то меня осудят и отправят в штрафной батальон. И я по его подсказке оговорил себя.

Примерно в таком же плане допросили трех других. Провели очные ставки между ними, на которых они рассказали, как оговаривали друг друга. Я пригласил помощника прокурора армии и вместе с ним еще раз протокольно зафиксировал отказ этих четырех ребят от связей с немецкой разведкой.

Освобождая их из-под стражи, я говорил им в присутствии следователя Златопольского о справедливости советской власти. Родине не нужно искусственно плодить своих врагов, а тем, кто становится на этот преступный путь, вроде майора из контрразведки танковой бригады, который сфабриковал на них дело, не место в органах СМЕРШ, о чем я и написал в своей служебной записке по этому следственному делу.

Руки и совесть капитана Златопольского в этом сфабрикованном деле были чисты. Однако он остро переживал, что не вмешался в неправомерные действия своего начальника, не восстал против них. Я попросил, чтобы Д.Л. Златопольского зачислили в штат руководимого мною следственного отделения армейской контрразведки. Давид Львович мне понравился, к тому же я рассуждал так: «За одного битого двух небитых дают». Руководство мою просьбу удовлетворило. Капитан Златопольский пройдет с нами весь дальнейший боевой путь славной 5-й

Гвардейской танковой армии.

А путь этот будет длинным и тяжким. Когда оглядываешься в прошлое из настоящего, все пережитое представляется проще, понятнее, определеннее. Тогда я не знал, что здесь, в Румынии, как бы завершалась первая половина боевого пути нашей армии — от Курской дуги до Заднестровья. В мае 1944 года я, как и все другие, не знал, что почти ровно через год окончится эта треклятая война, причинившая неимоверные страдания и столько горя, что в них можно было захлебнуться. Сила воли и духа народного не дали случиться тому, а совесть постоянно питала, укрепляла и волю, и дух.

Всё мое поколение и все люди свято верили, что после войны придут радость и счастье в каждый дом, поселятся в каждом сердце, а социалистическая родина будет процветать, воскрешенная из руин и пепла трудовым подвигом народа. Для нашего поколения социализм и Родина были неразделимы. Одни из нас делали акцент на слове «социалистическая», другие — на слове «Родина», но обязательно в едином словосочетании.

В начале июня 1944 года наша 5-я Гвардейская танковая армия погрузилась в эшелоны и отбыла в неизвестном направлении. Это действительно факт — даже мы в контрразведке не знали, куда именно передислоцируют армию. Перед раскрытыми настежь дверями теплушек промелькнула Молдавия. Я и не предполагал, что скоро снова с ней встречусь…

Наш паровоз мчал нас на север. Остались позади Могилев-Подольский, Жмеринка, Винница, Казатин, Фастов, Киев, Нежин, Конотоп, Шостка, Навля, Брянск, Рославль. В Смоленске стали разгружаться. Куда и зачем прибыла армия, стало ясно.

На всем этом длинном пути перед глазами развертывалась потрясающая воображение картина разрушений, ужасающая нищета нашего народа. И дети… Их голодный, просящий взгляд. На станциях и полустанках им отдавали последнее из скудного офицерского и солдатского пайка. Ну, думалось тогда, дойдем до рейха и воздадим сполна за все, что сделала адская гитлеровская машина с нашим народом, его детьми, очагами, селами и городами!

Армейская контрразведка разместилась в деревне Смоляки Смольнинского района Смоленской области. Необходимые меры, обеспечивающие безопасность Военного совета, штабов, были приняты. Работы было мало. Корпуса и бригады ждали технику и людское пополнение. Я попросил Фролова, начальника отдела СМЕРШ, разрешить мне съездить на автомашине в Москву, дней на пять. Он не возражал, но сказал, чтобы я непосредственно

обратился с этой просьбой к начальнику Управления контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта, в состав которого вошла наша армия.

Разрешение я получил. Сел в автомобиль и покатил в свою Москву. Приехал. Стоит белокаменная без изменений. Как будто бы я и не уходил из нее. Хотя, конечно, народу заметно прибавилось. Былого напряжения прифронтового города как не бывало. Но на лицах, в фигурах людских все та же горькая озабоченность, непроходящая усталость. Зашел к своим бывшим коллегам-следователям на Лубянку, в СМЕРШ. Все живы, здоровы. Ознакомили меня с новым и установками, которые необходимо иметь в виду на оперативно-следственной работе в армии.

Особо рекомендовалось следить за передислокацией вражеских разведцентров и школ, делать упор на разоблачение агентуры, оставленной на «залегание» (на работу по мере надобности: через год, два, десять лет). Большой интерес вызвал подробный рассказ о том, что в феврале 1944 года Гитлер в связи с переменами в тайной войне на советско-германском фронте издал директиву о централизации всех фашистских секретных служб в Главном управлении имперской безопасности (РСХА), подчиненном министру внутренних дел Гиммлеру.

Начальником РСХА был в то время обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер. Таким образом, некогда всесильный абвер фактически прекратил свое существование. В системе вермахта осталось лишь третье абверовское управление (контрразведка), да и то под непосредственным руководством РСХА. Чуть позже адмирала Канариса за участие в заговоре против Гитлера в числе других казнят.

Сослуживцы из центрального аппарата СМЕРШ рассказали и о структуре фронтовых разведывательных команд и групп вместо «абверкоманд» и «абвергрупп». Функция этих подразделений РСХА по существу не изменилась.

Новые руководители вражеской разведки надеялись — и это мы ощущали в наших фронтовых буднях — переломить противоборство со СМЕРШ в свою пользу. Но это, как покажет дальнейшее, им не удалось. Не помогло и создание специальных диверсионных формирований СС во главе с оберштурмбаннфюрером СС Скорцени, организатором похищения Муссолини из заключения.

Начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ заместитель министра обороны Союза ССР, генерал-полковник В.С. Абакумов мог испытывать чувство глубокого удовлетворения от того, что возглавляемая им когорта военных контрразведчиков,

обретая опыт в боях, опираясь на поддержку генералов, офицеров, солдат — на весь советский народ, сумела одержать верх в противоборстве с разведывательными и контрразведывательными органами гитлеровской Германии.

Тайная война на фронтах Великой Отечественной войны и в их тылах продолжалась. В один из последних вечеров перед отъездом на фронт посидел я с друзьями в ресторане «Астория» на ул. Горького (ныне Тверская), где я и оставил почти все, что было в кошельке (действовали так называемые коммерческие цены, но более умеренные, чем сейчас в подобных заведениях).

В отделе кадров Главного управления мне сказали, что Фролов, начальник армейской контрразведки, вызван Абакумовым в Москву для объяснений по поводу отправленных им с фронта двух грузовых автомашин с различным барахлом. Мне показали эти два трехтонных студебекера. Задержали их на контрольно-пропускном пункте Минского шоссе при въезде в город (который проходил и я) в соответствии с приказом Сталина, категорически запрещающим всем, в том числе и генералитету, заниматься барахольством. Справедливость и своевременность этого приказа была очевидной. Что может солдат, на плечах которого лежит основная тяжесть войны, засунуть в свою заплечную торбу? Генерал, другого звания командир обязан показывать собственный пример бескорыстия, а не набивать шмотками свою боевую суму. Наши войска входили в другие страны и приказом Верховного призывались к честности и порядочности по отношению к населению этих государств.

Я бродил по Москве днем и вечером. Однажды на Большом Каменном мосту случайно увидел медленно идущую навстречу мне по другой стороне моста Ксану Ш., которая училась в институте на курс младше меня и которую я пылко любил. Она тоже мне симпатизировала. Нередко мы прогуливались с ней по Кремлевской набережной, и через Большой Каменный мост я провожал ее в Замоскворечье. Но судьба распорядилась по-своему. Еще перед войной она вышла замуж за сына маршала.

Когда я увидел Ксану, силы оставили меня. Она почти не изменилась: светло-русые, с золотистым отливом волосы спускались до плеч, голубые глаза, а над ними вразлет брови, небольшой вздернутый носик и полные, красиво очерченные губы.

Шла она своей легкой походкой, в голубом в талию платье и не ведала, что я, когда-то ее, как говорил, «раб», а сейчас гвардии капитан, приехавший всего-навсего на пять дней с фронта на побывку в Москву, стою, не могу двинуться с места и любуюсь ею.

Так я и не подошел к своей былой любви. Почему? Не знаю. Не подошел. А золотые купола кремлевских соборов, сверкая солнечными бликами, словно смеялись над моей «гвардейской» трусостью.

Прошло три дня моего пребывания в Москве. Их оказалось вполне достаточно на все — на встречу с Москвой, с товарищами, на размышления о прошлом и настоящем. Потянуло к своим, в армию. На следующее утро я сел в автомашину и поспешил в деревню Смоляки Смольнинского района Смоленской области.

Ехал-ехал по пустынному Минскому шоссе и где-то за Вязьмой вижу: мчится навстречу легковая машина — похоже полковника Фролова. Я остановился, показал шоферу встречной машины знак «стоп». Действительно, в машине на цигейковом покрывале, в шелковой сорочке возлежал Фролов. Его барские замашки мне были известны. Я поздоровался и попросил его выйти из автомобиля. Спросил, знает ли он, по какому поводу его вызвали в Москву. Он ответил отрицательно. Я рассказал ему все, что мне было сообщено в отделе кадров Главного управления контрразведки СМЕРШ. Посидели мы на обочине дороги. Помолчали.

«Думаю, — сказал Фролов, — что в армию я больше не вернусь».

Он действительно к нам не вернулся. Слышал я, что его понизили в звании и должности. И правильно.

По приезде в Смоляки устроил я для своих армейских друзей пир. Выпили, закусили, закурили «Казбек», выслушали они мой доклад о новостях из Москвы и разошлись, каждый со своими думами и печалями. Меня радовало, что из фронтового товарищества выросла крепкая фронтовая дружба, и особенно с Иваном Николаевичем Сидоровым, начальником Первого отделения, и Георгием Александровичем Ермолиным, начальником Третьего отделения.

Вскоре армия снялась с места, маршем прошла на Ярцево и оттуда вступила в тяжелые бои по прорыву Центрального фронта немецко-фашистских войск. Удар наших войск был настолько силен, а скорость продвижения вперед, на запад, столь высока, что москвичам пришлось часто устремлять свои взоры в вечернее небо и, глядя на разноцветные салюты, радоваться и гордиться победами наших войск.

1 июля 1944 года была форсирована Березина и взят Борисов. 3 июля овладели столицей Белоруссии — Минском. Наша армия с боями вошла в город с северо-востока. В тылу были оставлены вражеские войска, численностью около ста тысяч человек.

Минск лежал в руинах. На месте жилых кварталов остались

пустыри, покрытые обломками, битым кирпичом, проросшими сорняками. На людей было тяжело смотреть: истощенные, измученные, с невыразимой словами скорбью в глазах. Белоруссия была партизанской республикой, сохранившая во многих местах в течение всех лет немецко-фашистской оккупации советскую власть. Белорусские партизаны внесли огромный вклад в победу над врагом. Я никогда не забуду двух руководителей партизанского, комсомольского подполья и боевых отрядов — К.П. Мазурова, впоследствии первого заместителя председателя Совета Министров Союза ССР в правительстве А.Н. Косыгина, и П.М. Машерова, первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии. 5 июля было освобождено Молодечно, а 13 июля — столица Литвы Вильнюс.

Армейская контрразведка работала с большим напряжением. Против нас по-прежнему действовали известные нам разведывательные и контрразведывательные органы противника, стратегия и тактика которых нам были в основном ясны. Разоблаченная вражеская агентура позволяла накапливать данные о передислокации немецких разведцентров и разведшкол. Продолжали готовить и засылать к нам агентуру полтавская и борисовская разведшколы. С нашим вступлением в Прибалтику прибавилась работа по обезвреживанию националистических бандитских формирований.

Вспоминаются два дела, которые пришлось расследовать на территории Литвы. Оба они лишний раз подтверждали испытываемое нами чувство, что большинство литовцев были рады освобождению от немецко-фашистских захватчиков и благодарны за эту историческую акцию советской армии. Сейчас стоит вспомнить и о том, что в Вооруженных силах СССР сражались и национальные войсковые формирования — литовские, латышские, эстонские, армянские и другие. Все это правда.

Правда и то, что в Литве, как и в других союзных республиках, временно оккупированных врагом, была небольшая группа изменников Родины, коллаборационистов, верно служивших немецко-фашистскому режиму.

Летом 1944 года нами была арестована группа лиц в составе пяти человек, литовцев по национальности, служивших в войсковой охране немецкого концентрационного лагеря, где содержались коммунисты и другие антифашисты — русские, украинцы, литовцы, евреи, поляки…

Следствие, как и во всяком групповом деле, представляло немало сложностей, тем более что речь шла об участии арестованных в зверствах, избиениях и расправах над

содержащимися в концлагере. Необходимо было собрать показания свидетелей, вещественные доказательства, провести экспертизы, тщательный анализ и сопоставление показаний каждого из арестованных. Последовательно, шаг за шагом исследуя эпизоды, связанные с расстрелами и иного рода жестокостями, раскрывая противоречия в показаниях арестованных, относящиеся к одному и тому же эпизоду, следователь устанавливал общую картину события. Так, арестованный, поняв, что следователь знает даже такие детали, что арестованный П. выпивал стакан водки перед расстрелом одного человека, а арестованный А. пил водку только после окончания расстрела всей партии заключенных, осознавал, что следствие идет вглубь, имея даже такие косвенные данные.

Немало дали обыски обвиняемых. Когда у одного из них было найдено восемь обручальных колец, у другого несколько ниток жемчуга, а жена одного из двух обвиняемых показала на допросе, что эти вещи были принесены из лагеря и назвала точную дату, которая по имевшимся в деле документам совпадала с днем очередного массового расстрела, то, разумеется, и это косвенное доказательство имело большое значение.

Было важно и то, что, отрицая собственное участие в расстрелах, обвиняемый А., например, дал показания об участии в этой акции обвиняемых В. и П; к тому же он сослался на подробности — проявленную П. во время расстрела жестокость в отношении детей.

Так постепенно дело двигалось вперед. Во время одного из допросов у следователя В. Журавлева обвиняемый П. (здоровенный молодой человек), получив разрешение выйти в туалет, пытался бежать. И лишь благодаря бдительности двух других следователей, проводивших допрос в соседних помещениях и увидевших беглеца, побег не удался. Они криками вызвали охрану и сами повыпрыгивали в окна, открыли огонь по ногам беглеца, который был вынужден сдаться.

Другой эпизод, связанный с этим делом, был более существенным. В ходе заседания Военного трибунала, начавшего слушание этого дела, двое обвиняемых отказались от своих показаний; вслед за этим другие отказались от участия в некоторых акциях, связанных с расстрелом узников немецких лагерей смерти. Военный трибунал вернул дело на доследование. В практике работы нашего следственного отделения это был единственный случай.

Дело было подвергнуто серьезному анализу. Ошибка состояла в недостаточно тщательно проведенных обысках в домах подследственных и прежде всего у тех двух, которые полностью

отказались от показаний. Причина определенной недоработки состояла в быстром отрыве нашей армии от места совершения преступления (армия за это время продвинулась на Запад на 300 километров). Двое следователей вернулись назад, провели новые обыски, которые позволили собрать множество изобличающих арестованных вещественных доказательств. Они подкреплялись показаниями свидетелей, что именно эти вещи принадлежали расстрелянным узникам лагерей.

Перед началом судебного заседания кроме двух столов, на которых были размещены вещественные доказательства, было установлено еще два стола, закрытых скатертями. Когда начали допрос подозреваемых, скатерти были внезапно сняты, на столах были выставлены вещественные доказательства, которые ошеломили подсудимых, и они под их воздействием были вынуждены признать себя виновными — это были личные вещи расстрелянных людей из лагерей смерти.

Другое дело было связано с наличием в ряде регионов профашистской военной организации под названием Letuvas laisvis armia (LLA) — Литовская освободительная армия.

Вначале был задержан, но еще не арестован один человек — назовем его С., о котором стало известно, что у него хранится большое количество оружия.

Было решено провести обыск в его доме. Обыск длился около 10 часов. Собственно, в доме ничего существенного обнаружено не было. Перешли в огромный сарай. Здесь лежало несколько центнеров сена, которое пришлось перебросить с одной стороны на другую. Обнаружено ничего не было. Следователь во время переброски сена стоял у одного из двух окон и обратил внимание на то, что кирпичи, уложенные в виде подоконника, не были схвачены цементом, а лежали плотно прижатые друг к другу. Причем показалось подозрительным, что подоконник, на котором лежали кирпичи, был довольно широк. Следователь совершенно свободно снял один кирпич, за ним другой, и так до тех пор, пока не обнаружилось, что стена сарая двойная и кирпичи были сложены на специально подложенную в этих целях доску.

Сняв доску, следователь и бывшие при нем солдаты обнаружили целый склад оружия: множество автоматов, гранат, несколько ручных пулеметов, взрывные устройства, динамит и прочее.

После обыска хозяин был арестован. На допросах он показал, что являлся членом LLA наряду с другими жителями этого села. Оружие они получали от отступающих немецко-фашистских войск, имея задание: либо сразу встретить наступающие части Советской армии вооруженным нападением на нее с тыла, либо

позднее, создав в лесах бандитские формирования, оттуда вести постоянную вооруженную борьбу против Советской власти в Литве. В процессе следствия не удалось вскрыть возможные преступные связи арестованных, так как следственное дело по указанию руководства Управления контрразведки СМЕРШ фронта было передано в его дальнейшее ведение.

Вспоминается еще одно дело. Мы уже находились на территории Германии. К нам в отдел зашли два сержанта, регулирующие по поручению командования движение танков, бронемашин, автотранспорта и другой техники. Они привели с собой задержанного и обезоруженного ими старшего сержанта, который тоже пытался направлять по иным маршрутам боевую технику. Допрос задержанного старшего сержанта вызвал сначала недоумение, а затем и подозрение. Он не мог назвать свою воинскую часть, полк, дивизию. При личном обыске задержанного на стол следователя легло его скромное имущество: зажигалка, пачка сигарет (сигареты, заявил задержанный, трофейные) и красноармейская книжка, в которой был указан номер воинской части. Где находится его полк, задержанный сказать не смог по той причине, что вот уже почти полтора месяца, как он дезертировал из своей части.

После такого признания задержанного следователь не принял изложенную им версию о дезертирстве. Он хорошо знал, что случаев дезертирства не было в армии уже в 1944 году, а в 1945 году — тем более. Естественно, следователь понимал, что в данном случае задержанный признается в легкой вине, скрывая более тяжкое преступление. При внимательном изучении красноармейской книжки задержанного он обнаружил, что среди имущества, выданного солдату, значились — шинель, гимнастерка, брюки, сапоги и так далее, — все это было в порядке обычного положения дел. Но дальше в графе «носовые платки» стояла ясно выведенная чернилами цифра «2». Следователь хорошо знал, что с самого начала войны носовые платки не выдавались даже офицерам! А здесь солдату выдано два платка — какая щедрость со стороны работников армейского тыла.

Стало очевидным, что красноармейская книжка у задержанного фальшивая — подложный документ, который мог быть выдан абвером или какой-то другой разведслужбой противника. После этого допрос пошел по другому пути. Последовали вопросы, позволявшие узнать в деталях все время пребывания задержанного на фронте. Одновременно шла его проверка по материалам агентурного розыска и местам его службы. Выяснилось, что он значился в материалах розыска как добровольно сдавшийся в 1942 году в плен немецкой армии

лейтенант, согласившийся работать на «Абвер», обучавшийся в его школе, по окончании которой ходил на выполнение заданий, за что был награжден Железным крестом.

Задержанный в ходе следствия показал, что за три дня до его задержания он самолетом был заброшен в наши тылы со своим напарником-радистом. По характеру задания они закопали рацию, разошлись в разные стороны для изучения обстановки, но он был задержан органами СМЕРШ. Рация была найдена. Арестованный по указанию Управления контрразведки СМЕРШ фронта был направлен в его распоряжение с нашей рекомендацией использовать его в агентурной игре с абвером.

К чести наших армейских контрразведчиков, действовавших, естественно, в тесном контакте с контрразведывательными службами других воинских соединений и под постоянным руководством Управлений контрразведки фронтов и Главного управления СМЕРШ, в войсках 5-й Гвардейской танковой армии не было случаев диверсий, террористических актов, пропажи важных документов, работы агентов-радистов и тому подобного. Мы, армейские контрразведчики, гордились этим вкладом в боевые успехи наших войск. Все следователи были отмечены высокими правительственными наградами.

После Вильнюса были освобождены Каунас, Шауляй, а затем в тяжелых боях в составе войск 1-го Прибалтийского фронта, с выходом на побережье Балтики в районе Мемеля и Паланги была отрезана 10 октября 1944 года вся прибалтийская группировка немецко-фашистских войск. Тогда же мы умылись балтийской водой. Это была одна из выдающихся операций Великой Отечественной войны.

Сказанное в полной мере можно отнести и к другой боевой операции, в которой участвовала наша 5-я Гвардейская танковая армия, — отсечение Восточной Пруссии от остального гитлеровского рейха. Однако, прежде чем это произошло, армия с октября 1944 по середину января 1945 года продолжала громить немецко-фашистские войска в Латвии, затем была переброшена по железной дороге под Белосток, откуда, пройдя с боями через Млаву, Дзедлово, вошла в январе 1945 года в Восточную Пруссию, где овладела городами Остероде, Дойч-Айлау. Радости нашей не было, казалось, границ.

Мое поколение, положившее на алтарь освобождения Отчизны тысячи тысяч жизней, победоносно вступило на территории врага. Это было начало возмездия, суда правого и честного. Нас не смущало, что под воздействием геббельсовской пропаганды об ужасах, творимых «красными», жители бежали на запад — города были пустые.

Время придет, и немцы увидят широту и доброту советского воина. Они — старики, женщины, дети мужчины — будут приходить к солдатским кухням, и их не будут попрекать ни Майданеком, ни Треблинкой, ни Равенсбрюком, ни Дахау, где в печах крематориев сгорели сотни тысяч наших — моих соотечественников; им не будут напоминать о том, что нашим военнопленным в их лагерях был создан режим существования на грани смерти; они не услышат от нас, какое горе они посеяли на нашей земле, в каждом доме, в каждой семье. Обо всем этом и о другом они узнают позже.

А мы, воины Советской армии, вступившие на их землю, — люди другого идейного и нравственного склада, гуманисты. Среди моего поколения были и коммунисты, и беспартийные — неприемлющие социалистическую идеологию, люди верующие и атеисты, но все исповедовали чувство человеколюбия.

Наша армия, плечом к плечу с другими армиями, с боями пройдя на Пройсишес-Холлянд, Эльбинг и Толькемит и далее по берегу Балтики, 24 января 1945 года отрезала Восточную Пруссию от остальной Германии. Москва салютовала доблестным войскам. А позже бойцы и командиры 5-й Гвардейской танковой армии были награждены медалью «За взятие Кенигсберга».

Не знаю, как называются сейчас города, которые я перечислил. Но об одном городе, который назывался немцами Мнёв, а поляками сейчас называется Гнёв, я хочу рассказать подробнее. Пожалуй, даже не о городе, а о контрразведывательной операции, осуществленной нами, следователями-контрразведчиками.

Мнёв — небольшой городок, расположенный на высокой горе, срывающейся обрывом к правому берегу Вислы в ее нижнем течении. Агент немецкой разведки Василий Т. на допросе показал мне, что в Мнёве находится разведшкола, созданная абвером еще в Полтаве. Отступая на запад, она продолжала готовить и засылать агентуру на нашу сторону. Мы довольно хорошо знали об этой разведшколе. Сейчас Т. принял мое предложение указать точное местонахождение школы в этом городе. Задача состояла в том, чтобы с боем взять Мнёв и захватить разведшколу.

Командующий армией поддержал нас, выделил танковый батальон с мотопехотой. Медлить было нельзя. К исходу дня танкисты довольно быстро выбили из городка немцев и к вечеру замкнули его в кольцо.

Т. привел меня к дому барачного типа.

— В нем школа, — сказал Т. — Вон там вход. — И добавил: — Ну, капитан, а если я тебя сейчас сдам немцам?

— Не сдашь. У тебя семья в Свердловске.

— Я пошутил.

— Такими вещами не шутят.

К нам с Т. подтянулись следователи Журавлев, Златопольский, Шарапов с солдатами из роты охраны контрразведки. Я скомандовал:

— Пошли, как было обговорено!

На улице уже стемнело, где-то что-то рвалось, ухало, в небе были видны отсветы пожаров. Т. вел себя спокойно.

Друг за другом вошли в помещение школы. Ни шороха. Т. и я за ним вбежали в комнату, заставленную кроватями. Он показал на одну из них, в изголовье которой висела табличка с его агентурной кличкой.

— Нам не твоя кровать нужна, а документы, люди. Веди в кабинет начальника разведшколы.

Мы с Т. в сопровождении нескольких солдат пошли, а другие следователи, также в сопровождении солдат стали осматривать помещения школы. В кабинете начальника школы беспорядка, свидетельствующего о скоропалительном бегстве, заметно не было. Но мы все-таки опоздали — люди ушли. Что удалось им забрать с собой? Оставалось только провести первоначальный, по возможности тщательный осмотр — обыск всего помещения школы. Чем мы и занялись. В кабинете стояли два больших сейфа. Они были заперты. В замке одного из них торчал сломанный ключ. Все-таки немцы драпали, раз второпях вставили не тот ключ и сломали его. Сначала взломали один сейф, затем другой. Даже беглый осмотр бумаг свидетельствовал об их огромной оперативной ценности.

На рассвете закончили окончательный осмотр всего помещения разведшколы. Т., незаметно для посторонних сопровождаемый нами, прочесал город в надежде отыскать хоть кого-то из агентуры или руководства школы. Однако никого обнаружить не удалось. Блокаду города танковым батальоном я снял.

В числе захваченных документов были дневник начальника разведшколы, списки агентуры, заброшенной в разные годы в наши ближние и дальние тылы, в соединения действующей армии, личные дела на агентов, характер выполненных тем или иным агентом заданий, списки агентуры, засланной в нашу страну на «залегание», и другое.

К сожалению, нам не пришлось глубоко проанализировать захваченные документы Полтавской разведшколы. Они по указанию Управления контрразведки фронта срочно были направлены в их распоряжение. Отправили туда же и Т.

В докладной записке по факту разработки и реализации плана захвата разведшколы я особо писал о Т., его чистосердечном раскаянии и о той большой помощи, которая была им оказана армейской контрразведке. Я просил не применять к нему уголовного наказания.

За успешное проведение этой операции все мои товарищи и я были награждены боевыми орденами.

Отрезав Восточно-прусскую группировку немецко-фашистских войск, 3 апреля 1945 года армия прорвалась к Данцигской бухте и вошла в Данциг, за что была отмечена в приказе Верховного Главнокомандующего. Немцы бежали. В бухте на стапелях я насчитал восемь новеньких подводных лодок; город мне показался в сравнении со многими нашими довольно целым.

Начало апреля 1945 года для нашей армии было связано с новыми боями вдоль побережья Балтики — Цопот, Гдыня, Штольп и дальше, на юг, к Берлину через Кезлин, Керлин, Газтхов и, наконец, Дабер, где фактически и закончился боевой путь нашей славной, непобедимой 5-й Гвардейской танковой армии. Во время нахождения на 3-м Белорусском фронте нами командовал не Ротмистров, ставший маршалом бронетанковых войск, а генерал-полковник танковых войск Вольский. Армия шла вперед, приумножая свои боевые свершения, ставшие для нее традицией, будучи верна духу боевого товарищества по отношению к другим армиям советских Вооруженных сил.

На этом последнем этапе боевого пути для нас, контрразведчиков, особый интерес представляли кадровые работники вражеской разведки и контрразведки, ее резиденты. Именно они могли дать сведения о своей агентуре, засланной в нашу, да и в другие страны и могущей принести большой урон.

В Цопоте под Данцигом (по-нынешнему — в Сопоте под Гданьском), где теперь обрели известность телевизионные конкурсы эстрадных певцов, в апреле 1945 года тяжелые немецкие крейсера с моря обстреливали скопление наших войск на побережье и подожгли этот курортный городок, утопавший в зелени.

Вот в этом городке нами был взят Ганс Рифель с красавицей женой — полькой по национальности. Жена оказалась любовницей, а он, Ганс Рифель, руководителем гестапо Данцигского округа, которому были подчинены разведка и контрразведка — разумеется, на территории округа. С большим открытым лбом, в пенсне, с прямым носом и тонкими губами, в светлом штатском костюме классического английского покроя на упитанной фигуре он мог бы сойти за преподавателя гимназии

или профессора университета. Но, внимательно присмотревшись к нему, можно было увидеть такие черты, которые свидетельствовали о нем как о человеке, высоко стоящем в служебной нацистской иерархии: превосходная стрижка, маникюр, костюм из тонкой шерсти, туфли из шевровой кожи и тому подобное. Но не это, в моем представлении, выделяло его среди других, а его любовница — Ванда К. По всем нацистским канонам только высокопоставленный чин мог позволить себе пойти на такую связь.

Она, эта связь, и побудила его к даче показаний о своей деятельности. Ганса и Ванду задержали наши солдаты из роты охраны. Я пошел посмотреть на задержанных, и мне сразу бросился в глаза внешний вид Рифеля, его беспокойство за судьбу Ванды. Он умолял меня отпустить ее домой, на родину под Варшаву, она-де чиста и тому подобное. Я решил допросить его обстоятельнее. Приказал охране развести их по разным комнатам, а через некоторое время вызвал Рифеля на допрос. Я представился. Спросил, кто он.

— Что вы сделали с моей женой? — вопросом на вопрос ответил он.

— Ее судьба будет зависеть от вас.

— Что я могу для вас сделать?

— Правдиво отвечать на мои вопросы.

— А как я смогу убедиться, что она свободна?

— Она сама вам об этом скажет.

— Вы позволите мне с ней увидеться?

— Да, если вы, повторяю, правдиво расскажете о себе.

— Могу я сейчас посмотреть на нее? А затем я начну давать показания.

Допрос я вел в комнате на четвертом этаже. Приказал вывести Ванду из места содержания и водить по тротуару напротив дома так, чтобы Рифель увидел ее, а она его. Я предложил Рифелю подойти к окну. Когда он увидел Ванду, то весь преобразился, стал совсем другим — улыбался, махал руками, посылал ей воздушные поцелуи. Я открыл окно. Рифель спросил, может ли он ей что-нибудь сказать. Ответил — все, что хотите.

— Милая моя, ты будешь свободна, я сделаю для этого все, как бы тяжело мне ни было. Я еще увижу тебя! — И заплакал.

Закрыв окно, я предложил ему сесть и отвечать на мои вопросы.

В ходе допросов, прерываемых ночным отдыхом, завтраками, обедами и ужинами, Ганс Рифель показал, что он руководитель гестапо Данцигского округа, а Ванда его любовь; семья — жена и

двое детей — живут под Берлином. Он не успел уйти со своими из-за Ванды, расставание с ней затянулось, пришли советские войска, и вот они остались здесь.

Показания Ганса Рифеля раскрывали содержание, методы, средства деятельности немецко-фашистских разведывательных и контрразведывательных органов, особенности их работы против Советского Союза, а также стран Западной Европы. Он указал места нахождения резидентур, фамилии и приметы резидентов и другое.

Показания Рифеля были настолько важны, что спустя несколько дней мы сообщили о нем в Управление контрразведки СМЕРШ фронта, откуда поступило указание этапировать Рифеля к ним.

Перед отправкой Рифеля в Управление СМЕРШ фронта я дал ему последнее свидание с Вандой. На его глазах она была нами освобождена. Были слезы, стенания, заверения в вечной памяти. Доселе мне не приходилось видеть такое проявление любви, наверное, по молодости, а еще потому, что война, развязанная такими ярыми нацистами, как Ганс Рифель, отобрала у нас, у нашего поколения, любовь — многие-многие, не испытав ее, ушли из жизни.

Пройдет немногим более полугода, ко мне в Лефортовской тюрьме подойдет коллега-следователь и скажет: «Хочешь посмотреть на Ганса Рифеля? Я с ним работаю». Когда я вошел в кабинет, Рифель, увидев меня, побледнел, встал, поднял обе руки вверх и сказал: «Привидение ли это или явь?!»

Я поздоровался с ним, успокоил как мог, Рифель посетовал на то, что его не используют для работы на нас в других странах. Что я мог ответить на это гестаповцу? Ничего, да и не хотелось. Я бы тоже не стал пользоваться его услугами. У всех у них руки были в крови.

Концлагерь Освенцим я видел, как говорится, снаружи. Концлагерь Равенсбрюк — изнутри. По указанию руководства Управления контрразведки СМЕРШ фронта нашему следственному отделению было приказано немедленно вместе с действующими частями войти в концлагерь Равенсбрюк и помимо других возложенных на нас контрразведывательных операций установить, в каком месте могли быть потоплены (спрятаны) основные узлы по производству снарядов ФАУ-2 с заводов концернов «Сименс» и «Шуккерт», на которых работали заключенные этого лагеря.

В Равенсбрюк Василий Журавлев, Давид Златопольский, Александр Шарапов и я — весь состав нашего следственного

отделения — прибыли тогда, когда в не остывших до конца лагерных печах еще лежали несгоревшие тела узников.

За время войны я многое видел: и оторванные ноги, и вывалившиеся из живота кишки, и тела, превращенные гусеницами танков в странные отпечатки на земле, и летящие от разрыва авиабомб в разные стороны руки, ноги, головы. Душа впитывала в себя все это невообразимое, страшное, противное человеческому существу надругательство над его природой. Впитывала и, наверное, черствела. И, конечно, не у меня одного, у всех моих сверстников черствела и вместе с тем становилась ранимее, без слез на глазах, а плача навзрыд нутром своим, невидимо. Остановитесь, вглядитесь в ветерана войны, когда он видит чужую боль, и вы поймете, сколь глубоко его чувство сострадания к людям. И это последствие войны.

Но то, что я увидел в Равенсбрюке, меня потрясло. И не столько увиденные скрюченные в ужасающих позах женские тела, а созданный гитлеровцами механизм массового уничтожения людей.

Партию за партией привозили из разных стран женщин — преимущественно из России, Польши, Югославии, Чехословакии, Франции, Бельгии, собственно Германии, размещали в бараках, выстроенных на песчаной безлесой равнине, кормили так, чтобы быстро не скончались. Водили на работы по сборке ФАУ-снарядов, и чтобы не ушли за пределы лагеря заводские секреты, по заведенному графику сжигали в лагерных печах партию за партией узниц, а на их место пригоняли новые партии. И так из года в год, в течение трех лет.

Сто двадцать тысяч — молодых и пожилых, красивых и привлекательных, талантливых и работящих, любивших и не познавших ни любви, ни материнства — перемолола эта адская нацистская машина. Все делалось по графикам, по расписаниям, строем, под конвоем с собаками, за проволокой под электрическим током; совершалось сознательное смертоубийство ежедневно, ежечасно. Лагерные печи не успевали сжигать людей. И тогда разворачиваются опыты по умерщвлению узников посредством введения в организм специально разработанного препарата.

Подобное проделывалось и в других гитлеровских лагерях. Мои сверстники пережили увиденное в них, закалив в себе, равно как и в боях, чувство презрения и ненависти к нацистам.

9 мая 1945 года я встретил под Берлином в Дабере, маленьком немецком городке, впоследствии отошедшим к Польше. День был чудесным, словно все боги сговорились

даровать нам столько радости, сколько выпало горя на нашу долю за всю войну. Но они, боги, ошибались в своих намерениях. Пройдут годы, десятилетия, а глубокая рана войны будет кровоточить в народе нашем, в каждой семье, а чаша горя так и не будет выпита до дна.

Еще не было парада Победы в Москве на Красной площади. Но мы знали, что он будет, должен быть — невиданный, единожды свершенный, неповторимый.

Такое Площадь знала лишь однажды,
однажды только видела Земля;
солдаты волокли знамена вражьи,
чтоб бросить их к подножию Кремля.
Они, свисая, пыль мели с брусчатки.
А воины, в сиянии погон,
все били, били в черные их складки
надраенным кирзовым сапогом.
Молчала Площадь. Только барабаны
Гремели. И еще — шаги, шаги…
Вот что такое «русские Иваны» —
взгляните и запомните, враги!

Сергей Викулов

А тогда, в Дабере, ярко сияло солнце, небо было синее, словно васильки в нашем русском поле. Мы, сверстники из 20-х годов, были молоды. Нам все было по плечу. Мы были живы. И в неоплатном совестливом долгу перед не вернувшимися с полей сражений. Ответственны перед своими усопшими сверстниками, перед всеми павшими в годы Великой Отечественной войны за дальнейшую судьбу родины.

…Сидели за праздничным столом все — кроме караула. Начальники и подчиненные, рядовые и их командиры, мужчины и женщины. Поднимали бокалы. Вспоминали. Навертывались на глаза слезы, и снова сменялись взрывами радости. Три дня подряд отмечали мы Великую победу в Великой Отечественной войне над германским фашизмом.

Коллективно съездили в Берлин, большой, мрачный город, по улицам которого из-за обвалов разрушенных зданий было трудно пройти и проехать. Злорадства и злобы не было. Знали, что так и должно быть. Посмотрели на Рейхстаг, сфотографировались у его закоптелых колонн, посмотрели на имперскую канцелярию, купили на рейхсмарки у какого-то немца по паре шелковых

носков (а почему бы победителям не надеть в сапоги шелковые носки! — ах уж эта молодость) и вернулись в Дабер.

Потихоньку пошли слухи о возвращении армии на Родину. Перед каждым вставал вопрос: что делать? какую стезю в жизни избрать? Следственных дел в нашем производстве уже не было. Целыми днями мы были предоставлены сами себе. Подумать над дальнейшим житьем-бытьем времени было предостаточно. Сидели, бывало, на лавочках около «своих» особняков, оставленных немцами и не заселенных еще поляками, и судили-рядили о том, куда двинуть свои стопы.

Василий Журавлев хотел бы продолжить службу в органах госбезопасности в своих родных местах. Александр Шарапов намеревался попытаться поступить в школу госбезопасности. Давид Златопольский мечтал о научной работе. Наша милая Тамара рвалась в Москву, к родным пенатам.

Я знал, что в органах СМЕРШ не останусь. Была война. Служил. Но эта служба не по мне. Хотелось бы заняться общественно-политической деятельностью. Начать все сначала…

3 июля друзья отметили мое 25-летие.

6 июля мы из Дабера на автомобилях выехали в Брест, к месту новой дислокации 5-й Гвардейской танковой армии: штаб в самом городе, а корпуса и другие части вдоль государственной западной границы на север и юг. Марш совершался со всеми необходимыми в таких случаях мерами предосторожности. Однако пришли в Брест и не досчитались армейской прокуратуры и трибунала. День-другой подождали, а затем по решению Военного Совета армии с согласия Управления контрразведки СМЕРШ Белорусского военного округа нашему следственному отделению было приказано разыскать заблудившихся, или пропавших, или по какой-то другой причине не дошедших до Бреста товарищей.

Места на территории Польши, по которым совершала армия марш из Дабера в Брест, были неспокойные. Мы знали, что в них «шалят» швадроны (подразделения) Армии Крайовой (АК) — военного формирования, руководимого из Лондона эмигрантским правительством Польши.

Отправляясь в поиск, определили три возможные дороги, по которым могли двигаться товарищи из прокуратуры и трибунала. Других путей не было. Именно эти пути мы и решили тщательно прочесать. Попросили у командующего три бронетранспортера с личным составом и полным боекомплектом, по бочке бензина про запас, сели — я в один бронетранспортер, Журавлев в другой,

Златопольский в третий. Следователя Шарапова оставили на хозяйстве в Бресте на случай непредвиденных действий. Обижался он на меня за это. Но был один козырь, который бить ему было нечем, — отдел СМЕРШ армии рекомендовал его на учебу в Высшую школу госбезопасности, и ему надо было читать материалы по юриспруденции на случай возможного собеседования с преподавателями. Саша согласился, не затаив, как мне показалось, обиды; не хотелось в конце боевого пути чем-то омрачать сложившуюся дружбу.

Мы поехали, накатывая на спидометры боевых машин сотни километров. Тщательно, преимущественно путем опроса жителей, местных властей, отслеживали путь движения наших товарищей. В маленьком городишке Бельске, как и было предварительно условлено, все три наши группы встретились. Здесь путь наших товарищей из прокуратуры и трибунала обрывался. Опрошенные показали: да, видели две грузовые машины и два «виллиса». В них ехали мужчины и женщины. Одна из женщин была в ярком синем платье, скрывающем беременность. Это были наши. Беременной была секретарь армейской прокуратуры Мария К. Мы ее знали.

— Куда они делись?

— Может быть, решили свернуть из Бельска на лесную дорогу, идущую на Варшаву?

— Но ехать без охраны по местам неспокойным?..

Искать на других дорогах уже не имело смысла — мы их прочесали, как говорится, гребешками.

Поехали. Дорога тяжелая, даже для бронетранспортеров. Ехали медленно. Со всеми предосторожностями. Могучий лес сжимал дорогу. Порой хлестал по броне. Сзади полушепотом разговаривали солдаты. Сидя впереди, я просматривал дорогу. Чем дальше от городка, глубже в лес, тем отчетливее проявляются на лесной дороге следы от протекторов американских грузовиков «студебекеров». На них «сидела» вся наша армия.

Сомнений не стало — ехали наши. Остановился. Подошли Златопольский и Журавлев. Договорились: в каждой деревушке, на каждом хуторе быть внимательными. Смотреть. Не терять след. Останавливаться, осторожно расспрашивать: не проезжал ли кто из советских. Проехали несколько деревень, пару хуторов, след тянулся дальше. Да, говорили нам, машины проходили — две грузовые и две легковые, не останавливались. Мы шли по следу. От души отлегло. Наверное, думалось, пока мы здесь катаемся, наши уже в Бресте и чаи распивают.

Дорога уперлась в очередную деревеньку, домов из пятнадцати, и след от машин был такой, что стало очевидно, их

разворачивали в разные стороны, а потом увели в сторону от деревни, в лес.

Я приказал Журавлеву с бойцами войти в первый на нашем пути дом. Златопольскому — в конец деревни и заблокировать ее с другой стороны, а сам выехал на середину, поставив бронетранспортер так, чтобы были видны все дома. Прибежал связной от Журавлева. Я к нему в дом. Василий Романович держит в руках платье Марии К. На коленях перед ним стоит молодой парень, лет семнадцати-восемнадцати. Он показал, что пять дней назад группой из швадрона Армии Крайовой, что стоит в соседнем хуторе, в километрах четырех отсюда, здесь, в этой деревне, были задержаны два «студебекера» и два «виллиса» с офицерами Советской армии и двумя женщинами. Задержанных раздели, провели по деревне в сторону хутора. Вещи с раздетых забрали с собой вместе с машинами, а часть побросали, в том числе и платье, которое он подобрал.

Мы взяли этого парня с собой и, договорившись о дальнейших действиях, поехали на хутор.

Окруженный со всех сторон лесом, стоял дом с веселыми резными наличниками, окрашенными в синий, как платье Марии, цвет. Перед домом колодец с журавлем, чуть поодаль, в самый притык к подлеску, скотный двор и амбары. Мы взяли хутор в кольцо. Прикрываемые пулеметами бронетранспортеров, в дом ворвались автоматчики и положили всю сидевшую и распивавшую за столом компанию на пол. Разоружили. Их было восемь человек. Повязали. Ввели задержанного в деревне.

— Они?

— Да!..

Не сговариваясь, каждый из нас мгновенно и интуитивно выбрал для форсированного опроса по одному из лежащих. Вопрос был один, задаваемый каждым из нас троих в различных вариантах, в иных тональностях, в разной степени нажима на опрашиваемого:

— Где наши люди?

Конечно, это не был опрос в обычном следственном процессе. Это был шквал гнева, ненависти, беспощадности по отношению к этим людям. Они должны были, не могли не почувствовать нашего настроения. Кто кого? Или мы — или они. Чья воля возьмет верх?!

Задержанные все отрицали, переглядываясь между собой. Их надо было разъединить. Найти в их показаниях противоречие и идти дальше, добиваясь правды.

Я приказал вывести на улицу двух самых пожилых из них,

очевидно семейных. И решил резко изменить тон допроса. Внешне я говорил спокойно, обращаясь то к одному, то к другому: «Как показал житель деревни, которого вы, очевидно, знаете, именно вы организовали охоту на наших людей. Товарищей своих мы все равно найдем. Будете скрывать правду — пощады не ждите!»

Человек всегда, даже в самых крайних, казалось бы, безвыходных обстоятельствах ищет возможность выхода.

Эти двое молчали. Но внешне они выглядели по-другому — фигуры их обмякли, согнулись.

…Из дома выскочил Златопольский и с крыльца крикнул мне:

— Товарищ гвардии капитан, не тратьте время на этих ублюдков! Сейчас нам покажут, где наши.

И скрылся в доме.

Я понял, что он сделал ход, который мною должен быть использован. Сделав вид, что эти двое меня не интересуют, я приказал солдатам подвести их к бронетранспортеру, а сам направился к крыльцу. Тогда один из них сказал:

— Ваши люди убиты. Мы покажем их могилы. Убивали не мы.

— Кто?

— Члены швадрона.

— Где они?

— В доме.

— Сколько их?

— Четверо.

Повязав этих четверых, оставив охрану, я и Златопольский в сопровождении проводников въехали в лес — старый, глухой. Лесная дорога не просматривалась. В километрах двух от хутора остановились на небольшой поляне. На опушке леса был виден холм из еще свежей земли, забросанный ветками деревьев.

Яма, куда были сброшены тела наших товарищей, была неглубокой. Осторожно вытащили набросанные друг на друга тела. Очистили, как только возможно, от земли. Положили рядком в бронетранспортер. Сами пошли следом.

Кончилась кровавая война. На ней наши товарищи остались живы. Возвращались на Родину, в отчие места. И на тебе — убиты. За что? Что плохого они сделали этим выродкам — убийцам, которые не могли не знать, сколько советских воинов положили свои жизни за освобождение Польши — их Родины — от немецко-фашистских захватчиков?

Однако это еще предстояло узнать. А пока мы шли по глухому лесу в неведомых нам доселе местах. Наверное, никогда больше не придем сюда. Зачем? Дабы еще раз пережить

увиденную трагедию? Нет! Не пожелаю я и врагу вытаскивать из ямы тела товарищей своих.

Для меня, да и для моих следователей — Василия Романовича Журавлева, Давида Львовича Златопольского, для всех бывших с нами солдат и старшин из этого фронтового поколения, это был воистину конец войны. Неужели жизнь может придумать для нас еще что-либо страшнее увиденного? Вздутые, начавшие зеленеть трупы тех, кто еще вчера смеялся, думал, любил, собирался дать миру свое продолжение?!

На хуторе все было спокойно. Мы занялись допросами всех задержанных. Надо было установить степень участия каждого из них в этом злодейском акте. Четверо несли прямую ответственность. Остальные могли быть привлечены к делу в качестве свидетелей, недоносителей и так далее.

Обстоятельства гибели наших фронтовых товарищей по 5-й Гвардейской танковой армии, как это было установлено нами в ходе следствия, были следующие.

Коллективы прокуратуры и трибунала шли маршем из Дабера на Брест в общей армейской колонне. Но в Бельске они, желая посмотреть Варшаву, о чем поделился один из сотрудников трибунала в разговоре с офицером связи оперативного штаба армии (что стало известно после нашего возвращения в Брест), свернули на уже известную проселочную дорогу. Там их встретила группа из швадрона АК, взяла в кольцо, разоружила, раздела догола, издевалась, колола ножами. Т. — секретаршу трибунала — изнасиловали, а Марию К. из прокуратуры, бывшую на седьмом месяце беременности, истоптали, затем всех посадили в один из грузовиков, довезли до хутора, там взяли вещи из машины, повели в лес, расстреляли и быстро закопали. Автомашины угнали. Куда — неизвестно. Их розыск мы объявили по оперативным каналам.

Материалы следственного дела на эту банду — протоколы допросов, очных ставок, медицинской экспертизы и другое вместе с обвиняемыми были переданы польской беспеке (органы безопасности). Они должны были знать о враждебных действиях АК.

Похоронили наших товарищей при большом стечении народа у Брестской крепости. Мы не знали тогда о геройстве ее защитников, о чем поведал нам позже Сергей Сергеевич Смирнов в своих телевизионных репортажах. Так завершилось это горестное событие.

Оно стало последним следственным делом возглавляемого мною следственного отделения отдела контрразведки СМЕРШ 5-й Гвардейской танковой армии: дружного, где был один за всех и

все за одного, по-партийному ответственного за работу, небольшого по численности, но профессионально сильного, совестливого коллектива моих сверстников. Из моего поколения.

Проводили мы на учебу в школу госбезопасности нашего Сашу Шарапова. Молодой, сильный, добрый человек, он, конечно, еще много полезного сделает для отчизны — верили мы, смахивая набежавшие слезы прощания. Да, видавшие за время войны, казалось бы, невообразимое для нормального человеческого сознания, мы по-прежнему не были лишены чувственности — огрубели наши чувства, но не утрачены.

И здесь я снова хочу сказать о том, что контрразведчики из Особых отделов СМЕРШ не были палачами своего народа. Говорить так — это бесспорно лгать. Они были его щитом и мечом. И подтверждение тому: работа контрразведчиков 5-й Гвардейской танковой армии — одного из многих таких же славных соединений Вооруженных сил отечества.

Война. Великая. Отечественная. Для меня, как и для миллионов моих сверстников, десятков миллионов из других поколений, для всего советского многонационального народа, она окончилась Победой. Враг разбит — победа за нами.

27 миллионов человеческих жизней унесла эта война, невиданная доселе в истории. Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень; сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова более 25 миллионов человек. Вряд ли когда-либо будут установлены точные цифры: была цифра 20 миллионов погибших, теперь 27 миллионов. У такой войны точных цифр быть не может…

Ехал в Москву. Перед глазами опять проносились разрушенные города, поселки, пепелища деревень, обгорелые станционные здания, веселые, а чаще грустные люди, здоровые и много, много калек, изможденные старики и дети. И так по всей Белоруссии, Смоленщине, Подмосковью. Казалось, что не хватает лишь огромных чаш, наполненных выплаканными слезами нашего народа.

Возвращался я с войны, как и тысячи, тысячи моих сверстников, другим. Да, мы стали другими. Нас, молодых, война состарила. Нет, она не превратила нас в немощных и дряхлых. Наоборот, в невзгодах войны мы окрепли и закалились. Война состарила нас своими кровавыми уроками, научила ценить жизнь. Подобно тому, как человек к старости все больше ценит жизнь, даже цепляется за все то, что может продлить ее, подобно этому для нас, молодых, прошедших войну, жизнь стала бесценна, некое

легкое отношение к ней ушло и безвозвратно.

Конечно, то, о чем я вспоминаю сейчас, тогда, когда ехал из Бреста в Москву, в моем сознании формировалось не так определенно, как я сейчас пишу, но эти чувства и мысли были во мне, будоражили мое сознание, оседали в нем, чтобы в какие-то непредвиденные моменты в непредугаданных обстоятельствах выплеснуться наружу, проявиться в устремлениях, поступках.

Войну наш народ выиграл. Вот что говорил Георгий Константинович Жуков, названный народом маршалом Победы, в интервью журналисту «Комсомольской правды» Василию Пескову спустя 25 лет после окончания Великой Отечественной войны: «Войну мы не сумели бы выиграть и судьба нашей Родины могла бы сложиться иначе, если бы не было у нас цементирующей силы — партии. Все самое трудное, самое ответственное в войне в первую очередь ложилось на плечи коммунистов… Я горжусь, что вырос в этой партии».

Знаю, что тысячи тысяч моих сверстников, я в том числе, гордились принадлежностью к Коммунистической партии.

Глава V
ТРЕВОГИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Почти следом за Сашей Шараповым уезжал из армии, из Бреста, я. В октябре 1945 года меня отозвали на работу в Москву в Центральный аппарат Главного Управления контрразведки СМЕРШ, однако не в следственную часть, а в оперативный отдел.

Собрались на прощание почти все сотрудники армейской контрразведки. Было сказано много хорошего. Веселились, грустили. На вокзале смахнули набежавшие слезы. Мой ординарец Иван Дмитриевич Михалев плакал, не стесняясь. Обнял я его, и долго мы стояли, прижавшись друг к другу, как отец с сыном. Ивану Дмитриевичу было сорок семь лет, но казался он мне стариком. Небольшого роста, полноватый, с открытым, всегда немножко с грустинкой взглядом, он делал все возможное и невозможное, чтобы скрасить нашу жизнь. Везде, где бы мы ни останавливались — в доме, сарае, землянке, — он всюду наводил возможный уют — было чисто, опрятно. Не забывал заставить вовремя поесть, видя, что я измотался на допросах, не позволял никому прервать короткий сон. У него, потомственного крестьянина из глубинки Воронежской области, было столько такта по отношению к другим, такое развитое чувство собственного достоинства, но не в ущерб окружающим, что я гордился Иваном Дмитриевичем. Его любили в отделе.

Прослышал о нем и полковник Фролов — начальник отдела СМЕРШ армии. Как-то при моем очередном докладе ему текущих дел он сказал: «Вы не будете возражать, если я заберу от вас Михалева к себе в ординарцы?» Я ответил: «Жалко мне будет расставаться с ним, мы привыкли друг к другу. Но просьба начальства все равно что приказ».

Рассказал о состоявшемся разговоре Михалеву. Он: «Не пойду к нему». «Пойдешь, Иван Дмитриевич, приказы надо выполнять».

И пошел. Прошло какое-то время, забежал ко мне Михалев и рассказывает:

«Вчера у полковника ужинали члены Военного совета армии. Обслуживал за столом я. Смотрю, зацепил полковник своей вилкой из тарелки кусок мяса и тык его в общую солонку. Я и говорю ему — нехорошо, товарищ гвардии полковник, в общую солонку мясо кунать. Хохотали генералы до слез. Рассмеялся и гвардии полковник. А когда все разошлись, „отчистил“ меня до блеска при поддержке своей полевой жены. Не буду я у него служить», — заключил Иван Дмитриевич.

— «Ты смотри, — сказал я ему, — поаккуратней, а то нарвешься».

Спустя неделю является ко мне Михалев со своим вещевым мешком и радостно сообщает:

«Гвардии полковник приказал вернуться к вам для продолжения службы».

«Что-то не то», — подумал я. И спросил:

— За что же полковник отправил тебя?

— Его супруга пожаловалась, что я не чищу ее сапоги. «Почему?» — спрашивает.

«Я приставлен к вам, — отвечаю, — товарищ гвардии полковник, чтобы служить вам, а не вашей жене. Я такой же коммунист, как и вы».

«Иди, — говорит, — Михалев к Месяцеву». — Вот я и пришел.

Иван Дмитриевич к службе относился серьезно. Он понимал, с кем я имею дело во время допросов, среди них попадались и такие, которым терять было нечего, и потому он был постоянно начеку: я знал, что надежно им «прикрыт».

Прощаясь на вокзале, мы понимали, что, наверное, расстаемся на всю жизнь. Навсегда. Верили — фронтовое братство может сохраняться и проявляться в общности наших устремлений и наших дел независимо от того, где ты — в Бресте или Владивостоке, в Архангельске или Ташкенте, в Магадане или Москве. Друзья грозились не проезжать никаким образом мимо первопрестольной, обязательно навещать.

Мы повзрослели в своем бесстрашии перед ударами судьбы. Для нас личное достоинство стало качеством, на которое мы не позволяли посягать, а посягнувшему, невзирая на лица, давали сдачи.

Пройдя по дорогам войны, мои сверстники стали совестливее. Бессовестность, бессердечность, бесстрастность, бесцеремонность по отношению к другим людям претила нам. Приставка «бес» к словам, выражающим высокие человеческие качества, была изъята — «бес» был изгнан из наших душ. Мне кажется, что мое поколение, пройдя через горнило войны, еще более утвердило в себе качества, присущие «неиспорченной» предвоенной юности и молодости, углубило их, приумножило новыми, и прежде всего такими, как мужество, бесстрашие, взаимная выручка.

Москву я застал входящей в мирный образ и ритм жизни. Моя квартира в Останкино, после восстановления дома, была занята. Поселился я у сестры Лидии, которая вышла замуж. Я был рад, что семейная жизнь ее складывается удачно. Брат Алексей

перестал летать, перешел на работу в Управление кадров Военно-морского флота, а жил в Кратово, под Москвой, с семьей из пяти человек, снимая комнатушку. Брат Борис по-прежнему трудился главным инженером на моторостроительном заводе в Казани, брат Александр возвращаться в Москву не захотел, остался в Челябинске на своем заводе. Сестра Евгения по-прежнему жила в Вольске. Среди нас не было брата Георгия, его забрала война. Посоветовавшись с Лидией, мы решили нашу квартиру в Останкино отдать Алексею; я перебрался к сестре, хотя там и было тесновато.

На Лубянке в Главном Управлении контрразведки СМЕРШ мои бывшие сослуживцы по следчасти «ходили» в подполковниках и полковниках, и некоторые из них свысока поглядывали на меня: ушел на фронт капитаном и пришел капитаном. Меня это мало трогало. Я знал о способностях некоторых полковников делать «липу».

В коллектив оперативного отдела я вошел довольно быстро. В нем оказались и другие фронтовики. Работал я с высокопоставленными в гитлеровском рейхе лицами, взятыми в плен, с резидентами немецкой разведки и контрразведки по Ближнему Востоку, Ирану, Западной Европе. Некоторые из них представляли оперативный интерес, другие никакого — они уже были людьми из прошлого.

Из всех, с кем мне довелось работать из числа этих персон, наибольший интерес представлял, конечно, начальник отдела контрразведки абвера генерал-лейтенант фон Бентивеньи, резидент абвера в Иране R (фамилии не помню) и бывший комендант г. Орла, Брянска и Бобруйска в годы их оккупации немецко-фашистскими войсками генерал-майор Гаманн. О Бентивеньи я уже рассказывал. Резидент R давал показания о том, как немецкая разведка охотилась за Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем во время их встречи в Тегеране.

Генерал Гаманн, небольшого роста, с маленькой головой, большим животом и короткими ногами, был похож на клопа, насосавшегося крови. В служебном рвении — как явствовало из многочисленных показаний свидетелей, из документов, в том числе фотографий повешенных по его приказам советских граждан и огромных разрушений в этих городах, произведенных также по его приказам при отступлении немецко-фашистских войск, — этого нациста не сковывали никакие нравственные человеческие нормы, никакие международные правовые акты.

Гаманн был типичным представителем тех мрачных нацистских сил, для которых человеческая жизнь ничто, но которые высоко ценят собственное ничтожество. Его приводило в

ярость, когда называл его подонком, — клоп раздувался, начинал дурно пахнуть, кричал и бесновался. Я спокойно сидел, ждал, когда он утихнет, и снова называл его подонком, и все начиналось сначала.

В первый раз за все время моей следственной практики я испытывал отвращение, не ненависть, а именно отвращение к обвиняемому. Не мог сдержать себя от бестактного к нему отношения. Я ненавидел его. Генерала Гаманна по приговору военного трибунала на открытом судебном заседании за совершенные тяжкие преступления в отношении советского народа повесили то ли в Брянске, то ли в Бобруйске.

Спустя некоторое время после начала моей работы в центральном аппарате СМЕРШ я был вызван к начальнику отдела, который мне сказал, что у руководства есть мнение поручить мне весьма ответственное дело, связанное с вылетом в Швейцарию. Там в одном из лагерей для перемещенных лиц объявился некто Д., который выдавал себя за Якова, сына И.В. Сталина (к этому времени уже было достоверно известно, что Якова нет в живых). Д. надо любым путем привезти в Москву. Начальник отдела передал мне все имеющиеся материалы, относящиеся к этому заданию, разработанную легенду моего поведения и действий в Швейцарии, приказал внимательнейшим образом изучить содержимое вручаемой мне папки и по мере готовности доложить ему свои соображения.

По легенде, утвержденной Абакумовым, я под видом старшего сержанта, окончившего Вольское авиационно-техническое училище, бортмеханика транспортного самолета ВВС, регулярно курсирующего, согласно договоренности между советскими и швейцарскими властями, между Москвой и Берном, со служебным загранпаспортом, выданным на мою подлинную фамилию, должен был по прибытии на место проникнуть на территорию лагеря для перемещенных лиц, что по условиям лагерного режима не составляло особого труда. Найти не вызывающие подозрений подходы к Д., вступить с ним в добрые отношения, под видом прогулки вывести его за пределы лагеря, нанять автомобиль, покататься по городу, подвезти поближе к месту стоянки самолета, а затем, исходя из обстоятельств, найти способ посадки Д. в наш самолет и доставить его в Москву.

Конечно, на бумаге все выглядело просто и в известной мере естественно. Наиболее существенным недостатком этой легенды являлось то, что Д. в течение относительно короткого времени должен был проникнуться ко мне доверием. А если у него возникнут подозрения и он на какой-то стадии обратится за помощью к представителям швейцарских властей, допустим к

полицейскому или просто к какому-то швейцарцу, и тот предпримет меры по оказанию помощи Д.? В этом случае вся операция срывается, и я так же тихо отлетаю восвояси, как прилетел, — это лучший вариант. Худший — меня задерживают, определенные швейцарские круги впутывают прессу, на щит снова поднимается Д. со своими домыслами-вымыслами в отношении Сталина, и лагерная болтовня Д. приобретает общешвейцарское, а может, и не только, звучание. К тому же как посмотрят на все это официальные швейцарские круги? Не бросит ли эта операция тень на советско-швейцарские отношения?

Свои соображения я доложил руководству, которое задумалось над ними. Я продолжал готовиться, прикидывая разные варианты своих действий в разных обстоятельствах. Спустя недели три-четыре меня пригласил к себе начальник отдела и сообщил, что В.М. Молотов (в то время нарком иностранных дел СССР) сказал Абакумову о нецелесообразности осуществления операции с Д., инсинуации которого не могут перевесить значимость добрых отношений Советского Союза со Швейцарской Конфедерацией. Разумеется, нарком иностранных дел был прав. Для меня осталось загадкой: был ли осведомлен Сталин об этой операции? Думаю, что позиция Молотова была доведена до сведения Абакумова не без ведома Сталина. На память об этой операции у меня осталась сделанная для загранпаспорта фотография, на которой я в форме старшего сержанта.

В Москве стояло бабье лето — первое после войны. Теперь многое будет впервые после войны. И будет представляться как новоявленное, доселе невиданное, конечно, виденное и слышанное, но уже воспринимаемое по-своему, по-послевоенному окрашенное в краски и звуки.

В проезде Серова, почти у входа в Центральный комитет ВЛКСМ я встретил Володю Васильева, который, будучи инструктором Дзержинского райкома комсомола, помогал в делах нашей школьной комсомольской ячейки, когда я секретарствовал в ней. Сейчас он трудился в Цекомоле заведующим оргинструкторским отделом.

Разговорились. Прошли в сквер, что тянется вдоль «Большого дома» от Маросейки вниз к площади Ногина. Деревья были нарядны в своем зелено-желто-красном лиственном убранстве. Дышалось легко. Казалось, что такого разноцветья я раньше никогда даже в Останкинском парке не видел. Да и Володя уже был не тот, не довоенный. Рядом со мною шел зрелый человек, со своими самостоятельными суждениями. Помимо прочего он

поинтересовался, доволен ли я своей работой в СМЕРШ.

— Работа ответственная, приносящая определенное удовлетворение, но все-таки она не по мне. Подумываю о том, чтобы сменить сферу деятельности.

— А почему бы тебе не прийти на работу в Цекомол инструктором, ко мне в орготдел?

— Не знаю, — ответил я, слегка растерявшись от неожиданности.

— Подумай. Позвони. Зайди, посидим, еще потолкуем.

Согласие на переход в ЦК ВЛКСМ я дал. Оттуда на имя Абакумова было написано соответствующее письмо, и я снял погоны. Демобилизовался. Многие не советовали: мне, имеющему высшее военно-юридическое образование, прошедшему войну, накопившему немалый практический опыт, наконец материально обеспеченному, переходить из серьезной государственной организации, какой является СМЕРШ, в организацию общественную, занимающуюся детскими забавами и юношескими играми, по меньшей мере несерьезно.

Однако принятое решение было мною обдумано. Я понимал, что совершаю коренной поворот в своей жизни. И шел на него вполне сознательно. Может быть, три основных побудительных к тому мотива двигали мною. Прежде всего то, что по складу моего характера, по тому воспитанию, которое я получил в детстве и в юности, мне претило насилие — над собою и над другими. Следственный процесс есть несомненное насилие над другим человеком, даже в том случае, когда следователь убежден, что перед ним сидит чуждый обществу человек, которого надо изолировать в надежде на то, что в заключении он до конца осознает свою вину и станет на праведный путь.

К тому же почти пять лет следственной практики привели меня к выводу о том, что я постепенно, с каждым новым годом, не нахожу в ней ничего нового, теряю к ней интерес, что этот вид деятельности я профессионально исчерпал. Работать же с людьми без интереса к ним невозможно, недопустимо. Постепенно превращаешься в холодного бесчувственного исполнителя и наносишь урон подследственному и всему делу правосудия. Может быть, психический склад других следователей, даже с гораздо большей практикой, чем была у меня к моменту увольнения из органов госбезопасности, позволял им — изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, по десять — двенадцать часов в сутки — быть на подлинном уровне требований Закона, и внутреннего правосознания, и прежде всего своей совести. Такие работники, конечно, были — а я не мог, да и не хотел.

Но главным побудительным мотивом к демобилизации из

органов СМЕРШ и перехода на работу в аппарат Центрального комитета ВЛКСМ являлась моя давняя, с юношеской поры, мечта об общественной деятельности. Конечно, в мечте тех далеких времен, отгороженных от теперешних войной, было много наивного.

…В 1937 году после окончания средней школы Сима Торбан и я пришли в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) с намерением поступить в нее, окончить и пойти на партийную работу. Нас принял проректор школы и с большим тактом, не торопясь, так, чтобы не отбить, наверное, нашу юношескую тягу к партработе, объяснил, кого и на каких условиях принимают в ВПШ.

Юношеская мечта об общественной практике не угасла. Она вновь вспыхнула. Какое пламя она зажжет во мне? Сейчас, на склоне лет, я, может быть, чаще, чем ранее, повторяю молодым людям: найдите в жизни свою большую мечту, идите к ней честным, достойным путем и вы обязательно к ней придете!

Школа Великой Отечественной войны приземлила мою юношескую мечту и придала ей, как мне казалось, реалистическую основу. Мое поколение, прошедшее войну еще молодым, полным сил, готово пойти на свершение дерзновенных планов в многострадальной, разрушенной, но крепкой духом стране. Молодое поколение военной поры может консолидироваться в рядах и ВКП(б) и ВЛКСМ, так же решительно действовать, как оно действовало на полях сражений. Но и это не все, размышлял я, оно может передать свои черты и качества идущим за ним поколениям юношества. Связь времен, связь поколений — великая сила, цементирующая нации и народности в единое целое. Порви связь поколений, перешагни через одно из них, и несчастья обрушатся на страну. Конечно, со временем эта связь восстановится. Но народ проклянет тех, кто посягнул на извечную общественную закономерность.

Естественно, все эти раздумья не вращались вокруг моего собственного «я». Они были связаны с моим поколением, с возможной ролью этого поколения в жизни страны. «Я» — всего лишь одно из действующих лиц на общественной сцене, представленной миллионами оставшихся в живых на фронте или прошедших сквозь трудные испытания тыла военного времени.

На войне мои сверстники насмерть бились за свободу и независимость своей Родины. В этой битве они утверждали и свою личную свободу, свою личную независимость. Не может быть Родина свободной, если ее граждане несвободны. Государство должно служить людям. Оно их слуга, а не наоборот.

И это должен быть не лозунг, а повседневная, будничная практика государства.

Пройдя по многим странам, мое поколение могло сравнить жизнь своего народа с жизнью других народов. Было очевидно, что наш многонациональный советский народ достоин лучшей доли.

На каких исторических путях можно добиться прогресса, благополучия и общенародного счастья? Ответ для нашего поколения был однозначен — на путях социалистического развития.

Мы приняли исторический опыт предшествующих поколений. Но он в известной мере — перед величием свершенного народами нашей страны в годы Великой Отечественной войны на поле кровавых битв и в голодном героическом тылу — был отодвинут на второй план, а лики вождей тех времен потускнели. Время Великой Отечественной породило своих героев. Надо было сделать так, чтобы поколение Великой Отечественной стало реформатором страны — с учетом новых исторических реалий, собственного нравственного облика и высоких общественных устремлений.

Естественно, что для того, чтобы поколению встать во главе преобразований страны, предстояло сохранить и передать другим поколениям свой идейно-нравственный заряд, заразить весь многонациональный народ пафосом новых свершений, убедить в их исторической необходимости.

Однако на этом пути, рассуждал я, были очевидны три преграды.

Во-первых, поколение не должно было растерять под ударами жизненных обстоятельств то положительное, что оно приобрело в годы войны, а должно было встать над ними, быть их творцами.

Во-вторых, наше поколение в своей значительной части полегло на полях сражений. Вырубленное поколение. Оно стало небольшим слоем в народной толще и потому самой историей было призвано консолидироваться, но не уйти в себя, не погрязнуть в мелочах жизни. Передать свой опыт, надежды, устремления следом идущим поколениям, зажечь их своими идеями и тем самым приумножить свои ряды на пути дальнейших социалистических преобразований.

И, в-третьих, поколению необходимо было выпестовать и выдвинуть своих лидеров, политических вождей, твердо стоящих на единственно правильной позиции — политика должна быть нравственной. Если этого не произойдет, то делу социализма может быть нанесен урон.

Глава VI
ГОРИЗОНТЫ И ЛАБИРИНТЫ

Переход из здания НКВД на Лубянке в здание ЦК ВЛКСМ на Маросейке занял несколько минут, оба они расположены на одном московском пятачке.

После громады дома № 2 на Лубянке, где работали в основном мужчины — среднего и старшего возраста, внешне весьма степенные, помещение Цекомола показалось мне маленьким; здесь по коридорам сновали молодые люди — и, как мне показалось, все больше «слабого» пола. Да и посадили меня в комнате, где «сильный» пол представлял я один, что для меня было весьма непривычным, стеснительным.

Разглядывали они меня без всяких церемоний, в такой же манере и расспрашивали: кто я и зачем? Поводили по комнатам второго этажа, где размещался орготдел, познакомили с другими товарищами. А на первом партсобрании попросили рассказать о себе, и поподробнее. Мне было поручено готовить к секретариату ЦК ВЛКСМ апелляционные дела исключенных из комсомола. Это были в основном просьбы от юношей и девушек, остававшихся на временно оккупированной фашистскими войсками территории и исключенных из ВЛКСМ за те или иные виды связей с немецкими оккупационными войсками. Для меня, профессионального следователя, разбираться в апелляциях, конечно, не составляло труда. В подавляющем большинстве случаев оснований для исключения из комсомола не было. Местные комсомольские органы по неопытности, а нередко не утруждая себя тщательным разбирательством сложившихся обстоятельств, исключали юношей и девушек из комсомола. Секретариат ЦК обращал внимание комитетов комсомола на необходимость внимательного отношения к судьбам комсомольцев, попавших в оккупацию, — это была не вина их, а беда.

Вместе с другими, более опытными товарищами я стал, в том числе и в составе бригад ЦК ВКП(б), выезжать в командировки, где анализировал положение дел в комсомольских организациях, их связи с другими общественными организациями, влияние на молодежь, степень авторитета в ее среде. Побывал я в Красноярском крае, Татарии, Киеве, Новосибирске, Ставрополье и в других местах. Поездки обогащали меня знанием жизни, общественной практики.

В Новосибирске перед воротами городского рынка в тельняшках, с обнаженными культями ног сидели четыре матроса

и под гитару пели наши фронтовые песни. Стоял трескучий мороз. Из их ртов валил пар. Но они пели так, что перехватывало горло, хотелось выть, кричать на весь белый свет — как же можно допустить такое, неужели у советской власти нет возможности помочь этим защитникам Отечества? Люди стояли стеной. Слушали. Вытирали слезы. Бросали медяки, скомканные рубли…

Я побежал в обком комсомола. Первым его секретарем был тогда Алексей Рапохин, с которым потом судьба надолго соединит меня. Рассказал об увиденном. Приехали на базар. Поговорили с матросами. Втащили их в автомобиль. Привезли в обком комсомола. В тот же день решили все дела с устройством их жизни — работой, местом проживания, медицинским обслуживанием. Матросы были наши ровесники, защитники Севастополя.

Уже после моего отъезда Алексей Рапохин провел бюро обкома комсомола с участием представителей партийных, советских и других общественных организаций, на котором были определены меры по оказанию помощи инвалидам — участникам Отечественной войны.

Душа русского человека так устроена, что он всегда на стороне обиженного, оскорбленного, страдающего. Ныне много говорят о милосердии как о чем-то забытом в народе, которое-де надо воскресить. Но, если приглядеться к тем, кто говорит, так это мелкота от политики. Они оскорбляют наш народ, ибо он никогда не забывал о милосердии. К тому же милосердие заключается не в подачках пятаков, а в умении государства оказывать подлинную помощь нуждающимся, не оскорбляя их личного достоинства.

Будучи с бригадой Центрального комитета партии в Костромской области на хлебозаготовках глубокой осенью 1946 года, я в Сусанинском районе увидел, что колхозники, не веря в возможность получить на заработанные трудодни достаточное количество зерна, чтобы безбедно прожить до нового урожая, уходили в лес и занимались там подсечным земледелием. Я спрашивал у руководителя нашей бригады, заместителя председателя Совета Министров РСФСР П.: зачем у колхозников «выгребается» почти все зерно?

«Указание такое, — отвечал он, — просили коммунисты Франции: хлеб поможет им победить на выборах».

«Что же это за политика, — думал я, — оставлять своих людей без хлеба ради возможной победы на выборах левых сил во Франции, при всем глубоком к ним уважении?!»

Каждая командировка учила меня. В Красноярском крае мы, работники ЦК комсомола, трудились бригадой. Между собой

решили, что я выеду по Енисею в Туруханск, Курейку, а если успею, то и в Норильск. О поездке в те края просил и первый секретарь крайкома ВКП(б).

Какие дивные места проплыли мимо меня, подолгу не уходившему с палубы тихоходного грузопассажирского пароходика «Мария Ульянова»! Завидит капитан на берегу человека, гудком дает знать — мол, увидел, погоди — и начинает подгребать к нему. Все делалось просто, по-человечески, без всяких реверансов и подачек «в лапу». Так же, как и у нас на Волге. А чему удивляться: Сибирь ведь тоже русская земля. Ширь Енисея в нижнем течении поражала меня. Подчас не было видно его берегов… И тайга, тайга. Редко на берегу «станок» — селение.

Туруханск, бывшее Монастырское, — большое село. Стоит на высокой горе при впадении Нижней Тунгуски в Енисей. Посмотришь с горы вниз и видно слияние вод этих рек — Енисей несет воду с голубизной, Нижняя Тунгуска — почти черную.

Сталин жил в с. Курейке и с. Горошихе. В Туруханском райкоме партии его молодой секретарь предложил мне вместе сплавать в Горошиху. Сели в лодку, запряженную большими собаками, и пошли водой по Енисею до Горошихи. Там, после встреч с молодежью, вопросам которой не было конца, я стал навещать тех, кто помнил Сталина, хотел записать их воспоминания, а затем передать в Музей В.И. Ленина.

Записал воспоминания пяти человек, все мужчины. Рассказ Марии К., у которой от Сталина родился сын, я записывать не стал. В этих нехитрых повествованиях было и то, как Сталин доил коров, стожил сено, скрывался от охранки, когда зимой ходил по замерзшему Енисею в Монастырское. Вспоминали его по-доброму, как человека, всегда готового помочь другому.

По возвращении из командировки зашел к Н.А. Михайлову, первому секретарю ЦК ВЛКСМ, и с радостью сообщил, что привез из командировки рассказы шести крестьян с. Горошихи из-под Туруханска о Сталине, который там отбывал свою последнюю ссылку. Михайлов, не глядя на меня, сказал: «Вы мне по этому поводу ничего не говорили, и я ничего не слышал. То, что записали, — сожгите».

Скорее всего, Михайлов знал о том, что у Сталина есть сын от Марии К., как знал и то, что эта тайна сокрыта за семью печатями. Я понял, что не мне распечатывать эти печати.

Находясь в командировках, я видел и ощущал, что величие духа, проявленное комсомольцами, юношами и девушками в годы войны, не иссякло. Оно проявлялось в делах восстановления разрушенного врагом народного хозяйства страны. В ходе

выполнения четвертого пятилетнего плана 1946–1950 гг. был достигнут довоенный уровень промышленного и сельскохозяйственного производства, а затем значительно превзойден. В соответствии с этой задачей перестраивалась работа комсомольских организаций. В течение 1946–1947 гг. прошли съезды комсомола в республиках, комсомольские конференции в краях и областях, на которых были определены меры по вовлечению юношей и девушек в активную хозяйственную и общественно-политическую деятельность.

Комсомол представлял внушительную созидательную силу. Юноши и девушки составляли более 70 процентов тружеников, участвовавших в восстановлении шахт Донбасса. Комсомол Белоруссии взял шефство над крупнейшими новостройками — тракторным и автомобильным заводами в Минске.

Комсомол страны шефствовал над восстановлением 15 русских городов, наиболее пострадавших в годы войны: Смоленска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новгорода, Пскова, Воронежа, Брянска и других. Самоотверженно трудилась на восстановительных работах молодежь Ленинграда и Сталинграда. Вся огромная страна строилась. Восстановление и развитие сельского хозяйства проходило в очень сложных условиях.

К невзгодам, порожденным войной, добавились последствия засухи 1946 года, охватившей многие районы Украины, Молдавии, Нижнего Поволжья, Центрально-Черноземной зоны. Урожай собирался буквально по колоску, по килограмму — все шло в общую копилку. Трудящиеся других республик, краев и областей помогали пострадавшим зерном, овощами, лошадьми, продуктивным скотом. Юношество городов и сел активно участвовало в восстановлении и строительстве новых сельскохозяйственных построек, МТС, животноводческих ферм, школ, больниц, жилых домов, детских садов, сельских электростанций. Так, на жилищное строительство в сельской местности комсомол Украины направил более 100 тысяч юношей и девушек, Молдавии — 15 тысяч. В одной лишь Могилевской области Белорусской ССР жилой фонд пополнился двумя тысячами новых домов.

В стране по-прежнему не была решена зерновая проблема. И забота о повышении урожайности полей составляла одно из наиглавнейших направлений деятельности сельского комсомола страны.

Немало вынесли на своих молодых плечах комсомольцы, участвовавшие в социальном преобразовании села в Прибалтийских республиках, в западных районах Украины, Белоруссии, Молдавии.

Особую заботу проявляли комсомольские организации к юношам и девушкам, вернувшимся из армии и работавшим во время войны в тылу противника, оказывали им необходимую помощь в получении образования, повышении уровня профессиональной подготовки, общекультурного уровня, в укреплении здоровья, приобщении их к физической культуре и спорту.

В сентябре 1946 года, сдав экзамены, я поступил в аспирантуру Всесоюзного заочного юридического института по специальности «общая теория государства и права». Мой экзаменатор, профессор Гурвич, уже старый человек, увидел на мне правительственные награды, расспросил, где и за что я их получил, продиктовал мне экзаменационные вопросы, показал полки, где лежит необходимая литература, и сказал, что придет часа через два. Пришел. Посмотрел подготовленные мною тезисы устных ответов и поставил «пять». Меня взволновало благородство старого ученого.

В октябре 1946 года меня утвердили ответственным организатором Центрального комитета ВЛКСМ, а в конце 1947 года рекомендовали вторым секретарем Центрального комитета комсомола Молдавии. Я дал согласие. Открывались новые возможности для творчества, для большого личного вклада в работу организации.

Еще в конце 1946 года в Москву из Бреста вернулся Давид Златопольский. Поселился он в квартире жены, которая вместе с сыном была у отца в Софии, где тот служил военным атташе. В перерывах между командировками я жил у Давида — было голодно и холодно. Денег не хватало; дом был с печным отоплением. Заберемся, бывало, под одно одеяло, набросаем на себя сверху все что можно, согреемся, возьмем хлебца, лежим и ужинаем, обсуждая всякую всячину, пока не одолеет сон. В ожидании жены Давид вылизал квартиру до блеска. Паркетный пол с небольшим налетом льда блестел, по нему можно было кататься. За печкой лежали дрова, но это был НЗ (неприкосновенный запас) на случай приезда супруги. Мы не жаловались на судьбу, не стонали. Давид готовился к поступлению в очную аспирантуру по специальности «советское государственное право». Я входил в работу Цекомола.

Дом на Арбатской площади, в котором жил Давид, до революции заселяли преподаватели Александровского военного училища, а после нее он стал обычной коммуналкой с десятью квартирами-комнатами вдоль длинного коридора, заканчивающегося общей кухней. Наведываясь к Давиду, я не обращал внимания на снующих по коридору жильцов, да и не

разглядеть было при тускло горящей лампочке (на потребление электроэнергии была установлена ограничительная норма). Несколько раз Давид мне говорил: «Ты бы присмотрелся к моей соседке — Аллочке Соловьевой, очень симпатичная девушка, студентка, заканчивает Институт стали и сплавов. Она подруга моей Веры. Пора кончать тебе ходить в холостяках. Присмотрись».

Я присмотрелся. Алла мне понравилась, и вскоре я влюбился.

Сейчас, когда я пишу эти строки, Алла сидит напротив меня за столом в комнатушке, которую мы снимаем на лето у милых людей, Анны Семеновны и Владимира Родионовича Шулеповых, в деревне Студенцы — на родине моей мамы, и вяжет себе кофту.

Волосы ее стали совсем белыми, лицо изрезано морщинами, но карие глаза под дугами бровей, как и в молодости, горят, не погасли. Я ее по-прежнему люблю. Через полчаса мы с ней пойдем гулять (недавно она перенесла сложную операцию, и ей надо учиться ходить заново) по проселочной дороге, что тянется вдоль скошенных травяных угодий на приподнятой равнине. А вокруг нас подмосковные дали. Там, впереди, за горизонтом Москва, ее дальние пригороды, справа — из-за близлежащих бугров видны трубы цементных заводов Подольска, слева начинаются леса, уходящие на Брянщину, а ближе этих далей, по речке Десне, гнездятся маленькие деревушки, как наши Студенцы, — эдак домов по двадцать — тридцать.

Солнце. Жарко. Воздух дрожит. Вокруг что-то летает, ползает, прыгает — живет.

Когда в молодости мы с Аллой бродили по арбатским переулкам, набережным Москвы-реки, я гордился тем, что со мной рядом идет такая красивая девушка. Ее красота не была броской.

…Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос в душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.

К сказанному Михаилом Юрьевичем Лермонтовым об Алле, да-да, именно о ней, мне добавить нечего.

15 июня 1947 года мы поженились. Алла готовилась к сдаче

государственных экзаменов. А я уехал в Молдавию. Окончила она Московский институт стали и сплавов, как и среднюю школу, с отличием. Меня избрали вторым секретарем Центрального комитета коммунистического союза молодежи Молдавии, это было в декабре 1947 года.

В первый раз вступал я на землю Молдавии весной 1944 года. Она полыхала бело-розовым цветением своих садов. Тогда, во время войны, было не до любования красотами, хотя, естественно, они манили к себе. В этот мой приезд Кишинев был в белом пушистом инее своих парков, скверов, улиц. Маленький городок, тоже изрядно пострадавший в ходе прошедших сравнительно недавно боев. Недавно… А в памяти — как будто вчера; это «как будто» будет сопровождать меня всю жизнь.

Поселился я в партийной гостинице — небольшом особнячке, в которой проживали еще пять человек, работники различных республиканских ведомств, министерств, Совмина республики. Нехватка кадров коренной национальности вынуждала направлять в Молдавию людей из других районов страны.

Они — русские, украинцы и другие — сыграли, не будет преувеличением сказать, огромную роль в подготовке национальных кадров, в восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства республики, подъеме ее культуры, духовных сил.

Это были в своем подавляющем большинстве профессионально подготовленные, добросовестные, совестливые люди. Они занимали, как правило, вторые — после молдаван — должности, тактично, дабы не бить по самолюбию, подставляя им в работе свое плечо. Я не помню ни одного случая, когда бы между молдаванином или русским, украинцем или белорусом, или другими создавалась бы конфликтная ситуация на национальной почве. Такого не бывало. Жили и работали дружно. Так было и в Центральном комитете комсомола Молдавии, в горкомах и райкомах, где трудились десятки посланцев комсомола других республик, краев и областей страны.

Первый секретарь ЦК союза молодежи республики Василий Коханский — мой сверстник, фронтовик, умный, добрый человек — показывал личный пример подлинно интернациональных отношений между молдаванами и людьми иных национальностей.

То, что происходит сейчас в Молдавии, это не взрыв национального самосознания. Этот взрыв имел место именно в послевоенные годы. Тогда были заложены, а затем позже развивались те объективные, экономические, социальные, духовные основы, на которых росло и крепло национальное

самосознание молдаван, воскрешая то лучшее, что было накоплено нацией за ее многовековую историю. Одним из существеннейших компонентов национального самосознания стала идеология дружбы народов.

К концу 80-х годов наше поколение по естественным причинам ушло от активной общественной практики или было вытеснено. Пришли новые люди, которые постепенно, исподволь, но настойчиво стали подменять здоровое национальное самосознание молдавским национализмом. Провозглашение политики перестройки и ее неуправляемость развязали руки националистам. Они консолидировались, захватили в свои руки власть и, не гнушаясь, по-существу ничем, стали изгонять и своих, и инородцев — тех самых людей, чьи отцы и матери, старшие братья и сестры поднимали послевоенную Молдавию из руин и пепла, из почти всеобщей безграмотности, из нищеты. На ум приходят стихи Расула Гамзатова:

Россия, больно мне,
не скрою,
Когда чернит тебя порою
Разноплеменный оговор.
Хоть вознесла сама из кручи
Ты громовержцев
Молодых,
Но всей планеты видят тучи
Они лишь в небесах твоих.

В деятельности комсомольской организации республики ее Центральный комитет в конце 40-х — начале 50-х годов выделял следующие основные направления: участие во всенародном движении за выполнение и перевыполнение четвертого пятилетнего плана восстановления и дальнейшего развития страны, в том числе создание комсомольско-молодежных отрядов по строительству жилья и общественных зданий; участие в коллективизации сельского хозяйства; забота о повышении образования юношества, ликвидации неграмотности и малограмотности населения; организация политико-массовой работы; подготовка комсомольских кадров и актива, прежде всего из числа юношей и девушек молдавской национальности; дальнейшее организационно-политическое укрепление комсомольских организаций, их инициативы и самодеятельности; улучшение руководства пионерской организацией республики.

Во всех повседневных делах и начинаниях комсомольские организации опирались на поддержку партийных организаций и в

то же время оказывали им посильную помощь, особенно на селе, где количество партийных организаций было незначительно.

Авторитет комсомольских организаций рос по мере свершения ими конкретных дел. Вот лишь некоторые примеры. III съезд комсомола республики, состоявшийся в январе 1949 года, сыграл большую роль в борьбе молодежи за победу колхозного строя. Съезд в качестве важнейшей задачи комсомольских организаций выдвинул призыв: «Каждый комсомолец-крестьянин — в колхоз!».

По решению съезда создавались бригады пропагандистов и агитаторов, которые направлялись для проведения разъяснительной работы в наиболее глухие и отдаленные села, особенно в те места, где не было партийных и комсомольских организаций.

Они же являлись организаторами колхозов. В Кишиневском районе 120 сельских комсомольцев входили в состав инициативных групп. При их помощи было создано 30 колхозов, инициаторами создания колхоза в селе Фырладонах были комсомольцы Н. Малый, И. Дашкевич, И. Кравченко. Образованный там в октябре 1948 года колхоз был по желанию крестьян назван именем 30-летия ВЛКСМ. В республике 77 колхозам были присвоены имена комсомола, героев-комсомольцев.

Или другой пример. Комсомольцы были инициаторами создания школ рабочей и сельской молодежи. Они строили и ремонтировали помещения для школ, заготавливали для них топливо, доставали керосиновые лампы, стекла к ним, фитили. Комсомольские организации буквально сражались с администрацией за создание материально-бытовых условий для нормальной учебы юношей и девушек.

Немало было приложено сил и к тому, чтобы каждый ребенок школьного возраста и в селе, и в городе ходил в школу. Члены комсомольских отрядов по ликвидации неграмотности и малограмотности были подлинными подвижниками в этом благородном деле. Население правобережной Молдавии по своему образовательному уровню постепенно догоняло левобережное. Вместе с грамотностью рос культурный уровень; трудящиеся, молодежь все активнее вовлекались в общественно-политическую жизнь, а вместе с этим возрастало национальное самосознание молдавского народа.

Центральный комитет комсомола республики пестовал кадры и актив для плодотворной работы в городах, районах, селах, поселках, совхозах, колхозах, учебных заведениях, на фабриках и заводах. Этого требовали бурный рост рядов комсомола,

возрастание его роли в жизни общества — в хозяйственной, культурной, политико-идеологической сферах. Способные молодые люди направлялись на учебу в Центральную комсомольскую школу в Москву. В республиканской партийной школе было создано комсомольское отделение с одногодичным сроком обучения. Были организованы месячные курсы переподготовки первых и вторых секретарей райкомов и горкомов комсомола. Для секретарей первичных комсомольских организаций регулярно проводились двух-трехдневные семинары — совещания по обмену опытом работы.

Поистине героическим трудом всего нашего многонационального народа уже в 1948 году в стране был достигнут довоенный уровень промышленного производства. Труднейшая народнохозяйственная задача возрождения социалистической индустрии была решена. Решена в два с половиной года, без помощи извне. Это была огромная победа, в которой был вклад и молодого поколения, комсомола.

28 октября 1948 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня основания ВЛКСМ Президиум Верховного Совета СССР наградил комсомол орденом Ленина. Была награждена орденами и медалями большая группа молодежи, комсомольских работников. Награжден был и я — орденом Трудового Красного Знамени.

К этой радости добавилась еще одна, большая: в день 30-летия ВЛКСМ, 29 октября 1948 года, родился наш первый сын — Александр. Поздравления пришли из многих мест страны, куда разбросала жизнь моих друзей.

Хотелось трудиться лучше и лучше. В республиканской комсомольской организации развернулась подготовка к XI съезду ВЛКСМ, который открылся 29 марта 1949 года в Москве в Большом Кремлевском дворце. Наша молдавская делегация была небольшой — девять человек. Сидели мы близко от Президиума съезда и могли хорошо видеть всех тогдашних членов Политбюро ЦК ВКП(б). Кроме Сталина. Мы все, делегаты, его ждали. Верили, что он обязательно придет. Ведь это был первый съезд после окончания Великой Отечественной. Он не мог не знать, что среди делегатов много тех, кто шел на врага с его именем на устах. Но Сталин не пришел. «Поступил он, — думал я, — плохо». Стареющий вождь пренебрег юностью, что было горько и обидно.

Потом, спустя много лет, уже после XX съезда КПСС, я мысленно возвращался к тому, почему же на XI съезде ВЛКСМ Сталин не появился перед делегатами. Он не хотел, наверное,

показать свою физическую немощь, а желал остаться таким, каким он выглядел на бесчисленных портретах — сильным, спокойным, уверенным, не меняющимся, как боги…

В залах Большого Кремлевского дворца, в его гостиных, царских покоях господствовало мое поколение. Его представителей, молодых людей, прошедших огонь войны и невзгоды тыла, было большинство. Сверкали Золотые Звезды Героев Советского Союза, боевые и трудовые ордена и медали.

Съезд заслушал и обсудил отчетные доклады ЦК ВЛКСМ и Центральной ревизионной комиссии, доклады о работе комсомола в школе и об изменениях в уставе ВЛКСМ. В отчетном докладе Центрального комитета, с которым выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов, отмечался большой вклад комсомола в развитие социалистической промышленности, укрепление колхозного строя, повышение обороноспособности страны накануне войны.

Докладывал он о героическом подвиге советской молодежи на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, говорил о вкладе Ленинского комсомола в восстановление и дальнейший подъем народного хозяйства страны. ВЛКСМ за прошедшие годы численно вырос, идейно и организационно окреп.

В коллективной дискуссии XI съезд ВЛКСМ определил главные направления деятельности комсомольских организаций и потребовал повысить уровень организационно-политической работы во всех звеньях комсомола.

В своей практической работе по выполнению решений XI съезда ВЛКСМ мы в Молдавской комсомольской организации сделали упор на оказание помощи первичным комсомольским организациям в развитии их инициативы и самодеятельности на основе учета здоровых интересов и пожеланий комсомольцев, юношей и девушек.

Трудно сейчас восстановить по памяти, в каких местах республики я не побывал. Наверное, побывал везде. И не по одному разу. Приятно было замечать, что меня встречают на заводах, в колхозах и совхозах как своего хорошего знакомого, с которым можно поболтать, пошутить, посоветоваться, поделиться тем, что наболело, что огорчает или не получается в работе, и по-товарищески разделить радость успехов.

Так шел месяц за месяцем, год за годом. В апреле 1950 года меня отозвали на работу в ЦК ВЛКСМ в качестве заместителя заведующего отделом комсомольских органов, которым руководил секретарь ЦК Александр Николаевич Шелепин.

Проводить меня в Москву пришли на вокзал посланцы

комсомолии Молдавии: многих райкомов, горкомов и Цекомола республики. Было многолюдно, весело и немного грустно. Для меня закончился еще один жизненный этап.

Молдавский этап укрепил во мне веру в мои возможности работать с людьми. По глубокому моему убеждению, это главное качество для каждого, кто хочет посвятить свою жизнь общественно-государственной практике. Без этого качества, без любви к людям лучше своевременно отойти от деятельности на этом, может быть, наитруднейшем поприще.

Работа в Молдавии побудила меня глубже задуматься над самой сущностью молодежного движения. Я знал произведения Маркса, Энгельса, Ленина, в которых в той или иной мере, прямо или косвенно рассматривалась эта проблема. Внимательно вникал я и в то, что содержалось на этот счет в работах Сталина. Нередко перечитывал соответствующие постановления съездов, пленумов ЦК ВКП(б). И все-таки, сопоставляя содержащиеся в них размышления, выводы, положения с живой, обыденной практикой комсомольских организаций и особенно их руководящих органов (и чем выше, тем в большей мере), я не находил ответа, как мне казалось, на главный вопрос: что же все-таки лежит в основе жизнедеятельности коммунистических союзов молодежи?

В самом деле, перед войной в комсомольских организациях было больше демократичности, больше воздуха для самостоятельности ее членов. Война потребовала значительно большей централизации во всех звеньях комсомола (да и других партийных, общественных организаций, не говоря уже о государственных органах), что вызывалось объективными условиями и было вполне объяснимо. Казалось бы, что с переходом в мирное время, так сказать, в нормальную обстановку общественного бытия, свежий воздух комсомольской демократии вольется в молодые души и побудит их к творческим исканиям, к самостоятельным действиям, к конкретным новым делам, обновляющим жизнь всего комсомола, а стало быть, и страны.

Однако централизм, указания сверху теснили демократические самодеятельные начала во всех звеньях комсомола и особенно в первичных организациях. Нередко, а кое-где и частенько на комсомольских собраниях обсуждалось не то, что волнует юношей и девушек, а то, что рекомендовано сверху. К тому же усиливалась роль аппарата (получающих зарплату работников), а вместе с этим развивался процесс бюрократизации, неизбежный спутник отчуждения членов комсомола от своей организации. Маленькие вожди копировали больших.

Возникал один и, может быть, главный вопрос: как сделать,

чтобы союз молодежи сверху донизу служил бы юношам и девушкам, а не молодежь служила союзу? Кто ради кого существует?

Ответ на этот вопрос я буду искать. Я понимал, что он не может быть однозначным, тем более его поиск представлял еще больший политико-практический смысл. Мое поколение уже стояло во главе многих комсомольских организаций республик, краев и областей. От глубокого и ясного понимания сущности юношеского коммунистического движения на современном этапе и в обозримом ближайшем будущем зависит многое в путях развития страны и государства. Ведь все вожаки молодежи были и членами ВЛКСМ, и членами ВКП(б) одновременно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это означало прежде всего то, что наше поколение было востребовано жизнью к действиям…

В Москве в Цекомоле я встретил многих своих старых товарищей: Николая Любомирова, Гошу Асояна, Сашу Львова, Нину Осокину, Аду Айвозян и других. Познакомился и подружился с теми, кто недавно пришел в молодежный штаб. Среди них были бывший первый секретарь Оренбургского обкома комсомола фронтовик, мой одногодок Иван Бурмистров, который тоже, как и я, был утвержден замом у Александра Шелепина, первым же замом являлся Отар Гоцеридзе. Вот эта наша троица и вела организационную и кадровую работу под руководством Секретариата и Бюро ЦК ВЛКСМ.

Проработал я месяца четыре, вызывает меня Николай Александрович Михайлов и говорит: «В Молдавии первым секретарем Центрального комитета партии избран Брежнев Леонид Ильич. Он просил вас приехать в Кишинев на беседу с ним. Речь будет идти о вашем возвращении в республиканскую комсомольскую организацию в качестве первого секретаря ЦК».

«Полагаю, что это нецелесообразно, — ответил я и продолжал: — В республике выросли способные комсомольские работники — молдаване, я могу назвать кандидатуры тех, кто мог бы возглавить ЦК республики. К тому же я попрощался с комсомольским активом и возвращаться снова в Кишинев ради поста первого секретаря по меньшей мере было бы неэтично». «Поезжайте в Кишинев и обоснуйте правильность ваших доводов Брежневу, я обещал», — заключил разговор Михайлов.

В Кишиневе я высказал Брежневу то, что говорил Михайлову, только более пространно, отвечая на возражения и уговоры Леонида Ильича. Это была первая, но не последняя моя встреча с Брежневым. Разве мог я предположить, что этот человек сыграет свою роль в моей жизни, для меня совсем не благоприятную. А тогда Брежнев мне понравился: симпатичный, почти красивый, с

легким украинским говорком, с располагающей к беседе простотой общения. За обедом он мне сказал на прощание: «А знаешь, Месяцев, ты все-таки делаешь ошибку…»

Работа отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ была интенсивной, ибо он, в конечном счете, аккумулировал опыт всех звеньев комсомола — от первичных организаций до обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных республик. И не только. В поле зрения отдела постоянно находились те или иные аспекты партийного руководства комсомольскими организациями на местах.

В частности, нельзя было мириться с тем, что нередко практика комсомольских органов по руководству комсомольскими организациями являлась своего рода сколком стиля и методов партийного руководства с его жесткой централизацией, где не находилось места внутрипартийной демократии. К тому же местные партийные комитеты, как правило, не могли «выскочить» из сложившейся, установившейся практики руководства комсомольскими организациями, будь то в союзных республиках или в краях и областях.

Резолюции на этот счет принимались, и даже неплохие. Однако бумага расходилась с делом. Практика приказных методов руководства и безусловного исполнения указаний сверху как непреложного в стиле руководящих партийных органов комсомольскими комитетами была вредна для дела воспитания юношества. Она глушила инициативу и самодеятельность молодежи, подавляла самою природу молодой натуры — самостоятельность действий, поиск правильных решений, возможность ошибок, их осознание и самостоятельное устранение. И это все должно проходить вполне сознательно, превращаться в привычку, как само собой разумеющееся.

Однако переломить ход событий именно в этом направлении не удавалось. Для этого нужны были смелые, по-своему революционные меры. Страной правила сложившаяся устойчивая небольшая группа людей во главе со Сталиным. Вождь был всесилен. Итоги Второй мировой войны еще более укрепили его власть, подняли авторитет.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, его решающая роль в освобождении народов от немецко-фашистских оккупантов, нарастание рабочего и национально-освободительного движений, возникновение народно-демократических режимов в ряде стран Европы, высокие темпы восстановления народного хозяйства в СССР — все это и другое породили в широчайших массах людей, юношества всех стран и

континентов чувство глубокого искреннего уважения к народам Советского Союза, неизмеримо усилили притягательную силу СССР, социализма.

В той исторической обстановке опыт ВЛКСМ, несмотря на имеющиеся в его деятельности недостатки, оказывал большое влияние на становление и развитие международного юношеского движения. Несомненно, что под его воздействием протекал и процесс слияния демократических молодежных организаций в единые союзы. Так было в Болгарии, Чехословакии, Венгрии и в других странах. Между этими союзами и ВЛКСМ налаживались связи, установилась практика обмена делегациями. В двух таких делегациях ВЛКСМ, посетивших Болгарию и Польшу, побывал и я. В некоторых своих аспектах эти поездки представляют интерес.

Делегацию ВЛКСМ в Болгарию возглавлял Георгий Шевель, первый секретарь ЦК комсомола Украины. В задачу делегации входило, как об этом предварительно просили болгарские товарищи, рассказать о работе комсомола в различных сферах общественной и государственной практики и оказать помощь в подготовке съезда Димитровского Союза Народной молодежи Болгарии (ДСНМ).

Пробыли мы в Болгарии почти два месяца. Объехали всю страну и повсюду чувствовали истинно братское отношение как со стороны юных, так и взрослых граждан этой красивой страны с красивым народом.

Первого секретаря Центрального комитета ДСНМ Лучку Аврамова я знал еще с довоенных времен. Летом 1938 года я работал пионервожатым в лагерях Исполкома Коминтерна, Лучка был у меня в отряде. Разница в возрасте между нами составляла два года: я закончил первый курс института, а он девятый класс. При встрече в Софии казалось, что радость бьет через край, хотя каждый из нас был уже другим. Лучка во время войны в составе небольшой группы был заброшен в Болгарию, там, в Родопах, создали партизанский отряд, и в его рядах он боролся за свободу своей Родины.

Работала наша делегация с полной отдачей своих знаний, опыта и сил.

Перед отъездом Политбюро Центрального комитета Болгарской коммунистической партии во главе с Вылко Червенковым пригласило нас на обед в бывший загородный дворец царя Болгарии Бориса III. Обед прошел живо, с теплыми воспоминаниями о Москве — большинство из присутствовавших болгарских товарищей работало в Исполкоме Коммунистического Интернационала. Запомнилось, что Червенков характеризовал

Тодора Живкова, только что избранного секретарем Центрального комитета БКП как перспективного работника. Пройдет энное количество лет, и «перспективный» Живков развенчает, опираясь на Москву, Червенкова как носителя культа личности в партии и государстве со всеми вытекающими отсюда пагубными последствиями.

В последующие годы мне довольно часто приходилось бывать в Болгарии, и всякий раз я с интересом посещал музей революции, что в Софии. И всякий раз главный вершитель исторических событий в послевоенной Болгарии в экспозициях музея менялся. Сначала им по праву был Георгий Димитров. Затем его немного «потеснил» Вылко Червенков, а потом Тодор Живков вышел на первый план, оттеснив Димитрова и убрав с исторической сцены Червенкова.

Глядя на эти трюкачества, хотелось кричать: «Что же вы делаете, коммунисты?! Неужели нельзя утихомирить свою страсть к славе и возвеличиванию своей собственной персоны?! Неужто вы, дошедшие до обладания такой полнотой власти, которая не снилась даже некоторым царям, не понимаете той простой и святой истины, что история все равно, рано или поздно, но непременно расставит каждого из вас по своим местам и воздаст должное?!»

Командировка в Варшаву по приглашению Союза трудящейся молодежи Польши (СТМП) была тоже продолжительной — около месяца — и напряженной. Нас — Зинаиду Федорову, секретаря ЦК ВЛКСМ, Бориса Шульженко, секретаря ЦК ЛКСМ Украины, и меня — загрузили работой, как говорится, дальше некуда.

Встречи и беседы с руководящими работниками и активом СТМП, молодыми рабочими, крестьянами, студентами и учащимися гимназий охватывали все сферы деятельности комсомола, жизни нашей страны, к чему интерес был большой, искренний, что нас радовало, учитывая те сложности, которые имели место при образовании Народной Польши и еще давали о себе знать.

Было удовлетворение и от того, что Союз трудящейся молодежи Польши, используя в известной мере и опыт ВЛКСМ, набирал силы, рос численно, укреплял свои связи с широкими слоями юношества, оказывал на них свое влияние.

Вызывали живой интерес мои воспоминания о боевых действиях нашей 5-й Гвардейской танковой армии по освобождению городов и сел Польши. Рассказать было что… От виденного в гитлеровских концлагерях Майданека и Треблинки волосы шевелились…

Случилось так, что по неотложным делам в Москве и Киеве мои товарищи по делегации выехали на Родину, а я на несколько дней задержался в Варшаве, доделать оставшееся.

В один из таких дней утром ко мне в гостиничный номер вошел человек средних лет и, представившись порученцем Президента Польской Народной Республики, сказал, что товарищ Берут просит посетить его. Если нет возражений, можно поехать сейчас.

Приехали в Бельведер — резиденцию президента, где меня проводили в кабинет товарища Берута. Навстречу мне из-за стола поднялся человек среднего роста, с седеющими волосами, небольшими усами на немного округлом лице. Он был похож на учителя, сходство с которым усиливал его добрый взгляд. Берут снял очки, подошел ко мне и спросил, завтракал ли я.

В ответ на мою благодарность сказал, что угостит меня трускавкой (клубникой); предложил сесть за небольшой круглый столик в углу кабинета, обставленного домашними цветами, образующими нечто отдельное от деловой части кабинета.

«Пожалуйста, — сказал Берут, — расскажите мне поподробнее о своих впечатлениях от пребывания в нашей стране, о Союзе молодежи, его руководителях, активистах, о настроениях в юношеской среде, словом, все, что вы посчитаете целесообразным рассказать мне, как президенту Польши и Первому секретарю ЦК ПОРП. Мне интересно и важно знать ваше мнение — человека со стороны, нашего товарища. Я люблю Советский Союз горячо и искренне», — добавил он.

Мой рассказ — доклад президенту, Первому секретарю Центрального комитета ПОРП, прерываемый его угощениями трускавкой, чаем с конфетами и сухарями, длился часа четыре. Он, не прерывая меня, давая, как мне показалось, выговориться до конца, по ходу доклада делал пометки в блокноте.

Затем начались его вопросы. По их содержанию я понял, что его беспокоит проблема взаимосвязи руководства Союза молодежи во всех его звеньях с массами юношества, особенно в деревне и в высшей школе. Это составило первую часть беседы. Вторая ее часть состоялась после обеда, за которым он расспрашивал меня о Москве, а сам вспоминал, как он в годы войны партизанил в лесах Белоруссии — поближе к Польше. В течение этой второй части Берут задавал мне вопросы, относящиеся к постановке учебы комсомольских кадров и актива, работы первичных комсомольских организаций, а также партийного руководства комсомолом.

Отпустил меня товарищ Берут после вечернего чая. Уезжать от него не хотелось. Думаю, он почувствовал мое настроение и на

прощание сказал: «Будете в Варшаве — звоните и заходите, пожалуйста».

Я поблагодарил главу государства и партии Народной Польши, расценив, естественно, приглашение как присущую ему вежливость.

На следующий день, отложив все дела, я поехал в местечко Сулеювек, что недалеко от Варшавы, где во время войны находился штаб «Валли», один из разведцентров абвера, агентура которого постоянно действовала против нас. На песчаных буграх, поросших редкими соснами, стояло несколько домов барачного типа — вот и все, что я увидел. Так ли выглядел штаб «Валли», когда он действовал? Вряд ли. Местные жители, с которыми мне удалось поговорить, ничего ни о каком штабе не знали, да и не могли знать — уж о соблюдении секретности гитлеровцы наверняка позаботились. Побывав в Сулеювеке, я мог окончательно перевернуть эту страницу из «своей» истории Великой Отечественной войны.

Загранкомандировки были полезны. Они позволяли сравнивать условия быта народов, их молодой поросли, устремления и конкретные действия политических партий, всматриваться в нравственный облик и поведение государственных деятелей, если к тому представлялась возможность. Встречи с руководством правящих коммунистических и рабочих партий были поучительны. Они развеивали ореол какой-то их особой исключительности по сравнению с другими людьми, создаваемый ими самими или их ближайшими карьеристами-приспешниками.

Эти свои размышления я в полной мере относил и к молодежным лидерам — как к своим в комсомоле, так и к зарубежным.

Возвращение из загранкомандировок приносило радость. Ведь как в гостях ни хорошо, а дома лучше. В своем отделе мы ввели в практику подробные отчеты-размышления по итогам загранкомандировок, к чему с интересом относились все товарищи.

Со временем, сравнивая отечественный и зарубежный социально-политический опыт, я все больше и острее буду осознавать, что для того, чтобы построить в нашем Отечестве социализм, нужно найти выход из многих лабиринтов, которые создает жизнь во всех ее сферах, и в том числе в молодежном движении. А для этого надо постоянно обновлять и обогащать свои знания.

Глава VII
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ». ДЕЛО В.С. АБАКУМОВА

В ходе повседневных забот я все больше подумывал о необходимости продолжить образование. Занятия в заочной аспирантуре удовлетворения не приносили — процесс обновления и накопления знаний шел медленно, и в значительной степени из-за большой нагрузки на работе. Надо было поступить в очную аспирантуру, поставить свои знания на уровень времени, а потом снова заняться практическими делами, желательно в партийных организациях в любой географической точке Советского Союза, в любом его регионе.

Еще перед поездкой в Польшу я просил секретарей ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепина и Н.А. Михайлова поддержать мою просьбу в Бюро ЦК о рекомендации на учебу в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Сдав вступительные экзамены, я с начала 1952–1953 учебного года приступил к занятиям на кафедре права по специальности «общая теория государства и права» под научным руководством члена-корреспондента Академии наук СССР М.А. Аржанова.

Среди слушателей академии оказалось много знакомых по партийной и комсомольской работе: из разных мест, почти однолетки — нашего поколения. Потянуло их к учебному столу то же, что и меня, — стремление расширить знания, чтобы в дальнейшем работать с большей отдачей.

Увлеченность занятиями счастливо дополнялась добрым товариществом аспирантов и профессорского состава. Коммунисты кафедры избрали меня секретарем партбюро, что еще больше сблизило меня со всем коллективом.

Мой научный руководитель был человеком широких взглядов, тактично направлявшим меня на глубокое познание сущности коренных проблем, из которых складывается марксистско-ленинская теория государства и права, и умение соотносить их с окружающей действительностью. Он постоянно обращал мое внимание на русскую дореволюционную правовую мысль, которая была глубокой и разносторонней, а также и на зарубежную политико-юридическую литературу различного толка — от «левой» до консервативной. Требования и наставления Аржанова совпадали с моими увлечениями.

Было обусловлено, что в ряду теоретических проблем

государства и права я сосредоточу свое внимание на соотношении государства и личности, а также на трансформации наций в условиях социализма.

С М.А. Аржановым мы полагали, что обозначенные проблемы позволят углубить представления о личностном интересе как двигательной пружине всего сущего, о его развитии и саморазвитии. Утрачивается личный интерес — и человек как личность вряд ли состоится; удовлетворяется интерес — и личность расцветает, отдает обществу все, в большей мере то, чем она богата, а общество в этом случае процветает. Право, его нормы на это и должны быть нацелены.

Меня занимал вопрос: почему чем дальше от Маркса и Энгельса к Сталину, тем большее стеснительное «неудобство» испытываешь от того, что по мере этого продвижения человек, первопричина и первооснова социальной жизни, отодвигается на второй план, а на первый выдвигается государство?

Итак, программа действий была намечена. Однако произошло то, о чем я и подумать даже не мог…

В один из зимних вечеров середины января 1953 года я, как обычно, после занятий в академии отправился на каток парка Останкино, где встречался со своими немногими оставшимися в живых школьными товарищами. Погода стояла мягкая, и мы прокатались допоздна. Приехал я трамвайчиком на свое Ярославское шоссе, что теперь зовется проспектом Мира, подошел к дому, известному в округе как «комсомольский», ибо он был построен Управлением делами ЦК ВЛКСМ и заселен работниками Цекомола, и вижу у подъезда стоит автомашина; в таких ездили тогда самые высокопоставленные в партии и государстве люди — члены Политбюро, правительства, наш первый секретарь Н.А. Михайлов.

«Елки-палки, — думаю, — к кому же могло прикатить это диво?» Поднимаюсь на третий этаж, слышу в моей однокомнатной квартире незнакомые мужские голоса. Открываю.

— Наконец-то… Вас ждут секретари ЦК партии. Надо ехать немедленно. Мы бы вас и на катке разыскали, если бы знали на каком.

— Сейчас переоденусь.

— Не надо.

— Переоденусь, в спортивном костюме я не поеду.

— Переодевайтесь.

До «Большого дома» на Старой площади домчались мгновенно. Поднялись на секретарский этаж — к Г.М. Маленкову, тогда второму после Сталина лицу в партии. У него находились

С.Д. Игнатьев, секретарь ЦК ВКП(б), министр государственной безопасности СССР, А.Б. Аристов, секретарь ЦК ВКП(б), и кто-то еще — не помню. Пока я шел по весьма просторному кабинету, они оглядели меня. Их я знал по фотографиям, видел на трибунах Мавзолея Ленина во время праздничных парадов на Красной площади. Г.М. Маленков встал, вышел из-за стола мне навстречу, крепко пожал руку, пригласил сесть, а сам сел напротив.

Я впервые видел Г.М. Маленкова так близко, и меня приковал его внимательный твердый взгляд и приятный тембр голоса, хороший московский говор.

«Мы пригласили вас по поручению товарища Сталина, — начал Маленков, — он посмотрел ваше личное дело. Вы ему понравились. Товарищ Сталин сказал, что молодые, красивые, как правило, всегда смелы. Просим вас пойти на работу в следственную часть по Особо важным делам Министерства государственной безопасности. Работающие там люди вводят в заблуждение Центральный комитет партии. — Маленков сделал паузу и с нажимом сказал: — ЦК нужна правда. Надо помочь Семену Денисовичу Игнатьеву в установлении истины в следственных делах».

«Как быть? Принять предложение, значит, возвращаться в прошлое?! — проносилось в голове. — Учеба побоку!.. Планы на будущее тоже».

Однако в сознании все это покрывалось одним — я обязан принять предложение ЦК. Наверное, пауза затянулась. Моего ответа ждали.

— Я согласен, — ответил я. Все мое прошлое не могло породить другого ответа.

— Что касается должности и звания, то все это по-хорошему решит товарищ Игнатьев, — продолжал Маленков.

— Вы завтра к одиннадцати часам дня можете зайти ко мне? — спросил Игнатьев.

— Конечно, — ответил я.

— Зайдите, и мы все детали вашего перехода из академии в министерство обсудим и решим. Я прошу вас, товарищ Месяцев, помочь мне разобраться в следственных делах. Вы согласны? — еще раз спросил меня министр.

— Да, согласен, — подтвердил я.

Г.М. Маленков вышел из-за стола, подал руку и, держа в ней мою, сказал:

— Вы можете позвонить мне или зайти в любое время, когда посчитаете необходимым. Дело, поручаемое вам, весьма серьезно. Пожалуйста, имейте это в виду. Так, товарищ Игнатьев? — спросил он министра.

— Да, — ответил Игнатьев, — сказанное Георгием Максимилиановичем относится и ко мне — мы наладим с вами тесное взаимодействие.

Пожелав успехов в работе, Маленков, Игнатьев и Аристов попрощались со мной.

Пока я шел по мягким ковровым дорожкам секретарского этажа, спускался к выходу из первого подъезда «Большого дома» и мчался в правительственном автомобиле до дома, во мне нарастало ощущение, что у Маленкова и у других наличествовала не только какая-то озабоченность, но даже тревога за положение дел в следчасти — хода следствия по каким-то находящимся там в производстве следственным делам.

Их встревоженность передалась мне — в том смысле, что я должен быть крайне внимателен ко всему, к любой, казалось бы на первый взгляд, мелочи. Во всяком случае, рассуждал я, уж если положением дел в следчасти заинтересовался сам Сталин и лично подбирает кадры, то дела там наверняка приобрели или приобретают государственную, политическую значимость. Почему он остановил свое внимание на моей персоне — это доверие или молодым легче крутить, поворачивать в желаемую сторону? Тогда при чем здесь красота и смелость? Смелый на сделку с собственной совестью не пойдет. В голове теснились и другие вопросы, разные домыслы, которым, казалось, нет числа.

Все эти раздумья само собой отодвинули тогда на задний план другие впечатления — о Маленкове и Игнатьеве. Они восстановятся в памяти позже, в связи с другими обстоятельствами.

…Дома посидели мы с Аллой, поговорили, поразмышляли, пожалели, что нарушены планы, связанные с моей учебой в академии. Отказаться от работы в органах госбезопасности, когда предложение сделано на самом высоком уровне, я, рассуждала она, конечно, не мог. Моя обязанность, как члена партии, состояла в одном — найти в себе силы и с честью выполнить поручение Центрального комитета партии.

На следующий день я был в приемной у министра государственной безопасности СССР. Там уже находились Петр Иванович Колобанов, 1-й секретарь Челябинского обкома комсомола, и Василий Никифорович Зайчиков, секретарь ЦК ВЛКСМ. Из нас троих лишь я имел высшее юридическое образование и опыт следственной и оперативной работы.

Игнатьев довольно подробно ввел нас в положение дел в следственной части по Особо важным делам. В производстве находилось два групповых следственных дела. Одно из них так

называемое «дело врачей» и второе — бывшего министра государственной безопасности Абакумова и других руководящих работников министерства. Следует заметить, что за следственной частью числились и те, кто не был расстрелян по «Ленинградскому делу», но был осужден и продолжал настаивать на своей невиновности, а также арестованные за шпионаж и так далее. Игнатьев касался преимущественно групповых дел. Он подчеркивал, что его путают, следствие продвигается медленно. Мы трое должны внести в работу свежую струю, докопаться до правды, сделать ее — правду — достоянием ЦК партии, Сталина.

Следственная часть по Особо важным делам насчитывала в своем составе около пятидесяти человек, а вместе с прикомандированными из местных органов госбезопасности и того более.

Министр рассказал также, что многие следователи за нарушение законности отстранены им от работы, в том числе и возглавлявший следчасть Рюмин — человек, не отличающийся моральными устоями.

— Вы в своих действиях совершенно свободны, — сказал министр, — а двери моего кабинета для вас всегда открыты. Будем советоваться. Я рассчитываю на вашу откровенность. Назначаю Месяцева на должность помощника начальника следственной части по Особо важным делам, а Колобанова — старшим следователем по важнейшим делам следственной части по Особо важным делам МГБ СССР.

Министр предложил, чтобы я ознакомился с обоими групповыми делами — и «делом врачей», и делом Абакумова; Зайчиков знакомится с делом Абакумова и допрашивает Абакумова; Колобанов — с «делом врачей» и на примере одного подследственного, проходящего по этому делу, занимается исследованием истины. На том в качестве первого шага и порешили.

В следчасти встретили нас настороженно. Сотрудники понимали, что наше появление не какая-то случайность, а действие продуманное, с нежелательными для некоторых из них последствиями.

Несколько следователей меня еще помнили по контрразведке СМЕРШ и в разговорах рассказывали, что в процессе следствия нередко творится беззаконие, арестованных избивают, выколачивая из них нужные показания, в чем мы вскоре убедились и сами.

В очередной беседе с министром мы сказали ему о необходимости категорически запретить его властью произвол в отношении подследственных. Он ответил, что указания на этот

счет после освобождения Рюмина от работы даны, о чем следственный аппарат знает.

Ознакомление со следственным «делом врачей» и Абакумова наводило на многие размышления. Наша троица — Зайчиков, Колобанов и я подолгу и почти ежедневно по окончании рабочего дня — если работу с 9 утра до 2–3 часов ночи можно назвать рабочим днем — сверяли свои впечатления и выводы. Вася Зайчиков с утра уезжал к Абакумову в Бутырскую тюрьму, я начитывал материалы следственных дел и спецдокументацию, которые шли в ЦК партии по этим делам, а Петя Колобанов оставался на Лубянке — его подследственный профессор Преображенский содержался во внутренней тюрьме.

Знакомство с материалами этих двух групповых дел и первые допросы своих подследственных Зайчиковым и Колобановым наталкивали на многие и весьма щекотливые, мягко выражаясь, вопросы. Прямо говоря, речь шла о большой политике, касавшейся как атмосферы, настроя, благополучия советских людей у себя в стране, так и престижа Родины за рубежом. Становилось ясно, почему эти дела были в поле зрения Сталина. Не потому ли Маленков обращал мое внимание в присутствии министра госбезопасности Игнатьева на большую ответственность поручаемой мне работы, ссылаясь при этом на Сталина, но не говоря ни слова о тех следственных делах, которые его тревожат, вызывают озабоченность или что-то иное, но в этом же роде?

Публикации в печати, прокатившиеся по стране в связи с «делом врачей», чему каждый из нас троих был свидетелем еще до прихода в следчасть, отвечали на этот вопрос: «дело врачей», большинство из проходящих по которому были евреями, раскручивало маховик антисемитизма, и усиливало его обороты в связи с проводимой в стране кампанией по борьбе с низкопоклонством перед Западом.

Что же будет, если арестованные врачи действительно виноваты? Вообразить было нетрудно. Начали поступать сообщения с мест, что кое-где под флагом борьбы с космополитизмом пытаются пойти по пути Центра, незаконно арестовывая врачей.

Дело министра государственной безопасности Абакумова и других лиц из верхнего эшелона сотрудников этого министерства, конечно, тоже могло вызвать широкий резонанс уже только потому, что таких фигур, находящихся на силовых постах власти, просто так не арестовывают; раскрутка этого дела могла иметь нечто подобное тому, что сопутствовало аресту Ежова.

Так что эти два следственных дела накладывали на нашу

тройку — Зайчикова, Колобанова и меня — непомерно тяжелый груз ответственности, требовали мужества и, конечно, нравственной чистоплотности. Василий Никифорович Зайчиков, Петр Иванович Колобанов и я — из одного поколения, из комсомольских работников 50-х годов, которых призвал Центральный комитет ВКП(б) на работу в следственную часть по Особо важным делам Министерства государственной безопасности Союза ССР.

Василий Никифорович, мой дорогой друг, тебя уже нет в живых. Ты принимал живейшее участие в построении социализма в великой стране — Советском Союзе. Но ты не видел, тебе, к счастью, не довелось увидеть, как ее развалили…

Я помню твой облик: крупную голову с высоким лбом и умными серыми глазами, коренастую фигуру, переваливающуюся из-за больной ноги походку. Тебя выделял среди нас твой аналитический ум. А притягивали к тебе — порядочность, доброта и, конечно, справедливость. Потому-то и выдвинула тебя из своей среды юность страны в лидеры — в секретари Центрального комитета ВЛКСМ, а после коммунисты Киргизии попросили тебя быть одним из секретарей ЦК компартии республики; Ты был одним из руководителей общества «Знание». Да разве перечислить все места, где ты приложил свои знания, опыт, ум, оставляя память о своих добрых свершениях в сердцах людей.

Петр Иванович Колобанов, всю свою жизнь ты был яростным защитником правды и справедливости. Твоя бескомпромиссность в борьбе против всякого рода мерзостей нередко вызывала раздражение вышестоящих и даже их кару, но ты был и оставался самим собой.

Выдержали ли мы ответственность, возложенную на наши плечи? Хватило ли нам ума разобраться в следственных делах и осмыслить сопутствующие им политические замыслы и закулисные игры? Не покинет ли нас мужество на пути к установлению правды?

«Дело врачей». Некоторые полагают, что толчком к возникновению «дела врачей» явилось высказанное Сталиным (где-то и в присутствии кого-то?) подозрение о том, что в кончине бывших членов Политбюро ЦК ВКП(б) Калинина, Щербакова, Жданова повинны лечащие их врачи. В МГБ решили подтвердить «догадку» вождя.

Может быть, доля правды в таком ходе мыслей есть, но только доля, да и то сомнительная. Не могу поверить (и к тому

нет ни прямых, ни косвенных улик), чтобы Сталин без всяких на то оснований посягнул на врачей с мировыми именами. Он, а вместе с ним и другие тогдашние члены Политбюро ЦК дали согласие на арест врачей, лишь когда на них разными путями были собраны материалы, свидетельствующие об их «преступной деятельности», материалы сфальсифицированные.

Проследим, хотя бы схематично, за ходом этих роковых для врачей действий провокаторов из органов госбезопасности. Из Кремлевской больницы, в которой наблюдаются наряду с другими члены Политбюро ЦК ВКП(б), поступает заявление в МГБ от сотрудника этой больницы Лидии Тимашук, в котором она пишет «о неправильном лечении» высокопоставленных пациентов. По заявлению создается экспертная комиссия для проверки изложенного Тимашук. Во главе комиссии встает Рюмин — начследчасти, известный как отъявленный карьерист. Экспертная комиссия подтверждает изложенное Тимашук. Ее награждают орденом. Органы госбезопасности разворачивают «оперативную» разработку врачей и арестовывают их. Начинается следствие.

Полагаю, что Сталин и сотоварищи по Политбюро на том этапе поверили в виновность врачей. В стране, естественно с одобрения Политбюро, развертывается шумная, как я уже писал, пропагандистская кампания против врачей — «убийц в белых халатах», смыкающаяся в некоторой своей части с борьбой против космополитизма.

Среди арестованных в основном евреи (академики медицины), Василенко и Виноградов — русские. В числе арестованных был и главный терапевт Советской армии, генерал-лейтенант медицинской службы Вовси.

Сообщение об аресте врачей было опубликовано 13 января 1953 года, после того, как дело уже было сфальсифицировано. Наша троица пришла в следственную часть по Особо важным делам МГБ СССР и приступила к работе 19 января того же 1953 года.

Знакомясь с материалами «дела врачей», я задавался тремя вопросами: во-первых, мог ли каждый из арестованных врачей по своей гуманистической воспитанности, интеллекту, профессиональной чести, да и просто по образу мыслей пойти — вполне осознанно (прямой умысел) или предполагая опасность своих действий для других (косвенный, или эвентуальный умысел) — на совершение преступных деяний в отношении своих пациентов, то есть на причинение ущерба их здоровью; во-вторых, имело ли место наличие какого-либо сговора между ними в преступных целях; и, в третьих, каким образом они скрывали свои

преступные действия при наличии таковых?

На каждый из этих вопросов я не нашел в показаниях арестованных врачей убедительных ответов, свидетельствующих с необходимой достоверностью о совершенных каждым из них и, стало быть, всеми вместе преступных деяниях.

Ознакомление с материалами «дела врачей» позволило вскрыть прием, посредством которого оно фабриковалось. Прием был весьма прост, даже примитивен. Не надо было обладать ни познаниями в медицине, ни особым профессионализмом в следствии, а надо было лишь самым беззастенчивым, бесстыдным образом брать из истории болезни того или иного пациента, N или М, имеющиеся у него врожденные или приобретенные с годами недуги и приписывать их происхождение или развитие преступному умыслу лечащих или консультирующих его, N или М, врачей.

Все гениальное просто. Даже в совершении злодеяний.

Петр Иванович Колобанов проверил наши догадки в ходе допросов профессора Преображенского, специалиста в области уха, горла, носа. Преображенский лечил члена Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б) Андреева, страдавшего тяжелым заболеванием уха. Преображенский показал, что Андреев, несмотря на его категорические возражения и запреты, пристрастился в целях снятия ушной боли к наркотикам, что и было зафиксировано в истории болезни. Вот это пристрастие Андреева к наркотикам и было вменено в вину Преображенскому — что именно он своим методом лечения превращал Андреева в наркомана.

Можно было бы подобные примеры продолжить. Что касается смерти в 1948 году члена Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б) Жданова, то врачи в ней неповинны. Одной из причин его кончины была сердечная недостаточность. Следователи, занимавшиеся фабрикацией обстоятельств смерти Жданова, очевидно с ведома руководства следственной части и Министерства госбезопасности (вряд ли они взяли бы на себя ответственность), подложили экспертам для исследования не сердце Жданова, а другого, неизвестного лица, пораженное ядами, приведшими к смерти его обладателя. Надо заметить, что Жданов скончался во время очередного отдыха на даче, расположенной на Валдае. После констатации его кончины вскрытие происходило в небольшой ванной комнате, при свечном освещении, поспешно. Почему именно так — разобраться в этом нам не хватило времени.

После смерти Сталина к руководству органами безопасности

пришел Берия. С его приходом наша троица в разное время покинула Лубянку. Надо заметить, что лично я никого по «делу врачей» не допрашивал.

Все наши соображения и выводы о том, что «дело врачей» сфабриковано, мы докладывали министру Игнатьеву, а он, надо полагать, выше.

Для того чтобы внести полную ясность в дело, надо было «обработать» вменяемую некоторым врачам в вину связь с сионистской шпионско-террористической организацией «Джойнт» с центром в Лондоне.

Мне представилась такая возможность. Я был включен в состав делегации студентов, выезжающей в Лондон по приглашению Национального союза студентов Англии. И там, на месте, при посредстве наших товарищей из посольства без особых трудностей удалось установить, что никакая это не террористическая, не шпионская организация, а организация благотворительная, хотя и с сионистским душком, — это во-первых. Во-вторых, подтвердить наличие каких-либо вражеских и иных связей наших врачей с «Джойнтом» не представлялось возможным, ибо их в природе не существовало.

Таким образом, и вторая часть формулы обвинения в адрес врачей отпала, о чем было доложено министру. Мы верили Семену Денисовичу Игнатьеву, и потому нам не было необходимости докладывать наше мнение по делу врачей непосредственно Маленкову.

О характере наших отношений с подследственными, в частности из числа врачей, может свидетельствовать следующий эпизод. Захожу я как-то часа в два ночи в кабинет к Петру Колобанову. Смотрю, у него сидит подследственный Преображенский, пьет чай с сушками, а Петр говорит по телефону: «Вы не волнуйтесь. У вашего супруга здоровье в норме и настроение сейчас хорошее. Мы сидим с ним и пьем чай». Я понял, что Петр разговаривает с супругой Преображенского.

Вышел от него и из своего кабинета по «вертушке» позвонил: «Ты допускаешь ошибку. Никто из нас не имеет права при всей нашей убежденности в невиновности врачей раньше времени объявлять об этом». Конечно, как человек гуманный, Петр Колобанов поступал правильно, но как должностное лицо допускал ошибку, превышал свои полномочия. Во всяком случае в душе я с ним был согласен. Мне тоже хотелось скорейшего освобождения врачей из-под стражи. Но пройдет еще много дней, прежде чем это произойдет, дней, которые приведут к серьезным изменениям в стране.

Ныне в печати появляются статьи о том, что «дело врачей»

было своего рода подготовкой к якобы готовящейся по прямому указанию Сталина массовой депортации евреев. Более того, обозначаются сроки начала судебного процесса над врачами — 5–7 марта 1953 года, а следом за ним должна была начаться акция депортации евреев. Кроме того, кончина Сталина связывается с тем, что его ближайшее окружение взбунтовалось, потребовав прекращения следствия по «делу врачей» и освобождения их из-под стражи. Надо отметить, что подобные писания основываются не на документальной базе, а на выстраивании домыслов, воспоминаний в желаемую логическую цепочку, естественно, с желаемыми конечными выводами.

Прежде всего указания ЦК партии — Сталина, Маленкова и других — о необходимости проведения тщательной ревизии следствия по «делу врачей» и составления на основе всестороннего анализа всех имеющихся в нем материалов объективных выводов мы — Зайчиков, Колобанов и я — получили в первой половине января 1953 года. К середине февраля наше мнение по «делу врачей» было однозначным — оно сфальсифицировано. Врачи невиновны. Их надлежит освободить из-под ареста, о чем докладывалось в совершенно определенном плане С.Д. Игнатьеву, секретарю ЦК ВКП(б), министру госбезопасности. Несомненно, о наших выводах он информировал Политбюро ЦК.

Никакого обвинительного заключения по следственному «делу врачей» в его многочисленных томах я не видел и о наличии его ничего не слышал. Если внимательно исследовать материалы «дела врачей», то в них не найдется ничего, что наводило бы на раздумья о готовящейся депортации евреев.

Полагаю, что публикация статей на подобные темы, которые не имеют под собой документальной основы, занятие ненужное, а если учесть еще и нынешний накал страстей в межнациональных отношениях — вредное.

Суть обвинения Абакумова, бывшего начальника Главного управления ОО НКВД СССР, затем начальника Главного управления контрразведки СМЕРШ, а перед арестом — министра государственной безопасности СССР, состояла в том, что он-де дезинформировал Центральный комитет партии и правительство, скрывал от них крупные провалы в работе органов, в том числе в зарубежных странах. Сидел он в Бутырской тюрьме, в специально отведенном для него отсеке, исключающем какое-либо общение с внешним миром. Виновным он ни в чем себя не признавал. Всячески добивался встречи с Берия или хотя бы передачи ему личного письма.

Свои впечатления о В.С. Абакумове, вынесенные мною из личных встреч с ним, и о его деятельности как руководителя советской контрразведки СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны я подробнейшим образом передал Зайчикову и Колобанову.

Абакумова и других лиц, проходящих по его делу, арестовали по признакам ст. 58–16 Уголовного кодекса РСФСР — измена Родине. Я не мог поверить в то, что Абакумов — изменник Родины. Ради чего министру государственной безопасности великой страны было изменять своему Отечеству?! Не верю и сейчас, когда Абакумова уже нет в живых. По приговору Военной коллегии Верховного суда Союза ССР он по прошествии трех лет следствия (арестован 12 июля 1951 года) 19 ноября 1954 года, в Ленинграде, в присутствии Генерального прокурора СССР Руденко был расстрелян.

Рассказывают, что, когда его вели на расстрел, Абакумов крикнул: «Я все напишу в…», но не успел произнести слово «Политбюро». В своем последнем слове Абакумов сказал: «Я честный человек. В войну я был начальником контрразведки, последние пять лет на посту министра. Я доказал свою преданность партии и Центральному комитету…»

Все это произойдет позже. А тогда, ознакомившись, по совету Игнатьева, с материалами следственного дела, мы решили, что допросы Абакумова будет вести Зайчиков, которого Абакумов лично не знал, а я, как профессиональный военный юрист, буду ему консультативно помогать.

Абакумов, по рассказам Зайчикова, выглядел наилучшим образом. И это объяснимо: по собственному, избранному им меню он ел все что душе угодно — от черной икры до венских шницелей; ежедневные прогулки и нормальный сон способствовали его хорошему самочувствию.

Мы полагали, что об условиях содержания Абакумова в «Бутырке» Сталин был осведомлен и, наверное, рассчитывал на «взаимность» со стороны Абакумова в том, в чем был он, Сталин, заинтересован. А интерес у Сталина действительно, как откроется нам позже, был.

Когда Абакумов впервые увидел Зайчикова, то, оглядев его, сказал: «Вы в органах новый человек, судя по вашей экипировке, ездите по заграницам, на лацкане пиджака след от депутатского значка. В следствии по моему делу наступает, наверное, новый этап. Ведь до вас меня допрашивали мои бывшие подчиненные».

Допросы Зайчиковым Абакумова шли почти ежедневно. Но Абакумов виновным себя в измене Родине не признавал. Нужны были доказательства, на которые можно было бы опереться в ходе

следствия.

Во время моего пребывания в Англии Сталин вызвал к себе на «ближнюю» дачу в Волынское Игнатьева, его зама Гоглидзе и Зайчикова.

Сталин, как рассказывал Зайчиков, принял их в большой комнате на первом этаже. Он был одет в потертый на животе и локтях мундир генералиссимуса, брюки были заправлены в подшитые и подпаленные в нескольких местах валенки. Это не был Вождь, запечатленный в миллионах экземпляров фотографий, картин, репродукций с них, бюстов, небольших и впечатляющих своими размерами монументов, это был, по первому впечатлению, говорил Василий Никифорович, старый человек, чем-то очень озабоченный, с немного сгорбленной фигурой, с опущенными плечами. Он встретил их так, как будто они ушли от него вчера и, поздоровавшись, предложил сесть, указав рукой на стулья, стоявшие слева от его кресла. Игнатьев, Гоглидзе и Зайчиков подождали, пока сядет Сталин, и тоже сели. Сталин, не обращаясь ни к кому из них персонально, спросил:

— Как ведет себя Абакумов?

Игнатьев:

— По-прежнему ничего существенного не показывает.

Сталин:

— Что намереваетесь предпринять?

Игнатьев:

— Товарищ Зайчиков предлагает заняться сбором доказательств, посредством которых можно было бы изобличить Абакумова.

Сталин:

— Товарищ Зайчиков, их действительно недостаточно?

Зайчиков:

— Да, товарищ Сталин. Следователи, которые вели допросы Абакумова, говорили ему одно и то же: сознайтесь. А он отвечал: не в чем сознаваться. И так изо дня в день. Мои впечатления такие, что Абакумов затягивает следствие, на что-то надеется, а на что именно, пока не знаю. Я выстроил в один ряд имеющиеся уже улики против Абакумова и намерен наряду со сбором других доказательств, в том числе и путем активизации допросов его соучастников, пустить в ход имеющееся в деле.

Сталин, подумав:

— Попробуйте осуществить свой план. Полагаю, он может дать результат.

Игнатьев:

— Может быть, Зайчикову как человеку новому начать с нечистоплотности Абакумова в быту? При обыске в его квартире

найден прямо-таки целый склад ширпотреба и золота, обращенного в поделки. Мы засняли на цветную пленку все, что дал обыск. Если хотите посмотреть — я могу показать.

Сталин:

— Покажите.

Игнатьев достал альбом с фотографиями. Сталин стал листать его страницы.

«Я, — рассказывал мне Василий Никифорович, — внимательно наблюдал за ним. Лицо было спокойное, но руки по мере просмотра альбома стали все больше и больше дрожать. Он не долистал страницы, отбросил альбом, встал, взял трубку, закурил».

Игнатьев стал перечислять, что при обыске у Абакумова изъято около 350 пар различной обуви, обнаружена комната со стеллажами, забитыми отрезами шерсти, шелка и других тканей, большое количество галстуков, литые из золота дверные ручки и тому подобное.

Сталин положил трубку в пепельницу. Медленно сел в свое кресло и сказал:

— Если альбом показать рабочим и рассказать им, что стяжательством занимается советский министр, министр государственной безопасности, призванный стоять на защите их интересов, то им, рабочим, нас всех вместе взятых надо разогнать!

Была долгая пауза. Затем Сталин, обращаясь к Игнатьеву, еле слышным голосом сказал:

— Заковать в кандалы, посадить на обычный тюремный паек.

«У меня, — продолжал Василий Зайчиков свой рассказ, — по спине поползли мурашки. Сталин был в гневе, глаза его словно наполнились огнем.

И, обращаясь ко мне, сказал:

— В ходе допроса Абакумова у вас не должны дрожать колени при упоминании им разных лиц, как бы высоко они ни стояли. Вы, товарищ Зайчиков, не можете не догадываться, на чье покровительство рассчитывает Абакумов и кто так долго от имени ЦК контролировал ЧК. Не доверяю я Берии; он окружил себя какими-то темными личностями».

Когда Вася Зайчиков подробно, слово в слово пересказывал несколько раз эту часть высказываний Сталина, для нас троих — да и для Игнатьева с Гоглидзе, наверное, — стало ясно, что Абакумов, как говорится, фигура «проходная». Сталин готовился к прыжку на своего «заклятого сподвижника». Он его боялся. Мы, молодые, призванные в органы государственной безопасности, в

их следственную часть по Особо важным делам, должны были стать его помощниками в крупной политической игре, дальнейшие ходы которой нам в конечном счете были неизвестны.

Как мог Сталин в присутствии Гоглидзе — верного слуги Берии — сказать, что он не доверяет Берии? Мы не сомневались, что Гоглидзе тотчас же передаст весь разговор своему патрону, а Берия хорошо знает, что делает Сталин с теми, кому не доверяет, и не будет ждать своей участи, словно кролик перед удавом, а нанесет упреждающий удар. Мы пришли к общему выводу, что в ближайшее время должно произойти что-то весьма важное, исключительное…

Все это случилось дней за 10–15 до кончины Сталина. Он не успел убрать своего главного исполнителя и свидетеля. Он, Сталин, был уже старым и немощным человеком, боявшимся своего поражения…

Зайчиков после ареста Берии по указанию Хрущева воспроизвел почти стенографически вышеприведенную беседу со Сталиным. Не знаю почему, но Зайчикова в ЦК ВЛКСМ в качестве секретаря не вернули, а отправили на партработу в Киргизию.

Следует заметить, что Хрущев в своих воспоминаниях тоже отмечал, что Сталин боялся Берии. «После войны, когда я стал чаще встречаться со Сталиным, — писал Никита Сергеевич, — я все больше чувствовал, что Сталин не доверяет Берии. Даже больше чем не доверяет: он боялся его. На чем был основан страх Сталина, мне тогда было непонятно. Позже, когда вскрылся весь механизм этой машины по уничтожению людей, которым Берия управлял и проводил акции по поручению Сталина, я понял, что Сталин, видимо, сделал вывод: если Берия делает это по его поручению с теми, на кого он пальцем указывает, то он может это сделать и по своей инициативе, по собственному выбору. Видимо, Сталин боялся, как бы этот выбор в конце концов не пал на него. Поэтому он и опасался Берии. Конечно, он никому об этом не говорил, но это было заметно».

Нельзя исключить как предположение и то, что Сталин намеревался освободить из тюрьмы «убийц в белых халатах» (они, как я уже говорил, были абсолютно невиновны), возложить ответственность за фабрикацию «дела врачей» на Абакумова и его покровителя Берию, привлечь их к уголовной ответственности и тем самым вновь укрепить свой авторитет в глазах нашего народа и мировой общественности.

Но история сыграла свою игру. Распорядилась по-своему…

Ранним утром 5 марта 1953 года в комнату, в которой я спал, будучи в гостях у студентов политехнического вуза в г. Лейстере, что недалеко от Лондона, зашел ректор и, разбудив меня, сказал, что Би-би-си передало срочное сообщение — Сталин умер. И добавил: «Обычно в таких случаях Би-би-си не ошибается».

В тот же день в Лондоне собралась вся наша студенческая делегация и вместе с Гарри Поллитом, Генеральным секретарем компартии Великобритании, вылетела в Москву; по пути следования к нам присоединились делегации коммунистических и рабочих партий других стран, направляющиеся в Москву на похороны Сталина.

В аэропорту Внуково нас встретили товарищи из ЦК ВЛКСМ, довезли на автомобилях до станции метро «Кировская» (ныне — «Чистые пруды»), оттуда на метро мы доехали до станции «Охотный ряд», пересекли Большую Дмитровку и вошли в Колонный зал Дома Союзов, где надели траурные нарукавные повязки и стали ждать очереди, чтобы встать в почетный караул у гроба великого усопшего.

Встали. Я всматривался в Сталина. Он был спокоен.

«Для него, умершего, — думал я, — все уже в прошлом. А для нас, живых…»

Звуки траурной мелодии прорезали рыдания людей, проходящих мимо гроба. В голове было пусто. Душа жила печалью. Почувствовал, что кто-то мне дышит в затылок, скосил глаза — Суслов. Оказалось, что наша делегация вместе с секретарями ЦК ВЛКСМ стояла в предпоследнем почетном карауле; за нами встали члены Политбюро ЦК ВКП(б) — продолжатели дела Сталина?!

С тех пор прошло много лет. Но перед моими глазами стоят картины скорби, охватившей наш народ, трудящихся других стран. Это была искренняя скорбь; в Колонном зале плач, на лицах людей, на ночных улицах Москвы — нескрываемые слезы, дома — печаль.

«Что с нами будет?» — этот вопрос, казалось, навис над партией, государством, народом.

Первыми последовали изменения в высшем эшелоне руководства страной. Маленков возглавил правительство, Берия стал его первым замом и одновременно министром внутренних дел, в состав его министерства вошли МВД и МГБ.

Для нас троих — Зайчикова, Колобанова и меня — приход Берии к руководству МВД означал многое. Мы не знали, куда и каким образом он повернет следственные дела, которыми мы занимались. Однако обстановка начала довольно быстро

проясняться. Берия забирал в свои руки побольше власти. Он стянул к Москве внутренние войска, входившие в состав НКВД, своих людей расставил на ключевые посты в центральном аппарате министерства и в республиканских МВД.

ГУЛАГ, за исключением лагерей для особо опасных государственных преступников, передавался Министерству юстиции. В Москву были отозваны без замены около половины сотрудников заграничных резидентур.

Но главные заботы в отношении своего ведомства Берия посвятил тому, что сегодня называется «департизацией» правоохранительных органов, — выводу их из-под контроля партии. Он резко пресекал любые попытки вмешательства в работу «органов» со стороны партийных комитетов. Большинство новых сотрудников назначались без их ведома и согласия, в то же время началось массовое увольнение из МВД людей, направленных туда партийными организациями. О такого рода действиях Берии, за исключением работников центрального аппарата МВД, мало кто знал.

Однако были действия и другого рода, объективно несомненно позитивные, рассчитанные на повышение его, Берии, авторитета. К числу их относится довольно широкая амнистия заключенных и, конечно, прекращение производства «дела врачей» и их освобождение из-под стражи.

4 апреля 1953 года в газетах было опубликовано «Сообщение МВД СССР». В нем говорилось, что МВД провело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении видных деятелей советского государства. В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу были арестованы бывшим Министерством госбезопасности неправильно, без каких-либо законных оснований. Выдвинутые против них обвинения являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего МГБ путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами методов следствия.

Наша троица могла гордиться свершенным — совесть и мужество были положены на алтарь гуманизма.

Кобулов, ставший первым заместителем Берии, собрал сотрудников следственной части по Особо важным делам, на котором обвинил скопом всех присутствующих в «липачестве», в

недостойном настоящих чекистов поведении.

Я выступил и сказал, что не могу отнести его обвинения на свой и моих товарищей счет, мы пришли в органы по решению Политбюро ЦК ВКП(б) (Кобулов, конечно, знал, с какой целью нас направили в следственную часть).

«Мы не липачи, ими никогда не были и, надеюсь, не будем, — отвечал я Кобулову. — У нас сложилось свое мнение по делам, находящимся в производстве, о чем мы докладывали в ЦК партии».

После этого совещания нас троих от ведения следственных дел отстранили. Приходили на работу, садились в кабинете, читали газеты, играли в шахматы, получали заработную плату.

Я позвонил Аристову, секретарю ЦК ВКП(б), и рассказал о сложившейся ситуации, попросил совета. Он порекомендовал подать заявления об увольнении из органов, но сделать это по-умному, так, чтобы никого из нас «не замели», и спросил: понятно? Я поблагодарил за совет. Пробиться в больницу к Игнатьеву не представлялось возможным — после всего происшедшего у него случился обширный инфаркт.

Вася Зайчиков и Петя Колобанов из органов быстро уволились. Меня не уволили.

Москва готовилась к первомайским праздникам 1953 года. Изо дня в день становилось теплее. Размягчались и лица людей. А у меня на душе, как никогда раньше, была тревога. В сознании лишь одно — какой наиболее безопасный избрать выход из сложившейся ситуации? Работать в органах, да еще при Берии — не по мне. Надо уходить! Как? Куда?

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1953 года меня вызвали к Берии. Раньше я его видел на различных изображениях да стоящим на мавзолее на Красной площади среди других сподвижников Сталина, когда проходил я в колоннах демонстрантов. В приемной секретарь сказал, что доложит обо мне и добавил: «Обращаться к Лаврентию Павловичу будете — „товарищ первый заместитель Председателя Совета Министров“».

В окна приемной были видны уходящие вниз к Театральной площади фонари да сверкающие кое-где не выключенные на ночь огни праздничной иллюминации. Я был спокоен — волнения, переживания и прочее овладевают мною задолго до события, а потом проходят — таково свойство моей натуры. Стоял у окна и рассматривал с высоты министерской приемной лежащие в ночном спокойствии московские улицы, казалось, до каждой своей выбоины на асфальте и трещины на домах мне знакомые и потому столь милые сердцу.

Когда я вошел и представился, то увидел в углу кабинета стоящих навытяжку двух следователей — однофамильцев Морозовых из следчасти по Особо важным делам. Они были бледные, их трясло. Берия, мельком взглянув на меня, сказал: «Садысь», — и, продолжая неоконченную в адрес этих двух следователей брань, выговаривал им, что они и липачи, и безмозглые, и без чести и совести, пересыпая все это отборной матерщиной.

Мне почему-то стало весело. Подумал: «Какой же я идиот, что кричал „ура!“ и таскал его портреты, а он — хулиган, не брезгующий даже унижением человеческого достоинства других людей».

Закончил Берия свою матерщину. Спросил у одного из Морозовых; каково его мнение о другом. Тот ответил — положительное.

«А твое?» — И указал на первого.

Второй ответил тем же словом — положительное.

«Сговорились, сволочи. Напишите объяснения на мое имя». — И указал на дверь. Было понятно, что эти двое в руках Берии, что он захочет, то с ними и сделает.

Берия сидел на торце длинного стола, был одет в белую сорочку, расстегнутую почти до пупа, с закатанными по локоть рукавами, обнажившими волосатые руки с толстыми мясистыми пальцами. Почти круглое лицо с большим носом, на котором прочно уселось пенсне, и взгляд, словно говоривший: «Ну, а ты что за гусь?»

А «гусь» тоже разглядывал его. Мне показалось, что он заметил это, и я опустил глаза долу.

— У вас хорошие объективные данные, — начал он. — Предлагаю вам должность заместителя начальника Главного управления по координации работы нашей разведки и контрразведки с соответствующими органами стран народной демократии (в последующие годы соцстран. — *Н.М.*).

Я растерялся. В голове промелькнула мысль: «Не поддаваться на высокую должностную приманку. Просить отпустить меня из органов».

— Товарищ первый заместитель Председателя Совета Министров, — сказал я, — по натуре своей я не чекист, а пропагандист. Разрешите мне продолжить учебу в Академии общественных наук, откуда я был призван на работу в следственную часть по Особо важным делам!

Берия засмеялся и сказал:

— Вот и хорошо, что пропагандист. Мы с тобою такую пропаганду, такую пропаганду развернем, что все удивляться

будут! Иды и подумай хорошенько, я тебя вызову.

Вернулся к себе в кабинет. Собрал газеты на письменном столе и по старой, с юношеских лет, привычке пошел пешком домой. По Сретенке, на которой нет ни одних ворот, по Первой Мещанской, бывшей в тридцатых годах прекрасным сквером, — от снесенной Сухаревской башни до Рижского вокзала, где тоже были взорваны две водонапорные башни, украшавшие привокзальную площадь, и далее по Ярославскому шоссе, превращенному из булыжной узкой дороги в широкий с асфальтовым покрытием проспект, — до дома.

Жена не спала. Ждала меня. А мы вместе ждали прибавления семейства. Рассказал ей о разговоре с Берия и о том, что на работе в органах я оставаться не думаю, — не нужны мне ни генеральская должность, ни генеральское звание. Алла просила лишь об одном, чтобы я не зарывался, был начеку, добиваясь своего.

За время работы и вынужденного безделья в следственной части по Особо важным делам мне представилась возможность узнать много такого, чего я раньше не знал, но что представляло несомненную общественную значимость.

У меня тогда сложилось твердое убеждение, что так называемое Ленинградское дело есть не что иное, как плод борьбы за власть, развернувшейся в недрах Политбюро ЦК ВКП(б). Н. Вознесенский в силу своего интеллекта и колоссальной работоспособности приобретал все больший авторитет у Сталина и оказывал на него влияние, что вызывало опасение и зависть со стороны Берии, при молчаливой поддержке его Маленковым, Молотовым, Булганиным и другими.

Подобные корыстные мотивы лежали в основе ареста и других молодых деятелей-воспитанников ленинградской партийной организации — Кузнецова, Иванова. Мне рассказывали, как Маленков, Берия и Булганин приезжали в Лефортовскую тюрьму и сами, выставив за дверь кабинета следователя, вели допрос Вознесенского. Рассказывали о том, как следователи принуждали Иванова, бывшего первого секретаря Ленинградского обкома комсомола, а затем второго секретаря ЦК ВЛКСМ, которого я знал и к которому относился с искренним уважением, давать ложные показания на себя и на других обвиняемых, проходящих по этому сфабрикованному делу. Всеволод Иванов, доведенный до отчаяния, часто плакал…

Размышляя по поводу предложения Берии, я не мог пройти мимо того, что в следствии по делам крупных партийных деятелей в Болгарии — Петкова, в Румынии — Грозу, в Чехословакии — Сланского принимали участие сотрудники

госбезопасности с Лубянки. Я не хотел принимать участие в подобной координации деятельности органов госбезопасности братских стран, о которой говорил мне Берия, а тем более в пропаганде, которую он намеревался с моей помощью развернуть «на удивление всем».

Конечно, судить о работе органов госбезопасности только по моему рассказу (ведь я проработал в следчасти по Особо важным делам лишь полгода) было бы ошибочным. Как и во время Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время органы госбезопасности продолжали оберегать отечество от шпионов, террористов и тому подобной нечисти. В мире не утихало противоборство разведок и контрразведок, представлявших свои социально-политические системы. Развязанная государствами Запада «холодная война» набирала обороты, внося свой вклад в будущий развал Союза ССР.

В моих раздумьях по поводу предложения, сделанного мне Берией, присутствовала и эта сторона деятельности наших органов госбезопасности. И все-таки я решил отказаться от его предложения. Разве я — русский, вольный человек — не волен распоряжаться своей собственной судьбой?! На своей родной русской земле?! Волен!..

Во второй раз я был вызван к первому заместителю председателя Совета Министров СССР опять ночью. Опять были зашторены все окна огромного кабинета, опять горела настольная лампа, свет которой бликами отражался в пенсне сидящего на торце стола, опять расстегнутая до пупа белая сорочка с закатанными до локтя рукавами и те же мясистые пальцы, перебирающие какие-то бумаги.

— Начнем работать? — спросил Берия.

— Я убедительно прошу вас, товарищ первый заместитель Председателя Совета Министров, разрешить мне продолжить учебу в Академии общественных наук.

— Это окончательное мнение?

— Да.

— Ну и иды отсюда. Походишь с котомкой по Москве. Пособираешь мылыстыню.

Я ушел. Страха не было. Да и не могло быть, после всего уже пережитого в жизни.

Ушел из дома № 2 на Лубянке, чтобы никогда туда не вернуться — ни в каком служебном качестве.

Органы государственной безопасности — самое острое орудие власти. Они решают судьбу человека, судьбы людские.

Дабы органы были безукоризненно честны перед своим народом, они должны быть поставлены под его контроль, а для этого в государстве нужна настоящая, советская, социалистическая демократия — не на словах, а на деле, при всенародной гласности. Народ мудр. Он знает степень открытости государственных тайн и не навредит собственному государству, а стало быть, самому себе. Советские органы государственной безопасности призваны научиться беречь человека, а значит, и общество. И к этому есть один верный путь — превентивная (предупредительная) воспитательная работа с теми, кто свернул с честного пути, работа, требующая искренности, упорства, последовательности.

С такими примерно мыслями я покидал дом № 2 на Лубянке, рассчитывая на то, что, несмотря на угрозы первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, члена Политбюро ЦК ВКП(б), советская власть, мое поколение, друзья не дадут мне погибнуть и потащить за собой в яму жену, детей.

Судьба распорядилась так, что в это самое растреклятое время нам с Аллой явилась и большая радость — родился второй сын, нареченный Алексеем.

В своей вере в нравственную красоту и бесстрашие своих товарищей и друзей я не ошибся. Силой своего духа, бескорыстием и тактом они поддерживали меня. Не дали сломаться. Второй секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Николаевич Шелепин знал обо всем происшедшем со мной.

Знал все до последней точки и мой друг Иван Петрович Бурмистров. Он поселил меня с семьей на отведенной ему даче в поселке Быково в сорока километрах от Москвы. Деньгами поддерживал меня ЦК ВЛКСМ. Но дороже денег было воистину братское отношение Ивана Бурмистрова, его жены Виталии Павловны ко мне и моим домочадцам. Милые, родные мои Бурмистровы, земной вам поклон за почти полувековую дружбу.

Да и со стороны других комсомольских работников, проживавших в поселке, я постоянно чувствовал участие и поддержку. Днем я бродил с семейством по окрестностям, а вечером, когда Иван и остальные приезжали с работы, вели длинные беседы о житье-бытье.

Мои обращения по поводу возвращения в академию наталкивались на глухую стену, точно так же и по работе в адвокатуре. Друзья рекомендовали не торопить судьбу.

…И — о радость! Получаю записку от Александра Николаевича Шелепина: «Николай, Лаврентия посадили. У тебя всё в порядке».

Глава VIII
КОМСОМОЛЬСКОЕ БРАТСТВО

Решением Центрального комитета партии я был восстановлен в аспирантуре Академии общественных наук. 12 июня 1953 года, спустя полгода (но каких!), я снова переступил порог академии. В ее стенах ничего не изменилось, все шло по заведенному порядку: лекции, семинары и самостоятельная работа над источниками, вечера отдыха, встречи, партийные собрания (меня даже не успели переизбрать на посту секретаря партбюро кафедры).

И вместе с тем появилось нечто новое — ожидание перемен. Арест Берии, освобождение незаконно арестованных врачей, перемещения в высших эшелонах власти в центре и на местах создавали ощутимую цепь явлений, звенья которой хотелось бы протянуть до коренных перемен в обществе. Но их не было, перемен. Ждали, а все оставалось, в сущности, без изменений. И Светлана Сталина, как и до кончины своего отца, уходила в самый конец коридора на втором этаже, садилась там на диванчик, доставала из портфеля какую-то еду и не торопясь ела, а уборщицы, как и раньше, когда еще был жив отец Светланы — Сталин, смотрели на все это и умилялись.

Мое возвращение на учебу товарищи по кафедре встретили как само собой разумеющееся. Мне предстояло наверстать упущенное, чем я вплотную, не разгибаясь, и занялся.

М.А. Аржанов, мой «научник», не жалел своего времени на меня. Мы подолгу и в академии, и у него дома на Ленинском проспекте, обсуждали различные проблемы общей теории государства и права, теории марксизма-ленинизма. И, естественно, те из них, которые, что называется, лежали на поверхности нашей действительности и требовали своего осмысления.

Мировая правовая наука со времен Древней Греции, и особенно Древнего Рима, накопила богатейшие знания, овладение которыми подменялось нередко голым критицизмом, особенно в тех сферах юриспруденции, которые затрагивают проблемы человека, права, демократии, государства.

М.А. Аржанов тактично склонял меня к тому, чтобы темой моей диссертационной работы стала «Теория разделения властей — законодательной, исполнительной, судебной». И через ее разработку я вышел бы на существующее положение вещей за стенами Академии общественных наук и сделал бы в работе соответствующие практические рекомендации на этот счет.

Ходили мы с М.А. Аржановым и вокруг проблемы гуманизма в условиях построения социалистического общества. Тема позволяла выйти на многие животрепещущие проблемы действительности. Однако и эта тема, как и первая, была «весьма острой», как любил замечать мой уважаемый научный руководитель. Да и некоторые профессора и аспиранты предостерегали меня от возможных наскоков на рифы и отмели, отчего бывают кораблекрушения. Надо было продолжать искать.

Я часто до сих пор вспоминаю слова В.И. Ленина, написанные им в «Материализме и эмпириокритицизме» — «я тоже ищущий». Он действительно всю жизнь искал и в теории, и в практике. Сравнивая круг его исканий с проблемами, получившими теоретическое освещение, разработку в трудах Маркса и Энгельса, а наследие их троих с работами Сталина, я пришел к выводу, что теория марксизма-ленинизма представляет собой, если позволительно эту мысль изобразить графически, нечто подобное усеченной пирамиде. Так думал я тогда, в стенах академии.

Ход моих размышлений был примерно следующим. Маркс и Энгельс, создавая свою теорию, исследовали весь (или почти весь) возможный спектр общественных отношений, в которых положение человека являлось центральным. Во имя его освобождения от социального, национального и других видов угнетения выдвигалась научно обоснованная доктрина — завоевание государственной власти пролетариатом, установление диктатуры пролетариата, всестороннее развитие демократии, отмирание государства — то есть всякого насилия над личностью в условиях, когда развитие производительных сил на основе науки и техники приведет к такому изобилию, что можно будет перейти от «урезанного» социалистического идеала «от каждого по способностям — каждому по его труду» к коммунистическому — «от каждого по его способностям — каждому по его потребностям».

Ленин, учитывая особенности империалистической фазы капитализма как кануна пролетарской революции и последней предсоциалистической ступени общественного развития, сфокусировал свое внимание (рассуждал я, сопоставляя ленинские произведения с трудами Маркса и Энгельса) на тех теоретических проблемах, которые ближе, непосредственнее стояли к задаче завоевания рабочим классом политической власти, установления диктатуры пролетариата. В этом смысле Ленин был «политичнее» Маркса и Энгельса.

Проблемы человека, его свободы как бы отодвигались им на второй, а иногда и на более дальний план. Историческая

обстановка периода Октября 1917 года и Гражданской войны диктовали свои требования, которые Ленин — великий мыслитель и практик, мастер диалектики — обойти не мог. К сожалению, жизнь его была коротка. В своей душе я не судил Ленина за «усечение» марксизма. Я понимал исторические цели и задачи, поставленные им перед самим собой. Осознавал его определенную вынужденную ограниченность.

Конечно, Сталин тоже был обязан действовать в определенных исторических условиях. Может быть, ему было даже труднее. Надо было обеспечить сохранение завоеваний Великого Октября в условиях капиталистического окружения и продолжить дальнейшее построение социализма. На плечи Сталина пала ответственность практической реализации теоретических выкладок Маркса, Энгельса, Ленина. Марксизм-ленинизм он понимал на уровне своей теоретической подготовки. Сталин был практиком, государственником, строителем социалистической державы. Партия большевиков, советская власть продолжили российскую историю и не только не дали распасться огромному многонациональному государству, сплачивавшемуся веками, но и укрепили, усилили, возвеличили его…

Да, Сталин «усёк» марксизм-ленинизм, пирамида стала еще более срезанной.

Причина тому не только в его теоретической подготовке.

В «усечениях» Сталина были и его собственные трактовки марксизма-ленинизма, истории большевизма. Он «усёк» своих предшественников в таких кардинальных проблемах, как личность и государство, социализм и демократия, пути кооперирования крестьянства, соотношение демократии и централизма, в том числе в коммунистической партии и других. Некоторая схематизация порождала догматизм в теории марксизма-ленинизма, к тому же складывалась практика, при которой только первое лицо творит теорию, остальные, как правило, ее поясняют, комментируют…

Однако при всем этом социализм был и остается знаменем, практическим будничным делом, жизнью моего поколения. То, о чем я пишу, было предметом размышлений (в той или иной мере) многих слушателей Академии общественных наук при ЦК КПСС тех лет.

Последующие годы еще более высветят ту истину, что советская эпоха явилась величайшим событием в истории, новой цивилизацией, которая оказала громадное положительное воздействие на все человечество.

Сейчас, в обстановке разнузданного антикоммунизма,

хамских высказываний в адрес Ленина, КПСС можно удивляться лишь одному — как идущие вслед за нашим поколением другие поколения позволяют одурачивать себя, оболванивать молодежь и пытаться растаскивать и далее по частям Великую Россию, низводить до разряда второстепенной, полуколониальной страны, а человека превращать в униженное и оскорбленное существо. О, «великие» прорабы «перестройки» и ваятели «новой» капиталистической России, вы — или малограмотные люди, взявшиеся за дело, которое вам не по плечу, или иуды, предавшие ради обладания сиюминутной властью, богатством и тому подобным все самое святое, чем жила Отчизна, народ, человек, — свободу и независимость.

Эти слова я обращаю к «перевертышам» прежде всего. Если внимательно присмотреться к ним, да еще немного поразмыслить, оглядевшись окрест себя, то ровным счетом ничего удивительного в их поведении нет. Они из тех «коммунистов», которые не имели твердых мировоззренческих взглядов, паразитировали, приспосабливались, лезли вверх по служебной лестнице за счет комментаторства марксизма, а теперь живут за счет всякого рода «разоблачений» советского прошлого, за счет антикоммунизма.

К сожалению, у ныне действующей Коммунистической партии (КПРФ) пока четкой теоретической базы нет, она не разработана. И в этом слабость партии.

Социализм не умер. И ошибаются те, кто полагает, что мы сегодня являемся свидетелями процесса, который стал концом коммунистической утопии на путях исторического развития человечества. Подобно этим современным прорицателям, также заблуждаются и те, кто пытается теперь доказать, что Октябрьскую революцию 1917 года можно было бы… не совершать (они забыли, наверное, что вопрос о преждевременности социалистической революции в России имеет давнюю историю и уже свою историографическую традицию). Они глаголят так, как будто в 1917 году Ленин, большевики взяли и произвольно решили сделать революцию, и не помнят о том, что уже давным-давно серьезные не только советские, но и зарубежные ученые, в том числе и антимарксисты, пришли к выводу, что корни Октябрьской революции — в истории дореволюционной России, а ликвидировать пропасть между богатыми и бедными, разрешить имевшие место кричащие противоречия в обществе могли только большевики.

Не надо, наверное, забывать и того, что народы, когда у них истощается терпение, ни у кого не спрашивают, делать им революцию или не делать. Об этом назидании истории следовало

бы помнить нынешним радетелям «демократии» и капитализма.

…Однако вернемся в стены Академии общественных наук при Центральном комитете КПСС.

После долгих раздумий я решил писать диссертационную работу, связанную с ролью советского государства и права в национальном строительстве (в формировании и развитии социалистических наций).

Доминирующим настроением среди коллектива аспирантов было то, что кончина И.В. Сталина открывала субъективные возможности для решения объективно назревших задач в государстве, в партии, в обществе в целом. Но фактически все оставалось по-прежнему. Народ трудился, страна залечивала последние военные раны и шла вперед в условиях развернутой реакционными силами Запада «холодной войны».

Вторая мировая война изменила мир. Силы социализма возросли. Национально-освободительные движения сотрясали колониальную систему империализма. Международное коммунистическое и рабочее движение росло численно и оказывало в ряде случаев сильное воздействие на социально-политическую ситуацию в своих странах. Можно, не впадая в ошибку, сказать, что на общую ситуацию в мире продолжал действовать огромный заслуженный авторитет Советского Союза.

Казалось бы, в этих благоприятных условиях можно и нужно было пойти на серьезные трансформации в обществе и в партии. И прежде всего в сфере демократизации всей жизни страны. Коммунистическая партия обязана была доказать это примером. Для всех общественных и государственных структур, образец во всех сферах народного хозяйства и культуры — партия правящая. В этой своей деятельности она вполне могла опереться на поддержку поколения прошедшего через войну, на подавляющее большинство трудового народа.

Но этого сделано не было. Брали верх устои и традиции, сложившиеся за долгие годы правления Сталина и его ближайшего окружения. Так было править легче и спокойнее, хотя «верхи» не могли не чувствовать и не понимать того, что жизнь требует постоянного обновления устаревающих идей и лозунгов, замены механизмов управления, пришедших в негодность, смены системы властвования, предоставления человеку, победившему в кровавой войне фашистского зверя, свободы действия, свободы выбора, свободы удовлетворения своих интересов.

Работа над диссертацией давала возможность поразмышлять и над многими другими проблемами, задуматься над своим

отношением к действительности, а стало быть, и к людям, тебя окружающим. Кто ты среди них и им подобный? Честен и справедлив ли ты доселе был к людям? Добр или зол? Прост или гордыня возносила тебя так, что ты не замечал бед и страданий других?

Моя защита прошла успешно. Народу было много, помимо аспирантов пришли товарищи, друзья да и просто знакомые. На дворе стоял июль 1955 года. Было тепло, солнечно, зелено. Душа полнилась любовью ко всем и ко всему. Дома моя Алла, тоже присутствовавшая на защите, сумела заранее все сделать так, чтобы гости остались довольны.

Спустя несколько дней после защиты я был вызван на Старую площадь в «Большой дом» к секретарю Центрального комитета партии М.А. Суслову. Это была моя первая встреча с человеком, сыгравшим, как мне кажется, не последнюю роль в моей жизни. Вот написал: «Не последнюю роль в моей жизни». Что это значит? Пустая, не наполненная конкретным содержанием фраза, а вместе с тем и имеющая смысл. В английском языке есть так называемое настоящее продолженное время — Present Continuous — для обозначения того, что действие начато, но не закончено. Вот, наверное, я и употребил выражение «не последнюю роль в моей жизни» потому, что эта встреча была лишь началом действия, имевшего продолжение…

Вызов к Суслову, занимавшемуся в Центральном комитете идеологической деятельностью нашей партии, означал, что мне уготована работа на этом поприще, но где именно, в какой роли — должна была прояснить предстоящая встреча.

Какое-то время Суслов откровенно меня разглядывал. Я смутился. Он, очевидно заметив это, чему-то улыбнулся и сказал:

— Я поздравляю вас с успешным окончанием Академии общественных наук.

— Благодарю вас, Михаил Андреевич.

— Товарищ Шелепин от имени ЦК комсомола просит направить вас на работу к ним в качестве заведующего отделом пропаганды и агитации.

— Но мне уже тридцать пять лет, наверное, не очень удобно работать в таком возрасте в комсомоле. Направьте, пожалуйста, меня на любую партийную работу, в любое место, куда сочтете целесообразным.

— Нет. Возраст не помеха, он позволяет еще несколько лет отдать молодежному движению. Ваши знания, приобретенные в академии, весьма понадобятся на таком ответственном посту, как

руководитель отдела пропаганды Центрального комитета комсомола. Поверьте мне. Примите предложение и ЦК комсомола, и Центрального комитета партии. Так нужно для дела, и вы это сами поймете, когда вникнете в заботы партии о коммунистическом воспитании молодежи.

— Хорошо, я согласен, позвольте идти.

— При всех сложных вопросах, которые будут возникать у вас, товарищ Месяцев, в процессе работы, а они неизбежны, не стесняйтесь, звоните, да и чтобы просто рассказать о том, что получается и приносит удовлетворение.

— Благодарю вас, Михаил Андреевич.

В Центральном комитете комсомола все шло по заведенному порядку. Много пришло новых товарищей. Секретариат ЦК оставался почти прежним. Первым секретарем ЦК ВЛКСМ стал А.Н. Шелепин, секретарем ЦК по пропаганде — А.А. Рапохин, знакомый мне ранее как первый секретарь Новосибирского, а затем Московского областного и городского комитетов комсомола. Он мне нравился своим ровным характером, рассудительностью, демократичностью в общении и верностью в товариществе.

В отделе, который мне предстояло возглавить, я почти никого не знал. Рапохин характеризовал коллектив отдела как дружный и работоспособный. Так оно и оказалось на деле. Заведующие другими отделами мне были знакомы — Иван Бурмистров, Николай Любомиров, Василий Стриганов, Владимир Залужный, Грант Григорьян, Виктор Васильев, Иван Зубков, Петр Решетов; в меньшей мере я знал редакторов газет и журналов — Дмитрия Горюнова, Владимира Буянова, Василия Захарченко и других.

Естественно, приступая к работе, мне хотелось внести в деятельность отдела, а через него в Секретариат и Бюро ЦК, а по возможности и в деятельность всего комсомола нечто новое, свежее, с учетом времени и перспективы на обозримое будущее.

Силы у меня были. Знания тоже. Опыт подсказывал — пора обновить комсомольскую практику новыми идеями и делами. А проблемы у молодежи в комсомоле были. Решать их следовало и сверху, и снизу — всем вместе.

Первые же мои встречи и беседы с Шелепиным, Семичастным, другими секретарями, членами Бюро ЦК, с комсомольскими работниками из областей, краев и республик, с работниками аппарата отдела убедили меня в том, что и они в той или иной степени тоже «беременны» идеями и готовы к их воплощению в практику.

Это могло означать лишь одно — мое поколение созрело для

того, чтобы постепенно взваливать на свои плечи заботы о будущем нашего советского общества. Так думал я тогда.

С мая 1946 года по июль 1959 года я с перерывами (уход на другую работу и учебу) трудился в комсомоле, когда первыми секретарями Центрального комитета ВЛКСМ были Николай Александрович Михайлов, Александр Николаевич Шелепин, Владимир Ефимович Семичастный. Конечно, это были разные люди, со своими характерами, наклонностями, привязанностями. Но всем им были присущи глубокая заинтересованность в судьбах советской молодежи, комсомола, знание жизни юношества, тревога и боль за переживаемые им невзгоды, радости за успехи. Каждый из них обладал смелостью, когда надо было, может быть, в ущерб своей карьере встать на защиту интересов молодежи. Наверняка именно за все это и пользовались они авторитетом в массах молодежи, у комсомольского актива, руководящих кадров ВЛКСМ.

В походке Михайлова была выражена напористость; Шелепин — немного косолапил, шел, выдвинув чуть-чуть левое плечо вперед, словно раздвигая что-то стоящее на пути; Семичастный — своей стремительной, пружинистой походкой как бы хотел не упустить отпущенное ему время.

Михайлов в обращении с товарищами бывал резок, даже груб. Но быстро «отходил», ошибки долго не помнил, не мстил. Много отдавал времени учебе каждого из нас, молодых, к чему у него были возможности, заложенные в личном осмысленном опыте. Меня прельщало в нем также тяготение к работе с интеллигенцией, особенно творческой.

У Николая Александровича были и другие положительные качества, исходящие из его жизнелюбия. Но он был человеком своего времени, выкованным в период культа личности, свойства которого он пронес до самой своей кончины.

Михайлов был осторожен в политических оценках ситуаций, фактов, людей, не выходил ни в коей мере за рамки официальных рекомендаций, трансформируя их применительно к молодежному движению. Он говорил о внутрикомсомольской демократии, о необходимости ее развития, но в его деятельности больше превалировал централизм, командный метод руководства, что было характерно тогда для работы союза молодежи в целом.

К сожалению, Михайлов верил в силу «бумаги» — постановления, инструкции, директивы, — что добавляло в руководство комсомольскими организациями помимо командного стиля еще и канцелярско-бюрократические методы и приемы.

Несмотря на эти и другие недостатки первого секретаря ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлова, в его деятельности, если оценивать ее в историческом масштабе времени, есть несомненные заслуги. И среди них одна, которая, я убежден, перекрывает все остальное, — это вклад комсомола в укрепление обороноспособности Страны Советов в предвоенные годы, в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Это было поколение, воспитанное в духе советского патриотизма, дружбы народов, пролетарского интернационализма — поколение революционных романтиков, альтруистов.

Несомненен вклад и Александра Николаевича Шелепина в нашу Победу в войне против гитлеровской Германии и империалистической Японии как секретаря Центрального Комитета ВЛКСМ по военной работе. Шелепин был более доступен, чем Михайлов. Демократической «закваски» у него было больше, что сказывалось на работе Бюро и Секретариата ЦК ВЛКСМ, в целом на деятельности Центрального комитета комсомола по руководству комсомольскими организациями страны.

В обращении с товарищами Шелепин был прост, но в делах принципиален и требователен. Любил шутку, товарищеский розыгрыш. Умел быстро находить рациональное и ставить на практическую основу. Он больше тяготел к живой, не бумажной работе. За каждым новым шагом в работе комсомола видел молодого человека, его жизненные интересы. Сейчас отдельные писаки, не зная Александра Шелепина, клеят ему ярлыки и приписывают качества, которые противоречат самой его натуре. Конечно, эта шелуха со временем отлетит. Я могу привести десятки примеров, свидетельствующих о том, как много Александр Шелепин сделал для демократизации жизни комсомола, партии и государства, такого, о чем иные писаки даже подумать в свое время боялись.

Скажем, будучи председателем Комитета государственной безопасности СССР, Шелепин повернул деятельность этих органов в сторону превентивной, предупредительной, воспитательной работы с заблуждающимися и оступающимися, а не их ареста, как бывало до него. Пускай историки поищут, когда что-либо подобное было в деятельности ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ?!

Или тот поворот, который был начат при А.Н. Шелепине и продолжен при В.Е. Семичастном как его преемнике на посту председателя Комитета госбезопасности: деятельность органов госбезопасности внутри страны по выискиванию врагов была свернута и повернута вовне — на борьбу против подрывной

деятельности спецслужб капиталистических государств.

Или еще пример. За время работы А.Н. Шелепина председателем КГБ СССР органами госбезопасности страны было пересмотрено 945 630 уголовных дел, по которым реабилитировано 737 192 человека, в том числе осужденных к расстрелу 208 448 человек. По инициативе Председателя КГБ в Уголовный кодекс РСФСР Верховным Советом РФ 25 июля 1962 года в ст. 64 (Измена Родине) была внесена формула: «Не подлежит уголовной ответственности гражданин СССР, завербованный иностранной разведкой для проведения враждебной деятельности против СССР, если он во исполнение полученного преступного задания никаких действий не совершил и добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой».

Беззаветное служение народу выдвинуло А.Н. Шелепина как одного из лучших представителей нашего поколения в число лидеров партии и государства. Будучи секретарем ЦК КПСС, председателем Комитета партийно-государственного контроля, заместителем Председателя Совета Министров СССР, он со страстью изгонял воров, хапуг, карьеристов, людей нечистоплотных, пробравшихся к руководству, делал это предметом широкой гласности. И есть множество примеров, когда Александр Николаевич защищал людей обиженных, невинно пострадавших.

Демократичность натуры Шелепина притягивала к нему людей, искренне находившихся под обаянием его личности. Таких были тысячи среди рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции, секретарей парткомов. В составе Политбюро он был близок по своим взглядам и познаниям с К.Т. Мазуровым, П.М. Машеровым, П.Н. Демичевым — людьми своего поколения.

Всех их, большую группу видных партийных и советских работников, Л.И. Брежнев, М.А. Суслов, А.П. Кириленко сместят с ключевых позиций, отправят на пенсию или и того хуже…

Да, пусть объективный исследователь поднимет соответствующие материалы, характеризующие работу А.Н. Шелепина по перестройке органов госбезопасности в интересах нашего народа! Шелепин, конечно, был человеком со своими слабостями, но, безусловно, незаурядным, одаренным.

Одаренным человеком был и Владимир Ефимович Семичастный. Он остро чувствовал необходимость серьезных изменений в деятельности комсомола и поддерживал все идущие в этом плане дельные предложения. По натуре смелый, он постоянно вставал на защиту социальных прав молодежи,

выступал против паразитирования некоторых министров и крупных хозяйственных руководителей на патриотических чувствах юношества. Добрый и отзывчивый к нуждам других, он был почти равнодушен к различным благам, которыми пользовались многие другие, равные ему по положению.

Владимир Семичастный продолжал начатое в органах госбезопасности А.Н. Шелепиным, многое сделал для того, чтобы демократизировать их деятельность, лишить сотрудников многих привилегий, приблизив их тем самым по уровню жизни к народу, значительно сократил агентурный аппарат.

Горотделы и райотделы КГБ остались жить в пограничных районах и в городах, где дислоцировались объекты, имеющие государственную значимость. Владимир Семичастный, наверное по дару природы, умел видеть новое, свежее, перспективное в жизни.

Надо заметить, что скромность в быту — была традицией в комсомольском секретарском корпусе. Искреннее сердечное участие Владимира Ефимовича в бедах и трагедиях других я испытал на себе. В самое тяжкое время, когда после моего исключения из партии вокруг меня был создан своего рода вакуум и многие боялись моей «заразы», Владимир Ефимович оставался верен дружбе. Его дружба давала мне силы.

Спасибо сердечное за то, что Вы состоялись в моей жизни!

Человек в конечном счете характеризуется поступками, делами. Но, прежде чем коснуться этой темы, я обязан хотя бы кратко сказать о других своих товарищах по Секретариату, Бюро Центрального комитета ВЛКСМ, в состав которых я был избран в декабре 1956 года (в порядке исключения состоялась моя кооптация в Центральный комитет комсомола).

Первоначально в состав Секретариата ЦК в середине 50-х годов входили Александр Шелепин, Владимир Семичастный, Александр Аксенов, Владимир Залужный, Зоя Туманова, Сергей Романовский и я. Каждый имел за плечами немалый опыт низовой и руководящей комсомольской работы.

При всем различии наших характеров, навыков, подходов к делу, позиций по тем или иным проблемам мы были едины в своей убежденности в социалистические идеалы, в коллективный разум нашей партии, в творческий потенциал своего народа, его молодой поросли и созданного юностью нашего коммунистического союза. Это были те мировоззренческие позиции, которые порождали принципиальность в отношениях к делу и друг к другу, беззаветность в работе, постоянный поиск.

Пишу я это не ради красного словца — так было. Ведь мы из

поколения особого: каждый из нас по-своему и все вместе прошли школу Великой Отечественной войны. Видели и пережили, казалось бы, невозможное. Нам уже нечего было бояться в жизни. Страх остался вне нас. Двигала нами совесть, оказанное нам молодежью доверие, ее радости, печали. И, главное, ее будущее — кем она станет.

Аппарат Цекомола был хорошим помощником Центральному комитету, организатором реализации его решений, проводником коллективной воли и, конечно, другом и советчиком местных комсомольских организаций. Сколько прекрасных товарищей в разные годы потрудились в аппарате Цекомола, прошли в нем настоящую школу партийности, гражданственности и вышли на широкую дорогу жизни: Иван Бурмистров, Николай Любомиров, Лидия Волынкина, Виктор Васильев, Георгий Асоян, Иван Васильев, Николай Панков, Татьяна Прозорова, Иван Зубков, Лидия Ильина, Иван Кириченко, Грант Григорьян и многие, многие другие.

Была бы возможность, я бы издал «Комсомольскую энциклопедию», в которую включил бы всех товарищей, чья деятельность в областях, краях, республиках и в Москве была посвящена Ленинскому комсомолу. В работе аппарата Центрального комитета ВЛКСМ были недостатки и в числе их увлечение «бумагой», различного рода справками, отчетами и прочим. Огульно обвинять (как это имеет место сейчас) комсомольский аппарат в том, что он был тогда чуть ли не основным носителем бюрократизма в комсомоле, — грешно. Такого рода обвинения идут от нежелания глубоко разобраться в природе бюрократизма, заставить себя исследовать диалектическую взаимосвязь этого явления с изначальными самодеятельными основами деятельности комсомольских организаций, то есть желанием и умением всех членов союза молодежи, всех его организаций и органов вести всю свою работу внутри союза и вне его именно на самодеятельных, творческих началах.

Бюро, Секретариат ЦК ВЛКСМ были крепки духом и волей. Входящие со временем в их состав новые товарищи — Каюм Муртазаев, Люба Балясная, Вадим Логинов, Марина Журавлева, Абдурахман Везиров — усваивали накопленный опыт и привносили в работу свое. С нами действовал дружно Борис Темников, председатель центральной ревизионной комиссии ВЛКСМ, один из комсомольских организаторов освоения целины в Кустанайской области, а затем и секретарь этого обкома партии.

С Сашей Аксеновым мы одновременно были избраны

секретарями ЦК ВЛКСМ. Одновременно были по этому поводу на беседе у М.А. Суслова. И вдвоем, после прихода С. Павлова на пост первого секретаря ЦК, ушли из комсомола. Я искренне тянулся к Саше Аксенову — честному, чуткому человеку, верному в дружбе, обладавшему недюжинными организаторскими способностями и отдававшему их сполна нашему общему делу. Александр Никифорович был скромным и добрым. Люди, его знавшие — их не счесть, — не только искренне уважали Сашу за человечность, но и любили. А разве может быть что-либо выше любви в отношениях между людьми, между двумя ищущими лучших путей для своего народа коммунистами? Мы любили с ним петь. Пели разное, до самозабвения.

Жизнь бросает свой вызов каждому поколению. И очень важно, какова цена ответа на этот вызов. На долю и первого, и второго поколений советского народа выпали «свои» нагрузки и перегрузки разного свойства: социальные, моральные, физические, психологические. И, несмотря на это, наша страна не только выстояла, но и сохранила свой духовный, нравственный потенциал. Сейчас раздается немало упреков и обвинений в адрес этих поколений, шедших-де не тем путем и приведших великую страну в исторический тупик.

Я не могу принять подобные нелепые, исторически несостоятельные обвинения в адрес моего поколения. Жизнь перешагнет через такие крайности в суждениях, все расставит по своим местам. Жаль, что их носители не утруждают себя задуматься (а может, как раз наоборот!) над тем, сколь пагубно они действуют на сознание юных, не обдутых ветром жизни, стремясь разрушить связь поколений, их историческую преемственность. Эти новоявленные «друзья народа» не могут взять в толк ту данную людям природу вещей, что нарушение преемственности поколений, ее разрыв ведет к застою жизни.

Каждому поколению история отводит свое, неповторимое время. Поколению 50-х годов выпало на долю немало радостных и горьких лет, счастливых и трудных дорог. В 50-е годы страна шла хорошим маршем. Выполнялись и перевыполнялись планы экономического и социального развития. Родина не жалела средств на образование, духовное и физическое развитие своей молодой поросли. Комсомол находил свое место в общенародных заботах. И в этом органическом взаимодействии с рабочими, крестьянами, с людьми умственного труда были его сила, авторитет среди широчайших масс молодежи, несмотря на наличие серьезных недостатков в работе многих комсомольских организаций.

ЦК ВЛКСМ, его Бюро и Секретариат, как и другие комитеты ВЛКСМ в республиках, краях и областях, ощущали неудовлетворенность комсомольцев деятельностью своих организаций. Еще в преддверии XX съезда КПСС были предприняты некоторые меры по устранению имеющихся в комсомоле крупных недостатков. И это без всяких натяжек можно и по справедливости нужно отнести и к первым секретарям ЦК ВЛКСМ 50-х годов А.Н. Шелепину и В.Е. Семичастному.

Вспоминая те годы и сопоставляя с временем сегодняшним, можно провести между ними некоторую аналогию. Конечно, исторические аналогии опасны, но аналогия в том смысле, что и тогда, и теперь имели и имеют место крупные преобразования в ВЛКСМ: тогда они повели к укреплению комсомола как творческой силы в социалистическом строительстве, сейчас — к сдаче позиций в идеологических основах, нравственных устоях и социалистических ориентирах, к развалу комсомола.

Сколько горячих сердец, бескорыстных душ, бесконечно преданных своей отчизне, прошло через школу комсомола! Каких государственных, общественных деятелей она воспитала! А сколько талантов в науке, литературе, живописи, музыке, архитектуре, театре, культуре получили в ней творческий заряд и вдохновение! Может быть, когда-нибудь соберутся все выпускники этой школы на страницах одной книги и да станет она хрестоматией для потомков!

После XX съезда КПСС (1956 год) наш народ, партия, а вместе с ними и молодежь, ее коммунистический союз переживали переломный момент.

Мне в числе других товарищей из ЦК ВЛКСМ довелось быть на XX съезде КПСС. Сидящие в зале в своем подавляющем большинстве не знали, что именно сегодня, в этот день, будет доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина. Как обычно делегаты и приглашенные на съезд расселись по своим местам, на трибуну вышел Хрущев и начал говорить. В зале установилась гробовая тишина, люди сидели с опущенными головами. Казалось, что чувство стыда, скорби, недоумения, непонимания овладевало присутствующими.

Приводимые докладчиком факты произвола и беззакония по отношению к тысячам и тысячам ни в чем не повинных людей взывали к совести, к самоанализу, самоуглублению. У убеленных сединами людей в глазах стояли слезы. Нам, молодым, было легче. Перед нами впереди была вся жизнь…

Доклад о культе личности и его последствиях был подобен удару огромной силы, потрясшему самые глубины сознания, и

надо было не только устоять, а, вобрав в себя всю силу этого удара, сопрячь его с присущей почти каждому внутренней свободой, и все это обратить на взращивание чувства ответственности за судьбы страны, народа, молодежи, чтобы ничего подобного в истории социалистического отечества никогда не повторилось.

Сидел я, слушал доклад, а в голове проносились картины прошлого.

…Слова «культ личности» я впервые услышал от своей учительницы литературы и русского языка Веры Николаевны Лукашевич, приемной дочери писателя В.Г. Короленко, впитавшей, наверное, от него демократические взгляды и традиции русской интеллигенции и стремившейся посеять их в наших ребячьих душах.

Как-то глубокой осенью поздним вечером я провожал Веру Николаевну из школы до ее дома через пустынный Останкинский парк. Было слякотно, в вечерней черноте подвывал ветер. Она неторопливо рассказывала о годах своей юности, а затем стала говорить: «Коля, вот ты занимаешься комсомольской работой. Нельзя так обожествлять человека, как у нас обожествляют Сталина. Это культ личности. В его руках сосредоточена такая необъятная власть, что могут быть любые деяния со стороны этого человека». Я тогда не понял всей глубины того, что вкладывала в мою мальчишескую голову умудренная жизнью учительница.

Когда слушал Н.С. Хрущева, предстал передо мной и живой Сталин, которого я видел не только высоко стоящим на мавзолее во время праздничных демонстраций на Красной площади, а сравнительно близко.

Мы с мамой в один из ноябрьских вечеров 1932 года поехали из своего далекого Останкино в центр города. Тогда для меня это было целым событием. Вышли на знакомую улицу 25-го Октября, а по ней на Красную площадь к Мавзолею Ленина. Вдруг с разных сторон площади раздались милицейские свистки, площадь оказалась оцепленной людьми в милицейской форме, а из Спасских ворот Кремля вышли какие-то люди, которые что-то несли на плечах. Я побежал и пристроился к процессии. Гроб несли — Сталин, Молотов, Ворошилов и кто-то еще. Никто меня не отгонял, я шел рядом со Сталиным и разглядывал его. Он мне тогда понравился — ладная фигура и добрые глаза. Я проводил эту скорбную процессию до самого входа в клуб ВЦИКа (в здании нынешнего ГУМа на втором этаже был такой клуб). Над Красной площадью вечерело. Было пустынно. Тихо. Позже мы с мамой узнали, что это был гроб с телом Н.С. Аллилуевой, супруги

Сталина, а еще позже, что повинен в ее гибели сам Сталин.

Во второй раз сравнительно близко я увидел Сталина тоже при печальных обстоятельствах. Как-то в начале декабря 1934 года по нашей школе разнесся слух о том, что вдоль полотна Октябрьской железной дороги, что проходила недалеко, расставлены красноармейцы. Погода была не очень морозная, и мы — человек десять — пятнадцать — решили сбегать посмотреть, что там происходит. Прибежали. Смотрим, медленно по направлению к Москве движется небольшой состав, состоящий из трех-четырех пассажирских вагонов, в конце которых платформа. Когда поезд приблизился к нам, то мы увидели, что на платформе стоит гроб, а вокруг него группа людей и Сталин. Он курил трубку и кого-то слушал. Платформа медленно прокатила мимо нас. Это везли из Ленинграда гроб с телом С.М. Кирова.

Эти две мальчишеские встречи со Сталиным отложили в сердце ребяческую привязанность к этому человеку, которая впоследствии переросла в поклонение ему, подчинение его авторитету и воле. И лишь позже, во время работы на Лубянке, встреч с Берия и учебы в Академии общественных наук приходили мотивации критического отношения к Сталину, к «вождизму» вообще, который, вознося одних, тем самым принижает других людей, делает их как личностей незначительнее, мельче, а коллективное творчество подчиняет своим эгоистическим «вождистским» устремлениям.

Думаю, что Хрущев на XX съезде КПСС, раскрывая преступные деяния Сталина, утверждал тогда, что без репрессий в той или иной форме истинных коммунистов культ не мог бы состояться. Во всяком случае, так я его понимал, когда он рассказывал об устранении вождем всех своих потенциальных противников.

Однако противоречия между объективной исторической тенденцией социализма и паразитирующей на ней системе культа личности приводят к искажению процесса становления социализма. Воспроизведение Брежневым системы культа личности в виде фарса привело помимо других причин к замедлению развития общества, к его стагнации.

Вождю, дабы не склониться к культу личности — как системе взглядов и действий, — надо обладать высочайшим интеллектом и внутренней нравственной силой, постоянно восстающей против самой возможности возникновения этой системы.

Руководствуясь общими законами исторического развития, и в том числе законами социализма, борьбу против культа личности нельзя рассматривать лишь как проявление личных

мнений и убеждений тех или иных руководителей — в данном случае Н.С. Хрущева. В силу объективной исторической необходимости рано или поздно приходят свои герои, способные пойти на преодоление культового недуга, реализовать поступательное движение по социалистическому пути.

Любой культ личности, будь то в Китае, в Румынии или где-то еще, в конечном счете был поражен, как уже говорилось выше, усечением марксизма, низведением многообразных теоретических трактовок о путях развития революционного социалистического движения применительно к историческим особенностям той или иной страны до одной для всех, по существу, одинаковой схемы.

И это не было нечто навязанное извне, хотя и внешнее воздействие имело место. Главной пружиной появления и утверждения культа личности явилось неправильное, субъективистское толкование смены одной исторической формации другой, преувеличение роли принуждения и насилия в процессе экономических и социальных преобразований. Эти представления вождей сводились в научную систему взглядов, которые находили благодатную почву в сознательном и стихийном влечении широких народных масс к справедливому социальному строю — социализму.

В.И. Ленин в 1921–1923 гг. разглядел ошибочность именно такого пути, подверг его критике и предложил новую экономическую политику — государственный капитализм и кооперацию как путь к будущему социализму, что соответствовало взглядам Маркса и Энгельса на переход от одной общественно-экономической формации к другой.

Сталин и его сподвижники избрали несколько иной путь перехода. Они исходили из того, что в ходе Октября 1917 года, Гражданской войны и иностранной военной интервенции народ сделал свой выбор — в пользу советской власти. Народ осознал, что советская власть, большевики остановили тогда страну перед самой бездной. И в последующие годы народ поддержал большевиков в их усилиях по восстановлению государства — осуществлению индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства с ее стратегическими последствиями, свершению культурной революции. А разве народ хотел сдаться на милость немецко-фашистских оккупантов?!

Критики сталинского этапа советского государства не выдвигают пройденному страной никаких конкретных альтернатив. Они паразитируют на том, что эти события выдергиваются из конкретных исторических условий того

времени. В самом деле, уважаемые критики, а что было делать?!

Н.С. Хрущев в своем докладе на XX съезде КПСС почти не коснулся исторических успехов, одержанных страной. Он сосредоточил свое внимание на том, чтобы «взорвать» культ личности Сталина, раскрыть прежде всего пагубность культа, как чуждого марксизму-ленинизму явления, которое умаляло роль народных масс, принижало коллективное руководство партии, наносило огромный ущерб экономической, политической, духовной жизни общества. Грубейшие нарушения социалистической законности порождали социальную апатию, деформировали массовое общественное сознание.

Естественно, что культ личности особенно бил по молодежи, изымал из сердец юношей и девушек присущее молодости стремление к самостоятельному поиску истин и утверждению их в жизни. Культ личности обкрадывал духовный мир юности. Он порождал рабство мысли и действия. Вступал в противоречие с социализмом, его непременным условием демократичности общества, обеспечения личности возможностей быть творцом разнообразия идей, взглядов, постоянно порождать инициативу, самодеятельность.

Не помню, мы, комсомольские работники, шли из Кремля после доклада Н.С. Хрущева все вместе или разбрелись, чтобы сначала в одиночку обдумать услышанное и пережитое. Шли. Надо было идти вперед. Коммунистическая партия своим XX съездом побуждала к иному мышлению и к иным действиям. Н.С. Хрущев показал тогда беспримерную политическую смелость. Мне представляется, что он после съезда немало размышлял о том, какую нравственную прививку надо сделать молодежи, дабы избавить ее от возможности возвращения к культу личности как общественному злу.

Вспоминается, что спустя некоторое время после XX съезда Н.С. Хрущев поручил академику Ф.В. Константинову, работавшему тогда ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС, и мне подготовить материал (статью, письмо, обращение — что именно, решено не было), адресованный молодежи подросткового возраста, в котором бы в доступной форме, безусловно научно, убедительно рассматривалась проблема вреда культа личности Сталина.

Высказывая свои соображения на этот счет, Никита Сергеевич подчеркивал, что при написании такого рода материала мы должны иметь в виду, что культ личности оставил глубокий след в сознании нашего народа и нужны решительные, последовательные меры по его преодолению. «Представьте себе

такую картину, — говорил он, — глубокая осень, расхлестанный проселок, по наезженной глубокой колее которого, выбиваясь из последних сил, лошаденка еще тащит увязшую по самые оси груженую телегу. Что делает возница-крестьянин? Он берет лошадь под уздцы, бьет, бьет ее по морде, всеми своими силами помогает ей вытащить воз из этой заезженной колеи, выбраться на новую дорогу, по которой легче двигаться вперед. Так надо поступать и нам».

Материал мы подготовили. Но его дальнейшая судьба мне неведома.

Конечно, теперь, спустя много лет с той поры, очевидна известная ограниченность решений XX съезда КПСС о культе личности, о путях развития социализма в нашей стране. История допишет объективные и субъективные причины, породившие эту ограниченность и ущербность.

Взрывной силы XX съезда КПСС, ослабленной затем самим Хрущевым — и в большей степени Брежневым, — недостаточной последовательностью в проведении намеченного им курса, не хватило на то, чтобы превратить «оттепель» в буйно расцветающую социалистическую весну.

Однако и преуменьшение значения XX съезда в пробуждении общественного сознания было бы ошибкой. Притягательная сила съездовских решений взрыхлила почву в душах людей, и прежде всего молодых, широко разбросала в них семена критического, творческого подхода к жизни, стремления к демократии, социальной активности, честности, справедливости, верности социалистическим идеалам. Поколения, впитавшие идеи XX съезда КПСС, оставили свой след в истории советского общества.

Вместе с тем надо заметить, что отношение юношества к критике культа личности Сталина и его последствий было неоднозначным. Амплитуда мнений раскачивалась от безусловной и горячей поддержки линии XX съезда КПСС, что было присуще основной массе молодежи, до неприятия, отрицания этой линии. В рамках этих противоположных суждений получили распространение явления нигилистического отношения к действительности и защиты ее крайностей, социальной апатии, пессимизма и экстремизма, утраты веры в социалистическую перспективу. Эти явления имели место среди студенчества гораздо в меньшей мере среди рабочей и сельской молодежи.

Комсомольские организации бурлили денно и нощно. Шел поиск практического решения проблем, выдвинутых XX съездом КПСС. Секретари, работники аппарата ЦК буквально не уходили из комсомольских организаций. Так было не только в Москве, но

и в глубинке. Вот пример: дискуссия на историческом факультете Московского государственного университета по поводу преодоления явлений культа личности в общественных науках. Зал, рассчитанный человек на триста, был заполнен до отказа. Присутствовали не только студенты, но и профессорско-преподавательский состав, обстановка была накалена неудовлетворенностью студенчества постановкой преподавания, уходом от острых жизненных проблем. Естественно, что я горячо поддержал эту справедливую критику в адрес руководства кафедры общественных наук, преподавательского состава, в целом ректората университета.

Каково было мое удивление, когда вскоре в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС поступила коллективная жалоба руководства исторического факультета с обвинениями в мой адрес, что я-де своим выступлением подрываю авторитет профессорско-преподавательского состава. Авторы письма требовали привлечения меня к партийной ответственности. Однако ЦК КПСС счел мою позицию правильной. Ради справедливости надо заметить, что после этого случая я, как и ранее, часто бывал в МГУ, но к этой истории никто не возвращался.

В комсомольских организациях шел поиск. На основе анализа обстановки, сложившейся в комсомоле за долгие годы культа личности, с учетом опыта прошлого и настоящего надо было определить основные направления деятельности ВЛКСМ на ближайшие годы.

Главное, что предстояло сделать, это преодолеть последствия культа личности в сознании миллионных масс молодежи, для чего было необходимо внести серьезные изменения в комсомольскую практику, изжить укоренившиеся командно-бюрократические методы работы во всех сферах деятельности комсомола. Наскоком совершить подобное было бы просто ребячеством.

Разрушить догматы и практику культа личности, преодолеть его последствия можно было лишь на платформе полнейшего возвращения к изначальным ленинским идеям о коммунистическом союзе молодежи, его развитии в свете задач, поставленных XX съездом КПСС, и наболевших нужд юношеского движения, высказанных, сформулированных в спорах, дискуссиях, диспутах в комсомольских организациях страны.

Сразу же после XX съезда КПСС ЦК ВЛКСМ развернул работу по подготовке к своему V Пленуму, участникам которого предстояло определить отношение к решениям XX съезда КПСС, обменяться мнениями о первых шагах комсомольской работы

после этого партийного форума. Пленум горячо одобрил решения съезда партии, уделив большое внимание устранению недостатков в деятельности комсомола, отмеченных XX съездом КПСС, в том числе в идейно-воспитательной работе.

Бюро ЦК ВЛКСМ сформировало комиссию, которой было поручено подготовить проект записки в ЦК КПСС по вопросам улучшения работы комсомольских организаций. Возглавить эту комиссию по воле Бюро ЦК было суждено мне. После глубокой, тщательной аналитической работы, широкого обмена мнениями и безусловного учета разумных предложений с мест комиссия подготовила проект записки в Центральный комитет КПСС, назвав ее «О серьезных недостатках в работе ВЛКСМ и мерах по усилению воспитательной работы среди комсомольцев и молодежи».

Прежде всего надо было вновь напомнить всем — и партийным, и комсомольским органам — о той основе жизнедеятельности коммунистического союза молодежи, на которой можно выдвигать свежие или обновить старые идеи, очистить все то хорошее, что есть в работе комсомольских организаций, от чуждого, наносного, выстроить новые подходы в работе среди юношества.

Такой основой являлась общая марксистско-ленинская посылка, что молодежь является органичным субъектом развития общества во всех его сферах — экономической, политической, социокультурной. Она, молодежь, — источник наращивания творческих ресурсов общества; это во-первых. И, во-вторых, противоречия между обществом и молодежью вырастают из того, что общество не удовлетворяет нужды и интересы молодых людей и требует от них больше предоставленных им возможностей для самореализации. Диалектика соотношения общества и его молодого поколения состоит, таким образом, в том, что общество, давая юношам и девушкам образование и воспитание, социализирует их, а молодежь несет новые идеи, взгляды и побуждает общество усваивать это новое, изменяя тем самым самого себя.

Исходя из этого и следовало подходить к деятельности комсомола: активизации его роли в повышении физического, умственного, духовного развития юношества, его социальной активности, идейно-политической образованности, умения по мере взросления вполне самостоятельно приходить к пониманию потребностей развития общества и своего вклада в этот прогрессивный процесс.

Исходя из опыта прошлого и потребностей послесъездовского и обозримого будущего времени выделялось несколько главных,

взаимосвязанных между собой направлений деятельности всех звеньев комсомола — от первичной комсомольской организации до Центрального комитета ВЛКСМ.

Соответственно прежде всего следовало посмотреть на самих себя — на свой коммунистический союз молодежи — изнутри. Определить, насколько он отражает и выражает интересы молодых людей, защищает их права, помогает им жить.

А положение было таково, что многие комсомольцы справедливо выражали свою неудовлетворенность деятельностью комсомольских организаций, жаловались на то, что в них стало скучно, неинтересно. Во многих организациях комсомольская работа «овзрослялась», проводилась бюрократическими методами, без учета возрастных особенностей, интересов и запросов различных групп молодежи. В комсомольской работе допускалось много формализма. В результате некоторая часть комсомольцев оторвалась от своих организаций и находила выход инициативе в подчас неблаговидных делах.

Немало было таких комсомольских руководящих органов, которые предали забвению, что комсомол является организацией самодеятельной. Райкомы, горкомы комсомола вяло привлекали к своей работе комсомольский актив, пытались все делать силами получающего зарплату аппарата. Во многих комсомольских организациях инициатива комсомольцев и молодежи глушилась.

Принцип демократического централизма нарушался. Главное внимание уделялось централизму в ущерб демократическому развитию союза молодежи — самому существенному в его природе. Вследствие этого права первичных организаций на инициативу и самодеятельность фактически свелись к минимуму. Укоренилась вредная практика требовать от первичных организаций, чтобы они каждое свое начинание согласовывали с вышестоящими комсомольскими органами.

Распространенной болезнью в комсомоле стало администрирование. Упор делался не на убеждение, а на требование беспрекословного выполнения решений вышестоящих органов, как будто существовала какая-то опасность, что первичные комсомольские организации могут выйти из-под влияния вышестоящих комитетов ВЛКСМ.

Администрирование также являлось прямым следствием практики культа личности, слепым копированием методов деятельности не лучших партийных комитетов. К разряду подобных отрицательных явлений нужно отнести и то, что довольно широкое распространение получили нарушения в практике выборности руководящих комсомольских органов, вследствие чего сами выборы превращались в пустую

формальность, ибо вышестоящие комсомольские органы твердо определяли, кого именно выбрать.

Сравнивая положение дел в комсомоле с точки зрения состояния демократии, развития самодеятельных начал середины 50-х годов с 30-ми годами, можно определенно сказать, что был сделан шаг назад. И причина тому не только война, диктовавшая свертывание демократии, но система культа личности. Дело дошло до того, что решениями ЦК ВЛКСМ были урезаны права школьных и пионерских организаций; фактическими хозяевами организаций стали не сами комсомольцы, а учителя, директора школ. Центральный комитет ВЛКСМ просмотрел и процесс нарастания силы комсомольского аппарата, бюрократизации форм и методов его работы в ущерб самодеятельным началам как первоначалу всему и вся в ВЛКСМ.

Тогда, после XX съезда КПСС, Центральному комитету комсомола при поддержке местных комсомольских организаций удалось немало сделать, чтобы демократизировать жизнь в комсомоле.

Пройдет сравнительно немного времени, в начале 70-х годов к руководству комсомолом придут другие люди, из другого поколения и многое из свершенного нами после XX съезда партии ради возвращения комсомольских организаций ее подлинным хозяевам — юношам и девушкам — будет отодвинуто на задний план, а в ВЛКСМ снова расцветет бюрократизм, всесилие аппарата.

Столь подробно я пишу о некоторых общих проблемах потому, что без их решения в полной мере не может функционировать коммунистический молодежный союз, он обречен. Что и случилось в действительности. Комсомола уже нет. Вместе с развалом Советского Союза был развален и ВЛКСМ. В России, да и в других странах и в республиках бывшего СССР, массового коммунистического молодежного движения сейчас нет.

Есть попытки его воссоздания. И несомненно, что коммунистический союз молодежи возродится. В новых условиях он будет иным. Но многое из того, чем жил ленинский молодежный союз, будет заимствовано. Воспринято потому, что его деятельность опиралась на интересы и потребности молодой натуры, на ее связь с другими поколениями, на ее понимание прогрессивной роли социализма в развитии человеческой цивилизации.

Я и мои единомышленники исходим из того, что первым условием общественной самодеятельности в ВЛКСМ является возможность совершенно свободного обмена мнениями, спора, возражений, гласного обсуждения возникающих проблем. Лишь

при наличии этих условий жизнь любого коллектива, молодежного коллектива в особенности, становится многообразной, богатой содержанием, интересной. Только в такой обстановке можно на деле вырабатывать характер, убежденность, смелость в суждениях и отвагу в действиях. Различия во мнениях по поводу тех или иных вопросов деятельности своей организации (и не только), уточнение позиций, сопоставление с реалиями ведут к коллективной выработке правильных путей, служат надежным методом скрепления и установления подлинно товарищеских отношений в организации союза, в среде молодежи.

Большое внимание в связи с проблемой самодеятельности в комсомоле уделялось и вопросам соотношения демократии и дисциплины, укрепления единства комсомольских рядов. Комсомол — организация единая, успешно действующая лишь при наличии твердой, обязательной для всех дисциплины — дисциплины сознательной, основанной на глубоком понимании задач и вполне осознанном, а не механическом их исполнении.

Только то дело прочно, которое делается массами сознательно. А добиться этого можно не иначе как на основе широкого и свободного обсуждения комсомольцами всех без исключения сторон жизни комсомола. Именно обсуждения, так как разъяснение хоть и важно, но в сущности представляет процесс односторонний, где исполнители находятся все-таки в положении относительной пассивности, что не вполне демократично.

Конечно, нельзя превращать комсомол в своего рода дискуссионный клуб, где только и делают что говорят, обсуждают, дискутируют и где в беспрерывности обсуждений тонут конкретные дела. Но правильное и полное решение только и может быть выработано в результате широкого обсуждения, в ходе которого каждый член ВЛКСМ имеет возможность высказать свою точку зрения по поднятому вопросу.

Без обсуждения, указывал В.И. Ленин, никогда сознательные рабочие не будут решать важного вопроса. Следуя этому ленинскому положению, мы в 50-е годы действовали в том направлении, что укреплять единство комсомола — это значит, с одной стороны, укреплять дисциплину, создавать условия для выполнения каждым членом ВЛКСМ принятых решений, а с другой — обеспечивать внутрисоюзную демократию, полную возможность высказать свою точку зрения, пока это решение не принято. Действовавший тогда Устав ВЛКСМ предусматривал возможности и организационные формы, которые обеспечивали свободу широкого обсуждения членами ВЛКСМ всех вопросов

деятельности комсомола.

Ни одна политическая партия, ни одно массовое движение не может обойти проблему отношений между «руководителями» и «массой». (Замечу в скобках: разве не предательство «руководителей» КПСС привело к ее распаду — без учета и стремлений масс?) Для комсомола это тоже был не простой вопрос. В его рядах выросли эдакие маленькие «культики», находящие свое место в общей системе культа личности.

Преодоление последствий культа личности диктовало необходимость пересмотра отношений между «руководителями» и «массой». Мы не уставали тогда критиковать такое положение дел, когда комсомольский работник относится к молодежи как к меньшой братии, которую надлежит возвысить до себя. При таком подходе невозможно познать степень сознательного мнения по тому или иному вопросу всей массы юношества, а потому и правильно выразить его настроения и намерения.

Анализируя положение дел в комсомольских организациях и их комитетах, содержание различного рода инструкций, мы, как мне помнится, не нашли тогда каких-то зафиксированных ограничений права высказывать каждым комсомольцем свое мнение по любому вопросу. Такого рода указаний не было. Действовали сложившиеся привычки, что пострашнее циркуляров. Однако процесс ломки привычек, трафаретов, мешающих проявлению активности, инициативы, самодеятельности молодежи нарастал.

ЦК ВЛКСМ, его Бюро и Секретариат, опираясь на поддержку с мест, твердо вел и линию по преодолению таких вредных явлений периода культа личности, как робость, пассивность, склонность к пересказыванию общеизвестных, азбучных положений, постулатов, что вело к однообразию мыслей. А призрачное единодушие без откровенного обсуждения на деле ведет к тому, что наиболее острые и злободневные вопросы муссируются за пределами коллектива.

Комсомольский вожак, обладающий знаниями, культурой, опытом, всегда в состоянии помочь «заблудшему» в своих суждениях и действиях. Юноши и девушки, добровольно объединившиеся в свой коммунистический союз, должны по-товарищески и говорить, и спорить, и убеждать друг друга, не допуская грубого окрика, нажима, приклеивания различных ярлыков.

Уместно вспомнить здесь рекомендации Ленина о том, что к теоретической путанице молодых людей надо относиться совсем иначе, чем мы относимся к теоретической каше в головах и к отсутствию революционной последовательности у людей,

претендующих на то, чтобы вести и учить других. Молодежи, которая еще учится, надо всячески помогать, относясь как можно терпеливее к ее ошибкам, стараясь исправлять их постепенно и путем преимущественно убеждения, а не давления.

Бюро ЦК ВЛКСМ в своей записке в ЦК КПСС исходило из того, что в идейно-воспитательной работе комсомольских организаций надо преодолеть сложившуюся и осмеянную Лениным практику «книжного знания коммунизма», ее оторванность от современных, волнующих молодежь проблем, от быта, досуга юношей и девушек; покончить с отстраненностью комсомольских организаций от борьбы против хамского, потребительского отношения к молодежи со стороны некоторых хозяйственников.

Был сокращен получающий зарплату аппарат, изменена структура комсомольских комитетов, введен институт внештатных секретарей, созданы комиссии по различным сферам комсомольской работы, главная роль в котором отводилась молодежи.

В целях удовлетворения разносторонних интересов юношей и девушек были созданы Союз советских студентов, Всесоюзный Совет юных пионеров, Всесоюзное общество молодежного туризма, Союз советских спортсменов, а также различные молодежные клубы — филателистов, фотолюбителей, радиолюбителей, клубы девушек, старшеклассников…

Кроме того, был установлен ежегодный праздник — День советской молодежи, учрежден Всесоюзный фестиваль советской молодежи, проводимый раз в 3–4 года, была отменена входная плата в парки культуры и отдыха, а в каждом городе один профсоюзный клуб превращен в молодежный.

Весьма полезным делом явилось создание в летнее время на базе колхозов лагерей труда и отдыха для учащихся, а при домоуправлениях различного рода самодеятельных кружков; денежные средства, поступающие от сбора металлолома, от субботников, шли на нужды юношества.

Центральный комитет КПСС оказывал полное доверие ЦК ВЛКСМ. Естественно, брали эту практику на вооружение местные партийные комитеты. И в этом проявлялась степень освобождения от последствий культа личности, раскрывались возможности для развития инициативы и самодеятельности комсомольских организаций. Работать без оглядки наверх стало легко.

Хочу добрым словом помянуть Екатерину Алексеевну Фурцеву, которая, будучи в 1957–1961 гг. членом Президиума (Политбюро) ЦК КПСС, вела в Центральном комитете партии

вопросы идеологической работы, культуры, просвещения. Стройная, с копной светло-русых волос, с голубыми глазами, с хорошо очерченными припухлыми губами, она была женственна и притягивала к себе. Екатерина Алексеевна обладала живым умом, ясным видением назревших проблем в идейной жизни партии и страны. Умела как-то сразу создать обстановку дружелюбия, доверия, позволяющую на равных вести беседу. И позже, будучи министром культуры Союза ССР, она нередко деликатно помогала мне в работе председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию. О Фурцевой много ходило разных домыслов и мещанских побасенок. Для меня Екатерина Алексеевна — добрый, умный, принципиальный и не по-женски смелый человек.

Естественно, что обновление самих подходов к организации деятельности коммунистических союзов молодежи, их внутренней структуры, форм и методов работы — не являлось самоцелью. Оно должно было послужить и действительно послужило решению коренной задачи молодежного движения — воспитанию активных членов общества, творцов истории своей страны.

В качестве исходного материала в практической работе мы опирались на данные о численности молодежи, состоянии брачных отношений и положении молодых семей, о проблемах жизни городской и сельской молодежи, соотношении полов, удельном весе молодежи в трудоспособном населении страны.

В 50-е годы демографическая ситуация в стране была положительно-устойчивой, рождаемость превышала смертность, тенденция омоложения населения страны набирала силу. Несмотря на это, ЦК ВЛКСМ, комсомольские организации проявляли постоянную заботу о здоровье детей, юношей и девушек и особенно о детях-сиротах, проживающих в детских домах. Пионерские лагеря, детские санатории и профилактории, молодежные трудовые оздоровительные лагеря, дома отдыха при предприятиях, вузах, систематический медицинский контроль по месту работы или жительства — и все это бесплатно, за счет государства, профсоюзов — формировали крепкую телом молодую поросль.

Работу по воспитанию подрастающего поколения физически здоровым комсомол проводил совместно с органами здравоохранения, профсоюзами, спортивными организациями. Между ними было полное взаимопонимание — большая спайка между всеми звеньями комсомола, органами советской власти, коммунистической партии существовала на ниве образования детей и юношества.

Уже тогда наука указывала на то, что генетический фонд

населения зависит не только от природных условий, но находится под постоянным воздействием условий социальных. Вот почему комсомол стремился облегчить массовый контроль за постановкой общего и специального образования в государстве, за соблюдением закона о всеобщем образовании, за правильным набором абитуриентов в высшую и среднюю специальную школу, разумное распределение молодых специалистов. Особую заботу комсомольские комитеты проявляли по отношению к школам и училищам профтехобразования, готовящим кадры рабочего класса.

Величайшим завоеванием советской власти, социализма явилось превращение страны в страну образованную. И в этом благородном деле немалый вклад ленинского комсомола. Ясно как белый день, что снижение, а тем более утрата интеллектуального потенциала страны, на пороге чего мы сейчас стоим, обернется тяжелейшими последствиями на десятки лет, если не будут приняты меры, опережающие эту болезненную для России тенденцию.

ЦК ВЛКСМ, ЦК комсомола союзных республик, крайкомы, обкомы комсомола, горкомы крупных промышленных центров и сельскохозяйственных районов страны ревниво оберегали социально-экономический статус молодежи. Они остро выступали против нарушений трудового законодательства о подростках и молодежи (нарушений приема на работу, продолжительности рабочего дня, права на учебу в вечерних и заочных учебных заведениях и других).

Конституция СССР провозглашала и закрепляла фактически право молодежи на труд, образование, отдых, охрану здоровья. Однако как ни велика историческая значимость социальных завоеваний социализма, была еще одна сторона социального положения юношества, находившаяся в поле зрения комсомола.

Я имею в виду участие молодежи в управлении предприятиями промышленности, транспорта, колхозами и совхозами, участие в различных органах государственной власти — от сельских, поселковых Советов до Верховного Совета СССР, то есть в тех именно органах, где формируется и осуществляется молодежная политика, где молодое поколение не только проходит школу хозяйственного и государственного управления, но вливает в жизнь свежую кровь.

От управления хозяйственными делами до интереса юношей и девушек к политике и участия в ней небольшой шаг. XX съезд КПСС пробудил живой интерес в массах молодежи к политике. Это было отрадным явлением, и прежде всего потому, что идущее следом за нами поколение начало осознавать свою роль в жизни

страны, государства, партии, комсомола, понимать свою ответственность наряду с другими поколениями советского народа за настоящее и будущее отчизны.

Весомый удельный вес молодежи в общественном производстве, как и в других сферах общественной практики, давал юношам и девушкам моральное право на достойное место в советском обществе, что старшими поколениями воспринималось как само собой разумеющееся.

Следует заметить, что в советском обществе ни до Великой Отечественной войны, ни в ходе ее, ни после проблема поколений — отцов и детей — в антагонистическом плане не вставала. Комсомольские комитеты беспокоила излишняя опека старших по отношению к младшим: мы трудно жили — дайте хорошо пожить нашим детям, что порождало в среде молодежи явления иждивенчества, а то и тунеядства.

Вот, коротко говоря, те узловые проблемы, которые острее, чем раньше, встали перед комсомолом после XX съезда КПСС; проблемы, органически взаимосвязанные между собой. И потому мой дальнейший рассказ о наиболее крупных событиях второй половины 50-х годов. Он как бы вкупе будет охватывать все перечисленные проблемы, надеюсь, представит интерес для молодых коммунистов грядущих времен…

Одним из таких событий стал февральский (1957 года) пленум Центрального комитета ВЛКСМ. Отдел пропаганды готовил его с большим интересом и задором, втягивая в работу тысячи комсомольских активистов, людей разных профессий, национальностей, возрастов со всей страны. Ведь это был пленум, на котором впервые за всю историю комсомола подлежал обсуждению животрепещущий вопрос: «Об улучшении идейно-воспитательной работы комсомольских организаций среди комсомольцев и молодежи». Мы гордились тем, что даже в «Большом доме» не поднималась рука сдвинуть такую глыбу в партии, а ведь дело требовало…

«Мой» отдел пропаганды и агитации небольшой, но крепко спаянный, в процессе подготовки пленума на глазах молодел. При анализе предложений местных организаций комсомола стало очевидно, что уровень образованности членов ВЛКСМ, юношей и девушек, не состоящих в его рядах, позволяет поставить и обсудить одну из кардинальных проблем настоящего и будущего молодого поколения.

Я имею в виду проблему формирования в массах молодежи такого интеллектуального потенциала, которому было бы под силу, по мере мужания, приобретение в рамках союза молодежи

опыта в государственном, хозяйственном, культурном строительстве, было бы по плечу решать любые задачи социалистического строительства.

Мы исходили из того, что интеллектуальный потенциал молодежи мог успешно набирать силу только в том случае, если юноши и девушки начиная со школьной скамьи, а затем и в последующие годы своей жизни будут поставлены в такие общественные условия, при которых на смену догматическому образу мышления, насаждаемому идеологической практикой культа личности, придет мышление, основанное на высокой образованности, широком взгляде на жизнь, способное устоять и взять верх в открытой идейной и духовной борьбе за победу коммунистических идеалов. И это поможет молодым продолжить революционное дело отцов.

Вот с этих основных позиций, в которых выражались взгляды моего поколения, и шла подготовка пленума ЦК ВЛКСМ по идеологическим вопросам.

В ней были задействованы большие силы: комсомольские работники и активисты разных звеньев комсомола, ученые-обществоведы, деятели культуры, литературы, искусства, профсоюзные, хозяйственные руководители; постоянно шел обмен мнений с руководителями партийных органов.

Наш комсомольский дом на Маросейке денно и нощно гудел как пчелиный улей, в который собирался нектар нужных, полезных идей. Большую работу вели работники аппарата, и прежде всего отдела пропаганды и агитации: Иван Кириченко занимался перестройкой комсомольской печати; Л. Волынкина — разработкой вопросов постановки культурно-массовой работы и проведением Всесоюзного фестиваля молодежи; Зоя Короткова — проблемой воспитания молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях партии и народа; Иван Зонов поднял из архивов все, что относилось к реализации ленинской идеи о монументальной пропаганде в воспитательной работе.

Кстати сказать, И. Кириченко, Л. Волынкина, И. Зонов и многие другие затем трудились на ответственной работе в аппарате ЦК КПСС. Работали с увлечением все, подвергали критическому анализу не только то, что казалось и действительно было самым существенным, но и высвечивали закоулки идейно-воспитательной работы первичных организаций, райкомов, горкомов, обкомов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик.

Работа по подготовке к пленуму велась таким образом, что по мере тщательной отработки того или иного вопроса он запускался в дело. Причем фронт именно такой работы был

весьма широк и в нем активно участвовали представители с мест. Сошлюсь на некоторые примеры.

Развенчание культа личности образовало пустоту в сложившейся за долгие годы системе воспитания детей и юношества. Эту зияющую пустоту надо было заполнить тем, что соответствовало бы марксистской концепции «народ — творец истории». После долгих раздумий, коллективных размышлений стало очевидным, что альтернативой культу одного человека в воспитательной работе имеет право на жизнь лишь воспитание поколений на революционных, боевых и трудовых традициях советского многонационального народа.

За плечами народа стоят такие исторические свершения, в них такая нравственная сила и высочайшая одухотворенность, умноженная на чистоту помыслов, стремление к справедливости и верность отчизне, которые являют собой непреходящий образец для подражания, дают простор для приумножения этих славных традиций.

Для апробации этой идеи в Ленинград на Кировский (бывший Путиловский) завод выехала наш инструктор Зоя Короткова, которая, опираясь на поистине бесценные традиции пролетариев разных поколений этого завода, вместе с комсомольской и партийной организацией определила совершенно конкретные пути, методы, формы воспитания юношества на революционных, боевых и трудовых традициях народа и партии.

Воспитание на этих славных традициях стало затем одним из направлений в идейно-воспитательной работе КПСС, ВЛКСМ и общественных организаций.

Или другой пример. В течение долгих лет местные комсомольские газеты были «от Москвы до самых до окраин» похожи друг на друга по своей верстке, оформлению, форме подачи материалов, беззубости и прочему. Они плохо выражали специфику своих комсомольских организаций, молодежи своих регионов. Надо было сделать комсомольские газеты и журналы «вкусными», «прилипающими» к рукам читателя, несущими большой идейно-воспитательный заряд, и сделать это руками тех редакционных коллективов, которые сложились на местах.

Пригласили в отдел пропаганды человек 15 главных редакторов комсомольских газет из разных областей, краев, республик страны, сопоставили точки зрения, выработали методологию подхода к проблеме, закрыли редакторов на «замок», и они в течение двух недель готовили макеты своих газет в их новом видении.

Затем собрали всех редакторов страны. Представили макеты на общественное обсуждение. Редакторы что-то приняли, что-то

отвергли. Но в результате жарких споров и дискуссий все решили работать по-новому. И действительно, молодежные газеты изменили свое лицо, стали интересными, оригинальными, боевыми молодежными органами. Значительно возросли их тиражи.

С них, с комсомольских газет, особенно с «Комсомолки» стали брать пример и другие, «взрослые газеты». «Комсомольскую правду» редактировали тогда сначала Ю. Воронов, а затем А. Аджубей — два разных по своей натуре человека, но оба очень яркие и способные журналисты, оба прекрасные товарищи.

Не могу не сказать здесь и о том, что в 1958 году разовый тираж 177 комсомольских изданий по сравнению с 1954 годом увеличился в два раза. В целях удовлетворения запросов детей и юношества, притока в литературу и журналистику новых молодых сил ЦК ВЛКСМ создал такие новые журналы, как «Веселые картинки», «Юный техник», «Комсомольскую жизнь», «Юный натуралист», «Юность», восстановил «Молодую гвардию», и целый ряд изданий на местах, на родных языках народов нашей страны.

В это же время шла модернизация издательства «Молодая гвардия». Были изданы и оказали большую помощь в постановке идейно-воспитательной работы в комсомоле новые, умные книги. Среди них: «Молодежь и наука», изданная совместно с Академией наук СССР, «Славные традиции» — о боевом пути ленинского комсомола — и, конечно, впервые изданные очерки по истории ВЛКСМ.

Мы гордились тем, что нам удалось совершить крупный поворот и в молодежной печати от схоластики времен культа личности к удовлетворению интеллектуальных запросов юношей и девушек, к оказанию им помощи в благородном стремлении стоять в своих знаниях на уровне времени. «Знать — это значит победить», эти крылатые слова не сходили со страниц комсомольской печати.

Она звала молодежь овладевать знаниями, участвовать в научно-техническом прогрессе, стоять на уровне современной культуры, двигать ее вперед. Не будет преувеличением сказать, что комсомол был душой школ рабочей и сельской молодежи. Оживилась деятельность школьного и вузовского комсомола. В эти годы зародились студенческие строительные отряды.

Особо надо сказать о комсомольских организациях в художественных высших учебных заведениях, внимание к которым со стороны ЦК ВЛКСМ, других руководящих комсомольских организаций было повышенным. Ведь речь шла о той группе молодежи, творчество которой рано или поздно должно оказывать свое воздействие на широкие слои молодежи,

всего народа. Поэтому комсомольские организации во главу своей деятельности ставили заботу о формировании у молодой художественной интеллигенции высоких нравственных и эстетических позиций, ориентирование ее на создание произведений высокого гражданского звучания.

Вряд ли кто может возразить против справедливости именно такой постановки вопроса. Однако несмотря на то что ЦК ВЛКСМ содействовал становлению театра «Современник», рекомендовал художника И. Глазунова в Союз художников СССР, создал вместе с Союзом композиторов молодежный симфонический оркестр, который затем стал Государственным оркестром Гостелерадио, а его художественным руководителем является теперь лауреат Всесоюзного фестиваля молодежи И.В. Федосеев; несмотря на то что при поддержке ЦК ВЛКСМ по сценарию Е. Долматовского режиссером Ю. Егоровым был создан фильм «Добровольцы», в котором едва ли не впервые в советском кино упоминалось о репрессиях, в том числе в комсомоле, а фильм А. Алова и В. Наумова «Они были первыми» воспевал комсомольскую героику первых комсомольских лет, несмотря на все это (примеры можно было бы продолжать и продолжать), ЦК ВЛКСМ, его Бюро и Секретариат обошли стороной, не разработали и не поставили перед ЦК КПСС кардинальный, как мне представляется, вопрос о недопустимости вмешательства людей, наделенных властью, в творческий процесс и их стремления давать «руководящие оценки» произведениям искусства.

Если бы удалось преодолеть эту ограниченность, то отношение комитетов комсомола к творчеству писателей, художников, композиторов, режиссеров, актеров было бы еще более корректным, участливо-деликатным, лишенным мелочной опеки, а тем более грубого вмешательства в творческий процесс. Не была тогда достаточно четко обозначена мысль о том, что нельзя относится к искусству как к иллюстраторству политики, что особенно было присуще периоду культа личности (а потом и в брежневские времена).

Что было, то было.

Но для большинства выдающихся и подающих надежды деятелей литературы, искусства, культуры Центральный комитет комсомола был тогда родным домом. Вход в него был делом чести каждого осознающего роль молодежи в будущем своей отчизны.

Так, широким фронтом, с охватом всех сторон идейно-воспитательной работы, с учетом пожеланий, мнений комитетов ВЛКСМ и комсомольских организаций нарастало оживление идейной жизни молодежи, развивался вкус к ней со стороны

комсомольских кадров и актива.

Основой такого влечения явилось пробуждение после XX съезда КПСС свободы мысли и духа. Этим чувством были пронизаны решения февральского 1957 года пленума Центрального комитета ВЛКСМ по идеологии и последующая работа комсомольских организаций по реализация его рекомендаций.

Пробудить миллионные массы молодежи к сознательному историческому творчеству, освободить его от догматизма и культа личности — в этом состояла вся прелесть, неповторимость, значимость избранного комсомолом после XX съезда КПСС пути.

После идеологического пленума ЦК ВЛКСМ появилось много нового, интересного в постановке политического просвещения, лекционной работы, организации отдыха, досуга молодежи.

Молодая Рая Чепрыжова читала лекции в далеких таежных местах Красноярского края. Старики и молодые засиживались с ней до «петухов». Первый секретарь крайкома партии очень просил перевести ее на работу в крайком партии. Но она не изменила своих привязанностей к отделу пропаганды Цекомола.

Приобщение широчайших масс молодежи к культуре, развитие у юношей и девушек постоянного влечения к ее богатствам занимали руководящие комсомольские органы. Было очевидно, что добиться желаемого результата на этом благородном пути можно лишь в тесном содружестве с творческими союзами писателей, композиторов, художников, деятелей театра, кино, с многочисленной армией культпросветработников, связанных с профсоюзами, органами культуры. А такое содружество можно было выстраивать только на конкретных взаимоинтересных делах как для творческой интеллигенции, так и для молодежи.

Таким взаимоувлекательным делом явился Всесоюзный фестиваль советской молодежи, который начинался в каждом колхозе, совхозе, на каждом предприятии, проходил в районах, городах, областях, краях, республиках и завершался смотром художественного творчества молодежи в Москве в преддверии VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего под девизом «За мир и дружбу» (28 июля — 11 августа 1957 года).

К подготовке и проведению Всесоюзного фестиваля были привлечены все лучшие творческие силы страны, все, кто составлял гордость отечественной многонациональной культуры.

В рамках фестиваля были проведены всесоюзные конкурсы молодых композиторов, поэтов-песенников, музыкантов-

исполнителей, конкурсы на лучшее литературное произведение, театральный спектакль, конкурсы-смотры молодых ансамблей и художественных коллективов, исполнителей и другие. Всесоюзный фестиваль выявил целую плеяду талантов, внесших своим творчеством вклад в отечественную культуру.

Были созданы прекрасные произведения о молодежи, о комсомоле, которые и ныне не сходят с театральных, концертных подмостков, с экранов кинотеатров…

Мало кто знает, что путевку в большое искусство И. Кобзону, эстрадному певцу нашего времени, доброму совестливому человеку, дал Всесоюзный фестиваль молодежи во время его срочной службы в Закавказском военном округе.

Между творческой интеллигенцией и комсомолом, его Центральным комитетом сложились воистину искренние товарищеские отношения. Писатели, композиторы, художники, поэты, актеры, режиссеры заходили не как гости, а как товарищи: М. Шолохов, К. Симонов, С. Михалков, Л. Ошанин, Е. Долматовский, Д. Шестакович, Т. Хренников, С. Туликов, В. Мурадели, С. Герасимов, П. Соколов-Скаля, Д. Шмаринов, Р. Симонов, И. Туманов, Б. Покровский, Л. Утесов, И. Моисеев, Т. Устинова были советчиками и помощниками комсомола. И не только они.

Как бы хотелось сказать обо всех! Позволю лишь еще раз выразить им благодарность за все свершенное на ниве приобщения юношества к прекрасному, к культуре. Наверное, многие из тех, кто стал маститым художником, могли бы вспомнить и поблагодарить ленинский комсомол за выданную ему путевку в творческую жизнь. Благодарная память — благородна.

Всесоюзный фестиваль советской молодежи стал хорошей репетицией Московского всемирного фестиваля молодежи и студентов. Его демократичность и открытость, дружелюбие москвичей создали неповторимую обстановку дружбы и единения молодости всего мира. На фестиваль в Москву приехали свыше 30 тысяч юношей и девушек из 131 страны мира. 25 тысяч молодых людей из всех союзных республик, областей и краев страны представляли советскую молодежь. Фестиваль не был заперт в залы и кабинеты. Он проходил на улицах, в парках, садах, стадионах.

О царившей во время фестиваля атмосфере свидетельствует, например, такой факт: открытие фестиваля задержалось на два с лишним часа. Колонна грузовых автомашин, на которых ехали иностранные делегации, растянулась по всей Москве — от ВДНХ до Лужников. Буквально вся Москва, и стар и млад, высыпала на

улицы. Москвичи останавливали машины, завязывались оживленные беседы с членами зарубежных делегаций, вспыхивали импровизированные выступления танцоров, музыкантов, певцов. Улыбки, объятия…

Советская делегация была еще на площади перед ВДНХ, а первые машины к назначенному времени уже подошли к стадиону им. В.И. Ленина.

Звонит мне А. Шелепин и спрашивает: «Где делегация?» — «На ВДНХ». — «Члены Политбюро уже на стадионе. Что будем делать?» — «Если события будут развиваться таким же образом, то открытие фестиваля задержится на два-три часа. Наверное, надо докладывать Н.С. Хрущеву». — «Жди — позвоню».

Прошло какое-то время, раздался телефонный звонок Шелепин веселым голосом говорит: «Докладывал Н.С. Рассказал, что делается на улицах Москвы, в связи с чем открытие задержится. Н.С. сказал: „Ничего, подождем. Мы, члены Политбюро, здесь поработаем. Пускай идет все своим чередом“».

Надо заметить, что всю подготовительную работу к фестивалю проводил ЦК ВЛКСМ своими силами, без создания каких-либо особых правительственных комиссий. Порядок в Москве обеспечивала не милиция (ее на улицах города почти не было видно), а дивизия московских комсомольцев. Руководители самых различных ведомств и организаций приходили на Маросейку и докладывали все, что и как делается по подготовке к фестивалю.

Особо хочется сказать добрые слова в адрес ВЦСПС. Секретарь ВЦСПС Т.Н. Николаева не жалела ни сил, ни времени, отдавая их делу проведения Всесоюзного и Всемирного фестивалей молодежи, а дело это требовало постоянного внимания.

Всесоюзный фестиваль выявил многие новые таланты. Всемирный фестиваль вылился в яркую демонстрацию молодежи мира в борьбе за мир и дружбу между народами.

Ныне нередко можно услышать голоса о том, что-де массовые призывы молодежи на освоение целинных и залежных земель, на стройки Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера и другие не способствовали делу воспитания юношей и девушек; что сейчас молодежь на подобные обращения не откликается. Уверен, что такие утверждения идут в одном случае от незнания действительного положения вещей, в другом — от не совсем добросовестных побуждений.

…В мае 1956 года коммунистическая партия обратилась к комсомольцам, молодежи с призывом поехать на освоение

природных богатств восточных, северных, дальневосточных районов страны, на стройки Донбасса и Казахстана. Она просила откликнуться на этот призыв 400–500 тысяч человек. За два года более миллиона юношей и девушек подали заявления в комсомольские организации с просьбой направить их на работу.

Комсомольцы и молодежь Украины в рекордные сроки помогли построить 37 новых угольных шахт. В 1956–1958 гг. за высокие успехи в сельском хозяйстве большая группа молодых людей была награждена орденами и медалями СССР. Подобные примеры можно было бы продолжить.

В 1958 году в комсомоле произошли два события: в апреле состоялся XIII съезд ВЛКСМ (на котором я вновь был избран в состав Центрального комитета, его Бюро и Секретариата), а в октябре юность страны вместе со старшими поколениями отпраздновала 40-летие Ленинского союза молодежи.

XIII съезд, опираясь на опыт комсомольских организаций, накопленный после XX партийного съезда, внес в устав своей организации положение о том, что «важнейшим принципом работы ВЛКСМ является инициатива и самодеятельность всех его членов и организаций». Определялось, что при комсомольских комитетах создаются комиссии и советы по вопросам комсомольской работы, в райкомах и горкомах избираются внештатные секретари, высшим органом первичной организации является комсомольское собрание, а выборы в ней проводятся открытым голосованием.

Мне, да и моим одногодкам думалось тогда, что наша партия отстает от велений времени, сдерживает назревший процесс демократизации своей внутренней жизни, не выступает инициатором демократического обновления государственных органов власти и управления общественными формированиями. Жаль, что устремления комсомольцев, молодежи к дальнейшему обновлению общества в верхах не были поняты.

40-летие ВЛКСМ отмечалось всенародно, с размахом, шумно и радостно. В трудовую копилку страны молодежью было внесено много богатства за счет перевыполнения производственных заданий, внедрения новой техники и технологии, экономии сырья, топлива, электроэнергии, сбора хорошего урожая…

Подобно тому как в предвоенные тридцатые годы жизнь становилась лучше, веселее, так и в конце 50-х богатства родины в значительной мере возвращались на благо народа, человека. Ни одна, даже самая развитая капиталистическая страна была не в состоянии обеспечить безвозмездно самые насущные потребности человека — в труде, отдыхе, образовании, здравоохранении, социальном обеспечении.

Пускай подчас не так, как хотелось, но каждый трудящийся, его сын, дочь были уверены в завтрашнем дне. Люди хорошо питались, красиво одевались. Не хватало бытовой мишуры в хорошей красивой упаковке, на что и начал делать ставку Запад, прежде всего адресуясь к молодежи. Фронт «холодной войны» поворачивался к юношам и девушкам низкопробной бытовщиной в музыке, искусстве, литературе и так далее.

ЦК ВЛКСМ, комсомольские организации чувствовали это, как говорится, кожей. Спецслужбы США, Англии, Франции, Италии, Германии и других стран через бытовщину несли в молодежную среду политику якобы превосходства капитализма, западного образа жизни над социализмом и образом жизни советского народа, его молодежи.

В Москве юность страны собралась на торжественный пленум ЦК ВЛКСМ.

Произнося с трибуны речь, я видел в зале многих из своего поколения. Мы по-прежнему были едины. Мне хотелось попросить подняться со своих мест всех участников Великой Отечественной… Я этого не сделал, а видел многих. Но по предложению Н.С. Хрущева я сделал другое: объявил, что по решению Моссовета, идущий от центра к Лужникам проспект, построенный при участии молодежи, будет носить имя Ленинского комсомола. Зал ликовал, а московская делегация бушевала от восторга…

Читатель может подумать, что автор изображает дело так, что в те годы, после XX съезда КПСС, все в комсомоле шло без сучка без задоринки, как по накатанной до синевы асфальтовой дороге. Конечно, это не так. Полагать, что все обходилось без трудностей, сложностей было бы наивным ребячеством. Были и срывы в работе, были неудачи, были ошибки. И о них я тоже скажу. Но главное состояло в том, что комсомол шел широким, уверенным шагом, черпая в своих рядах задор, инициативу в делах, силу для новых свершений во славу родины.

…Противоречия, ошибки, срывы в работе были многоплановы. Они имели место и в молодежной среде — тунеядство и самодовольство, бездуховность и аморальщина, уход молодежи из деревни в город, хулиганство и даже преступность. Все эти явления затрагивали различные (пускай небольшие, но все равно это вызывало тревогу) группы молодежи.

Были противоречия среди комсомольских работников, активистов различных регионов на почве «мы лучше — вы хуже», «я умный — ты дурак». Однако каких-либо политических, неополитических противоречий я не помню — их не было, во

всяком случае на поверхности, так чтобы можно было увидеть, почувствовать.

Нередки были противоречия между активистами комсомола и хозяйственными руководителями. Некоторые из них в целях выполнения плановых заданий привлекали молодежь к работам в нарушение норм и условий труда: занижение расценок, отсутствие заботы о надлежащих условиях в общежитиях, об отдыхе, учебе юношей и девушек. Подобные случаи, в зависимости от их остроты, были предметом разбирательства на бюро ЦК ВЛКСМ с приглашением министров, руководящих отраслями, где работали виновные в нарушениях, также вносились соответствующие рекомендации в правительство и так далее.

Имели место расхождения в оценке комсомольскими организациями и партийными органами некоторых явлений. ЦК ВЛКСМ постоянно выступал против копирования комсомольскими органами стиля и методов руководства партийных комитетов партийными организациями, что взрослило деятельность молодежных коллективов, отодвигало на второй план их первичные интересы — в этом случае шла своего рода «игра во взрослых», что отгораживало юношей и девушек от комсомольских коллективов.

Возникали иногда разногласия и между ЦК ВЛКСМ и ЦК КПСС, чаще между их секретарями. Так, например, в ЦК КПСС — его аппарате и секретариате — долгое время ходило устойчивое мнение о том, что комсомол не может быть организацией политической, что это может нарушить правильные взаимоотношения, гармонию между КПСС — организацией политической и ВЛКСМ — организацией общественной. Однако свершения комсомола, его повседневная практика убеждали в правоте комсомольского ЦК.

Так, М.А. Суслов, секретарь ЦК КПСС в течение ряда лет, с упорством, достойным лучшего применения, доказал, что у комсомола не может быть своей собственной истории, и потому не надо писать книгу очерков о его истории. В конечном счете к 40-летию ВЛКСМ такая книга все же была выпущена. И при всех ее слабостях, как первого опыта, получила горячее одобрение среди комсомольского актива и юношества.

Мое поколение в своей массе знает, что общественная мысль и практика не породили ничего более высокого, чем социализм, требующий как всякое общественное явление своего совершенствования, достройки и перестройки.

В.И. Ленин указывал, что «…доделывать, переделывать, начинать сначала придется нам еще не раз. Каждая ступень, что

нам удастся вперед, вверх в деле развития производительных сил и культуры, должна сопровождаться доделыванием и переделыванием нашей советской системы… Переделок предстоит много, и „смущаться“ этим было бы верхом нелепости (если не хуже, чем нелепости)».

Молодежь в меньшей мере отягощают нелепости переделок отжившего, устаревшего, тормозящего прогресс. Так было всегда. Так было во второй половине 50-х годов, в преддверии и после XX съезда КПСС.

Мне хочется верить в то, что в среде молодежи найдутся и ныне силы, которые сумеют отстоять социалистическое прошлое нашей отчизны, сумеют дать отпор тем, кто проповедует, что Великий Октябрь — ошибка или неудачный эксперимент кучки заговорщиков. Гражданская война — вообще преступление, Великая Отечественная — сплошной позор, а все, что воздвигнуто энтузиазмом наших отцов, создано понапрасну. И зря они, глупые, старались, и так далее и тому подобное. Хочется верить в то, что в среде нового поколения появятся интеллектуальные силы к тому, чтобы из искры вновь раздуть пламя социализма, не повторяя ошибок и дикостей прошлого, и возродить общество справедливости и благоденствия.

Летом 1959 года я выбыл из состава Секретариата и Бюро ЦК ВЛКСМ в связи с переходом на другую работу. Уходил не только я. Почти одновременно со мной вышли на государственную или партийную стезю В. Семичастный, А. Аксенов, З. Туманова, В. Залужный, К. Муртазаев. На смену нам пришли новые товарищи — из другого поколения.

Уходил я с комсомольской работы с чувством удовлетворения. Конечно, было грустно расставаться со спаянным искренней дружбой коллективом Цекомола, со многими товарищами из областей, краев и республик страны. Друзья, обретенные мной в комсомольские годы, останутся со мною на всю жизнь — во что я искренне верил и не ошибся.

Но не грусть заполняла мое сердце. Уходить было пора — надо было освобождать дорогу новому поколению молодежных вожаков, сформировавшихся уже в послевоенное время. Покидал я ЦК ВЛКСМ с чувством исполненного долга. В его стенах на посту секретаря и члена бюро Центрального комитета комсомола я еще раз убедился в том, что человек, одержимый теми или иными мыслями и идеями, корреспондирующими потребностям времени, при желании, опираясь на единомышленников, непременно может реализовать благородные помыслы в своей практической деятельности.

В преддверии и после XX съезда КПСС удалось совершить в комсомоле главное: освободить его от пут культа личности, вдохнуть в массы молодежи веру в неиссякаемый источник собственных творческих возможностей и вести все дела в своем коммунистическом союзе самим, на началах собственной инициативы и самодеятельности.

Это был крутой поворот качественного свойства. И если бы последующие поколения комсомольских активистов, кадров комсомола сумели продолжить и развить взятый нами курс на то, чтобы все дела в ВЛКСМ, в каждом его звене, вплоть до первичной комсомольской организации, делались без оглядки «наверх», собственными руками, в силу собственного разумения, опираясь на лучший опыт предшественников, то, может быть, не было бы стагнации нашего общества, не пришлось бы прибегать к мерам, которые привели к развалу комсомола, и не только…

Может быть, сказанное кому-то покажется преувеличением, но это именно так — истина лежит в этой плоскости. Примерно с середины 60-х годов, а точнее чуть ранее, начинается постепенное сползание с позиций наработанных комсомолом после XX съезда КПСС: от самодеятельных начал к администрированию, от живого дела к бумаготворчеству, от заботы о труде, быте, учебе, отдыхе юношества к парадности и шумихе, восхвалению нового партийного лидера — Брежнева, с той лишь разницей, что его вождизм приобрел содержание и форму фарса.

Однако о делах комсомольских времен застоя, как и периода перестройки, расскажут другие, кто пережил и перечувствовал эти годы, принимая активное участие в судьбе юношеского движения.

Расскажут и докажут то, что стагнацию можно было преодолеть. В стране имелось все или почти все для нового качественного скачка в развитии социализма на базе достижений научно-технического прогресса и демократизации всего общества.

Расскажут и докажут, то, как с приходом к власти М.С. Горбачева при помощи соответствующих мощных сил Запада был спланирован, а затем и осуществлен развал КПСС, Союза ССР, ВЛКСМ, самой основы государственности — Советов. Горбачев и все те, кто с ним, оказались недоумками на дороге истории, людьми безжалостными к своему народу, бесчестными к своему отечеству. История свой приговор им вынесет!

Работа в комсомоле, постоянное общение с живой практикой комсомольских, партийных и других общественных организаций, действовавших на предприятиях промышленности, транспорта, строек, в колхозах и совхозах, будь то в Ярославской, Сурхандарьинской, Витебской, Киевской и других областях,

убеждали меня, как и многих моих товарищей, в настоятельной необходимости глубокой демократизации КПСС.

Наша деятельность в этом плане в комсомоле являлась примером того, что демократизация государственных и общественных институтов в стране назрела и отвечает потребностям прогрессивного социалистического развития. Демократизация правящей партии, каковой являлась КПСС, позволила бы затем перейти к постепенной, продуманной, глубокой демократизации всех сторон жизни советского государства, общества.

Мое поколение, вступившее в полосу зрелости, обладало уже необходимым опытом в различных сферах общественной практики, осознавало необходимость осуществления глубоких перемен.

Но оно было еще далеко от ключевых позиций в государстве и партии. Естественное течение жизни не подвигло его к тому.

Многие из нас не только видели издалека, но и общались с теми, кто стоял у руля власти, и могли давать оценку их деятельности; встречались и с видными выдающимися деятелями международного коммунистического и рабочего движений. Было у кого набраться ума-разума…

Летом 1956 года мне довелось возглавить делегацию ВЛКСМ на очередной съезд коммунистической федерации молодежи Италии, работавшей в тесном контакте с Итальянской коммунистической партией (ИКП). Это была моя первая поездка в страну, которую я знал и любил еще до ее посещения. Можно было бы рассказать о многом, что и доселе живет в памяти. Но я хочу поделиться впечатлениями о том, что меня поразило, обрадовало и укрепило мою веру в силу коммунистического и рабочего движения в стране, омытой теплыми морями, с бездонно-голубым небом, в стране, населенной женщинами с глубокими черными очами и искренне приветливыми смуглыми мужчинами, в стране, где все обладают от мала до велика неудержимым, казалось, темпераментом.

Итальянские товарищи — Джан Карло Пайетта, член руководства ИКП, Ренцо Тревелли, первый секретарь молодежной коммунистической федерации, Ренато Гуттузо, художник, чей талант согревает сердца миллионов людей в разных странах, член ИКП, и другие товарищи показали мне Рим, Геную, Неаполь, Помпеи, Сорренто, Милан со всеми их достопримечательностями и, конечно, Болонью — тогдашний бастион коммунистической партии Италии, где мэром города бессменно избирался член руководства ИКП Доцца. Там и проходил съезд коммунистической федерации молодежи. В Болонье я побывал в

ячейках ИКП, познакомился со многими их активистами, участвовал в многотысячных митингах. Я гордился сплоченностью трудового народа Италии вокруг ИКП.

После съезда федерации, на котором делегация ВЛКСМ была горячо встречена, уже в Риме я был приглашен на загородную виллу на товарищеский обед с руководством ИКП во главе с Пальмиро Тольятти. Застольная беседа сложилась как бы из трех самостоятельных частей: оценка хода и итогов съезда коммунистической федерации молодежи Италии, воспоминания итальянских товарищей об их пребывании в Москве во время работы в Исполкоме Коммунистического Интернационала и последнее, самое важное, — о характере взаимоотношений ИКП с КПСС.

Джан Карло Пайетта, Ренцо Тревелли и я (когда Тольятти поинтересовался моим мнением особо) были единодушны в положительной оценке прошедшего съезда и прежде всего в сплоченности рядов федерации, их близости к идейным позициям ИКП.

Обед проходил непринужденно. Дневная жара спадала. Прохлада деревьев заливала своей свежестью. Судя по всему, итальянские товарищи не подгоняли время обеда и отдались нахлынувшим воспоминаниям о Москве. Они, перебивая друг друга, сквозь улыбки и смех, без какой-либо тени иронии или насмешки, рассказывали о том, как вместе с москвичами разделяли тяготы времен индустриализации в СССР.

Проживали они, как и другие работники Коминтерна, в гостинице «Астория» (ныне «Центральная») на ул. Горького. Получали продуктовые карточки, на которых было написано — хлеб, мясо, масло, рыба, керосин, а удавалось получать лишь один хлеб. Они гнули из гвоздей крючки, насаживали на них хлеб, выбрасывали на подоконник, ловили голубей и устраивали себе «пир» из тушеной и жареной голубятины. Часто, по их рассказам, они обменивали прямо в очередях керосин, соль, мыло на что-либо съестное. Мэр Болоньи — Доцца, небольшого роста, полноватый, заливался смехом от воспоминаний, как он ощипывал индюшек — сиречь голубей — так, что удержаться от смеха было просто-таки невозможно.

«Зато теперь, — заметил Джан Карло Пайетта, — по какому бы поводу ни приехал в Москву, тебя обязательно одаривают золотыми часами. К чему это — ведь мы и так искренни по отношению к Советскому Союзу и КПСС. И дарящий, и принимающий — оба в ложном положении».

Вот в этом самом месте, если мне не изменяет память, вступил в беседу Тольятти, до этого лишь раззадоривавший

рассказчиков. С лица его пропала мягкая улыбка; отразилась озабоченность, может, даже печаль.

«Конечно, — сказал он, как бы подхватывая сказанное Пайеттой, — нам не нужны золотые часы. Со стороны руководства вашей партии нам необходимо понимание нашей политики, которую мы разрабатываем и осуществляем на базе общих принципов марксизма-ленинизма, применительно к нашим, итальянским условиям. Это понимание должно быть лишено всякого рода подозрительности, недоговоренностей, ибо мы несравненно лучше знаем наши реалии. Постоянный анализ складывающейся обстановки в мире и в этой связи в международном коммунистическом и рабочем движении, в каждой отдельно взятой коммунистической партии подводит нас к совершенно определенному выводу, что каждая партия обязана находить свой путь к социализму, подводить к нему широкие массы трудящихся — рабочих, крестьян, служащих, интеллигенцию, мелкую буржуазию!»

Я внимательно слушал Пальмиро Тольятти. По мере того как он развивал свои взгляды, голос его крепчал, а мысль отливалась в чеканные фразы, словно ранее заученные. Сквозь толстые стекла очков, немного нависнув своей небольшой фигурой над столом, он внимательно вглядывался в присутствующих, словно ища у них немедленной поддержки. Но итальянские товарищи лишь кивали головами в знак согласия. Я понял, что идеи, развиваемые Тольятти об итальянском пути к социализму, для членов ИКП, конечно, не новы, так же как не новы и соображения о том, чтобы отношения между ИКП и КПСС строились на полном доверии и взаимном уважении.

Для меня было несомненно то, что товарищи из ИКП ищут новые пути, сбрасывают обветшалые догмы и просят, чтобы им доверяли.

«Я не знаю, — продолжал Тольятти, — когда кто-либо из нас будет в Москве. Убедительно прошу вас передать там все, о чем я говорил. Советские товарищи, — с грустью сказал Тольятти, — должны нам верить. Для нас Страна Советов очень близка».

«Да, — раздумывал я над всем сказанным Тольятти, возвращаясь в Москву, — он учит своих сподвижников по партии постоянно находиться в поиске наилучших, теоретически обоснованных и практически выверенных путей продвижения к социализму».

П. Тольятти, как мне представлялось, сумел передать стремление к поиску своим товарищам, в том числе Л. Лонго, Э. Берлингуэру и другим, следом за ними идущим. Как было бы хорошо, если бы и наше руководство было ищущим и учило бы

тому всех, кто связал или намерен связать свою судьбу с социализмом.

По прибытии в Москву я подробно передал все, о чем просил Пальмиро Тольятти, М.А. Суслову. В ходе моего рассказа мне не было задано им ни одного вопроса и ни один мускул на его лице не дрогнул. О чем он размышлял в это время? Или ему было необходимо указание свыше?

На следующий год, тоже летом, волею судеб я попал на противоположный от Италии берег Адриатического моря — в Албанию. Море было прекрасно, как и в Италии. Восхитительны были и берега — узкая полоса почти белого песка, а над ней, тянувшейся вдоль моря на десятки километров, нависали лесистые горы, почти вертикально уходящие в небесную лазурь.

Природа была щедра к Албании. Но страна была бедна, в чем мы могли убедиться, посетив многие ее места, встречаясь с жителями городов и сел, с людьми разных возрастов. Албания, расположенная в центре юга Европы, в период между двумя войнами, 1-й Балканской, когда после поражения в ней Турции Албания была провозглашена независимым государством, и Второй мировой, как бы законсервировалась в своем развитии, в своей бедности. И народ ее после победы в освободительной борьбе возлагал большие надежды на Албанскую партию труда, поверил ей, самоотверженно трудился, избрав социалистический путь развития.

После ознакомительной поездки по стране нас, небольшую группу партийно-комсомольских работников, разместили в четырех одноэтажных кирпичных домиках, одиноко стоящих на многокилометровом пляжном великолепии, где под ногами шныряли крабы, черепашки и прочая неизвестная нам, северянам, живность…

В один из дней албанские друзья сообщили, что в Тирану с официальным визитом прибывает министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Мы, естественно, изъявили желание участвовать во всех возможных мероприятиях, связанных с этим визитом, если на то будет согласие албанских властей и маршала. Такое участие вылилось в два памятных для меня события.

Маршала Жукова горячо встречала, казалось мне, вся Албания. В Тирану, на площадь Скандербега, съехались люди отовсюду, дабы увидеть и услышать на митинге великого полководца. Георгий Константинович вместе с Энвером Ходжей, первым секретарем Албанской партии труда, другими руководителями Албании и приглашенными гостями поднялись

на трибуну. Площадь возликовала. Жуков — в маршальском мундире, при четырех Звездах Героя Советского Союза и одиннадцати рядах орденских планок, как я насчитал. Маршала я впервые видел так близко. Меня поразило его лицо. Оно, казалось мне, было вылеплено природой так, чтобы подчеркнуть мужество его характера, силу воли — открытый большой лоб, складки над переносицей, четкое очертание губ и почти квадратный подбородок с ямочкой посредине усиливали впечатление мужественности натуры.

Его жесты были скупы, но выразительны: он чуть приподнял разведенные руки и, поворачиваясь в разные стороны, скрещивал их на своей груди, словно прижимая к ней всех присутствующих на площади в знак своего глубокого уважения и почтения к ним. Говорил он в приподнято торжественном тоне, отдавая должное уважение вкладу трудового народа Албании в разгром нацистской Германии и фашистской Италии во Второй мировой войне, его решимости вместе с другими братскими народами идти по пути строительства социализма. Конечно, слушали Георгия Константиновича внимательно, прерывая овациями, прокатывавшимися из края в край большой площади.

Выступали с короткими речами албанские товарищи. Говорили они о святости дружбы, установившейся между СССР и Албанией и их народами, славили нашего маршала, его выдающуюся роль в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Георгий Константинович, когда заходила речь о нем, улыбался, иногда прикрывая улыбку рукой.

Мне понравилось, как говорил о Жукове первый секретарь Албанской партии труда Энвер Ходжа — горячо, с большим подъемом, искренне и очень уважительно.

Энвер Ходжа был тогда сравнительно молод и по-настоящему красив. Выступая на митинге, он как бы утверждал: поверьте, нам с вами все по плечу, по силам, по разуму. Верьте, мы вместе с Советским Союзом дойдем до желанной цели, вместе с нами маршал Жуков! Таков был смысл страстной речи Ходжи.

Здесь, в августе 1957 года, в далекой Тиране, на древней площади в моей памяти пронеслось видение маршала Жукова в июле 1943 года во время боев на Курской дуге под знаменитой ныне Прохоровкой. В своей книге «Воспоминания и размышления» Георгий Константинович пишет:

«В течение 12 июля на Воронежском фронте шла величайшая битва танкистов, артиллеристов, стрелков и летчиков, особенно ожесточенная на прохоровском направлении, где наиболее успешно действовала 5-я Гвардейская танковая армия под командованием генерала П.А. Ротмистрова… 18 июля мы с А.М.

Василевским были на участке, где сражались части 69-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.Д. Крюченкина, 5-й Гвардейской армии генерал-лейтенанта А. Сладкова и 5-й Гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова».

Находясь по долгу службы недалеко от командного пункта командующего нашей армией Павла Алексеевича Ротмистрова, я увидел, как к этому пункту на большой скорости подъехали «виллисы», из них вышли двое и направились к нашему командующему. Я подошел к КП, встал поодаль от командующего и прибывших. Они вместе с Ротмистровым, склонившись над картой, что-то обсуждали. Обсуждение длилось минут 8-10, затем, оторвавшись от карты, один из них, может быть отвечая кому-то или говоря сам с собой, сказал: «Я приехал сюда не для того, чтобы Прохоровку оборонять, а брать Белгород, Харьков, освобождать Украину». В говорившем я узнал маршала Жукова.

Вот какие веские слова нашего полководца Г.К. Жукова пришли мне на память, когда я стоял на площади столицы Албании, гордясь тем, что я соотечественник маршала и под его руководством вместе со своими сверстниками, со своей 5-й Гвардейской танковой армией, прошел боевой путь до окончательного разгрома ненавистного врага.

В один из последующих дней я в числе других советских товарищей был приглашен Энвером Ходжой на обед в честь Георгия Константиновича Жукова. Ужин был для узкого круга — человек на двадцать пять — домашний. Хозяин дома создал атмосферу товарищества, непринужденности, теплоты. Застольный разговор носил беглый, беспорядочный характер: серьезные темы перемежались рассказами о забавных случаях.

Энвер Ходжа и Тоди Любоня, первый секретарь союза молодежи Албании (по приглашению которого я приехал в республику), хорошо пели — они плечом к плечу прошли освободительную войну.

Спели фронтовые песни и мы. Георгий Константинович пел, полузакрыв глаза, словно так было лучше вспоминать картины прошлого. Слушая собеседника, он поглядывал на него с доброй, мягкой улыбкой, вместе с тем являвшейся выражением твердости и властности, она как бы приподнимала собеседника до достигнутых Жуковым высот человеческой воли.

Монументальность его фигуры не была наигранной, не воспринималась как иллюстрация заранее заданной темы. Нет! В нем не было позы, а было само естество, дар природы. Тогда в Жукове меня интересовало более всего соотношение в его натуре властности и обычной человечности. Для меня мерилом великого

человека помимо других качеств была простота. Ведь в простоте величие человека! Он, Жуков, человек, слывший при жизни легендой, не парил ли он над нами, над народом в своем маршальском полководческом величии? Нет! Я это чувствовал. Такого же мнения была и моя супруга, сидевшая почти напротив Георгия Константиновича. Видел я и то, что наш русский маршал с приокских равнин России очень симпатичен сыну гор, албанцу Энверу Ходже. Обращаясь к сидящим за столом, он страстно говорил о большом значении визита именно Жукова в Тирану как способствующего укреплению братского союза народов СССР и Албании, их вооруженных сил. А время было трудное. В мире бушевала «холодная война».

Албания в своем развитии, в основном и главном, шла нашим, советским путем. В стране, впрочем, как и в других странах Европы, в которых одержали победы народно-демократические революции, царил дух национального пробуждения, уверенности в торжество избранного социалистического пути.

Энвер Ходжа ко времени нашего пребывания в Албании еще не успел, как говорится, вобрать в себя все те уродливые черты, которые порождает культ личности. Это произойдет с ним позже и принесет свои определенные беды. А тогда, в кругу товарищей, одержимых коммунистической идеей, сидел человек средних лет, с густыми черными волосами, подернутыми инеем седины, с темными глазами, взгляд которых даже застольное оживление не могло освободить от накопившейся внутри него усталости. К концу затянувшегося обеда и к Жукову подползала какая-то озабоченность, он стал немного другим в сравнении с тем, каким был на трибуне митинга на городской площади Тираны. Так мне казалось.

…Адриатика по-прежнему была прекрасной. Справа, за горизонтом, была Италия, слева — Греция: два региона земли, давшие человечеству две цивилизации, влияние которых и поныне ощущает мир. А далеко впереди Африка, которая мне была не нужна и куда с моей родины летали перелетные птицы — эту песню мы тоже пели на приеме у Энвера Ходжи.

Отбыл на Родину Г.К. Жуков как-то поспешно, мы даже не проводили его, а несколькими днями позже прилетела в Москву и вся наша группа. На аэродроме во Внуково встречающие сообщили, что на только что состоявшемся Пленуме Центрального комитета КПСС (октябрь 1957 года) Г.К. Жуков был освобожден от обязанностей министра обороны СССР.

Я был ошарашен. Не мог поверить в справедливость,

разумность подобных действий. Неужели Хрущев и иже с ним не понимали того, что маршала Жукова можно лишить поста военного министра, но невозможно лишить Жукова всенародной любви…

Пленум обсуждал один вопрос: «Об улучшении партийно-политической работы в Советской армии и на флоте». Докладчиком был Суслов, который верно служил Сталину, Маленкову, а теперь угождал Хрущеву…

Участники пленума рассказывали, что в докладе Жукову приписывались грубые нарушения партийных норм руководства Министерством обороны и Советской армией, что он потерял скромность, без ведома ЦК принял решение организовать школу диверсантов и так далее.

А Хрущев в своем выступлении обвинил Жукова в намерении организовать заговор с целью захвата власти. Участники пленума критиковали министра обороны за имеющиеся недостатки, но никто из них не поддержал обвинения в заговоре, стремлении захватить власть и прочих нелепицах. Несмотря на широкую пропагандистскую кампанию в поддержку решений Пленума ЦК КПСС, имя Жукова, его высочайший авторитет в народе остался, любовь к нему неизменно продолжала жить в сердцах советских людей.

Вновь возвращаясь к дням пребывания в Албании, я осмысливал события тех дней, и мне становились понятными и та озабоченность, которая жила в Г.К. Жукове, и его необычно поспешный отъезд из Тираны. Георгий Константинович, как стало известно гораздо позже, был проинформирован генералом Штеменко, начальником Главного разведывательного управления, о готовящейся над ним расправе, и потому немедленно вылетел в Москву.

…В последний раз я разговаривал с Георгием Константиновичем Жуковым в конце 60-х годов, во время его работы над мемуарами. Как-то поздним осенним вечером мой секретарь сообщила, что по городскому телефону звонит маршал Жуков и просит соединить его со мной. Я взял трубку, сердечно поздоровался с Георгием Константиновичем, справился о состоянии его здоровья и спросил:

— Чем могу служить?

— Мне для работы нужны некоторые материалы из архивов радио; я был бы очень обязан вам за содействие и помощь, — сказал маршал.

— Товарищ маршал, вы должны не просить меня — вашего бывшего солдата, а приказывать. Оставьте, пожалуйста, свой

просительный тон (действительно по телефону все звучало уж очень в просительной тональности. — *Н.М.*).

— Тональность голоса, наверное, изменяет телефон.

— Наверняка, — подтвердил я и предложил: — Вы не будете возражать, если к вам приедет мой помощник, все, что надо, запишет, наши товарищи исполнят, доставят, куда прикажете, в удобное для вас время.

— Да, это было бы хорошо.

— Разрешите исполнять?

— Исполняйте, — сказал маршал и засмеялся.

Я тоже. Мы попрощались.

Расправа с Жуковым для меня стала хорошим уроком. Я понял, что «верх» — небольшая группа лиц — держится за власть крепко и шутки с ней шутить нельзя, они плохо оканчиваются.

Хрущеву приписывается выражение «Сильнее, чем диктатура пролетариата, власти не было и быть не может». Конечно, когда все вершится от имени народа, почти невозможно выступить с каким-то иным мнением по тому или иному принципиальному вопросу или поводу. Тебя быстро прихлопнут как муху. Но диктатура пролетариата предполагает постоянное расширение и углубление народной демократии. Вот эта сторона диктатуры пролетариата в повседневных буднях нередко выхолащивалась.

Так думал не я один. Многие. Однако думы оставались думами. Хрущев, сформировавшийся как политический деятель в условиях культа личности Сталина и испытавший на себе всю его силу, не мог не прийти к уразумению той непреложной истины, что без демократии нет социализма. Он не мог не понимать всей значимости для страны именно такой постановки вопроса и его практического решения. Но, будучи сыном своего времени, он управлял так, как было привычнее, легче, — правил от имени народа, опираясь на исторически ограниченную представительную демократию и в партии, и в государстве, к тому же на такую представительную демократию, носителей которой можно было подбирать и формировать сверху.

В случае с Жуковым участники Пленума ЦК КПСС вышли за рамки установившейся традиции следовать за вождем. Проявили определенное неповиновение Хрущеву, ограничили желание Хрущева обвинить Жукова в стремлении к захвату власти; пошли за Хрущевым лишь в том, чтобы Жуков был снят с поста министра обороны.

Позже, во времена Брежнева, в демократических порядках страны мало что изменилось. Ограниченность демократии в условиях социалистического строительства исторически объяснима. Однако это особая и сложная тема, которую нельзя

сводить к огульному охаиванию, социальной действительности, что имеет место в последние годы…

Ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев, ни те, кто сменил их тогда у руля власти, не смогли преодолеть эту ограниченность. В конечном счете это не что иное, как трагедия этих людей. Так же пока трагична и судьба первых лиц в условиях современной буржуазной демократии. За редким исключением, их не спасает даже накопленный веками опыт манипулирования общественным мнением.

За прошедшее после Великой Отечественной войны время мое поколение многое увидело и познало. Годы моей работы в ВЛКСМ тоже не прошли даром. Я поверил в свои силы. У меня появилось много новых товарищей по всему Советскому Союзу. Нас сплачивало осознание необходимости перемен в жизни страны. Мы тогда верили в то, что в партии коммунистов сольются воедино представители разных поколений, которым будет по плечу подготовить советское общество к новым качественным социалистическим свершениям.

Однако пора продолжить рассказ о торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1958 года, посвященного 40-летию комсомола.

Надо заметить, что руководители партии и государства были внимательны к секретарям, членам Бюро ЦК ВЛКСМ. Они хорошо знали, что ЦК ВЛКСМ и мы, его секретари, многое делали для того, чтобы поднять юношество на выполнение тех или иных задач, поставленных партией и правительством, способствовали укреплению авторитета руководства страны в массах молодежи.

В праздничный вечер 29 октября 1958 года после завершения официальной части пленума Никита Сергеевич Хрущев пригласил нас, секретарей Цекомола, поужинать вместе с членами Политбюро Центрального комитета партии.

Мы зашли в небольшой зал, примыкающий к правительственной трибуне Дворца спорта стадиона им. В.И. Ленина в Лужниках. Стол уже был накрыт различными яствами. Поодаль от него стояли или сидели члены Политбюро, судя по всему — ожидали нас.

Я оказался около Алексея Николаевича Косыгина. Он взял меня под локоть и подвел к столу, усадил и сел рядом. Мне это понравилось. Подобным образом были приглашены и другие секретари ЦК. По левую руку от меня оказался Климент Ефремович Ворошилов. Помню, что на другой стороне стола сидели Никита Сергеевич Хрущев и Анастас Иванович Микоян, а

между ними Владимир Ефимович Семичастный. Где сидели другие товарищи, не помню.

Никита Сергеевич от имени Политбюро выразил удовлетворение ходом Пленума, поблагодарил нас за хорошую подготовку и предложил тост за наше здоровье и успехи. Выпили по рюмке коньяка. Я целый день ничего не ел и боялся захмелеть. Хорошо что Алексей Николаевич Косыгин ухаживал за мной и, видя, как я проглатываю все, что появляется на моей тарелке, снова и снова подкладывал мне всякую вкусную всячину. Алексей Николаевич интересовался, кто из секретарей Цекомола какими конкретными делами занимается, откуда пришел в ЦК и тому подобное.

Во время ужина Климент Ефремович Ворошилов и Анастас Иванович Микоян ударились в спор, что полезнее для нас, молодых. Водка с перцем — говорил первый; нет, армянский коньяк — утверждал второй. Мы выпили и того, и другого, чтобы разнять двух стареньких спорщиков. И Ворошилов, и Микоян, да и другие были в том возрасте, когда, как я чувствую сейчас по себе, работоспособность уже далеко не та, какой должна обладать руководящая партийно-государственная вышка. Как бы ни был огромен жизненный опыт, нужны еще силы для его реализации.

После ужина Алексей Николаевич пригласил меня сесть во время концерта рядом с ним. По ходу концерта я рассказывал Косыгину о коллективах и молодых артистах, когда это было возможно, принимавших в нем участие — со многими из них я встречался или ранее, или на репетициях этого концерта. Алексею Николаевичу понравился Борис Штоколов, бас, замечательный русский певец, который в этом концерте впервые показался на московской сцене.

Вечер, проведенный с Алексеем Николаевичем Косыгиным, запечатлелся в моей памяти на всю жизнь. Позже я имел счастье часто встречаться с ним, видеть его в работе, учиться у него деловитости, скромности, выдержке и чуткости к людям, к товарищам по партии.

С конца пятидесятых годов Московский Кремль был открыт для свободного посещения, а в Большом Кремлевском дворце устраивались молодежные балы и детские елки. Не были обойдены и взрослые дяди. По инициативе Н.С. Хрущева в ночь под Новый год в Георгиевском и Владимирском залах, в Грановитой палате устраивался новогодний прием, на который приглашали министров, общественных деятелей, выдающихся представителей науки, культуры, искусства и, конечно, передовиков производства, транспорта, строек, колхозов и

совхозов. Приглашали и нас — секретарей ЦК ВЛКСМ.

Съезжались гости к 10 часам вечера, а разъезжались в 2 часа ночи. Столы накрывались в Георгиевском зале и в Грановитой палате, а танцевали во Владимирском зале. Приемы проходили на хорошем праздничном подъеме.

После поздравительной речи, обычно Никиты Сергеевича, хотя прием давался от имени Президиума Верховного Совета СССР, Центрального комитета партии и Совета министров Союза ССР, за каждым столом кто-то из сидящих брал на себя роль тамады и своими шутками-прибаутками увлекал остальных в мир беззаботности, веселья. В те годы страна шла вперед и было чему радоваться…

Как-то на одном из таких приемов я пошел посмотреть как во Владимирском зале отплясывают трепака. Только вошел в зал, как ко мне буквально подкатилась молодая, кругленькая, словно налитая всеми соками жизни женщина, взяла меня за руку и повела в круг танцующих. Я упирался, объясняя прекрасной даме свое упрямство тем, что не пляшу русскую.

Кто-то из присутствующих в зале стал поддерживать настойчивость моей дамы, другие упрекали меня в робости. Откуда ни возьмись около нас появился Никита Сергеевич Хрущев и, сказав мне: «Робеешь, секретарь! — пригласил на танец прекрасную даму. Взял ее за руку и, уводя от меня, добавил: „Смотри и учись“».

А поучиться было чему. Они — партнерша и партнер почти с одинаковой округлостью своих форм, небольшим ростом, живостью и плавностью движений — очень подходили друг другу, наверняка испытывали взаимное тяготение и с радостью отдались танцу. Они катились по залу, который сразу стал свободен от других пар, улыбались друг другу, на их лицах было само счастье. Радостно было и мне от мимолетного счастья этих двух людей — главы партии и правительства и колхозницы из Подмосковья.

Мне довелось видеть при разных обстоятельствах наших вождей середины и конца 50-х годов — первой половины десятилетнего нахождения Н.С. Хрущева у власти в качестве главы партии и правительства, быть свидетелем их отношения к «простым» смертным, к нам, представителям молодого поколения, — и все это укрепляло во мне уверенность в том, что они могут учитывать реальные процессы, происходящие внутри страны и в мире в целом.

Эта уверенность подкреплялась и вырастала успехами страны в развитии экономики, культуры, в росте народного благосостояния. Вожди, казалось мне, способны пойти по пути

крупных преобразований социалистического бытия народа во всех сферах его жизни.

Наверное, мои размышления шли от желания быть если не участником, то хотя бы свидетелем преобразований подобного свойства, поддержка которым (судя до нашим делам в комсомоле) в народе обеспечена. Однако в жизни многое не совпадает с желаемым.

Так и Никита Сергеевич Хрущев не вписался в воображаемый мною его образ, о чем дальше. Да, это субъективные оценки в конечном счете, и не более.

Суть состояла в другом: страна и планета Земля вошли во вторую половину XX века. С чем человечество, советский народ, мое поколение придет к его исходу?..

Глава IX
ЗНАНИЯ — НАРОДУ

В июле 1959 года меня вызвал секретарь ЦК КПСС по идеологическим вопросам Л.Ф. Ильичев — человек умный и с серьезной научной подготовкой, но, к сожалению, смотрящий на политику как на флюгер и соответственно его положению на крыше власти разворачивающий свою собственную фигуру, — и предложил перейти на работу во Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (общество «Знание») в качестве первого заместителя председателя правления этой организации. Он просил меня об этом, мотивируя необходимостью внести в деятельность Общества свежесть и новизну с учетом потребностей времени.

Примерно то же самое мне говорил и М.А. Суслов, ставший членом Политбюро ЦК КПСС и занимающийся помимо международных дел, проблем мирового рабочего и коммунистического движения также вопросами идеологии и культуры, которые ранее вела в этом высшем партийном органе Е.А. Фурцева, выведенная из его состава. Екатерина Алексеевна болезненно переживала случившееся. Она вскрыла на запястьях вены в стремлении рассчитаться с жизнью, что потом искренне осуждала как проявление малодушия по поводу в конечном счете никчемной карьерной дурноты — и была абсолютно права в этой оценке.

Свое согласие на работу в Обществе и Ильичеву, и Суслову я дал. О характере и состоянии этой организации я в общих чертах знал, ибо был в составе ее правления. Подтолкнула меня пойти на работу в Общество кинокомедия «Карнавальная ночь», шедшая на московских экранах как раз в те дни.

В фильме во всем актерском блеске С. Филиппов исполняет роль забулдыги — лектора из «Общества по распространению», который с бутылкой коньяка в одной руке, портфелем в другой, поглядывая на «звездочки» бутылки, под гомерический хохот всех присутствующих в зале по случаю Нового года и, конечно, кинозрителей распространяется по поводу того, есть ли жизнь на Марсе или ее там нет, заканчивая свою «лекцию» зажигательной лезгинкой.

Кинокартину эту я выучил наизусть: после каждого просмотра на душе было тоскливо. Филиппова я «возненавидел», впору было вызывать на дуэль. Но я решил «отомстить» возвращением Обществу по распространению политических и

научных знаний его былого авторитета.

Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний было создано по инициативе группы выдающихся отечественных ученых во главе с президентом Академии наук СССР Сергеем Ивановичем Вавиловым в целях привнесения знаний в народ. И мне хотелось в меру данных мне сил воскресить благородство целей этой организации — на основе ее практической деятельности, при опоре на высокие бескорыстные помыслы различных групп интеллигенции, и прежде всего ученых, а также писателей, композиторов, художников, инженеров, учителей, врачей, многих из которых я знал лично и, как мне казалось, мог рассчитывать на их помощь и участие. Именно в этом и заключалась первая причина моего перехода на работу в общество «Знание», а вторая — в стремлении познать, на что способна интеллигенция, вскормленная и вспоенная своим народом, каков ее потенциальный альтруистический заряд. Общество в основном составляли ученые, преподаватели, врачи. Ученую среду я знал плохо. И она представляла для меня интерес.

Мне думается, что любой общественный организм склонен к старению, формализации деятельности, если он будет катиться по однажды избранной дорожке — без постоянного внесения в него нового, что диктуется жизнью, без решительного отсечения рутинных традиций, обветшалых догм, которые по мере их разрастания душат этот общественный организм подобно растениям-паразитам. Так случилось и с обществом «Знание».

Мои поездки на Украину, в Узбекистан, в Ярославль, в Ленинград и ознакомление там с местными отделениями Общества подтвердили мои первые впечатления, полученные в центре, в Москве. В обществе «Знание» обветшало очень многое, начиная с его унылых грязных коридоров, кабинетов, непристойного вида туалетов, обюрократились его организационные структуры — коренные узлы деятельности, и довершалось все это казенным стилем руководства его председателя академика М.Б. Митина.

В ходе многочисленных встреч и бесед прежде всего с учеными, а также, естественно, и с представителями других слоев интеллигенции надо было установить первопричины оттока ее лучших сил из рядов Общества. Но этого было недостаточно. Наилучший способ найти ответы на волнующие вопросы, как подсказывал мне собственный опыт, — собрать пленум правления, а затем съезд Общества и там предельно откровенно и до конца раскрыть неприглядное положение в организации, переизбрать руководящие органы, удалив из них балласт,

выдвинуть нового председателя, разработать конкретные меры подъема работы во всех звеньях Общества с учетом действительных потребностей народа в знаниях.

А время того требовало: во все двери стучалась научно-техническая революция, а с нею рядом шла необходимость в кадрах, могущих овладеть новой техникой, технологией производства. Подобно тому, рассуждал я, как в 20-е годы была ликвидирована неграмотность, с таким же упорством и размахом надо поставить знания народа на современный уровень.

Состоявшийся пленум правления обсудил вопрос «О мерах по улучшению работы Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний». Такая широкая постановка вопроса позволяла всесторонне проанализировать деятельность организации. Пленум, отметив положительное в работе Общества, а оно, несомненно, было, подчеркнул, что многие недостатки в его деятельности кроются прежде всего в том, что за последние годы оно, к сожалению, постепенно стало терять свой общественный самодеятельный характер. Многие видные ученые, общественно-политические деятели, работники культуры отошли от его работы. Нередко организации Общества в своей деятельности опирались преимущественно на штатный аппарат. Участники пленума с тревогой говорили о том, что нередки случаи, когда из-за попустительства, бесконтрольности высокая трибуна лектора предоставлялась всевозможным халтурщикам, стяжателям, случайным людям вроде героя фильма «Карнавальная ночь», которые и способны лишь на то, чтобы компрометировать дело распространения научных знаний.

Пленум освободил от обязанностей председателя правления Общества академика М.Б. Митина и избрал председателем академика Николая Николаевича Семенова, ученого-естествоиспытателя с мировым именем — создателя теории цепных реакций, лауреата Ленинской, Нобелевской премий, дважды Героя Социалистического Труда, почетного академика ряда зарубежных высоких научных учреждений. Обществу нужен был именно такой человек — большой ученый и организатор науки, могущий сплотить и повести за собой других крупных ученых как из Академии наук СССР, так и из Академий наук союзных республик и из других отраслевых научных центров.

Семенов и Митин — два академика, два, как мне думается, типа ученых, которые сформировались за годы Советской власти и которые, по существу, отражали два лагеря в отечественной науке. Один, Семенов, будучи ученым-экспериментатором, естествоиспытателем, способным разгадывать таинства превращения материи, обладал талантом ставить познание ее

законов на службу людям. Другой, Митин, являл собой пример ученого, поднаторевшего на комментаторстве марксистско-ленинского учения, исходя из социального заказа властей предержащих. Он был не одинок. Такого типа людей, подвизавшихся в общественных науках, было, к сожалению, немало. Не перевелись они и до сих пор, всяческими путями проныривая в академики. Таких «академиков» Николай Николаевич Семенов называл «шустрыми ребятами».

Коммуниста-ученого, работающего в области общественных наук, не может не отличать то, что он не просто пропагандирует, популяризирует коммунистические идеалы, верит в «светлое коммунистическое будущее», а научно познает, как его созидать. Мне думается, что многим ученым-обществоведам не хватает широты взгляда на мироздание, каким обладают ученые-естествоиспытатели.

Не надо быть провидцем, дабы прийти к выводу о том, что если бы у нас в области общественной мысли кадры настоящих ученых-обществоведов были многочисленны, они не позволили бы так бездумно, лженаучно «расхлестать» научный социализм, нашли бы пути дальнейшего развития социализма в нашей стране, как это удается, например, китайским товарищам. Словом, об этой категории недобросовестных ученых-обществоведов не стоило бы и говорить, если бы они не нанесли нашему народу тяжелого ущерба. Почему эти ученые, экономисты, юристы, философы так легко перевернули лозунги, на которых ранее получили свои ученые степени и звания?

Вместо «Да здравствует коммунизм через двадцать лет!» — «Даешь рынок за 500 дней!»; «Общественная собственность — это наше преимущество» — «Общественная собственность — наше зло»; «Общественный интерес выше частного» — «Частный интерес выше общего»; «КПСС — авангард рабочего класса!» — «КПСС — враг народа»; «Советская социалистическая федерация — самая высшая форма федерации!» — «Советская федерация — форма тоталитаризма»; «Безработица — это плохо!» — «Безработица — это хорошо» и так далее и тому подобное.

Вся «хитрость» перевертышей от науки, да и от политики тоже, состоит в хамелеонской приспособляемости к политикам, стоящим у власти, ради сладкого пирога, стремления отхватить от него побольше для себя.

Конечно, далеко не все ученые были такими. За годы Советской власти, благодаря ей сформировались целые научные школы в сфере фундаментальной науки, во главе которых стояли выдающиеся ученые, являющиеся гордостью и славой отечества. Они не просто верили в коммунистическую идею, в социализм, но

знали, как созидать его научно-техническую базу, его интеллектуальный потенциал, социальное равенство.

Академик Семенов являлся одним из них. Его авторитет был нужен Всесоюзному обществу. Назвал мне его в числе других возможных кандидатов для привлечения к работе Общества заведующий отделом науки ЦК КПСС академик В.А. Кириллин — тоже неординарный человек. С Николаем Николаевичем Семеновым я встретился в «академическом» санатории «Узкое», где он долечивался после перенесенной операции. В палате я увидел худого, чуть выше среднего роста пожилого человека, которому, однако, можно дать и шестьдесят лет, и пятьдесят, а может, даже и меньше. На худощавом изрезанном морщинами лице сверкали большие темно-карие глаза.

Я рассказал ему о цели своего приезда, о положении дел в Обществе и о том, что и как можно сделать, дабы поднять его роль в ряду других общественных организаций — роль уникальную, благородную. Николай Николаевич слушал, не перебивал, иногда задавал уточняющие вопросы. Я чувствовал, что в нем то ли нарастает интерес к обсуждаемой теме, то ли он обдумывает что-то ранее уже бродившее по этому поводу в его голове. Но то, что он внимательно присматривался ко мне — а чего стоит этот парень? — не вызывало у меня сомнений. Принесли чаю с сушками и какими-то карамельками. Николай Николаевич глотнул чайку, встал и, быстро расхаживая по палате, жестикулируя, заговорил о том, что можно было бы сделать в Обществе по распространению политических и научных знаний.

Он говорил о необходимости привлечь к его деятельности самых крупных ученых и здесь, в центре, и на местах, о соединении лекционной пропаганды с нуждами научно-технического прогресса, об использовании радио- и особенно телевизионного вещания, о помощи учителям в том смысле, чтобы подтягивать знания до уровня современных достижений науки в той или иной ее отрасли. Говорил он, как бы разжигая рождающимися в его уме идеями самого себя и, конечно, меня. Он мне все больше и больше нравился, особенно его взрывной темперамент (недаром, наверное, он разработал теорию теплового взрыва газовых смесей). Да, думал я, работая бок о бок с таким человеком, можно действительно вдохнуть новую жизнь в Общество.

В какой-то момент Николай Николаевич подошел ко мне. Положил свои худые руки на мои худые плечи и сказал: «Ну что, тезка, запряжемся в одну оглоблю, потащим воз?!» Я был рад!

Он позвонил Суслову и сказал, что дает свое согласие на избрание его председателем правления Общества. Мы начали

работать. И все недолгое время совместной работы с академиком Семеновым я испытывал радость, а поэтому и трудился, несмотря на возникавшие трудности и сложности, с вдохновением, как и многие-многие другие, которых удалось увлечь на эту стезю общественной деятельности.

Начали мы с привлечения к деятельности общества «Знание» видных ученых. Целое их созвездие влилось в ряды его руководящих органов, научно-методических советов и других структур как в Москве, так и в столицах союзных республик, в университетских городах. Академики И.И. Артоболевский, В.А. Амбарцумян, Н.Н. Блохин, А.В. Топчиев, П.Л. Капица, А.Н. Несмеянов, М.М. Дубинин, В.И. Попков и многие-многие другие отдавали свои знания людям, делали их образованнее, духовно богаче, а потому и красивее.

Значительную помощь в работе Общества оказывал Центральный комитет КПСС и его лекторская группа, которой руководил в те годы Вадим Васильевич Кортунов. Большая группа выпускников Академии общественных наук при ЦК КПСС, молодых ученых — кандидатов наук — из нашего поколения была направлена в аппарат правления Общества на укрепление научно-методических советов — основной организационной ячейки, осуществляющей фактически всю научную и методическую работу в сфере постановки лекционной пропаганды в той или иной отрасли знаний общественных, естественных, технических, сельскохозяйственных и других наук.

Это были довольно молодые энергичные люди, с немалым опытом политической и организаторской работы. Я их хорошо знал. Они внесли заметный вклад в сплочение членов Общества, в работающие самодеятельные корпорации. Некоторые из них пошли трудиться в издательство Общества, которое по мере модернизации своей производственной базы актуализировало тематику выпускаемых изданий при непременном повышении их научного уровня.

Удалось нацелить работу издательства непосредственно на массового читателя, а не только на кадры лекторов. Так, например, получила широкое признание серия карманного формата книжечек под названием «Прочти, товарищ», в которой освещались проблемы повседневного бытия людей, содержались ответы на интересующие их вопросы.

Были определенные сдвиги и на других участках деятельности Общества. Численность его росла, помимо районных и городских отделений общества возникали группы на предприятиях и в колхозах, там, где имелись к тому достаточные кадры интеллигенции — врачи, учителя, инженеры, агрономы.

Это был полезный процесс, от которого выигрывала вся постановка дела, — привнесения в народ современных знаний.

Первые положительные результаты в работе надо было закрепить, раздвинуть их границы. Средством к тому мог стать всесоюзный съезд Общества. По существу, на перспективу представлялось крайне важным сообща определить главные направления пропаганды и обеспечить научный уровень читаемых лекций, причем делать это так, дабы не бить по самолюбию, авторитету лектора, а помочь ему в лекторской практике во всех ее составных — от содержания до формы читаемых лекций и докладов, проводимых бесед.

Съезд Всесоюзного общества по распространению научных и политических знаний впервые собрался в Большом Кремлевском дворце, что, несомненно, подчеркивало авторитет организации в массах нашего народа. Помимо делегатов постоянно присутствовали гости: активисты Общества из разных мест страны, а также посланцы зарубежных просветительских организаций.

Естественно, что на этом съезде, делегатами которого были в основном люди, убеленные сединами, не было того всплеска эмоций, которые бы перекатывались по залу и увлекали за собой присутствующих буйной радостью и задором, как это бывало на съездах комсомола. Но и здесь царили приподнятость и торжественность, своя сдержанная реакция на удачное сравнение, шутку, на заслуживающие внимания предложения или критические замечания.

Съезд проходил в атмосфере деловитости и осознания ответственности стоящих перед ним задач, чему задал тон отчетный доклад о работе правления Общества, сделанный его председателем академиком Н.Н. Семеновым.

В докладе отмечалось, что наше советское общество, мировая цивилизация подошли к такому уровню своего развития, когда наука превратилась в непосредственную производительную силу. Обоснование этого вывода, едва ли не впервые прозвучавшее не только с высокой кремлевской трибуны, но и с других трибун, в том числе академических кафедр и страниц научных изданий, имело непреходящее теоретически-практическое значение на ближайшую и отдаленную перспективу развития нашей страны. Однако голос академика Семенова людьми, стоящими у руля нашего государства (хотя некоторые из них и сидели в президиуме съезда), не был услышан.

Члены комиссии по подготовке проекта новой программы КПСС, которая была вынесена на обсуждение очередного XXII съезда КПСС, также прошли мимо выведенной академиком

Семеновым вслед за Марксом формулы, но применительно к современным условиям. В программе КПСС, принятой съездом, было записано в этой связи следующее: «Применение науки становится решающим фактором могучего роста производительных сил». У Семенова «наука — производительная сила». Очевидно, что это разная постановка теоретико-практической проблемы.

Съезд откликнулся на призыв своего председателя и выдвинул в качестве одной из центральных задач Общества — всех его организаций — широкую пропаганду достижений естественных и технических наук.

Надо заметить, что съезд горячо обсуждал проблему основных направлений лекционной пропаганды. Думаю, что для ученого, занимающегося исследованием истории развития советского общества, истории развития отечественной науки в том числе, представит несомненный интерес то, на чем акцентировалось внимание в научной пропаганде в начале 60-х годов, после XXII съезда КПСС, принявшего новую, третью Программу партии.

Съезд призвал все организации Общества по распространению политических и научных знаний — а в нем насчитывалось более 800 тысяч человек, объединенных в республиканские, краевые, областные, городские, районные организации и группы на предприятиях промышленности, в совхозах, колхозах, учреждениях — сосредоточить содержание лекционной пропаганды:

— в области естественных наук — на популяризации новейших достижений физики, химии, математики и других наук в целях использования их в трудовой деятельности советских людей, воспитании у них материалистического миропонимания;

— в области технических наук — на развертывании пропаганды решений партии по вопросам технического прогресса, на распространении передового опыта, повышении технических знаний и деловой квалификации рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, на систематическом ознакомлении трудящихся с новейшими достижениями науки, техники и технологии производства;

— в области сельскохозяйственных наук — на широком распространении достижений агробиологии и передового опыта, на их внедрении в колхозное и совхозное производство;

— в области общественных наук — на пропаганде идей научного коммунизма, роли коммунистической партии — руководящей и направляющей силы советского общества, теоретических проблем разработанных КПСС, разъяснении задач

семилетнего плана по пропаганде идей советского патриотизма, дружбы народов СССР, пролетарского интернационализма, могущества мировой социалистической системы, миролюбивой внешней политики Советского государства.

Съездом было решено в лекциях, докладах и беседах постоянно обращать внимание слушателей на то, что повышение материального и культурного уровня советского народа возможно только на основе непрерывного роста производительности труда, на основе неуклонного подъема промышленного и сельскохозяйственного производства.

На съезде оживленно дискутировалась проблема улучшения состава лекторских кадров — от имени Общества надо призывать выступать, говорили делегаты, людей, достойных высокого звания лектора. И вместе с тем организации Общества призваны всячески оберегать и укреплять авторитет лектора, помогать ему в повышении лекторского мастерства. Тогда была выработана конкретная программа совместных с Академией наук СССР, другими научными учреждениями, с творческими союзами писателей, композиторов, художников, архитекторов, научно-техническими обществами действий по оказанию помощи лекторам, по проведению совместных массовых научно-просветительных вечеров, встреч, семинаров, устных журналов…

Особое внимание было уделено организации и работе народных университетов культуры, которые были порождены инициативой трудящихся и являлись выражением их растущих разносторонних идейно-духовных запросов и интересов. Народный университет культуры — это пример демократического, самодеятельного общественного организма, где все делается руками его создателей, при использовании клубов, лекториев, домов и дворцов культуры и других материальных средств, которые также являются достоянием народа. Они не были копией народного университета Шанявского, действовавшего на его личные сбережения в дореволюционной Москве (на Миусах), они отличны, несопоставимы с различными просветительскими курсами, создаваемыми благотворительными организациями или частными лицами.

На благотворительности, меценатстве далеко не уедешь, ибо и то и другое может коснуться сравнительно очень узкого круга людей. Народные университеты культуры — это своего рода внегосударственная форма учебы, воспитания и самовоспитания, которая способствует расширению и углублению знаний человека по его желанию в той или иной сфере науки, техники, культуры, производства. В стране начали действовать различные виды

университетов культуры — литературы и искусства, естественно-научных знаний, гигиены и здоровья, сельскохозяйственных знаний и другие.

Общество «Знание» оказывало университетам культуры постоянную помощь, в том числе и путем издания научно-методических пособий по различным отраслям знаний.

Хочется сказать о том, что веками лекция как форма распространения знаний была достоянием, как правило, узкого круга людей, в основном студенчества, а чтение лекций — функцией университетской профессуры. Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний раздвинуло эти рамки и функции до рабочего, колхозника, служащего, инженерно-технического работника, до всех тех, кто тянется к знаниям, к культуре.

Со времени окончания Великой Отечественной войны к началу 60-х годов прошло пятнадцать лет. За эти годы многие и многие фронтовики окончили высшие и средние специальные учебные заведения, стали кандидатами, а некоторые и докторами наук, руководителями предприятий, колхозов, совхозов. И было радостно видеть в зале Большого Кремлевского дворца сияние боевых наград на груди многих и многих делегатов. Они, герои Великой Отечественной, вносили в деятельность Общества боевитость, бескорыстие, деловитость. Их закваска создавала атмосферу товарищества, доброты, стремления не пожалеть сил своих на дело просвещения своего народа.

Надо заметить, что к началу 60-х годов поколение советских людей, прошедших сквозь Великую войну — Великое чистилище, — продолжало воздействовать на всю жизнь Страны Советов. Нас было еще много, мы были еще молоды и не знали страха, души наши задели, но не успели еще покорежить мерзости жизни, которые начнут нарастать с 70-х годов.

В душе я полагал, что героя С. Филиппова в фильме «Карнавальная ночь», «лектора по распространению», в необъявленной дуэли я все-таки «укокошил»…

К лектору относились с уважением, по-доброму, а к некоторым — с любовью. Не раз мне приходилось наблюдать, как слушатели незаметно смахивали набежавшие слезы благодарности. Наш лектор Леон Оников мог держать слушателей часами в напряжении, рассказывая им о международном положении. А что делалось в лектории Политехнического музея, который буквально ломился от публики, желающей послушать лекцию или принять участие в диспуте! Нередко в такие дни приходилось вызывать наряды конной милиции для охраны порядка у входа в музей. В большой

аудитории Политехнического бывали трижды Герой Социалистического Труда академик Яков Зельдович, токарь-скоростник Николай Чикирев, поэт Лев Ошанин и делегации молодежи с «Серпа и молота», «Борца», «Калибра», из сел Подмосковья…

Иногда, проходя мимо дома на Лубянке, я вспоминал, как Лаврентий Берия предлагал мне развернуть с ним «пропаганду». Обошлось без него. «Молодец все-таки я», — хвалил втихаря сам себя.

Хвалил… А дел было невпроворот. По-прежнему лекции по естественно-технической проблематике, как правило, читались без наглядных пособий, подчас подвизались люди корыстные, гнавшиеся за рублем; Академия наук СССР, ее отраслевые институты не всегда охотно шли на организацию лекций в своих стенах, словом, недоработок было немало. Надо было глубже внедрять в практику работы демократизм, смелее идти на проведение дискуссий и диспутов, создать свою фабрику наглядных пособий — изготавливать всякого рода схемы, движущиеся модели, реактивы, построить в стране современные лекционные залы, новые планетарии и прочее.

Всеми этими делами мы и занимались с моим тезкой Николаем Николаевичем Семеновым и со всеми академиками-подвижниками.

Мои связи с крупными учеными страны крепли, становились прямее и проще, встречи и беседы с академиками Несмеяновым, Топчиевым, Артоболевским, Капицей, Кириллиным, Арзуманяном, Попковым, Лобановым из Москвы, Матулисом из Вильнюса, Амбарцумяном из Еревана, Патоном из Киева и многими другими обогащали меня, привносили в мое сознание новые идеи и неординарные способы их решения.

Вместе с тем я продолжал поддерживать добрые отношения с писателями, художниками, композиторами, сложившиеся еще с комсомольских времен. Скульптор Вучетич, художники Серов и Герасимов, писатели Симонов, Шолохов, Михалков, поэт Сурков, композиторы Шостакович, Свиридов, Мурадели, кинорежиссеры Александров, Егоров, Алов, Наумов, режиссеры театра Симонов-старший, Ефремов, артисты Орлова, Бабочкин, Андреев, Сафонов, Леждей — все они и многие-многие другие были для меня добрыми советчиками. В их мудрых головах было столько прекрасных идей, советов, замечаний, пожеланий, идущих в общую копилку дел! И это не все: заинтересованность в просвещении, образовании своего народа — вот источник подлинной интеллигентности.

Моя работа в обществе «Знание» прервалась совершенно

неожиданно. В первых числах января 1962 года я был вызван в ЦК КПСС М.А. Сусловым, и мне было предложено поехать на работу в Китай в качестве советника-посланника посольства Советского Союза в Китайской Народной Республике. Аргументировал он это тем, что за моими плечами стоит уже немалый жизненный опыт, определенный багаж знаний и разносторонняя деятельность.

«Вы должны, — говорил Суслов, — и об этом знает посол в Китае С.В. Червоненко, заняться прежде всего анализом идейно-политических расхождений, начавших проявляться между КПСС и Компартией Китая» (о чем знал тогда весьма узкий круг людей).

Согласие на переход на дипломатическую работу я дал, хотя уходить из Общества, когда его деятельность была на подъеме, чему было отдано немало души и сердца, было жалко. Рассказал я о состоявшейся в Центральном комитете партии беседе Н.Н. Семенову. Он вскипел, сказал, что не потерпит, чтобы за его спиной решалась моя судьба, добьется оставления меня на прежнем месте в качестве его первого заместителя, иначе он и сам уйдет с поста председателя. Я просил своего тезку этого не делать. Пускай все идет своим чередом. Я найду себе хорошую замену.

15 января 1962 года после моих встреч с послом в КНР Степаном Васильевичем Червоненко состоялось решение ЦК КПСС об утверждении меня советником-посланником посольства СССР в Пекине — вторым лицом после посла в нашем диппредставительстве в великой стране, также идущей по социалистическому пути. Развитие братских отношений между СССР и КНР имело и будет иметь непреходящее историческое значение для судеб нашей страны и всего мирового сообщества.

Полагаю, что так думало подавляющее большинство нашего народа.

Мой дорогой Николай Николаевич собрал пленум правления Общества. На него съехались товарищи со всех мест, поблагодарили меня за работу, а я их за чувство локтя во всех наших совместных начинаниях; избрали вместо меня моего друга — Василия Никифоровича Зайчикова; я был уверен, что он не даст завянуть цветам, посаженным на ниве общества «Знание».

Общение с научной интеллигенцией дало мне немало. И в первую очередь я увидел, что в этом слое нашего народа (я имею в виду крупных ученых), хотя и очень тонком слое, живет и клокочет свободная демократическая мысль. За чаепитиями у академика Семенова или на иных встречах шли разговоры не только о научных темах, но и о проблемах, которые волновали советских людей или были предметом обсуждения в высших

сферах руководства, что почти в равной степени относилось к вопросам как внутренней, так и внешней политики.

Масштаб мышления был свой, как правило, «макрокосмический» — свое отечество и весь остальной мир. Они делили его таким образом, как мне казалось, условно. Будучи диалектиками, они видели тесную общественную взаимосвязь, органическое взаимовлияние двух миров — социализма и капитализма. И были страстными патриотами своего отечества. И Семенов, и Капица, и Зельдович, и Попков, и другие остро переживали и резко говорили о создании совнархозов, повсеместном насаждении кукурузы и других шараханьях Хрущева. В их отношении к нему была какая-то ироническая снисходительность: «Сдал человек, что с него взять… А страну жалко, обидно за державу…»

Повседневные собеседования с учеными в большей своей части касались проблем внедрения достижений научно-технической революции в экономику. Они зорко следили за развитием фундаментальных наук за рубежом и, дабы не отстать, создавали свои уникальные научные центры со своими научными школами.

Капица, Семенов, Харитон, Зельдович, Попков, Патон и другие были обеспокоены одним — необходимостью постановки экономики страны на современную научно-техническую базу. «Наука должна стать производительной силой», — не уставал повторять Николай Николаевич Семенов.

Разговаривали ученые мужи науки без оглядки на кого-либо, без тени страха и рисовки. Им нечего было бояться — освободить их от науки было нельзя. Ни у кого такой силы не было.

Было очевидно, что именно в этом слое отечественной интеллигенции руководители страны должны черпать мудрость, быть истинными сотоварищами в их рядах. Было ясно, что партия коммунистов призвана быть в тесном союзе с этим слоем. Это было важно еще и потому, что почти у всех из вышеназванных ученых были свои научные школы, свои ученики, свои последователи, что являло собой вполне естественную связь и преемственность поколений, подобно тому, как сами учителя-академики несли эстафету отечественной научной мысли — передовой, демократической.

Мне импонировало товарищество, которое царило в их среде и которое с их помощью переносилось нами на деятельность общества «Знание». В стенах Общества я лишний раз убедился в том, что любая общественная организация зачахнет, выродится в бюрократический организм, если в ней не будет постоянного развития демократизма. И не только общественная организация,

но и любая государственная структура власти. Воистину без демократизма не может быть социализма!

Работая долгие годы в комсомоле, в обществе «Знание», избираясь в состав партийных комитетов, я пришел к еще одному выводу. Во всех без исключения общественных, да и государственных организациях должна постоянно происходить ротация (смена) кадров, их обновление, омоложение при непременном соблюдении принципа преемственности в работе всего лучшего, благоприобретенного предшественниками опыта.

Это, как мне кажется, диктует сама человеческая натура, психология руководителя. Любой общественный механизм и некоторые структуры государственного механизма требуют в силу своей объективной природы, чтобы основным методом руководства было убеждение, а не администрирование. Однако человек, долго «сидящий» в руководящем общественном кресле, устает (да-да, устает) все время убеждать, убеждать, убеждать… И постепенно, подчас незаметно для самого себя, он переходит на командно-административный язык — манеру, стиль руководства, а следом за ним идут по этой дорожке другие, находящиеся ближе к нему, подчиненные ему по работе сотрудники аппарата, который начинает не только осуществлять политику выборного органа своей организации, но и навязывать ему свою волю, свой интерес. Аппарат становится силой.

Разве в нашей коммунистической партии не было разрыва между народом и вождями, между простыми членами партии и аппаратом?! Разве аппарат ЦК партии не приобрел силу почти не уступающую властным функциям местного выборного органа? И так почти повсюду — сверху донизу. Не так ли? К сожалению, это имело место и привело помимо другого к печально известным последствиям и для партии, и для других общественных и государственных структур. Почему? Потому что в правящей партии не был развит демократический контроль за руководящими кадрами, за аппаратом. Это во-первых; во-вторых, потому, что сами руководящие кадры устают трудиться по демократическим принципам, а расстаться с руководящим креслом у них нет сил. И партия им в этом не помогала. Демократический контроль отсутствует или его почти нет, вот и начинает брать верх и расцветать командный метод, бюрократический стиль, вера во всесилие бумаги, отрыв от нужд живого человека, чванство и зазнайство, вера в свою непогрешимость и незаменимость.

Честно говоря, я уходил со своего поста первого заместителя Всесоюзного общества «Знание», покидал Николая Николаевича Семенова, которого я искренне полюбил, уходил от других

товарищей — своих сверстников, пришедших в Общество благодаря моей «агитации и пропаганде», потому, что за время работы в общественных организациях я стал уставать убеждать, начал чувствовать, что нередко срываюсь на обычный приказ: «Вынь да положь». А это уже было во вред большому благородному общественному делу…

Незадолго до моего отъезда со всем семейством в Пекин собрались у меня дома друзья-товарищи на прощальный ужин. Николай Николаевич Семенов был единогласно избран тамадой и покорил всех нас своим остроумием и весельем. Он так лихо и с таким упоением отплясывал кадриль, что присутствующие дамы наперебой предлагали ему свою руку. Посидели, попели о русском раздолье, о нашей Волге, вспомнили войну, подняли бокалы за светлую память не вернувшихся с ее полей, пожелали друг другу здоровья и радости и разошлись…

Зимняя Москва спала крепким сном. Проспект Мира уводил взор вверх, к центру города, туда, где жили почти все мои гости. И вниз, под гору, откуда начиналась дорога в древние Владимир и Суздаль.

Я был убежден: и все-таки путь демократизма с присущими ему методами деятельности правильный.

Глава X
ПЕКИН. ВСТРЕЧНЫЕ ВЕТРЫ

Покидая Москву, я был обязан помнить, что я русский, советский, с берегов Волги, от московских кремлевских стен, от белых соборов Владимира и Суздаля, от Покрова на Нерли. Помнить! Неизменно. Так думалось мне в морозную ночь на московском проспекте, с горящими через два на третий фонарями и темными окнами домов — мне, уезжающему в Китай с приходом уже скоро наступающего нового дня.

…В течение семи суток виделись из окон поезда, идущего на восток, города и села, реки, горы, степи. Снег, снег. Все запорошено, занесено. Накрыто белым саваном. Чисто. Светло. И этот светлый лик родной земли остался в памяти. Нет, не светящиеся в ночи города и поселки, не заводы, выбрасывающие в небесную зимнюю голубизну черный дым, а светлый лик моей Отчизны врезался в память. Эту чистую душевную приподнятость я стремился передать своим детям — Саше и Алеше, жене Алле, рассказывая о проносящихся мимо знакомых и незнакомых, виденных ранее и только теперь, впервые, местах необъятной Родины.

Советско-китайскую границу пересекли вечером, когда темнело, а утром уже были в Пекине. На вокзале под звуки песни «Москва — Пекин», традиционно исполнявшейся по прибытии поезда из Москвы, нас встретил посол Степан Васильевич Червоненко, и мы поехали в посольство. По дороге мои дети спрашивали Степана Васильевича, когда же начнется город? Посол, посмеиваясь, рассказывал им о своеобразии постройки старых китайских городов — хушунами (кварталами), сплошными стенами домов, окна которых выходят во двор и потому создается впечатление однообразия. Конечно, в центре города все по-другому.

Пекин (Бэйцзин) — один из древнейших городов Китая. Первые упоминания о населенном пункте в районе современного Пекина относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. В первом тысячелетии до нашей эры Пекин упоминается как город Цзи. За долгую историю своего существования город имел много названий. Свое нынешнее название получил в 1421 году, но в 1928 году гоминдановцы переименовали его в Бэйпин. В январе 1949 года город был освобожден от гоминдановцев и снова получил свое старое название — Пекин. 1 октября 1949 года на площади Тяньаньмынь в Пекине была торжественно

провозглашена Китайская Народная Республика, а Пекин объявлен столицей.

В Китайской Народной Республике мне довелось быть трижды: в различных местах великой страны, по разным поводам, всякий раз при иных обстоятельствах, обусловленных состоянием советско-китайских отношений как партийных, так и межгосударственных. Но всякий раз я ехал туда с единственной целью — способствовать в меру возможного, пусть даже самого малого, развитию и укреплению дружбы между советским и китайским народами. Может быть, это и звучит ныне слишком декларативно, но это так. Я снова хочу сказать о том, что в поведении моих сверстников, юность которых, формирование миропонимания были связаны как с героическими, так и с трагическими страницами отечественной истории, мне не доводилось замечать проявлений ни великодержавности, ни национализма. Они по своему духу и действиям были и остались приверженцами интернационального мышления.

…Наверное, с босоногого детства в сердце моем, на его донышке, залегла какая-то жалость к угнетенным китайским труженикам, задавленным феодалами-милитаристами, иностранным капиталом. В конце 20-х годов в наших поволжских краях, на цементных заводах Вольска часто появлялись китайские семьи. Поражали их изможденные лица, ветхая одежонка. Нет-нет да и дрогнет сердце у рабочего-цементника, сжалится он и пустит к себе на ночлег скитальцев. В благодарность они выполняли различные поделки, ремонтировали все, что попросят.

Внешний вид китайских эмигрантов вызывал сострадание. Нередко наши рабочие выделяли им из своего скромного гардероба одежду, обувь, делились продуктами. Однако китайцы, бедствуя, сохраняли чувство собственного достоинства, они подчас отказывались от предлагаемой помощи. Многонациональное население Поволжья со своими радостями и бедами осталось в моей памяти. И, когда жители немецких «колонок» оказывали китайским семьям помощь продуктами, мы воспринимали это как вполне естественное проявление общечеловеческой доброты.

Позже, в школьные и студенческие годы, мои знания о Китае расширились и углубились. Но чувство, запавшее в сердце в детстве, продолжало жить. Я до сих пор помню, как в одном стихотворении описывалась судьба китайского крестьянина Ли Чана:

…Потом на полях. Надсмотрщик зол,
Что ни день, больно бьет Ли Чана.

С тех пор, как Ли Чан на поля пришел,
Не спина у него, а рана.

Отголоски праведной борьбы китайского народа за свое национальное и социальное освобождение постепенно вырастали в убеждение правоты политики нашего государства по отношению к Китаю, ее интернациональной основы.

Разгром немецко-фашистских оккупантов в ходе Великой Отечественной войны на полях Европы для нас, солдат, означал и близость победы над японским милитаризмом, а вместе с ней и возникновение нового, свободного, народного Китая. Так думали, этого хотели, об этом мечтали. Мы восприняли победу китайской революции как новое подтверждение справедливости своего жизненного предначертания, а потому и силы. Силы не оружия, а силы веры в торжество справедливости, социализма.

Никогда я не думал и не загадывал побывать в Китае, на полях, где «без надсмотрщика трудится Ли Чан». Но судьба распорядилась по-своему.

В начале 50-х годов по приглашению Центрального комитета ВЛКСМ в Москву прибыла китайская молодежная делегация. Возглавлял ее товарищ Ху Яобан, теперь уже ушедший в мир иной, но оставивший о себе добрую память. В то время он был первым секретарем ЦК комсомола, а спустя более четверти века, в 80-х годах, пройдя большую школу партийной и государственной работы, испытав преследования во время «культурной революции», стал Генеральным секретарем Центрального комитета компартии Китая.

Встречи и беседы с членами делегации представляли для всех нас несомненный интерес. У многих китайских товарищей был уже немалый опыт работы с молодежью в военных условиях. Ху Яобан, например, в рядах китайского комсомола состоял с 15 лет, избирался секретарем волостной ячейки и секретарем в уезде Люян провинции Хунань. Во время Великого похода китайской Красной армии трудился в армейском комсомоле. Ху Яобан всегда был приветлив, любил шутку, острое словцо, обладал живым умом и способностью быстро схватывать суть явления, проецировать его на китайскую действительность. Словом, он произвел тогда на нас впечатление надежного товарища, с которым можно было, не оглядываясь, как мы говорили, «идти в разведку».

У комсомола 30—40-х годов за плечами был неповторимый опыт, сложившиеся традиции. Мы верили, что этот опыт небезразличен для китайских товарищей. И не ошиблись.

Видимо, не могла не сказаться и уникальная история взаимодействия революций в России и Китае.

Посланцев из Пекина, казалось, интересовало все и прежде всего функционирование комсомола во всех его звеньях, от первичных организаций до ЦК, во всех взаимосвязях с партийными, общественными организациями и их органами. Особое внимание, как мне помнится, они уделяли проблемам участия комсомольских организаций в восстановлении народного хозяйства после Великой Отечественной войны, системе образования общества, идеологии, вопросам социальной защищенности юношей и девушек, преломлению их интересов в будничной практике комсомольских организаций.

Наверное, некоторым читателям покажется, что я делаю акценты именно на таких аспектах деятельности ВЛКСМ в те годы, которые ныне «не в моде», подвергаются критике как «отжившие», «устаревшие» и якобы явившиеся объективными в ряду других причинами развала ВЛКСМ. Конечно, было бы наивно думать, что общественный организм статичен в своей деятельности, живет по раз и навсегда заведенному порядку. Конечно нет. Подобный подход равносилен смерти любого общественного организма, особенно молодежного, каким был комсомол. Но вместе с тем в опыте, в традициях ВЛКСМ есть непреходящие ценности и прежде всего в его связях с жизнью, с практикой нашего многонационального народа. Без практических дел любая общественная организация, да и любой государственный орган превратится из работающего в болтающий. И внимательный читатель это знает по сегодняшнему опыту государственной и общественной жизни.

Время придет, и молодая поросль будет с таким же прилежанием и вниманием относиться к прошлому опыту ВЛКСМ, как это делали в свое время китайские товарищи, трансформируя его применительно к своим специфическим условиям и задачам. В изучении нашего опыта задавал тон своим товарищам Ху Яобан. Маленького роста, сухонький, с живыми глазами и большими ушами (что, как говорят в народе, признак незаурядного ума), он, как мне казалось, стремился к познанию от частного к общему тех принципов, которые должны лежать в основе функционирования многомиллионной общественной, самостоятельной организации в стране, населенной многочисленными нациями и народностями, избравшей путь социалистического развития.

Для нас, советских комсомольцев, общение с делегацией китайского Коммунистического союза молодежи во всех отношениях было не только интересным, но и полезным. Нас

радовало, что побратим Ленинского комсомола Коммунистический союз молодежи Китая растет и крепнет, а воздействие обоих наших союзов на международное юношеское движение усиливается. Мы с большим вниманием слушали рассказы о достигнутых успехах, о сложностях и трудностях в строительстве нового мира. Нам был понятен, как никому другому, пафос созидания нового Китая, которым была охвачена китайская молодежь. Советский народ в неимоверно короткие сроки в основном восстановил разрушенное немецко-фашистскими агрессорами народное хозяйство…

Приходят новые «герои нашего времени», которые пытаются переписать историю под себя, под свои подчас корыстные, властолюбивые интересы. Естественно, правда жизни рано или поздно возьмет свое, и эта плесень будет снята. Однако, думаю, что нашему народу стоило бы поучиться в оценке собственной истории у китайского народа, который на своем пути не избежал трагического, чуждого идеям социализма, но который свято оберегает социальные и нравственные ценности, приобретенные в новейшее время на своем историческом пути.

Не надо быть мудрецом, чтобы понять, что достаточно уничтожить самобытность и индивидуальность нашего народа, оболгать его историю, перевернуть с ног на голову ценности, посеять в нем равнодушие к собственной судьбе, постоянно впрыскивать ему чуждые, растлевающие духовные наркотики — и от народа ничего не останется.

Шумят и гомонят от радости некоторые из старо-новых ортодоксов «демократии» оттого, что страна наша становится якобы частью «цивилизованного» мира. Ведь на углу Тверской производятся сандвичи от Макдоналдса, открыты сотни казино, продают наших девчат в публичные дома Запада, бесчинствуют мафия и рэкет. Существует массовая безработица, нищета, и, судя по всему, мы уже присоединяемся к так называемому цивилизованному миру. Но ведь все это есть не что иное, как бесспорное проникновение совершенно чуждого нашему духу. Разве подобное обезьянничание есть путь выхода на столбовую дорогу цивилизации?!

Да и что считать столбовой дорогой? Это в конечном счете главный вопрос. Контуры сооружения «нового» общества, которые вырисовываются сейчас, с грабительской приватизацией всего нажитого за долгие десятилетия трудом народа, с мэрами, префектами, наместниками, посаженными говорунами на шею народа и тому подобным, по своей сущности, духу и форме мало чем похожи на Россию. Вспомним Федора Тютчева, который в 1867 году писал:

Напрасный труд — нет, их не вразумишь,
Чем либеральнее, тем он пошлее,
Цивилизация для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Провозглашая Европу нашим домом, в котором нас хотят расположить, радетели этой идеи — односторонни. Они как бы оставляют открытым вопрос об остальном мире и прежде всего об Азии, о нашем непосредственном великом соседе — Китайской Народной Республике. После долгой размолвки пока не во всем совпадают представления о проблемах современного мира. Но одно несомненно — Китай, китайский народ стоял ближе к Стране Советов, русскому советскому народу по своему мировоззрению, по своей идеологии. Самой природой, историей нам предопределено жить в согласии и идти вместе.

Однако вернемся к теме нашего повествования, хотя отвлечения от нее как раз и навеяны воспоминаниями о прошлом.

Вскоре после отъезда делегации во главе с Ху Яобаном из Москвы в ЦК ВЛКСМ пришло приглашение ЦК комсомола Китая направить делегацию советской молодежи в КНР для обмена опытом работы и участия во всекитайском слете молодых передовиков труда. Приглашение, естественно, было принято. По договоренности с китайскими товарищами было решено сформировать такую делегацию, члены которой могли бы прямо на рабочем месте показать китайским коллегам свои производственные успехи. В делегации были представлены различные основные для того времени специальности: сталевар из Магнитогорска и токарь-скоростник из Ленинграда, шахтер из Донбасса и буровой мастер из Азербайджана, прядильщица из Ташкента — всего 20–25 человек (к сожалению, в памяти стерлись фамилии моих товарищей). Возглавлял делегацию секретарь ЦК комсомола В. Залужный. Срок нашей командировки был продолжительным — около месяца. И весь этот период пребывания в Китайской Народной Республике, несмотря на большую нагрузку, стал для нас настоящим праздником.

Повсюду нас принимали радушно. В некоторых городах Северного, Центрального и Южного Китая на встречи приходили десятки тысяч молодых людей. Нередко мы с трудом, долго

продвигались по «живому» коридору. Улыбки, рукопожатия, объятия, приветствия выражали чувства взаимного уважения, тягу молодости двух великих народов — советского и китайского — друг к другу. Они свидетельствовали о широте и глубине человеческих чувств.

Мы искренне верили в дружественные взаимоотношения наших стран, развивавшиеся после победы китайской революции в 1949 году и образования Китайской Народной Республики. Эту дружбу признавали руководители Китая и способствовали развитию братских отношений между нашими народами и государствами. Китайские товарищи с благодарностью говорили о той большой помощи, которую Советский Союз оказывал КНР. «Старший брат», как тогда нас называли в Китае, искренне радовался успехам своего соседа в строительстве новой жизни. Мы, конечно, видели, что наши китайские сверстники весьма скромно одеты, не всегда сыты, в домах их убогая утварь… Но уровень жизни китайского народа уже тогда был выше, чем до установления народной власти. Все это чувствовали, гордились первыми успехами. Мне понравилась атмосфера, царившая тогда в стране, обстановка всеобщей приподнятости, отрешения от мелкого, обыденного. Потому и встречи членов нашей делегации с китайскими юношами и девушками были отмечены какой-то внутренней взаимной одухотворенностью, порожденной величием исповедуемых нами общих идей и постепенным продвижением вперед по пути их осуществления в исторической перспективе, утрата которой, как мы были убеждены, могла привести к движению вспять. Пугал возможный возврат к эксплуатации человека человеком со всеми известными социально-политическими и нравственными последствиями.

Наша делегация работала с полной отдачей. В городе Анышань на металлургическом комбинате, сооруженном при содействии СССР, наш сталевар с Магнитки вместе с китайскими помощниками сварил первоклассную сталь за невиданно короткое время. На следующий день китайский сталевар, следуя методам и приемам нашего сталевара, перекрыл время его плавки, а затем и другие сталевары стали варить сталь таким же способом и за столь же короткое время. Экономический эффект был поразителен. Местные и центральные газеты подробно рассказывали об этом опыте. Опубликовали приветственную телеграмму Мао Цзэдуна в адрес нашего и китайских сталеваров. А на одном из перегонов железной дороги под Шанхаем наш машинист впервые в Китае провел тяжеловесный скоростной состав. За ним провели такие же поезда китайские машинисты. Токарь из Ленинграда успешно обучал коллег скоростной резке

металла на заводах Мукдена.

…Повсюду делегаты советской молодежи делились своим профессиональным опытом с китайскими товарищами. Слово «дружба» воплощалось в дела: в сверхплановые тонны металла, угля, перевезенные грузы, выточенные детали, метры ткани. Советские юноши и девушки своими делами утверждали в сознании миллионов граждан КНР бескорыстие и благородство советско-китайской дружбы.

Сколько было восторженных рассказов о виденном и свершенном после того, как вся делегация снова собралась в Пекине! И на всекитайский слет мы — делегация — шли как свои. Нас знал, наверное, весь пролетарский Китай!

Здесь, за стенами древнего Императорского города, в зале Хуайжэньтан, на слете, я впервые увидел все руководство тогдашнего Китая во главе с Мао Цзэдуном: Чжоу Эньлая, Чжу Дэ, Дэн Сяопина, Пэн Дэхуая, Пэн Чжэня и других. Тогда, на слете, не думал я, что пройдет немногим более десяти лет и мне, уже в качестве советского дипломата, придется встречаться со многими из них в стенах Императорского города и вне его.

К великому сожалению, это было уже другое время, со своими, присущими только ему особенностями. Весна и лето с их теплыми отношениями между СССР и КНР сменились затяжными дождями и осенними туманами, сквозь которые подчас трудно было разглядеть причины их возникновения и кто за этим стоит. В этих условиях надо было ясно увидеть желаемое хорошее будущее этих отношений.

Вот в такую политическую погоду я приехал в Пекин. Это было мое второе посещение Китая, но уже с семьей, в качестве сотрудника посольства.

Посольство наше располагается на большой территории, почти в 16 гектаров, приобретенной еще Петром I у китайских императорских властей для русской Православной духовной миссии. Конечно, с тех пор она благоустраивалась, перепланировывалась, а ко времени нашего приезда представляла собой прекрасный парк, изрезанный каналами, по периметру которого стояли здания посольства, торгпредства, резиденция посла, клуб, гараж, мастерские по ремонту и пошиву обуви и одежды, бани, другие служебные постройки. Хозяйство посольства и торгпредства было немалым. Да и советская колония в Китае была превеликая. В годы наилучших отношений между СССР и КНР она достигала в целом по Китаю более 10 тысяч человек. На территории посольства были теннисные корты, спортивные площадки, бассейн, пруд. Словом, условия для работы были весьма удовлетворительные. Я с семейством

разместился в левом крыле посольства над его святая святых — шифровальной службой. Квартира была удобная, хорошо меблированная. Питались мы, как и все сотрудники посольства и торгпредства, в столовой. Китайские повара готовили наши и местные блюда. За время работы в посольстве я так и не привык к специфичности вкусных, как уверяли знатоки, и разнообразных блюд китайской кухни, насчитывающей десятки веков. Ел свое: щи да кашу — пищу нашу.

Посла Червоненко я до этого не знал, но был наслышан о нем от товарищей с Украины, где он успешно трудился в качестве секретаря ЦК КП Украины и откуда Н.С. Хрущев возил его с собой в Пекин во время очередного визита. Степан Васильевич своей добротой и интеллигентностью, умом и профессиональными знаниями оказал мне очень большую помощь в познании проблем советско-китайских отношений. Помог и коллектив посольства, среди которых было немало самостоятельно мыслящих и способных работников. Но были и такие, которые держали «нос по ветру», а отдельные из них, достигнув определенных служебных высот, собственной беспринципностью и угодливостью перед высшим начальством внесли в годы застоя свою лепту в осложнение отношений между СССР и КНР.

А спорных проблем в этих отношениях становилось все больше: обострились и давали себя знать разногласия в сферах межпартийной и межгосударственной практики, создавая напряженность. Это касалось обмена информацией, экономического, научно-технического сотрудничества, отношения к советским специалистам.

В апреле 1960 года в Пекине был опубликован сборник под названием «Да здравствует ленинизм!», в котором, по существу, разногласия в практической политике переносились и в область теории, и прежде всего разногласия по коренным проблемам международного развития, по главным вопросам стратегии и тактики революционного движения. Выход в свет этого сборника обозначил начало открытых идейных споров между Москвой и Пекином.

На моих глазах подрывались наведенные ранее мосты в советско-китайских отношениях. В 1961 году по настоянию Пекина товарооборот между двумя странами был установлен почти наполовину ниже фактического в предыдущем году; объем поставок комплектного оборудования в 1962 году уменьшился до 5 процентов. Отношение к нам, советским людям, официального Пекина было уже не то, что в мое первое посещение КНР, да и в народе стала ощущаться какая-то настороженность.

В этой ситуации наше посольство выдвигало перед Москвой

одно предложение за другим, дабы остановить процесс ухудшения отношений с КНР, найти новые направления, которые бы вели к развитию добрых отношений. Москва, как правило, поддерживала эти предложения. Однако становилось очевидным, что любые конструктивные меры с советской стороны будут Пекином отклонены. Более того, стали возникать инциденты на советско-китайской границе.

На протяжении всего моего пребывания в Пекине передо мной, как и перед другими дипломатами, стоял один главный вопрос: почему и во имя чего рушатся добрые отношения между великими народами и странами, принадлежащими к одному и тому же общественному строю и типу государств?

Вряд ли в этих заметках я дам на него ответ, ибо он неоднозначен. Но, как мне представляется, ответ лежит в поведении главных носителей этих отношений, творцов «большой политики». Приведу пример.

Весной 1962 года, если не изменяет память, в апреле, начался массовый переход жителей Синьцзяна через советско-китайскую границу на территорию СССР. Шли они, как рассказывали очевидцы, целыми семьями — от мала до велика — со своим небогатым имуществом. Шли, уходя от национальных притеснений и возникших на этой почве трудностей жизни.

В связи с этим я (посол С.В. Червоненко находился в Москве) был вызван Премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. В переданной мне ноте правительство КНР возлагало вину за этот массовый переход на советскую сторону, квалифицировало как дело рук «советских ревизионистов» и требовало воспрепятствовать переходу, прекратить его. Естественно, я отвел все претензии и сказал, что именно китайская сторона должна убедить своих граждан не идти на этот крайний шаг. Предложил прислать наших представителей для разъяснительной работы среди беженцев, воспрепятствовать этому переходу, прекратить его и спросил премьера, как он мыслит осуществить это. «Не знаю как, — ответил он, — это ваша забота». «Но люди идут с вашей стороны, пересекают сначала вашу границу, почему же китайская сторона их не остановит?» — говорил я. «У нас нет на это сил», — утверждал Чжоу Эньлай. «Значит, вы предлагаете советской стороне использовать силу, — отвечал я. — Но вы же прекрасно понимаете, что советская сторона никогда не применит силу против детей, стариков, женщин, против мирного населения, это было бы чудовищно». «Остановить исход людей с китайской стороны должны советские власти!» — в этом духе продолжал Чжоу Эньлай. Заканчивая беседу, я сказал, что переданную мне премьером ноту правительства КНР я немедленно доведу до

сведения правительства СССР.

Мне вспомнилась эта встреча с Чжоу Эньлаем еще и потому, что с его стороны не чувствовалось уверенности в правоте того, о чем он говорил и на чем настаивал. Он пересказывал, как мне казалось, чьи-то мысли или слова и, не разделяя их, изменял самому себе — своей обычной энергичной напористости, живости мысли, способности к убедительной аргументации. В беседе эти и другие превосходные качества Чжоу Эньлая отсутствовали, как говорится, напрочь. Он не походил на самого себя.

Не раз я отмечал про себя, что Мао Цзэдун поручает Чжоу Эньлаю выполнение особо острых акций, направленных против советской стороны (вспомним хотя бы широко известное выступление Чжоу Эньлая на XX съезде КПСС). В этом невольно просматривалось стремление высшего руководителя КНР как-то сбить тот авторитет и ту популярность, которую приобрел Чжоу Эньлай у советского народа как выдающийся деятель народного Китая.

Не является ли приведенный пример подтверждением того, сколь значим был субъективный фактор в оценке тех или иных явлений и событий, имевших место в отношениях СССР и КНР? Мао, конечно, прекрасно понимал истинные причины массового перехода (более 60 тысяч человек) жителей Синьцзяна через советско-китайскую границу и потому не должен был использовать его в целях дальнейшего ухудшения советско-китайских отношений. Но и на сей раз он использовал подобный «хитроумный» прием.

Имели место, к сожалению, и с нашей стороны действия, которые били по самолюбию китайских руководителей, и прежде всего Мао. Один (вождь) не хотел уступать другому (лидеру), представители высокого руководства одной стороны пытались согнуть представителей другой, ударить по их престижу, показать свои силовые возможности.

Вот тому пример. Получаю указание из Москвы посетить Чжоу Эньлая и ознакомить его с текстом проекта Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом указано: текст зачитать, в руки не передавать, что меня крайне удивило, ибо текст был весьма пространным. Премьер Госсовета меня радушно принял. После взаимных приветствий я сказал ему о цели визита, деликатно упомянув, что буду читать. Неудовольствия Чжоу Эньлая нельзя было не заметить. Но он мне ничего по этому поводу не сказал, вызвал стенографистов, и я начал читать. Читаю час, два, на третий час премьер, сославшись на занятость, перенес чтение на следующий день. Прощаясь со мной, он спросил, не мог бы я все-таки передать ому текст проекта

Договора. От прямого ответа я ушел, надеясь запросить об этом Москву. Запросил, однако руководство положительного ответа на просьбу не дало.

На следующий день часа за два я закончил чтение проекта. Чжоу Эньлай после некоторой паузы сказал буквально следующее: «Передайте своим в Москву, что Китай — великая страна. Китай непременно будет иметь свое собственное атомное оружие».

Спустя некоторое время после этой встречи с премьером Госсовета КНР проект Договора о нераспространении ядерного оружия, который я ему читал с перерывом два дня, был опубликован в нашей и в американской печати. Я был поражен. Мне стыдно было попадаться на глаза Чжоу Эньлаю. Представляю, какая реакция была у руководства КНР.

Анализируя советско-китайские отношения, процесс их обострения, я все больше убеждался в том, что их основная причина проистекала из особенностей характера и поведения тогдашних лидеров Советского Союза и КНР. Конечно, каждый из руководителей КПСС и КПК формировался в специфической обстановке, но настроения, как я мыслил, не должны были отодвигать высшие цели интернационального сплочения социалистических государств.

Беды нашей страны, кровоточащие ее раны (особенно после ввода войск в Афганистан) позволили реально оценить основные причины субъективистского подхода наших лидеров к сложным проблемам советско-китайских отношений. Эти причины связаны прежде всего с отсутствием демократических институтов, в том числе институтов контроля за деятельностью первых лиц. Это актуально, на мой взгляд, и для сегодняшнего дня, когда имеет место отчуждение народа от принятия жизненно важных для страны решений. Или неисполнение его воли, что имело место после референдума по вопросу: быть или не быть Союзу Советских Социалистических Республик? Большинство участвующих в референдуме высказалось за Союз и именно за Союз Социалистических Республик, а власти вместо этого развернули процесс разрушения Союза, и прежде всего его социалистической природы.

Свою точку зрения мне в то уже далекое время удалось перепроверить, в частности, в беседе с президентом Демократической Республики Вьетнам товарищем Хо Ши Мином.

Летом 1962 года в посольство позвонил помощник президента ДРВ и сообщил мне, что товарищ Хо Ши Мин находится сейчас в Пекине и хотел бы позавтракать с советскими товарищами. Я с радостью и почтением пригласил товарища Хо

Ши Мина в посольство на завтрак к 9 часам утра. На что помощник сказал, что президент встает рано и хотел бы прибыть на завтрак к 5.30 утра.

Товарищ Хо Ши Мин пробыл у нас в посольстве целый день, уехал под вечер. Мои коллеги и я с восхищением слушали его воспоминания о пережитом, размышления о днях бегущих, о возможностях будущего.

Я был покорен благородной простотой этого большого человека, бескорыстного коммуниста, чей талант, знания, сила воли воистину были сполна отданы благородной идее.

Однако в данном случае речь идет о другом — о советско-китайских отношениях. Когда об этом зашла речь, товарищ Хо Ши Мин выразил свою обеспокоенность состоянием советско-китайских отношений и тем, каким тяжким грузом это ложится на Вьетнам. «Как трудно строить политику в этой обстановке, — сетовал президент. — Ведь над ДРВ сверху стоит такая сила!» Я спросил, какова, по его мнению, природа разногласий между СССР и КНР, КПСС и КПК. Хо Ши Мин с грустью и как бы мимоходом заметил, что между ним и мною дружеская беседа старого с молодым: «Кто знает, как сложится ваша жизнь; может быть, что-то пригодится в ней и от меня?» «Думаю, — говорил президент, — что в данном случае, природа разногласий такова, что в нем (о ком именно идет речь было ясно) слишком велико желание воздействовать на весь мир, быть его учителем, вождем, знаменем, используя авторитет страны, возможности ее многомиллионного народа. Но и другой вам не дает спуску», — с горечью продолжал Хо Ши Мин.

Запись этой моей беседы с президентом ДРВ товарищем Хо Ши Мином в Москву передана не была. Я не мог позволить, чтобы кто-то другой прикоснулся к ней: слишком доверительной она была, а доверием надо дорожить. Сейчас я воспроизвожу ее фрагменты с единственной целью: опыт советско-китайских отношений нельзя не учитывать во внешнеполитической практике.

Страсти в спорах вокруг авторитета «вождей» особенно накалились во время встречи делегаций КПСС и КПК, состоявшейся по инициативе советской стороны в Москве в июле 1964 года. Немало пришлось приложить усилий, чтобы эта встреча состоялась. К тому времени прошло уже более года, как я был отозван из посольства в Китае на работу в качестве заместителя заведующего Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, которым руководил секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов.

Юрий Владимирович искренне и последовательно отстаивал

линию на развитие добрых отношений между КПСС и КПК, СССР и КНР. В ряду других весьма значимых партийных и государственных вопросов, входивших в его лично и Отдела ЦК компетенцию, проблема советско-китайских отношений являлась для него первостепенной. Решению ее Ю.В. Андропов отдавал свой ясный ум, большое сердце, уже тогда, к сожалению, дававшее сбои, свои недюжинные способности и большую работоспособность. Чего ему, как и другим в то время, не хватало, так это смелости перед вышестоящими. Конечно, в Отделе он был генератором идей и организатором их воплощения в жизнь. Он, говоря его словами, брал «ручку в ручку» и писал, переписывал, передиктовывал то, что к нему поступало. И странно сейчас читать публикации отдельных бывших консультантов Отдела, которые ныне выдают себя за единственных поставщиков идей для «вождей», а тогда не имели ни политического, ни практического опыта, но умели складно писать на заданные темы, используя свои картотеки из цитат, пригодные на все случаи жизни.

Ю.В. Андропов в те времена мне нравился. Несмотря на противоречивость его натуры, с ним было легко работать. Может быть, еще и потому, что в нас сидела «комсомольская закалка», простота и честность в отношениях. Юрий Владимирович умел создавать обстановку, побуждающую к размышлениям, анализу, взвешенности в оценке явлений, фактов, процессов, а тем более принимаемых решений. «Мы с тобой, — говорил он, — не имеем права на ошибку — за нами ЦК».

Но вернемся к советско-китайской встрече летом 1963 года.

Н.С. Хрущева удалось убедить в необходимости проведения такой встречи в надежде предпринять еще одну попытку остановить ухудшение советско-китайских отношений, найти пути к их нормализации и развитию на основе прежней дружбы, взаимовыгодного сотрудничества.

К сожалению, ни эта встреча, ни другие предпринимаемые ранее с нашей стороны шаги не привели к положительным результатам. Дело свелось не к обсуждению конструктивных предложений по улучшению советско-китайских межгосударственных отношений, а к выяснению отношений межличностных и перебранке по поводу того, где, когда и что плохого сказал Н.С. Хрущев о Мао Цзэдуне, а Мао о Хрущеве. Эта встреча лишний раз убедила меня в правоте моих взглядов на первопричину ненормального состояния советско-китайских отношений. Но время встречи представители КПК продолжали отстаивать свои «особые» позиции, которые наша делегация оценила как мелкобуржуазный ревизионизм, а китайская

делегация в свою очередь охарактеризовала нашу политику как ревизионистскую. Но инициативе китайской делегации эта встреча была прервана. Советско-китайские отношения продолжали ухудшаться.

Подчеркивая значение субъективного фактора в советско-китайских отношениях, я, конечно, не открываю Америки и не хочу ее открывать. Политику делали и делают люди. Я хочу напомнить о величайшей ответственности людей, творящих политику, о том, какой дорогой ценой расплачиваются народы за их ошибки и просчеты.

За любой просчет ведущего государственного деятеля народ неизмеримо больше расплачивается, нежели за ошибки обычного политика. Талант, способности, кругозор, политическое чутье, несомненно, важнейшие качества политического лидера, которые страхуют от просчетов при формировании политики. Но субъективный фактор и роль его тесно связаны, я не боюсь повториться, со степенью развитости в обществе правового механизма. Бездарные лидеры появляются в обществе, где отсутствуют демократические институты.

Слом советско-китайских отношений ложился тяжким камнем на души советских людей. Он не встречал единодушной оценки в народе, отвлекал силы от решения внутренних проблем, порождал сложности в международном рабочем движении, усиливал позиции недругов.

В последний раз я побывал в Китае на праздновании 15-й годовщины образования Китайской Народной Республики в составе советской партийно-правительственной делегации. К тому времени в Отделе ЦК КПСС я уже не работал, а возглавлял Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию.

В Пекине почти ничего внешне не изменилось. Да и в советско-китайских отношениях тоже. В Китае по-прежнему у власти находился Мао Цзэдун. Октябрьский (1964 года) Пленум ЦК КПСС избрал первым секретарем Центрального комитета партии Л.И. Брежнева. Наши надежды попытаться во время пребывания в Пекине провести переговоры с руководством КПК и КНР о возможностях поворота в советско-китайских отношениях к лучшему не дали желаемых результатов. Увозили мы с собой из Пекина разочарование и фотографии на память о встречах с Мао Цзэдуном и другими руководителями Китая. На фотографиях каждый из нас выглядит склонившим голову перед Мао. Это лишь потому, что мощные светильники сильно били в глаза при подходе к «великому кормчему» и невольно надо было склонять перед ним голову. Несклоненными наши головы видны лишь на фотографии с изображением делегации на трибуне на площади

Тяньаньмынь, недалеко от Мао, рядом с другими китайскими руководителями (фотография эта была воспроизведена и в газете «Жэньминь жибао»). Она интересна тем, что может засвидетельствовать, кого из них и какая участь постигла в ходе «культурной революции», которая уже была не за «китайской стеной», — кто ушел в мир иной, а кто вернулся к активной политической деятельности. Я рад, что среди вернувшихся был и Ху Яобан, наш старый комсомольский друг.

…Много уже прожито в этой жизни, а другой нет и быть не может. Но в сердце моем, как в детстве, живет, несмотря ни на что, чувство дружбы к китайскому народу, вера в нашу дружбу, в счастье наших народов. Ведь оно выстрадано, оно должно прийти непременно.

В настоящее время — может быть как никогда ранее — для нас весьма поучителен опыт китайских коммунистов, народа Китая, приобретенный ими на пути модернизации своего общества. Главное при этом состоит в том, что КПК утверждает свой путь к социализму, с каждым годом повышая жизненный уровень более чем миллиардного населения своей страны. И это не чудо, упавшее на Поднебесную, а результат живой повседневной практики рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции, молодых и старых, следующих за своей коммунистической партией. Китайский народ оказался мудрее…

В истории наших народов и стран много общего: к течение веков складывались многонациональные государства, крепла дружба народов в рамках единых государств, в недрах общества нарастали революционно-демократические силы, под руководством которых наши народы избрали социалистический путь развития, шли вперед по пути прогресса, преодолевая нищету, освобождаясь от капиталистического, помещичьего и прочего социального и национального гнета.

Китай продолжает идти по социалистическому пути. У его руководителей хватило мудрости открыть в социалистическом строе новые потенциальные возможности для прогрессивного развития, и этим они внесли свой вклад в мировую цивилизацию.

У наших руководителей или не хватило на то мудрости, или они, заранее сговорившись, пошли на обман советского многонационального народа. Объявив в апреле 1985 года курс на перестройку, они сначала прикрывали ее социалистической перспективой, а затем, открыв путь антисоциалистическим силам, сбросили с себя маски и стали помогать круто поворачивать страну вспять — в капитализм, насилуя естественно-исторический процесс. Конечно, из политического руководства, начавшего «перестройку», не все оказались предателями дела

социализма, не все стали перевертышами, не все пошли по пути ликвидации державности Родины. Из моего поколения — единицы. Основное ядро людей, поправших идеалы социализма, выходцы из поколения 60-х годов. Одни окопались около Президента СССР и Президента России, бегая от одного к другому. Другие ушли с политической арены. Третьи, по молодости, еще не вступили на нее. Но время придет, и они — свежие силы — обязательно встанут в авангарде народа на защиту социализма.

Мое поколение, пережив многое, не доходило еще до такого состояния, когда у него на глазах стали бы рушить отчий дом — державу, а оно оказалось бессильным противостоять этой дикости. Веками, а не только за почти 90 лет чернимой теперь и всячески поносимой советской власти воздвигалась она — державность — посредством межнационального, межгосударственного, духовного взаимодействия народов. Власти предержащие, взобравшись на верхушку государственной пирамиды при поддержке ярых националистов, толкают нашу державу в историческое небытие. Чего здесь больше — исторической безграмотности, недомыслия или сознательного злодейства?! Наверное, последнего!..

Надо понять, осознать до конца и как можно скорее, что на смену державности — государственной целостности — придет не только исторически длительный, но и болезненный процесс формирования новых государственных образований со сложными территориальными, этническими, экономическими проблемами. Две трети народа еще помнит, что они голосовали за единство страны, а честные историки опишут, к чему привела митинговая и парламентская болтовня о суверенитете — «хватай его, кто сколько может».

Они, наверное, расскажут потомкам о том, что события 19–21 августа 1991 года, названные «путчем» (слово-то не нашенское), превратили нашу великую державу в осколки. Грозную реальность всего происходящего после 21 августа 1991 года можно было бы свести к знаменателю, который состоит из развала советской социалистической державы и образования конгломерата суверенных национальных образований, становящихся на капиталистический путь. В числителе же этой дроби — обнищание народных масс на экономических развалинах. Искомое этой дроби состоит в том, что в народе будет постепенно вызревать и нарастать революционная патриотическая сила. Конечно, коммунисты не забудут, как они были преданы своими руководителями. Коммунисты будут помнить и использовать положительный опыт КПСС. Их

патриотизм выльется в другие организационные формы, которые с успехом будут не только противостоять «демократам», стоящим у власти и стремящимся как можно скорее повести страну по капиталистическому пути, но и преодолеет их, ибо у патриотов своя правда о России, о бывшем Союзе Советских Социалистических Республик. Эту правду не совместить с кривдой. Патриотические силы могут быть в союзе с демократами, если последние пойдут по пути спасения Родины. Патриотические силы будут к ним в оппозиции, если их действия пойдут во вред державности Отечества, счастью и благополучию его народов.

С чего начать патриотическим силам? С консолидации всех, кому дорога Родина. Что делать патриотическим силам? Приостановить дальнейший развал экономики. Приостановить стремительно раскручивающуюся спираль инфляции. Ликвидировать очаги межнациональной напряженности и тем самым сохранить Российскую Федерацию. Восстановить единую армию как оплот государственности, независимости страны. Восстановить международный авторитет государства, его державность, прекратить политику превращения страны в международную побирушку, выклянчивающую различные виды подачек.

Надо, чтобы объединенные патриотические силы объяснили народу, что в ходе войны за суверенитет граждане нашей многонациональной страны приобрели призрак рынка, беспрепятственный взлет коррупции, называемой «первыми шагами к рыночной экономике», почти неограниченные права, если говорить о России, для кучки демократов, которые не ведают, как ими распорядиться, получили свободу дезинформации общественности, приватизацию, больше похожую на беззастенчивое расхищение государственной собственности.

Вместе с тем это была война против коммунистов, а не против партократов и неограниченной власти вождей. Патриотические силы, в которые, несомненно, вольются миллионы коммунистов, обязаны рассказать народу о том, что политические игры в борьбе за власть снова приводят к вождизму в виде почти неограниченной власти президента.

И еще одно, от чего трудно удержаться, полагая, что сказанное будет к месту. Нынешние «демократы-партократы» и к ним примкнувшие напоминают тот тип господ, о которых писал наш великий Достоевский: «Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить: ни концов, ни начал, все свито и сверчено в клубок… глаза выпучишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно народившийся». Дурманит этот

тип людей наш народ. Но дурман ведь тоже проходит.

Вот такие мысли о днях наших сегодняшних разбередили во мне воспоминания о Китае, об опыте социалистического строительства его народом под руководством коммунистической партии. Социалистические перспективы КНР определены, они идут в русле развития мировой цивилизации, всемирного прогрессивного исторического процесса.

Глава XI
В «БОЛЬШОМ ДОМЕ»

С нашим великим соседом Китаем и его столицей Пекином я распрощался совершенно неожиданно. В посольство позвонил Юрий Владимирович Андропов и предложил мне перейти на работу в аппарат Центрального комитета КПСС в качестве его заместителя в Отдел по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, который он возглавлял. Свое предложение он мотивировал тем, что в отделе и в ЦК необходимо усилить работу на китайском направлении, глубже анализировать все аспекты межпартийных и межгосударственных отношений, оперативно откликаться на быстро меняющуюся ситуацию. Андропов сказал также, что посол Червоненко, который в ту пору находился в Москве, в случае моего согласия возражать не будет. Я ответил Юрию Владимировичу согласием и поблагодарил его и товарищей из ЦК за оказанное доверие.

Я повесил трубку телефона ВЧ-связи[8], перешел из служебного кабинета домой, рассказал жене о сделанном мне Андроповым предложении.

С Юрием Владимировичем Андроповым я впервые познакомился незадолго до этого. Он по служебным делам летел из Москвы в Ханой и делал остановку в Пекине, в нашем посольстве. И я пригляделся к нему.

Немного выше среднего роста, с выраженной сутулостью, он ходил чуть расставив ноги в стороны (наверное, это осталось от времен, когда он был матросом на волжских пароходах), наклонившись корпусом вперед, и все это производило впечатление внутренней устремленности к какой-то ему одному известной цели. Его довольно мощную фигуру венчала большая седая голова, с широким и высоким лбом, скрытыми под стеклами очков глазами, внимательными и немного грустными, крупным носом и полными губами. Его облик был привлекателен.

Посла на месте не было, и потому все, что интересовало Андропова, в конечном счете адресовывалось мне. Его интересовало состояние советско-китайских и китайско-вьетнамских отношений, в том числе информация, дополняющая официальные донесения посольства в Центр, свежие факты, личное восприятие, ощущение самой атмосферы, царящей в народе и верхах Китая. Юрий Владимирович по ходу беседы вытаскивал из меня то, что, как мне казалось, не может представлять интерес для секретаря ЦК вследствие своей

обыденности, будничности. Позднее, работая с ним бок о бок в отделе, я понял, что его мышлению более присущ ход мыслей от частного к общему. Однако это не мешало ему доходить в своем анализе того или иного факта, общественного явления до его обобщения, вскрытия его диалектической сущности. Со временем я убедился в том, что у Андропова достаточно развиты возможности для стратегического и тактического политического мышления.

Смысл бесед Андропова со мной состоял в перепроверке его собственных оценок состояния советско-китайских отношений, их разносторонности и прежде всего межпартийных отношений между двумя правящими в своих странах коммунистическими партиями. Для каждого мало-мальски искушенного в политике было очевидно, что от характера этих отношений зависит многое, как в странах, составлявших в то время лагерь социализма, так и в международном коммунистическом и рабочем движении, национально-освободительных движениях, в мире вообще.

Андропов выкроил время и для того, чтобы встретиться с коллективами посольства, торгпредства, сотрудниками аппарата экономического советника и других советских учреждений в Пекине. Он обстоятельно и откровенно, нередко с улыбкой отвечал на задаваемые ему вопросы. Но главное состояло в том, что он еще раз подчеркнул важность для нашего Отечества нормализации советско-китайских отношений. Это было необходимо еще и потому, что некоторые сотрудники, видя нежелание властей КНР идти на возвращение китайско-советских отношений в прежнее русло дружбы и плодотворного сотрудничества, начали не только проявлять наплевательское отношение к делу улучшения советско-китайских отношений, но и сами давали повод китайской стороне вести и дальше курс на свертывание отношений между КПСС и КПК, СССР и КНР.

Состояние советско-китайских отношений постоянно бередило сознание нашего общества. Советским людям трудно было объяснить истинные причины нарастания напряженности в отношениях, замешенных на личной неприязни двух вождей — Хрущева и Мао Цзэдуна.

При первом знакомстве с Андроповым он открылся мне еще с одной — бытовой — стороны. Когда он прилетел в Пекин со своими сопровождающими, то оказалось, что багаж всех сопровождающих прибыл, а чемодана сопровождаемого нет. На улице жара, влажность почти стопроцентная, сменить рубашку после дальней дороги и то не представлялось возможным. Чемодан Юрия Владимировича где-то по ошибке выгрузили из самолета. Я предложил ему, пока не разыщут чемодан и не

доставят его в Пекин, пошить полдюжины сорочек, сказал, что это можно сделать без всяких усилий, за одну ночь. «Да неудобно это, — говорил, смущаясь, Юрий Владимирович, — ночью сполосну рубашку, выглажу ее, и все будет в норме». Однако дело до этого не дошло — чемодан быстро доставили в Пекин из Иркутска, где его оставили сопровождающие. А в моих глазах Андропов вырос. К тому времени я уже был знаком с некоторыми, которые, как говорят на Руси, вышли из «грязи в князи», стали барами — утратив скромность и потеряв совесть. Андропов же был из другого теста.

Рассказывая о своем поколении, о его представителях, встречавшихся на моем жизненном пути, я далек от его идеализации, от представлений о его бетонной монолитности. Были и такие, кто утратил вследствие разных причин честность, порядочность, доброту к людям, смелость, принципиальность, трудолюбие и другие подлинно человеческие качества, которые я в своих заметках отмечал выше как характерные для людей, прошедших сквозь огонь и воду Великой Отечественной. В ряду этих причин и социальные условия жизни, и идейно-нравственная неустойчивость, и, конечно, психологические особенности личности, состояние ее психики.

Вряд ли кто возразит, что именно на долю нашего поколения выпали триумфы и трагедии в историческом развитии страны, зигзаги, крутые повороты на путях общественной жизни, требующие определения собственного «я» с тем, чтобы не потерять чести и достоинства, верности в служении Родине на путях социалистического строительства. И все-таки, как бы ни были сильны удары жизни по поколению, оно не раскололось, не рассыпалось. Его редеющие в силу объективных причин ряды становились сплоченнее.

Старые фронтовые раны и приобретенные в трудное послевоенное время недуги уносили многих в мир иной. Оставшиеся в живых продолжали и продолжают сохранять свою идейно-нравственную устойчивость. Она держалась не на страхе, не на казарменной дисциплине, а базировалась на убеждении в том, что созидается общество справедливости и что наше поколение внесет в этот исторический процесс свой, неповторимый вклад.

Поколение мужало, приобретало собственный опыт, свое представление о путях создания общества справедливости. Оно начинало искать выход своим потенциальным возможностям, своему пониманию происходящих в стране процессов, сопоставляя их с идеально представляемым и желаемым для

народного благополучия и счастья человека.

Тогда, в Пекине, меня обеспокоили довольно явственно проявляющиеся среди некоторых молодых дипломатов замашки карьеризма и прямо-таки неуемной тяги к вещам. Это наблюдение для меня было новым, своего рода открытием, с чем я не сталкивался в тех служебных сферах, в которых мне до того пришлось работать, не говоря уж об отсутствии таких «влечений» у моих товарищей-сверстников. Подобные факты я отнес к недоработкам в воспитательной работе в Институте международных отношений и к усиливающейся бюрократизации МИДа, неизбежными спутниками которой только и могли быть подобные факты. Сняла мое беспокойство надежда на то, что в целом здоровый коллектив посольства поможет молодым товарищам избавиться от этих недугов. Однако по приезде в Москву я снова столкнулся с аналогичными фактами.

…Из Пекина я с семьей улетел зимой. На прощание объехали его исторические места. На площади Тяньаньмынь мои дети — Саша и Алеша — вспомнили удивительные по красоте фейерверки, длившиеся по два-три часа. Мы с женой Аллой помахали на прощание храму Неба — выдающемуся творению китайского зодчества, которое, раз увидев, забыть невозможно. Пекинская зима в тот год была мягкой, впрочем, по сравнению с нашей московской — она всегда мягкая: даже зимой воздух напоен весенними запахами. Нанес я официальные визиты китайским товарищам в разных государственных и общественных организациях и выразил надежду на новые встречи и на понимание необходимости нормализации отношений между нашими странами и народами.

Надо заметить, что китайские власти по закрытым каналам, но главным образом в устной пропаганде, сеяли в своем народе настороженное отношение к внешней политике СССР. Хрущева и других членов советского руководства характеризовали как «творцов» политики ревизионистской, политики сговора с империалистическими силами, и прежде всего с Соединенными Штатами Америки, политики капитуляции перед ними, хотя, по словам Мао Цзэдуна, американский империализм всего-навсего «бумажный тигр». Линия разногласий между КПСС и КПК проходила в плоскости трактовки политики мирного сосуществования, проблем войны и мира в современную эпоху.

Наша сторона то открывала на страницах печати полемику с китайским руководством, то прекращала ее. Нам вторили наши зарубежные друзья, китайцам — их сторонники. Дискуссия по актуальным проблемам мирового развития, мирового

революционного движения развернулась во многих коммунистических и рабочих партиях, в руководств национально-освободительных движений. Естественно, что на этих страницах не представляется возможным давать полные характеристики и оценки развернувшейся полемике. Было совершенно очевидно, что она, переходящая нередко в перебранку, ослабляет революционные силы, их сплоченность.

Я приехал в Москву и приступил к работе в Отделе по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран Центрального комитета КПСС в период, когда полемика с китайским руководством раскручивалась. Отдел размещался в «Большом доме», в его дальней части, ближе к площади Ногина, со входом через подъезд № 3. Сейчас, когда пишутся эти строки, «Большой дом» — в том смысле, что там размещался Центральный комитет КПСС и его аппарат, — не существует. После августовских событий 1991 года, деятельность компартии одним махом — указом Президента России — была приостановлена, а ее имущество, в том числе и «Большой дом», передано в пользование новых властей.

Через 3-й подъезд, с его витой широкой лестницей, ведущей на второй этаж в длинные коридоры и большие комнаты, в которых в 30-е годы размещался профком работников аппарата Центрального комитета, я, будучи студентом, приходил оформляться на работу вожатым в пионерский лагерь. С тех пор в этом подъезде внешне ничего не изменилось. И вместе с тем что-то было уже другое: иным стал и я, и мое видение окружающего.

В 3-й подъезд входили хорошо одетые, но не всегда упитанные люди, в основном старше среднего возраста. Входили четко к 9 часам утра, дабы не опоздать, и растекались по коридорам, занимая места в своих кабинетах. Налево от лестницы на второй этаж шли сотрудники Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, который кто-то назвал «совестью партии»; на третий и четвертый этажи поднимались работники административного отдела, распространявшие свои партийные функции контроля на армию, флот, органы государственной безопасности, суд, прокуратуру, арбитраж, адвокатуру и другие правоохранительные и правозащитные органы.

Направо от лестницы шли международники — те, кто работал в Международном отделе ЦК, возглавляемом Б.Н. Пономаревым, секретарем ЦК, занимавшимся проблемами внешней политики, коммунистического, рабочего, национально-освободительного движений в капиталистических государствах и в других странах, и в отделе Ю.В. Андропова, осуществлявшем

организацию связей с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран — партиями правящими. В функции отдела входил анализ всех аспектов жизнедеятельности этих стран: политических партий, государственных структур, общественных организаций, политики, экономики, духовной жизни народа — словом, всего.

Юрий Владимирович сидел на втором этаже по соседству с Б.Н. Пономаревым, там же располагались канцелярии обоих отделов, шифровальная служба, машинописное бюро, помощники. Структура отдела была довольно проста — секторы (по странам) Китая, Монголии, Кореи, Кубы, Вьетнама, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Албании, а также сектор приема и обслуживания делегаций и группа консультантов. Во главе каждого сектора стоял заведующий, на которого замыкались входящие в состав сектора референты и младшие референты, обязательно со знанием языка народа или народов, населяющих страну и непременно работавшие в ней в том или ином советском загранучреждении.

Каждый такой сектор осуществлял необходимую аналитическую работу о положении дел в соответствующих странах и правящих в них партиях как ретроспективного, так и перспективного характера, а также всю текущую многообразную практическую работу по связям всех советских государственных органов и общественных организаций с соответствующими органами братской, как мы называли тогда, страны. Группа консультантов состояла из четырех или пяти человек и занималась подготовкой предварительных материалов на заданные руководством темы, имеющие отношение, как правило, к проблемам, входящим в компетенцию отдела. Руководил консультантами лично Андропов.

Надо сказать, что в большинстве своем сотрудники секторов обладали необходимым уровнем теоретической, профессиональной подготовки, в том числе по страноведению, вполне справлялись с возложенными на отдел Центральным комитетом КПСС обязанностями. Но в некоторых звеньях отдела были и слабые по своей подготовке люди, без достаточного личного опыта партийной, государственной деятельности и просто жизненной практики.

Андропов возложил на меня руководство секторами Китая, Монголии, Кореи, Вьетнама, Кубы. Многого я не знал. Надо было в ходе работы познавать: читать книги, документы, справки, архивные материалы, встречаться с товарищами, прибывающими к нам в Союз из этих государств. Дни бежали за днями — не успеешь оглянуться, как за окнами уже не только поздний вечер,

а ночь. Работали с девяти утра до десяти — одиннадцати часов вечера. Не меньше, а больше нас, его замов, трудился Андропов, а нас было четверо.

С Юрием Владимировичем работалось превосходно. Он был человеком большой души, настоящий русский интеллигент, для которого смысл жизни состоял в служении народу. Он не щадил ради этого самого себя. Уже тогда он перед обедом пригоршнями отправлял в рот лекарства. «Подлечиться бы вам по-настоящему», — говорил я ему в часы откровений. «Недосуг», — отвечал он.

Жизненный путь Андропова — от волжского матроса до секретаря ЦК партии — был нелегок, и, конечно, чтобы пройти его, нужны были недюжинные способности. Никто его за уши «вверх» не тянул. Сам поднимался, своим трудом. Впрочем, до брежневских времен это было процессом характерным. В годы репрессий Андропов работал секретарем Ярославского обкома комсомола. Под его началом трудился инструктор обкома Анатолий Суров, который состряпал на него донос о якобы связях Андропова с «врагами народа».

«Не посадили, — рассказывал Юрий Владимирович, — благодаря вмешательству первого секретаря обкома партии, а так не сидели бы мы, Николаша, вместе с тобой в этом доме».

Я знал Сурова. Он в начале 50-х годов сочинил одну или две пьесы. Но приобрел громкое имя не на поприще драматургии, а в так называемой борьбе с космополитами — грубой, позорящей страну кампании.

«А с Суровым вы, Юрий Владимирович, позже не объяснились по поводу его бессовестной стряпни?» — «Нет, я не мстительный. Время уже осудило его. Решения XX съезда партии в этом смысле совершенно определенны».

Работа отдела была многоплановой. В него сходились нити из всех партийных, государственных, общественных организаций, относящихся к тем или иным вопросам связей со всеми социалистическими странами, и в том числе с теми из них, которые составили Организацию Варшавского Договора — военно-политический союз и Совет Экономической Взаимопомощи — экономический союз.

В отделе, в его страноведческих секторах ежедневно шла напряженная аналитическая и оперативная работа: с министрами, с деятелями науки, культуры, с директорами предприятий, совхозов, колхозов, с секретарями парткомов различных уровней, с рабочими, крестьянами, учащимися, имеющими тот или иной интерес к трудящимся социалистических стран.

Описать все желаемое в этой связи не представляется

возможным. Может быть, кто-то из других работников отдела, ныне здравствующих, дополнит меня и опишет разные стороны деятельности отдела, руководимого Андроповым, но не так, как это делают некоторые консультанты. В некоторых их писаниях содержатся оскорбительные характеристики своих бывших сослуживцев. Ради чего? Чтобы выставить себя в качестве советников при вождях? И не простых, а советников, «стоящих» выше вождей, которые без них, советников, и шагу-то ступить не могли в силу отсутствия достаточного ума, знаний.

Читаешь подобную стряпню, особенно у Бурлацкого, и глаза на лоб лезут от его почти безудержного вранья и самозабвенного самовосхваления. Читаешь и стыдно становится…

В своей книге «Вожди и советники», вышедшей в 1990 году, Бурлацкий пишет: «В своих воспоминаниях я не придумал ни одного эпизода. Я стремился быть абсолютно искренним и правдивым». Смею заверить, что это не так. Всю жизнь Федору Бурлацкому мешали быть искренним и правдивым его стремление возвыситься над другими, бахвальство, самолюбование, карьеризм, предательство своих товарищей.

Вот к тому лишь некоторые факты, именно факты, а не придумки: «…и вот я сам сижу на балконе Кремлевского дворца съездов в момент октябрьского Пленума ЦК КПСС». Но этот Пленум 1964 года проходил в Свердловском зале Большого Кремлевского дворца, где нет балкона и где Вы сидеть даже на приставном стуле не могли. В своих воспоминаниях Вы, Федор, умалчиваете о том, что Андропов, по предложению коммунистов отдела, поставил перед секретарями ЦК вопрос об освобождении Вас от работы консультантом отдела за высокомерие и амбициозность, хотя Вы пишете, что ушли из аппарата ЦК КПСС по собственному желанию. Да, в 1990 году это уже звучало как чуть ли не Ваше несогласие со всем тем, что делалось в его стенах, и должно было, наверное, по Вашим расчетам, способствовать карьере. Почему в Ваших воспоминаниях не рассказано о том, как Вы предали своего соавтора Лена Карпинского? Сами выкрутились, а Карпинского исключили из партии со всякими вытекающими для него тогда поистине тяжкими последствиями.

Вам коллектив «Литературной газеты» отказал в доверии, освободив от обязанностей главного редактора за те же Ваши застарелые болезни: амбициозность, карьеризм, заполнение своими многочисленными опусами газетной площади. Вас выставили из «Литературки» за неумение работать в коллективе, а тем более руководить им. И это неудивительно. Ведь Вы никогда не были на самостоятельной работе. Единственное, что

Вам, Бурлацкий, удалось, так это примазаться к лику вождей после их кончины в качестве «советника», что Вы и пытаетесь внушить неискушенному читателю. Тщеславны Вы и завистливы — эти две «добродетели» шагают обычно рядом.

В своей книге Бурлацкий особо ополчился против комсомола, и прежде всего его Центрального комитета, который, как он пишет, был «по тем временам худшей школой карьеризма». Нет! Комсомол воспитал подлинных рыцарей, беззаветно преданных своему народу, а из стен его ЦК вышла целая плеяда государственных и общественных деятелей, в том числе Юрий Владимирович Андропов.

Если бы Брежнев и иже с ним дали бы нам, молодым, дорогу, как того требовали реалии, то, смею утверждать, не было бы и времен застоя, и нынешнего развала. И доказательств тому много не надо. История жестоко мстит тем, кто прерывает связь поколений. Однако молодым воздух перекрыли. Их знаний, опыта, чести и совести побоялись люди, стоящие тогда у руля власти. «В нашей среде (а к какой именно относит себя „советник вождей“, догадаться нетрудно. — *Н.М.*), — пишет Бурлацкий, — очень побаивались их». Именно из страха, зависти, карьерных замашек Бурлацкий называет воспитанников ВЛКСМ «комсомольской бандой», «предателями линии XX съезда КПСС».

Время показало, кто был подлинным борцом за курс XX съезда КПСС и не на словах, а на деле, с кого снимали головы и загоняли туда, куда Макар телят не гонял, а кто по-прежнему был при вождях, писал заготовки к их речам, докладам и прочим документам, в которых был очевиден отход от курса XX съезда партии, и кто по-прежнему крутился в приемных вождей, а чаще в коридорах власти. Факт, что, только утратив совесть, из карьерных соображений можно перекрашиваться из одного цвета в другой, скакать после провала в ходе избирательной кампании в высший орган власти страны из одного избирательного округа в другой. «Советники при вождях» рвались поближе к новым вождям, изменяя ради этого своим прежним политическим привязанностям. Но политики-перевертыши никогда не были в чести у народа.

Простите, пожалуйста, меня, мой читатель, за столь непомерное внимание к Ф. Бурлацкому, но он представитель поколения, идущего вслед за поколением Великой Отечественной, его наихудший вариант. И последнее, чтобы закончить это незаслуженно для «советников» растянувшееся повествование: они считают себя учеными-обществоведами, но попирают этику ученых, заполняя свои воспоминания не документально перепроверенными данными, а коридорными

слухами, — это тоже факт. Например, Арбатов в своих воспоминаниях (Знамя. 1990. №№ 9, 10), стремясь бросить тень на А.Н. Шелепина, пишет, что он, будучи первым секретарем ЦК ВЛКСМ, уже тогда имел свое «теневое правительство» и «теневое политбюро».

На кого рассчитывает академик, распространяя такого рода несусветную глупость?! Подобного рода перлов у академика, к сожалению, немало. Он пишет, что я, будучи Председателем Гостелерадио, «не имел никакого журналистского опыта, работал долгое время в милиции». В мире ученых в обиходе афоризм. Когда кто-то пытается доказать справедливость чего-то весьма сомнительного свойства, то ему говорят: «Так это же арбуз в профиль», — то есть чушь, нонсенс. Может быть, Г. Арбатов, академик при всех правящих дворах, его не знает? А жаль!

Однако не будем следовать примеру Бурлацкого и Арбатова и строить воспоминания на том из прошлого, что в конечном счете не стоит выеденного яйца.

Из всего разнообразия тем, которые могли бы стать предметом рассказа, характеризующего деятельность Отдела ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, хотелось бы остановить внимание читателя на некоторых, как мне кажется, узловых вопросах, имеющих значимость и поныне.

Это прежде всего отношение к постановке XX съездом КПСС проблемы культа личности и преодоления его последствий. Среди сотрудников нашего отдела я не знаю ни одного, кто бы не разделял позиции съезда. Последовательным проводником ее был и Андропов. Но в самых верхах партии отношение к XX съезду было неоднозначным. Это чувствовалось по многим, казалось бы косвенным, обстоятельствам. Вместе с ними были и прямые тому свидетельства.

Мне в память врезалась встреча членов Политбюро ЦК КПСС во главе с Н.С. Хрущевым с членами Политбюро Центрального комитета Партии трудящихся Вьетнама, которую возглавлял тогда первый секретарь ЦК ПТВ товарищ Ле Зуан. Встреча состоялась по просьбе вьетнамских друзей. Проходила она в правом крыле Кремлевского Дворца съездов. Отдел тщательно готовил эту встречу, предложив такую повестку, которая охватывала обширный комплекс вопросов — политические, экономические, военные и другие.

Среди политических на первый план выдвигались взаимоотношения вьетнамских товарищей с китайским руководством в условиях обострения советско-китайских отношений. Уже в самом конце неоднократных рабочих

напряженных встреч были найдены решения, удовлетворяющие вьетнамскую сторону. Н.С. Хрущев дал там же, в Кремлевском дворце, обед в честь Ле Зуана и его товарищей.

В назначенное время на третьем этаже, в небольших комнатах, лишенных каких-либо излишеств и тем более помпезности, собрались приглашенные, а Хрущева все нет. Андропов начал волноваться, сказал мне, чтобы я позвонил в приемную Хрущева узнать, выехал ли он на обед. Узнав от помощника, что Хрущев выезжает, я спустился на первый этаж, чтобы встретить Н.С. — так мы его между собой называли. Через короткое время подошла его машина, он быстро, без чьей-либо помощи вышел из нее, вошел в вестибюль, поздоровался, спросил, все ли в сборе.

«Все в сборе, ждут вас».

Предложил войти в лифт, чтобы подняться на третий этаж.

«Нет, пойдем пешком».

И так помчался вверх по лестнице, что я, гораздо моложе его, еле поспевал за ним — этим живым, энергичным человеком.

Я подробно рассказываю об этом обеде потому, что он примечателен во многих отношениях. К тому времени я побывал на разных приемах и у нас, и за рубежом — у глав государств и правительств, генерал-губернаторов; и у послов великих и малых стран, братских стран и государств, относящихся к моей Родине если не враждебно, то и не дружественно. Познал разные дипломатические протоколы — и чопорный английский, и строго торжественный французский, и церемонный восточный. Это же был товарищеский обед — обед единомышленников, вместе идущих по социалистическому пути, к тому же довольно регулярно встречавшихся (конечно, не в таком представительном составе высшего партийного и государственного руководства, как на сей раз).

Набор блюд был довольно скромным. Загодя от Н.С. позвонили и от его имени передали, чтобы «не шиковать, люди воюют, а вот в их резиденции вьетнамских друзей потчевать по их заказу, подавать что пожелают». Наши сидели по одну сторону стола, вьетнамцы по другую. В центре — первые лица — Хрущев и Ле Зуан, которые и подняли бокалы за братскую дружбу народов обеих стран, за здоровье присутствующих. Застольная беседа была оживленной, шутили. Затем, ни с того ни с сего, Хрущев стал характеризовать каждого из присутствующих за обедом с нашей стороны. Сквозь улыбку он говорил, следя за реакцией присутствующих:

— Вот Подгорный, секретарь ЦК партии, но толку от него мало. Как был сахарным инженером — так им и остался (Н.В.

Подгорный окончил пищевой институт. — *Н.М.*). Мало чему научился в жизни. Смотреть вперед не может. Дело до конца не доводит.

Подгорный сидел красный как рак, губы вздрагивали, руки были сжаты в кулаки и лежали на коленях. Он откинулся от стола и, не глядя на Н.С., сдвинулся в сторону от Хрущева. Молчал и Суслов, он сидел по другую руку от Н.С. и с еле заметной иезуитской улыбочкой вытянулся в сторону говорившего Н.С. Другие наши тоже молчали, опустив головы.

Вьетнамские товарищи, как мне показалось, растерялись. Ле Зуан намеревался перевести разговор на сроки возможного приезда Н.С. в Ханой, но Хрущев «поехал» дальше:

— Или вот — Суслов. Я до сих пор не могу понять: он за разоблачение культа личности, за последовательную реализацию решений XX съезда партии или против? Ведь если его и сейчас в лоб спросить об этом, он ведь увильнет от прямого ответа?!

Суслов смотрел на Хрущева, на лице его блуждала угодливая улыбочка, словно отвечавшая Н.С.: «Пожури, пошути, если тебе это доставляет удовольствие», — и он потихонечку похихикивал.

Хрущев напирал:

— Ответь, Михаил Андреевич, наши друзья должны знать твою позицию, да и мы тоже.

В это время из-за стола поднялся Л.И. Брежнев, сидевший рядом с Сусловым, прихватил с собой А.Н. Шелепина, тот позвал меня, чтобы я тоже вышел вместе с ними из обеденной комнаты.

Брежнев — Шелепину: «Вот ведь с… как распустился. Меру во всем теряет…» Я сделал вид, что мне нужно поговорить по телефону, и отошел от них.

То, что говорилось за обеденным столом Хрущевым, долго стояло у меня в ушах. Да я и сейчас, когда пишу эти строки, вновь слышу голос Хрущева и вижу его, внимательно следящего за сидящими — и справа, и слева, и напротив — за своими товарищами по партии, по Политбюро, за вьетнамскими друзьями.

«Как мог Н.С., — думал я, — давать такие характеристики?! Зачем? Какие цели, интересы он при этом преследовал? Что за этим стоит?» Вопросов возникало много. А суть состояла, очевидно, в том, что своими характеристиками Подгорного, Суслова, да, наверное, и других, которые я уже не слышал, Хрущев хотел показать и показал, что он «хозяин» в Политбюро, в Центральном комитете и все сидящие за столом его товарищи по партии у него в «кулаке». Он — один-единственный, последняя партийная и государственная инстанция. И вы, дорогие вьетнамские друзья, покидая нашу страну, помните и знайте об

этом!

Но это еще не все. По услышанным из уст Брежнева весьма нелестным словам, сказанным о Хрущеве Шелепину, я понял, что Н.С. позволяет себе такие выходки не впервой, что-то было ранее сказано и в адрес Брежнева, и других и что таких хлестких характеристик члены Политбюро своему лидеру не простят. Было очевидно, что Хрущев и в отношениях со своими товарищами зарвался, точно так же, как он зарвался и в большой партийно-государственной политике, о чем у нас исписаны уже горы бумаги, а в ряде серьезных работ даны глубокие оценки.

Зачем, зачем, гадал я, ты, Н.С., делаешь такие глупости? Ведь ты же повторяешь в какой-то мере то, что творил Сталин и что ты сам хотел порушить… Начал рушить и не можешь. Ты, Хрущев, дитя своего времени!..

Как-то позже я вспомнил этот обед, и мне пришла мысль о том, что Хрущев первый начал «топтать» сначала Сталина, а затем и своих ближайших сподвижников… Тебя, Никита Сергеевич, тоже, наверное, будут топтать! Было ли что-нибудь подобное во всемирной истории?.. В чем причины тому?

…Тебе, Никита Сергеевич, многого не простят. Не потому ли инициаторами и организаторами октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС были именно Брежнев и стоящий за ним (как обычно) Суслов…

После обеда Хрущев, попрощавшись с вьетнамскими товарищами, сказал мне, что, возможно, он приедет завтра вечером в особняк делегации и побудет с ней накануне ее вылета на Родину. У Н.С. был какой-то особенный, ранее мне не встречавшийся взгляд: он смотрел, что называется, «в упор». Видя собеседника, он как бы его не видел.

На следующий вечер меня пригласили к телефону. Звонил Н.С. Поздоровавшись, он спросил: «Чем занимаетесь?» — «Мы собирались ужинать. Вас ждать?» — «Нет, я, к сожалению, не могу. Скажите товарищу Ле Зуану, что я очень хотел приехать и провести с ним вечер. Но одно срочное дело помешало этому. Передайте, что все наши договоренности получат практическую реализацию. С китайскими товарищами пусть ведут себя как добрые соседи, в духе принципов мирного сосуществования. Пожелайте доброго пути и счастья». — «Ваши пожелания будут переданы всей делегации». — «А что делегация будет делать после ужина?» — «Они хотят посмотреть двухсерийный фильм по роману Симонова „Живые и мертвые“». — «Нет, покажите им фильм „Русское чудо“». — «Хорошо». — «До свидания, товарищ Месяцев». — «До свидания, Никита Сергеевич».

Все сказанное Н.С. я передал членам делегации за ужином.

Ле Зуан поблагодарил. А когда заговорил о том, какой кинофильм посмотреть, Ле Зуан, рассмеявшись, сказал: «Как ни приеду в Москву, Никита Сергеевич всякий раз показывает мне „Русское чудо“ (документальный фильм, созданный авторской группой из Германской Демократической Республики об успехах социалистического строительства в СССР. — *Н.М.*). Давайте не послушаемся товарища Хрущева и посмотрим „Живые и мертвые“», — сказал Ле Зуан с улыбкой. Члены делегации рассмеялись. В ходе просмотра фильма я увидел, как у Ле Зуана слезы катились по щекам, он их не стеснялся и не смахивал с лица. Может быть, что-то напоминало ему о его стране, народе, о чудовищности войны, которую им навязали новые оккупанты — американцы, сменившие потерпевших поражение французских колонизаторов в этой грязной, как справедливо ее назвали народы мира, войне.

Ле Зуан, как первое лицо государства, мне был интересен, хотя всякий человек по-своему интересен. Внимание к первым лицам я проявлял не в силу служебного долга. В первых лицах я отмечал для себя, насколько тот или иной из них отражает самое характерное, присущее его народу, и насколько выражает и защищает его интересы. Без защиты коренных, жизненных интересов народа не может быть подлинного лидера, настоящего вождя. Может быть случайная фигура, временщик, который или просто канет в Лету или будет проклят, осмеян, оплеван.

Мне ни разу не приходилось видеть Ле Зуана веселым в течение более или менее продолжительного времени. Это были редкие минуты. В его темно-карих глазах постоянно стояла грусть, а маленькая сухопарая фигура сутулилась, словно от невидимого груза, наваленного на спину. Так оно и было. Надо было обладать недюжинным государственным умом и несгибаемой силой воли, подобной силе своего народа, чтобы противостоять в войне США и победить, чтобы нести страну самостоятельным курсом между двумя гигантами — СССР и КНР, которые вползли в долгий, острый, ненужный народам конфликт. Ле Зуан с его живым проницательным умом довольно быстро схватывал, куда именно устремлен его собеседник, и умело выводил его (или их) на нужные его народу и государству стратегические цели и тактические задачи в политической, военной, экономической и других областях.

Наша страна помогала вьетнамскому народу выстоять и победить в войне. Вьетнам, как мог, подчас через, казалось бы, невозможное, возмещал наши затраты. Ле Зуан искренне и с глубочайшим, именно глубочайшим, почтением относился к нашей стране и ее народам. Он не повторял Хо Ши Мина. Он был

тем, кто прошел долгий путь подпольной работы на юге Вьетнама, кто сражался в его джунглях вместе с другими патриотами за победу социализма, кто продолжал и развивал наследие Хо Ши Мина.

Мне казалось, что Ле Зуан неровно дышит к Андропову. Между ними всегда были доброта и доверительность. Юрий Владимирович при встречах с Ле Зуаном был предупредителен, заботлив и даже теплел душой. Казалось, что большая фигура Андропова закрывает маленького Ле Зуана от возможных неприятностей. Первый секретарь Партии трудящихся Вьетнама стоял на позиции более близкой нам, чем китайскому руководству, в том, что касалось проблем мирного сосуществования государств с различными социальными системами, возможности предотвращения новой мировой войны, необходимости единства мирового коммунистического и рабочего движения при безусловной самостоятельности каждой коммунистической партии. Он разделял оценки XX съезда КПСС о культе личности как о чуждом социализму явлении.

Из первых лиц коммунистических и рабочих партий социалистических стран я был знаком с Энвером Ходжей (Албания), Вылкой Червенковым и Тодором Живковым (Болгария), Яношем Кадаром (Венгрия), Вальтером Ульбрихтом и Эрихом Хонеккером (Германская Демократическая Республика), Фиделем Кастро (Куба), Юмжагийном Цеденбалом (Монголия), Болеславом Берутом (Польша) и многими другими товарищами. О некоторых из них я еще расскажу. Вместе с тем мне хотелось бы выделить, если удастся, наиболее характерное, что было присуще им всем на очень важном историческом этапе мировой цивилизации — становлении и развитии мировой социалистической системы.

Отдел по связям с коммунистическими и рабочими партиями много работал с послами, аккредитованными в братских странах. Почти все они в прошлом партийные и государственные работники, сформировавшиеся в период культа личности и несшие в себе, естественно в разной мере, соответствующие характерные черты догматического подхода к реальностям стран пребывания. Некоторые из них страдали недугом командования в стране пребывания как в своей вотчине. В одном случае это ложилось на благодатную почву копирования советского опыта в различных сферах экономической, социальной и духовной жизни, в государственном и партийном строительстве. В другом — приводило к непониманию и недооценке опыта той и ли иной страны, к недостаточно глубокой информации о положении дел в стране пребывания и к возникновению недоразумений в

отношениях между послами и руководством соответствующих партий, а затем и переносом этих недоразумений в сферу межпартийных и межгосударственных отношений.

Со стороны каждого сотрудника аппарата требовались высочайшая ответственность, знания, профессиональный такт в том, чтобы не поучать зарубежных коммунистов, а тем более не навязывать своих, подчас субъективных суждений, которые могли восприниматься как точка зрения или даже позиция руководства отдела или ЦК КПСС. Эти этические вопросы постоянно были предметом обсуждения на оперативных совещаниях отдела, в секторах и на партийных собраниях.

И все-таки суть состояла не в ошибках или недоработках того или иного посла — ошибки, конечно, можно было исправить, недоделанное доделать, — не в нарушении этики в отношениях с зарубежными коммунистами кем-то из нас — сотрудников отдела. Беда состояла в зародившейся и усиливающейся болезни некритического копирования отдельными высшими руководителями социалистических стран, прежде всего европейских, опыта строительства социализма в СССР. Копирования практически во всех сферах государственной и общественной практики, без надлежащего учета исторических, национальных, социальных и прочих особенностей своих стран.

Бацилла этой тяжкой болезни была занесена Сталиным и его сподвижниками в период становления в Восточной Европе народно-демократических режимов и их перехода к строительству социализма. И не только занесена, но и прививалась искусственно всему здоровому во время победы над фашизмом, в пору неуемной тяги к строительству новой жизни, творцом которой являлся народ с его исконным стремлением к демократии. Опыт Югославии тех лет свидетельствовал о том, что стоило ей найти свои прививки против насаждаемого Сталиным единообразия в социалистическом строительстве, как отношения между нашими странами обострились.

Нивелировка нарабатываемого творчеством народов бесценного опыта социалистического строительства постепенно приводила к утрате интереса к живому созиданию, к ожиданию «соответствующих» указаний, команд «сверху» по ступенькам лестницы до самого «низа», до исполнителя. При таких порядках обюрократилась сама система жизнедеятельности государственного механизма, демократизм отодвигался в сторону, сохраняясь на видимых фасадах этой системы. Глубина и размах исторического творчества масс смазывались, реальная многоцветная картина демократического творчества трудящихся размывалась, превращаясь в однообразный пейзаж, будь то в

Болгарии, в Чехословакии или в других странах. Люди переставали узнавать в жизни плоды своих раздумий и деяний, постепенно утрачивали живой интерес к поиску лучшего.

Все это можно и нужно было отнести не столько к непоследовательности в преодолении последствий культа личности в области отношений между социалистическими странами, сколько к исторической новизне свершаемых в братских странах кардинальных, качественных преобразований. Что касается амплитуды понимания среди руководства необходимости преодоления последствий культа личности, то она колебалась от безусловной необходимости последовательного осуществления этого курса до открытой половинчатости афишируемых принятых полумер и далее — до открытого отрицания такой необходимости. Решения XX съезда КПСС, курс на устранение последствий культа личности явились одной из главных причин обострения отношений с Китайской Народной Республикой и Народной Республикой Албанией.

К сожалению, советские послы в ряде социалистических стран и некоторые сотрудники отдела оценивали процессы и тенденции, происходящие в братских странах, через призму не только собственного субъективного восприятия, что естественно, но и ловили в свои паруса дуновения, идущие от нашего «верха», в котором единства взглядов по кардинальному вопросу формирования внутренней и внешней политики любой отдельно взятой социалистической страны и всех вместе взятых не было.

Несколько раз я начинал с Андроповым разговор на эту тему. И всякий раз примерно в одном и том же плане, но с обновляемыми по мере притока информации фактами. Я говорил ему о том, что идеи пролетарского интернационализма в практике отношений с социалистическими странами мы доводим до того, что от наших братских объятий им становится трудно дышать. Они вот-вот начнут вырываться из наших удушающих объятий в стремлении привнести в социалистическое строительство нечто свое, с учетом собственной истории и революционной практики. Ведь такая наша практика недемократична. Она есть не что иное, как продолжение политики, осужденной XX съездом КПСС.

При таких оценках Юрий Владимирович обычно «вскипал», упрекая меня в том, что я не вижу главную тенденцию — укрепление социалистического содружества, рост взаимопонимания руководителей социалистических стран в оценках развития мирового революционного процесса, соотношения сил на международной арене. «Это правильно, — соглашался я, — и вместе с тем нивелировка процессов в разных

странах, подгонка их под один шаблон душит демократическую сущность социализма, которая только и способна постепенно вести к обновлению жизни, разных сторон и граней социализма. Давайте, — предлагал я Андропову, — подготовим по этому поводу предложение в Политбюро Центрального комитета партии».

Можно было попросить у него согласия на обсуждение этой проблемы с послами, аккредитованными в соцстранах, а затем по мере тщательной ее разработки рассмотреть в рамках Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского договора, а может быть, всех социалистических стран Европы, Азии и Кубы.

Были моменты, когда мне казалось, что Андропов дает свое согласие на разработку соответствующих предложений для Политбюро ЦК, но согласия не было, что-то его сдерживало. Что именно — стало для меня ясным чуть позже.

Как-то Юрию Владимировичу позвонил помощник Н.С. Хрущева О. Трояновский и передал просьбу Никиты Сергеевича приехать к нему в Кремль и внести его, Хрущева, поправки в документ (о мерах помощи Кубе. — *Н.М.*), который готовился нами для рассмотрения на Политбюро. Андропов пригласил меня с собой. Мы быстро проехали через Спасские ворота в Кремль, остановились у входа в здание Совета Министров и прошли в приемную Председателя Совмина. Трояновский сказал, что Н.С. извиняется, лично принять участие в работе не сможет, просит с учетом его замечаний довести записку до надлежащей кондиции, подписать и оставить ему. Юрий Владимирович взял записку, примостился на краешке стола, за которым восседал помощник Хрущева. Я сел рядом, мы внесли в записку необходимые коррективы и поехали в «Большой дом».

Поведение помощника Председателя Совета Министров СССР и секретаря Центрального комитета КПСС меня не только удивило, но насторожило и даже обидело. Обидно стало не за себя, конечно, а за Андропова: Трояновский сидит за столом, развалившись в своем кресле, а человек старше его, к тому же секретарь Центрального комитета партии пристроился на уголке этого стола и вместе со своим сотрудником в это время исполняет поручение Н.С. Хрущева. «Ничего себе порядки», — размышлял я.

Сели в машину. Едем. Я молчу, переживаю.

Андропов:

— Что молчишь?

— Мне стыдно: секретарь ЦК партии, как бедный родственник, приютился на уголке стола у богатого дядюшки — всего-то помощника Предсовмина, барски развалившегося в своем

высоком кресле. Надо было щелкнуть его по носу…

— Ты многого еще не знаешь из заведенных не нами с тобой порядков. Работай и набирайся ума. Атмосферу вокруг членов Политбюро ЦК создают их помощники, равным образом формируют у каждого из них мнение и о нас с тобой. Не считаться с этим нельзя. Секретарь ЦК не всесилен.

— Но секретарь ЦК может поставить любого из помощников на место.

— Попробуй, а я посмотрю, что из этого выйдет… Не советую. Может плохо кончиться.

Мы приехали и разошлись каждый по своим рабочим местам. Поздним вечером того же декабрьского дня я, как обычно, пошел к Юрию Владимировичу, чтобы проинформировать его о текущих делах и посоветоваться по вопросам, которые требовали учета его мнения. Закончив свой доклад, я собрался уходить. Юрий Владимирович попросил задержаться. Заказал чаю с сушками. И без всяких оговорок продолжил начатый в автомобиле разговор.

— Ты думаешь, меня не задевает то, чему сегодня ты в первый раз стал свидетелем? Я не деревяшка. Но переломить сложившиеся порядки я не могу. В отделе атмосфера демократичная?

— Несомненно.

— Отношения между товарищами уважительные?

— Да.

— Ты мой локоть в совместной работе ощущаешь?

— Конечно. И я благодарен, искренне благодарен вам за доверие и помощь.

— Ты никуда не торопишься?

— Нет.

— Тогда послушай меня и постарайся понять. Вот ты несколько раз заводил разговор о необходимости подготовки записки отдела, трактующей наше понимание сущности отношений между странами социалистического лагеря, их стратегии и тактики в свете углубления курса XX съезда нашей партии на ближайшее время и обозримую перспективу. Постановка этого вопроса, несомненно, заслуживает внимания. Твои соображения на этот счет разумные. Ты нажимаешь на меня. Я ухожу от прямого ответа. Почему? Потому что я тебя еще плохо знал. Сейчас я могу тебе ответить почему…

Наши размышления созвучны. Я тоже за дальнейшую демократизацию в отношениях между братскими странами, за курс XX съезда партии. Но я не могу вносить подобной записки в Политбюро ЦК. Там нет единства по этому поводу. Обсуждение

этих вопросов, если оно состоится, будет перенесено в плоскость недостатков в работе Отдела, и меня снесут. Я не хочу этого. Боюсь…

Подумай сам хорошенько, раскинь мозгами… Ты не видишь, что первый (Хрущев. — *Н.М.*) все больше и больше забирает власть в свои руки и многое делает в стране, не советуясь с товарищами. Он искренне гордится тем положением, которое сложилось в отношениях между соцстранами, даже в условиях обострения связей с Китаем. И ты хочешь, чтобы я своей запиской вызвал разброд, вспышку страстей и амбиций? Нет, на это я не пойду…

И, пожалуйста, оставь меня с этой запиской в покое. Не советую тебе поднимать эти вопросы в разговорах с членом Политбюро Николаем Викторовичем Подгорным во время поездки на Кубу. Ни к чему хорошему разговоры на эту тему не приведут.

Сидел я у Андропова, помешивал ложкой чай в стакане и молчал. Молчал потому, что для меня важно было и что говорил Юрий Владимирович, и как говорил, с каким нажимом на то, что на этом можно сломать себе шею. В нем сидел страх — застарелый, ушедший в глубины и прорывающийся наружу в минуты возможной опасности.

Конечно, когда речь идет о проблемах глобального свойства или о жизненных интересах больших масс людей, нужна осторожность. Она необходима в любом случае даже тогда, когда дело касается другого человека, — осторожность, но не страх, тем более при рассмотрении тех или иных вопросов в своей, товарищеской, партийной среде.

Страх — не попутчик в жизни. Страх — беда, влекущая за собой трагедии личностей, общественных групп и политических движений. Страх — это сила, парализующая действие. Что мне делать? Как быть? И дальше работать в партийных органах в тех условиях, которые обрисовал мне Андропов, или сменить «службу», к чему была возможность?

В то время вместе с товарищами из Президиума Академии наук СССР я создавал научный центр по проблемам Дальнего Востока и мог туда спокойно перейти. Но это было бы бегством под воздействием ощущения невозможности, бессилия изменить ситуацию, которая в конечном счете шла вразрез с курсом XX съезда КПСС на ликвидацию последствий культа личности, а значит, вразрез с развитием искренности, товарищества, демократизма во всех структурах партии, во всех звеньях государственного механизма, во взаимоотношениях в

коммунистическом и рабочем движении. Н.С. Хрущев был прав, когда говорил, какую глубокую колею проложил культ в душах людей, оставил в наследство поколениям привычки и традиции, сковывающие свободу мысли и разумную, вполне демократическую свободу действий.

Не бежать под своды научного учреждения, в котором обретаются «тишь да благодать», а остаться в ЦК и делать возможное в соответствии со своими убеждениями и взглядами. Так, наверное, наказали бы мне друзья — живые и мертвые, — если бы я смог обратиться к ним за советом.

В канун нового 1964 года я в составе партийно-правительственной делегации, возглавляемой членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС Н.В. Подгорным, вылетел из морозной Москвы в тропическую Гавану, на Кубу. На аэродроме Юрий Владимирович, обнимая меня, на прощание шепнул на ухо: «Ты там в общении с Подгорным будь повнимательнее к нему, свою независимость попридержи, а то получишь под зад». Что означало «знай сверчок свой шесток в партийной иерархии». «Слушаюсь, — с иронией ответил я и поднялся в спецсамолет, который имел спальный отсек (для главы делегации), общий уютный салон, со вкусом и удобством обставленный мебелью, кресла-диваны для членов делегации и сопровождающих, кухню и прочее, без чего в целях экономии народных денег можно вполне обойтись даже в таком дальнем пути — летают же „простые смертные“».

В составе делегации в числе сопровождающих были заместитель главного редактора газеты «Правда» Николай Николаевич Иноземцев, заместитель главного редактора газеты «Известия» — Григорий Максимович Ошеверов и другие, которых я знал, и с Григорием Ошеверовым дружил еще в бытность его замглавного в «Комсомолке». После посадки и Мурманске и обильного ужина, предложенного местным руководством, легли спать и проснулись лишь тогда, когда большой по тем временам турбовинтовой АНТ-14, пройдя над Шпицбергеном, вдоль Ньюфаундленда и берегов Северной Америки, спускался к невидимой вдали Флориде, а там откроются Карибы и легендарная Куба.

Во мне нарастало волнение от предстоящей встречи с новым, неведомым мне миром. Это чувство, тревожившее своей неизвестностью и радовавшее предстоящей встречей с друзьями по общему делу, охватывало меня всякий раз, когда я приближался к незнакомому мне доселе на нашей большой — и маленькой — планете Земля. Как прекрасна она в своем многообразии, многоцветности, многоликости!

Под крылом самолета раскинулся Атлантический океан,

сверкающий на солнце переливами своих то бледно-серых, то иссиня-черных вод. Мне, постоянно занимающемуся советско-кубинскими отношениями, конечно, предстояло внимательно вглядеться в кубинскую действительность, в реалии жизни и деятельности народа, сложившегося из разных этносов: туземцев-индейцев, испанцев-завоевателей, негров-рабов, вывезенных в свое время из Африки. Народа, который первым среди других поднял под руководством своих молодых вождей на Американском континенте знамя Свободы, знамя Социализма.

С Фиделем Кастро Рус и некоторыми его боевыми товарищами-единомышленниками я был знаком по их первому приезду в Москву в октябре 1962 года. Они были молоды. В них бурлила неуемная жажда дать счастье своему народу как можно быстрее. Они видели, что поднятое ими знамя Свободы собирает вокруг себя новые революционные когорты в различных странах Латинской Америки. Эхо кубинской революции отзывалось и в Африке, и в Азии. Они знали, что реакционные империалистические силы США пойдут на все, чтобы задушить кубинскую революцию, и надеялись на защиту со стороны родины социализма Союза Советских Социалистических Республик.

Но они — молодые руководители во главе с Фиделем Кастро — не осознавали тогда, сколь сложен и труден будет путь по дороге к народному счастью. Ни они, ни мы не могли предвидеть, что пройдет немногим более тридцати лет — всего тридцать! — и мировая система социализма распадется, Союза Советских Социалистических Республик не станет, Коммунистическая партия Советского Союза будет запрещена, Страну Советов повернут вспять — на путь капитализма, в мире развернется антикоммунистическая истерия.

Куба, если не встанут на ее защиту Китайская Народная Республика и другие социалистические страны Азии, останется один на один с США, единственной супердержавой в мире после развала СССР.

А тогда, в начале 60-х годов, почти в середине XX века, молодые вожди кубинской революции — Фидель Кастро Рус со своими товарищами, со всем своим народом хорошо знали, что с ними народы Советского Союза и в радости, и в случае тревоги, знали, что СССР — надежный союзник Республики Куба. Это было зафиксировано в ходе встреч и обмена мнениями в Москве между делегациями Кубы во главе с Ф. Кастро и СССР — во главе с Н.С. Хрущевым.

В свой первый приезд в СССР Ф. Кастро, Че Гевара и другие были размещены в так называемой партийной гостинице в

Плотниковом переулке, затерявшемся среди других ему подобных в районе старого Арбата, ближе к Смоленской площади.

В день приезда после ужина Фидель высказал желание погулять вместе со своими товарищами по вечерней Москве.

«Мы хотим посмотреть, чем и как живет вечерняя Москва. Чтобы мы не заблудились, с нами пойдет наш посол, и, пожалуйста, никакой охраны, никаких сопровождающих». «Пожалуйста», — ответил я.

Прикрепленный к делегации сотрудник 9-го Управления (правительственной охраны) КГБ СССР подошел ко мне с возражениями, пригрозил, что он будет докладывать об этом по инстанции. «Докладывайте», — ответил я.

Кубинские товарищи, приехавшие в Москву, по своей домашней привычке были при оружии, весьма заметно выделявшемся на их униформе. Возвратившись с прогулки, Фидель и другие с воодушевлением рассказывали, что москвичи их узнавали, вступали в разговор, тепло говорили о Кубе.

Однако самым впечатляющим стало выступление Фиделя Кастро на Красной площади с трибуны Мавзолея В.И. Ленина. Кубинский руководитель сам попросил об этом.

«Не могли бы вы передать товарищу Хрущеву о моем искреннем желании выступить с трибуны Мавзолея Ленина и воздать должное Великой Октябрьской социалистической революции, Ленину, партии коммунистов, народам братского Советского Союза?» Я ответил, что обязательно передам. О высказанной просьбе сообщил Андропову. Юрий Владимирович выразительно посмотрел на меня. «Да, вот так, и не иначе», — ответил я ему взглядом. «Мы создадим прецедент». — «Вряд ли кто еще запросится на выступление с такой трибуны». — «Просьбу Фиделя будем поддерживать!» «Будем», — повторил я вслед за Андроповым. У Хрущева и у других членов Политбюро возражений не было.

Блестящее выступление Фиделя Кастро на Красной площади облетело весь земной шар. Он воистину восславил нашу Великую социалистическую Родину с Мавзолея В.И. Ленина — ее основателя.

…Гавана открылась взору неожиданным наплывом из океана, все увеличиваясь, в разноэтажности домов, в зелени, от которой уже отвык за осень и первый месяц зимы наш глаз. Не успели мы оглядеться, как по прямым широким проспектам, обсаженным пальмами, нас привезли к месту проживания: трем спрятанным в тропической зелени особнякам, объединенным общей открытой площадкой с бассейном.

В аэропорту нас встречали президент Республики Куба Освальдо Дортикос и другие официальные лица, как того требовал протокол. Фидель Кастро, его брат Рауль, Че Гевара и другие члены кубинского руководства навестили делегацию к вечеру, который там, близ экватора, быстро превращался в ночь. Эмоциональные кубинцы в отличие от нас, жителей средних широт, не видят ни длинных вечерних сумерек, ни долгих утренних зоревых рассветов.

На острове Свободы мы почувствовали глубокое уважение кубинцев — и молодых, и старых — к нашей стране. Надо заметить, что популярность Хрущева была там так велика, что Подгорного принимали за Н.С., хотя сходство между тем и другим весьма сомнительное.

Фидель Кастро сопровождал делегацию повсюду, а побывали мы в разных местах республики: были к гостях у рабочих, у сельскохозяйственных кооператоров, крестьян, у студентов и учащихся. Помощь Кубе братских социалистических стран и прежде всего Советского Союза давала свои плоды — возрастал национальный доход, повышался жизненный уровень трудящихся. Фидель и его сподвижники гордились первыми успехами в народном образовании, и постановке бесплатного здравоохранения, в налаживающейся системе социального страхования. Постепенно преодолевались два, по выражению самих кубинцев, порока местного образа жизни, оставленного прошлым: монокультура в народном хозяйстве и безработица. По окончании курортного сезона многие кубинцы «выключались» из сферы обслуживания туристов, наводнявших первоклассные отели на белопесчаных пляжах, омытых изумрудными водами Карибского моря. Эти дары природы усиливались манящей красотой кубинок, несравненных мулаток. На многих из них можно было любоваться часами, не отрываясь.

Меня покоряла не только революционная страстность и беспредельная вера в социализм Фиделя Кастро и Че Гевары, но и их мужская красота. У обоих разная, однако у каждого по-своему притягательная.

Когда я смотрел на Фиделя Кастро издали или сидя рядом с ним, я ловил себя на мысли, что разговор его увлекает меня своей убедительностью, строгой логикой и яркой образностью речи. Не зная испанского языка, я догадывался, о чем он говорит, по мимике, по жестикуляции, по положению фигуры — крупной, увенчанной большой головой с пышной шевелюрой, бородой и усами. Спутать его с кем-то другим было невозможно — он, Фидель Кастро, которого знает весь мир, но отношение к которому в этом бренном мире прямо противоположное — от

любви до ненависти. Мне кажется, что подлинно самобытные лидеры, вожди народов, измеряются именно этими двумя категориями, хотя от любви до ненависти всего один шаг.

Фидель Кастро, конечно, народный вождь. В каких бы местах Кубы мы ни были, повсюду мы слышали — «наш Фидель», повсюду были люди, с которыми он был знаком, как говорится, на короткой ноге, без тени превосходства, зазнайства, высокомерия и прочих слабостей, присущих или приобретаемых некоторыми людьми, достигающими положения руководителя высокого ранга. Фидель прост в своей убежденной правоте служения созданию справедливого социалистического общества. Сила Фиделя в том, что он думал о народе, думал о каждом человеке, о каждой семье, о каждом ребенке.

Кастро пришел к научному социализму Маркса-Энгельса-Ленина не сразу. Путь к нему был труден, полон исканий. Он шел к нему от буржуазного либерального демократизма — его левого крыла, через критический анализ опыта борьбы народов за национальную свободу и независимость в странах латиноамериканского континента. Как бы ни был тернист этот путь, Фидель Кастро Рус твердо встал на позиции научного социализма.

Куба идет ныне социалистическим путем, творя собственную историю под обстрелом недругов, не взирая на предательство бывших друзей.

История подтвердит, что Фидель Кастро был и остается истым марксистом-ленинцем, внося в него свой, своего народа творческий вклад. Время вознесет его еще выше, точно знамя, поднимаемое в небо руками народа.

…Гавана. Площадь Хосе Марти. Сотни тысяч людей слушают речь своего Фиделя, прерывая ее мощным гласом одобрения того, что они сами чувствуют и желают. А он говорит то отделяя одно слово от другого, произнося их почти по слогам, то бросая в слушающих пулеметными очередями фразы, зовущие, убеждающие, вызывающие радость или гнев. Все это сначала кажется блестящим экспромтом, а потом начинаешь понимать, что его речь — плод глубоких раздумий, большой работы ума и сердца. Хочется заметить, что из всех первых лиц, стоявших в социалистических странах у кормила власти (которых я знал), Фидель Кастро Рус вызывал и вызывает у меня наибольшую симпатию.

И Фидель, и Че Гевара, как и другие из числа кубинского руководства, были близки мне еще тем, что и них, как и во мне, в моем поколении жило фронтовое братство с его характерными

чертами.

Красота Че Гевары (Эрнесто Гевара де ла Серна) — героя и мученика революции — была в его больших, обрамленных длинными ресницами черных глазах, выделяющихся на бледном правильного овала лице с небольшим носом и полными губами. Голову украшали длинные, чуть вьющиеся, черные как смоль волосы. Он был среднего роста, коренастый, ходил не торопясь, плавно. Мне повезло: два долгих вечера, затянувшихся далеко за полночь, я провел с Че в дружеских беседах. Тогда, в 1963 году, ему было 35 лет. Он возглавлял министерство национальной промышленности. В 1965 году, оставив письма своим детям и Фиделю, полные драматизма и глубокой веры в свои идеалы, он покинул Кубу для участия в революционном движении народов Латинской Америки. В 1966–1967 годах руководил партизанским движением в Боливии, был схвачен и зверски убит. Эрнесто (Че) Гевара оставил глубокий след в сердцах и умах молодежи 60-х годов чистотой своих помыслов, беззаветным мужеством, альтруизмом и жертвенностью во имя торжества справедливости, счастья угнетенных и обездоленных. Он стал человеком-легендой.

…Мы сидели с Че в углу террасы, на небольшом диванчике вполоборота друг к другу. Помогал нам вести беседу переводчик-кубинец. Вечера стояли тихие, теплые. Неизвестные мне тропические растения дышали пряными запахами.

Разговор шел неторопливо. Перескакивал с одной темы на другую и снова возвращался к прерванному… Мне было интересно слушать о его детстве, о незнакомой мне Аргентине, о пережитых лишениях, во время странствования по латиноамериканскому континенту, об учебе, чтении книг, о постепенном осознании причин людского горя и страданий и определении своего жизненного призвания. Все, что рассказывал Че Гевара, было для меня не только открытием доселе неизвестного, но и своего рода уроком жизни. Я находил много сходного и созвучного в судьбах нас двоих, рожденных матерями в разных концах земли. Разве не меньше горя и страданий выпало на долю мою и моего поколения, чем на судьбу Че Гевары, его поколения, хотя и в других исторических условиях и жизненных обстоятельствах? А разве природа радости Че и его товарищей от одержанных в жизни побед, достигнутых успехов, не та же, что у меня и моих товарищей? Она одна — гордость за достигнутое на пути к построению нового общества и обретению людьми счастья.

Позиции Че и мои в оценке процессов, происходящих в ту пору в мире, в принципе не расходились, но Гевара стоял на более левых, более радикальных позициях в вопросах

революционной практики, чем я. Он полагал, что при определенных условиях всенародное революционное восстание может быть ускорено, когда группа самоотверженных революционных борцов начинает действовать. Вследствие справедливости и притягательности ее идей, лозунгов, акций к этой группе борцов примыкают все новые и новые бойцы, составляющие уже когорты, а затем и легионы. Борьба перерастает в движение, во всенародную революцию, которая и побеждает. Конечно, Че излагал свои мысли не в такой голой схеме, как я преподношу, однако суть была такова.

Мои возражения, основанные на известном ленинском положении о том, что революция может быть успешной, когда в недрах общества созреют необходимые объективные предпосылки, в том числе обострятся классовые противоречия, создадутся субъективные условия, Че принимал, но вместе с тем на первое место выдвигал свой план действий. Уверен, что его срочный отъезд с Кубы и развернутая под его руководством партизанская борьба в Боливии явились плодом долгих и мучительных раздумий над судьбами революции в странах Латинской Америки.

Во второй беседе, когда Че уже было выпито бесчисленное количество чашек кофе и выкурено немало сигар, а мною — чая и папирос, он сказал:

— До меня доходят слухи, что некоторые товарищи в вашей стране считают меня маоистом, приверженцем идей Мао Цзэдуна?

По печальному тону, каким была сказана эта фраза, по опущенной голове я понял, что подобная оценки его взглядов беспокоит Че.

— Да, кое-кто из тех, кто хотел бы «отличиться», используя существующие ныне советско-китайские разногласия, потихоньку, в кулуарах пускают такой слушок. Но поверьте, Эрнесто, что в нашей партии, и пишем народе и особенно у его молодого поколения отношение к вам глубоко почтительное и даже восторженное. Говорю вам об этом искренне!

Мне кажется, что сказанное мною успокоило моего прекрасного собеседника.

Нас покоряло на Кубе радушие, открытость, которые мы повсюду встречали. К взаимному удовлетворению в ходе переговоров были успешно найдены решения назревших вопросов во всех сферах межгосударственных и межпартийных отношений, имеющих не только двустороннее, но и международное значение, что было крайне важно еще и потому, что наша делегация на таком высоком уровне была первой приехавшей на Кубу после

известного Карибского кризиса.

Фидель Кастро почти постоянно был с нами. Во время одного из обедов он попросил члена делегации дважды Героя Социалистического Труда А.В. Гиталова рассказать о работе его бригады.

Александр Васильевич:

— Встаю я рано, эдак часов в пять, иду на машинный двор, где стоит техника бригады… — И пауза: он ест поданное блюдо. — Проверяю внимательно каждую машину… — И опять пауза — он продолжает есть. — К половине шестого потихоньку подходят другие члены бригады… — И опять по той же причине пауза.

Подгорный:

— Александр Васильевич, ну что ты тянешь — слова от тебя не дождешься.

Гиталов с сожалением отодвигает свою тарелку и продолжает рассказ. Закончив его, он обратился к Фиделю:

— Товарищ Фидель, не могли бы вы распорядиться, чтобы меня покормили?

Смеялись до упаду. Фидель подошел к Александру Васильевичу, сел рядом с ним и сказал:

— Спасибо за интересный рассказ, а что касается обеда — не волнуйтесь, мы подождем вас.

Визит прошел успешно. Остались некоторые вопросы оборонного порядка, входившие в компетенцию Н.С. Хрущева и Ф. Кастро, они были рассмотрены при их очередной встрече.

Вечером на приеме у нашего посла А. Алексеева поблагодарили руководителей Кубы за братское гостеприимство, а утром в аэропорту пожелали Раулю Кастро, Че Геваре, Освальдо Дортикосу доброго здоровья и новых успехов; сели в самолет и поехали в сторону тропических зарослей; там командир корабля сбавил обороты моторов, из зарослей вышел Фидель Кастро, сел в самолет, и мы полетели. Для членов нашей делегации, кроме Н.В. Подгорного и меня, это была такая неожиданность, что на какое-то время в самолете установилась тишина. Потом она сменилась оживленным разговором, шутками, каждый хотел поближе пообщаться с Фиделем.

Из Гаваны в Москву мы летели без посадки. В одной столице была температура плюс 23°, в другой минус 25°. Пришлось Фиделя «утеплить». Привезли зимние вещи из генеральского походного обмундирования. Переодевшись, Фидель сказал, что он впервые надел шерстяное белье: «Теперь никакие морозы не страшны». Так оно и было. После деловых встреч Хрущева и Кастро Н.С. предложил Фиделю посмотреть Сибирь и там

поохотиться.

После этого второго посещения Кастро нашей страны я с ним не встречался, но постоянно интересовался им, делами на братской Кубе. Для меня совершенно очевидно, что народный вождь Фидель Кастро Рус не изменит делу социализма.

…Работа в отделе шла своим чередом. Юрий Владимирович сказал, что отдел нуждается в обновлении кадров. Пришлось с теми, кто «не тянет», расставаться. На очереди был заведующий сектором Монгольской Народной Республики К. Русаков. Однако после ухода Андропова в КГБ Русаков «всплыл». Он втерся и доверие к Брежневу, стал его помощником, а потом секретарем ЦК КПСС. Под стать ему оказался и «мой» выдвиженец О. Рахманинов: отъявленный подхалим, карьерист — правая рука Русакова.

Русаковым, Рахманиновым, а с их подачи Брежневым многое за почти двадцать лет периода «застоя» было упущено в анализе процессов, происходящих в социалистических странах, в нарастании там негативных явлений, противоречий в общественной жизни, ослаблении связей между руководством партии и государства с самой партией, а партии с массами, забвении необходимости осуществления демократических реформ.

Вместо этого насаждались парадность и шумиха. Одни «Крымские встречи» Брежнева с руководителями братских партий и государств являли собой пример забвения партийной нравственности. Можно себе представить, с каким настроением ехали первые секретари правящих партий, они же президенты, премьеры, председатели совета министров на поклон к уже немощному, мало чем интересующемуся Брежневу. Дико, нелепо, стыдно. Но это было позже, в 70-е годы.

Тогда же, в начале 60-х годов, в руководстве нашей партии были свои «болевые точки», которые сказывались на обстановке в партии и в стране. И самой большой болью стал Хрущев. Сопоставляя различные факты, относящиеся к его деятельности, я склонен думать, что между Н.С. Хрущевым, решительно и смело пошедшим на разоблачение культа личности И.В. Сталина, на демократизацию некоторых сторон деятельности партии, на обеспечение коллегиальности в руководстве партией и государством, и Хрущевым в годы перед его освобождением с партийных и государственных постов как бы пролегла непреодолимая межа. В нем все больше стали проявляться черты, присущие культу: вера в непогрешимость своих единоличных действий, в успех непродуманных экспериментов в рамках такой

огромной страны, как наша. Беспокойство по этому поводу стало нарастать в народе. Думаю, что и домашних Н.С. стало тревожить его подчас бездумное реформаторство — вроде деления органов власти и управления в одних и тех же административных единицах на городские и сельские или повсеместное повальное насаждение кукурузы.

Дочь Н.С., Рада Никитична, добрый умный человек, как-то в разговоре со мной сказала: «Надо отца сдерживать. Ему же все время нужно что-нибудь перестраивать. Он даже на даче у себя в кабинете каждое воскресенье стол письменный ставит на новое место».

К сожалению, характер власти, которую забрал в свои руки Хрущев при попустительстве своих товарищей по Политбюро ЦК КПСС, уже не давал им — товарищам — удержать этого самобытного, талантливого человека от замашек и действий, присущих культу личности. Курс XX съезда, который определила партия, стал или пробуксовывать, или «потихоньку» замалчиваться, или провозглашаться на словах без постоянного его воплощения в дела, в жизнь.

Мне импонировали динамизм Н.С., его способность мобилизовать свои способности, знания, опыт в нужный момент и в нужном направлении. Я это особенно чувствовал, работая в Отделе ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Ю.В. Андропов почти ежедневно в наших деловых разговорах ссылался на ту или иную точку зрения Н.С. по поводу положения дел в других социалистических странах. Для него, Хрущева, состояние в мировой социалистической системе было наиглавнейшей партийной и государственной заботой среди других немалых забот.

Но как бы там ни было, Никита Сергеевич не выдержал испытания властью. О власть, как ты сладка и радостна и какой горькой и трагичной ты бываешь!

Н. Хрущев — самородок, алмаз, гранильщиком которого был Сталин. На Хрущеве не могли не сказаться теоретические воззрения, стиль и методы руководства гениального гранильщика. Помимо понимания Н.С. Хрущевым вреда культа личности как явления для нашей страны, для братских социалистических стран, для международного коммунистического и рабочего движения им, Хрущевым, в немалой степени двигало и то, что, не столкнув с пьедестала Сталина, не потоптав его, ему будет трудно войти во власть, удержаться на самой ее вершине. К началу 60-х годов мастерство гранильщика стало все больше ощущаться в гранях поведения «самородка».

Н.С. как-то сказал: «Я не знаю более сильной власти, чем диктатура пролетариата». К сожалению, он не продолжил свою мысль. Мне думается, что на определенном историческом этапе мы должны были перейти от диктатуры пролетариата к диктатуре народа — его всевластию, выстроенному на широкой демократической основе: депутатов, непосредственно избираемых, во-первых, по производственно-профессиональному признаку и, во-вторых, по территориальному.

В условиях однопартийности, впрочем, как и многопартийности, особое внимание надо было уделять развитию демократических институтов во всех сферах государственной и общественной практики, вводить демократизм в традицию масс, в их обыденность, в привычку. Только в этом случае с помощью «демократического решета» можно отсеивать народные таланты, способные стоять у руля государственной власти и управления, выбрасывать из «демократического решета» тех, кто не оправдал народного доверия, узурпирует власть в угоду своим личным амбициям, групповым интересам.

Трагедия Н.С. Хрущева состояла в том, что он, как и его предшественники, хорошо усвоил одну сторону диктатуры пролетариата — насильственную, с помощью которой легче управлять, и пренебрег ее второй стороной — демократической сущностью, обусловленной коллективистской природой трудящихся.

Глава XII
ПЕРВЫЕ «ЗАМОРОЗКИ»

Критическое отношение к Н.С. Хрущеву в партии и в государстве стало нарастать с начала 60-х годов, причем усиливалось в массах народа — сперва в виде «невинных» шуточек, анекдотов, а затем и прямой нелицеприятной критики, — и лишь потом оно затронуло кадры партии и государства.

В начале осени 1964 года Николай Романович Миронов, заведующий отделом административных органов ЦК КПСС, с которым у меня установились дружеские отношения, и я отправились утречком по грибы. Жили мы тогда на дачах Управления делами ЦК партии в Усово, что километрах в 35–40 от Москвы по Успенскому шоссе. Барвиха, Усово, Успенка — все это дачные места, разбросанные в еще сохранившихся в те годы лесах вдоль чистых пойменных лугов Москвы-реки. Деревянные одно- или двухэтажные дачи с небольшими комнатами, горячей и холодной водой сдавались в аренду на одну-две семьи. Особое удобство состояло в том, что можно было ходить с семьей в столовую или брать из нее обеды и ужины на дом, естественно, за соответствующую плату — на сколько наешь, столько и заплатишь.

Шли мы с Николаем Романовичем и вели неторопливый разговор обо всем, что попадалось нам на глаза в то теплое утро. Пересекли Успенское шоссе, усовскую железнодорожную ветку с ее тупиком и по проселку, поднявшись в гору, вошли в лес — весь светящийся белизною берез с уходящей ввысь подернутой багрянцем листвой. Там, внизу, под горой, виднелись дачи, на которых жили Микоян, Хрущев, Кириленко и кто-то еще. По шоссе сновали автомобили. А здесь, в лесу, было тихо. Мы шли рядом, стреляли глазами по местам, где мог бы сидеть грибок, радовались удаче и снова искали…

Набрав подберезовиков и сыроежек на небольшое жарево, мы прилегли на полянке. Выглянувшее солнышко пригревало, березы отражали его лучи, и лес был наполнен неярким осенним светом, навевавшим отрешенность от обыденности, будничности. По дороге обратно Миронов доверительно сказал: «Среди членов Центрального комитета партии вызревает мнение о целесообразности в интересах партии, государства, народа смещения Хрущева с занимаемых им постов и замены его другим товарищем. Вряд ли мне надо говорить тебе о причинах,

побуждающих к тому. Они тебе известны не хуже, чем мне, и толковали мы о положении дел в стране не раз. Меня интересует, как ты отнесешься к смещению Хрущева?» Ответил: «Положительно». — «Ты понимаешь, что разговор строго между нами?» — «Понимаю. Не беспокойся».

Естественно, что сообщение Миронова побудило острее вглядываться в окружающих меня на работе людей, и прежде всего в Андропова. Он ни гу-гу. Все шло по-прежнему. С Мироновым к этой теме мы тоже не возвращались. Он молчал, молчал и я. Шелепин и Семичастный критиковали Хрущева по тем же полициям, что и многие другие, но о возможности его смещения ни слова.

И лишь дня за три до начала заседания Президиума ЦК КПСС, а затем и Пленума Центрального комитета партии, на котором обсуждался вопрос об освобождении Н.С. Хрущева от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС, Миронов назвал мне предположительную дату созыва Пленума ЦК (14 октября 1964 года). Затем он сказал, что в главных средствах массовой информации — в газетах «Правда», «Известия», в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию — предполагается замена первых лиц на новые.

«Мне поручено предложить тебе возглавить Госкомитет по телевидению и радиовещанию. У тебя немалый опыт работы с учеными, писателями, артистами, композиторами — словом, с творческой интеллигенцией. Тебя в этих кругах неплохо знают и по-доброму к тебе относятся. Не новичок ты и в журналистике. В такой переломный момент твой авторитет благотворно скажется на атмосфере в Комитете. Думаю, что ты примешь это предложение! Поверь, твоя кандидатура обстоятельно обсуждалась. В руководстве ЦК есть уверенность в том, что твой приход в Госкомитет вызовет положительный общественный резонанс».

Предложение было настолько неожиданным, что меня буквально вышибло из кресла. Я стоял и внимательно смотрел на Миронова. Он кивал головой в знак подтверждения уже сказанного. Я спросил:

— Как бы ты поступил на моем месте?

— Ответил бы согласием на предложение товарищей из ЦК.

— Кого?

— Наверное, тех, кто придет на смену Н.С.

— Кто?

— Кого изберет Пленум.

Я понял, что дальнейшие вопросы подобного свойства неуместны.

— Сколько же времени мне дается на раздумье?

— Завтра ты даешь ответ мне. Подумай.

Попрощавшись, я вышел от Миронова, поднялся к себе в кабинет. Позвонил Андропову. Дежурный секретарь сказал, что Юрий Владимирович уже уехал домой, — время было позднее. На улице барабанил дождь. На душе тоже было слякотно. Никаких эмоций — ни положительных, ни отрицательных. Состояние было такое, как будто бы то, о чем мне только что поведал Миронов, я уже от кого-то слышал и успел пережить. Нет, это было не равнодушие и не безразличие — спокойствие, к которому примешивалось предчувствие возможного расставания с товарищами по отделу, с которыми я сработался и сдружился, а также с друзьями из братских партий различных стран.

Я имел доступ к уникальной информации, рассматривающей панораму жизни государств, народов, расстановку политических сил в мире, анализ происходящих в нем процессов в интересах отечества. Короче говоря, работа в Отделе приносила мне удовлетворение и радость.

А что ждет впереди, там, в неизвестности, — в знакомом мне лишь по радио- и телепередачам Комитете?! Вопрос о том, справлюсь ли я с предстоящей работой, меня не беспокоил. Знал, что справлюсь. Пройденное, пережитое, накопленное в жизни, давало право именно так думать. А раз так, значит, я мог дать утвердительный ответ на предложение товарищей из Центрального комитета партии, не желающих пока называть свои фамилии. Почему? Из страха. Боязнь тех, кто задумал осуществить эту объективно назревшую необходимость смещения Хрущева, боязнь перед возможным срывом задуманного вследствие недоучета всего и вся с ним связанного или боязнь Миронова и других быть преданными мною. Боязнь предательства с моей стороны вряд ли была основной в данном случае. Ведь те, кто решил предложить мне пойти председателем в Гостелерадио, несомненно, отдавали себе отчет в моей порядочности. И кроме того, само предложение, высказанное Мироновым, связывало меня с ними взаимной ответственностью в случае неудачи смещения Н.С. Хрущева. Если это так — значит, причина сокрытия от меня действующих лиц кроется в неуверенности, которая имеет место среди некоторых членов ЦК. А потому я обязан своим положительным ответом укрепить членов ЦК в правоте и своевременности вопроса, который выносится на Пленум Центрального комитета партии, его Политбюро. Ведь наличие колебаний, страха, когда нет надежды, парализует человека, группу людей, а в таких случаях нужны бесстрашие и твердая воля…

…Холодный октябрьский дождь стучал по крышам и железным козырькам за окнами, как бы ставя точки в моих размышлениях.

Наутро я столкнулся с Мироновым в подъезде «Большого дома». В лифте мы поднимались вдвоем, и я сказал: «Николай Романович, я согласен. Можешь сообщить об этом людям в масках». — «Не шути зло. Того требует обстановка». — «Догадываюсь. Но ведь мы с тобой не из пугливых. Из нашего поколения весь страх выбила война».

…В здании ЦК все шло своим чередом. Помимо других дел я был занят завершением переговоров А.И. Микояна, председателя Президиума Верховного Совета СССР, с Ю. Цеденбалом, первым секретарем ЦК Монгольской народной революционной партии, Совета Министров Монгольской Народной Республики, с которым мои отношения стали по-товарищески близкими.

Не помню точно, но, наверное, в вечер проводов высокого монгольского гостя на родину (ибо запомнилось, как мы с А.И. Микояном из-за погодных условий мчались из аэропорта Внуково-2 в аэропорт Домодедово) сидели мы с Иваном Поздняковым, заведующим сектором Монголии, обмениваясь первыми свежими впечатлениями по итогам визита Цеденбала, как позвонили из приемной Брежнева и попросили зайти к нему. Подумал — пришел мой черед. Вот тогда, в считанные минуты, пока я надевал пальто, переходил из своего третьего подъезда в первый, поднимался в лифте на секретарский этаж, шел в приемную Брежнева, в голове моей промелькнула почти вся моя жизнь со многими действующими в ней лицами — мгновенно, ярко. Эти воспоминания прошлого укрепили во мне чувство собственного достоинства. Я уже физически ощущал, что сейчас за дверями этого кабинета будет открыта новая страница моей жизни, на которой придется писать ее продолжение.

В кабинете находились Л.И. Брежнев, сидевший в торце длинного стола заседаний, А.Н. Косыгин сидел сбоку, поставив ногу на стоявший рядом стул, напротив него Н.В. Подгорный и рядом с ним П.Н. Демичев, секретарь ЦК КПСС. Следом за мной в кабинет вошел Л.Ф. Ильичев, секретарь ЦК КПСС.

Было около полуночи 13 октября 1964 года.

После того как я поздоровался и сел около А.Н. Косыгина, Л.И. Брежнев спросил: «Кто поедет на радио представлять Николая Николаевича коллегии Комитета?» Подгорный: «Ильичев, это его епархия, там, наверное, его хорошо знают». Ильичев: «Хрущев может проходить и дальше в

радиотелевизионных программах или убрать его из эфира совсем?» Демичев: «Убрать совсем». Брежнев: «Да, так будет правильно». Косыгин и Подгорный согласились с этим. Брежнев: «Коля, желаем тебе успеха. На днях мы встретимся. В случае необходимости звони».

Ильичев и я попрощались с присутствующими и вышли.

Вот и все. Рубикон перейден. Без всяких словопрений и эмоций. Новая страница жизни открыта… Для меня… Для Н.С. Хрущева книга его большой жизни, судя по поведению и настроению его бывших сподвижников, дописана. Внешне они были спокойны. Что делалось в их сердцах и умах — неведомо.

Я давно уже заметил, что большая политика, как правило, иссушает людей. Редко кто из «сильных мира сего» сохраняет эмоциональность, а с ней и высокую нравственность. А ведь без нее нельзя быть по-настоящему большим в большой политике.

Вглядимся с позиций нравственности — единственного, по моему убеждению, конечного критерия в оценке политика — в следующие за Н.С. Хрущевым первые лица — Брежнева, Черненко, Андропова, Горбачева и некоторых нынешних лидеров, ставших президентами независимых государств, которые возникли на месте развалленного Союза Советских Социалистических Республик…

В ту октябрьскую ночь Ильичев и я плутали по Замоскворечью и никак не могли подъехать к единственному сверкающему всеми огнями громадному дому — Радиокомитету, будто плывущему, в окружающей его тьме.

Приехали. В приемной председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию дежурил член Коллегии Комитета К.С. Кузаков (как потом мне стало известно — сын И.В. Сталина, рожденный крестьянкой Марией Кузаковой в далеком енисейском селе Горошиха, где мне довелось побывать в 1946 году). Ильичев попросил собрать членов Коллегии Комитета. К двум часам ночи приехали большинство из них, в том числе и все четыре заместителя председателя: Э.Н. Мамедов — первый зам. председателя, ответственный за радиовещание на зарубежные страны, А.А. Рапохин — ответственный за внутрисоюзное вещание, В.П. Чернышев — за телевещание, Л.С. Максаков — за все хозяйство Комитета. Председателя Комитета М.А. Харламова в Москве не было, он находился в загранкомандировке.

Ильичев сообщил собравшимся, что я назначен председателем Госкомитета, коротко рассказал обо мне, сказал также, что Харламов будет переведен на другую работу. Не вдаваясь в какие-либо подробности, Ильичев сообщил присутствующим, что Н.С. Хрущев за крупные ошибки освобожден

от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. Вопросов к нему не последовало. Он попрощался и уехал.

Членам Коллегии Комитета я сказал, что если у кого-либо есть принципиальные позиции, вытекающие из факта освобождения Хрущева, то прошу об этом сказать, чтобы сообща найти разумное решение. Я просил всех членов Коллегии Комитета продолжать спокойно работать. Подчеркнул, что никаких перемещений, перестановок по службе, не обусловленных творческими, производственными задачами, осуществляться в коллективе Комитета не будет, о чем просил завтра сообщить в руководимых членами Коллегии Комитета главных редакциях, отделах и службах. Извинился за то, что потревожили, пожелал всем спокойной ночи, а заместителей председателя задержал еще немного. Я просил их способствовать созданию в многотысячном коллективе Комитета спокойной, деловой атмосферы. Договорились и том, что они сейчас же просмотрят радио- и телевизионные программы на наступающие сутки, чтобы и них не маячило имя Хрущева. При каких-либо сомнениях по этому поводу просил доложить мне.

Уже под утро позвонил домой. Сообщил, что я на новом месте, в Госкомитете по телевидению и радиовещанию. Просил Аллу не беспокоиться. Детям пока ничего не говорить; приеду — расскажу.

В некоторых нынешних писаниях распространяются байки о том, что в те дни здание Комитета на Пятницкой, телецентра на Шаболовке было оцеплено сотрудниками КГБ, а их коридоры патрулировали негласные сотрудники госбезопасности. Все это бред! Равно как и измышления академика Арбатова о том, что я искал какую-то кнопку, отключающую вещание. Если бы чекисты «обложили» дом на Пятницкой и другие объекты, я об этом непременно бы знал. Председатель КГБ СССР Владимир Ефимович Семичастный, с которым у меня были со времен совместной работы в ЦК ВЛКСМ искренние отношения, наверняка сказал бы, да и товарищи по работе в Комитете могли впоследствии мне об этом поведать.

Просмотр содержания программ всех трех видов вещания занял сравнительно немного времени. Начинался новый рабочий день. Вместе с Алексеем Архиповичем Рапохиным прошлись по коридорам четвертого этажа, посмотрели некоторые радиостудии, аппаратные, зашли в редакцию «Маяка», в службу радиоперехвата зарубежных радиовещательных станций. В ночных программах этих станций не было ничего такого, что говорило бы о смещении Н.С. Хрущева.

Утро, день и вечер 14 октября я был в Комитете, никуда не выходил. Знакомился со структурой Комитета, вникал в текущие вещательные программы, беседовал с заместителями. За весь день ко мне извне не было ни одного телефонного звонка; на мои же никто из могущих дать мне достоверную информацию о ходе Пленума ЦК КПСС не отвечал. Конечно, я понимал, что означало для меня сохранение Н.С. Хрущева на его прежних высоких постах. Тюрьма. И не только… Страха не было. Я знал, на что шел. Был уверен в необходимости в интересах народа, государства и партии смещения Хрущева.

Замечу, что, узнав, кого избрали вместо Хрущева, я пожалел о происшедшем. Но историю не повернешь вспять. Выдвижение Брежнева на пост Генерального секретаря КПСС было, как показало время, крупнейшим политическим просчетом, принесшим многие беды народу и государству, нанесшим ощутимый удар по делу социализма.

Никита Сергеевич обладал великолепным качеством — чувством нового. Не все он додумывал до конца, но это обусловленная многими обстоятельствами ограниченность всякого человека. Хрущев, безусловно, верил в творческий потенциал молодых — представителей нашего поколения, смело выдвигал многих из них на ответственную работу. Он понимал, что и преемственности поколений заложен мощный заряд прогрессивного развития страны. Брежнев, как показало время, боялся молодежи, ее возможных претензий на лидерство в стране.

…Из окон моего кабинета в Комитете был виден Кремль. Сверкали золотом подсвеченные прожекторами купола церквей, отливали белизной соборы и дворцы, алели звезды на башнях. Внешне все как обычно. Но я знал, что там, в одном из залов Большого Кремлевского дворца — Свердловском — заседают члены Центрального комитета КПСС, партии правящей, решают судьбу страны, судьбу не одного Хрущева, а именно всей страны. Я верил в коллективную мудрость тогдашнего состава ЦК, в котором было много товарищей из поколения, прошедшего войну.

«История цивилизации, обществ с различным социально-политическим строем и государственным устройством, в частности история Руси с момента ее возникновения и до наших времен, — думал я, глядя на возвышающийся над городом в этой его центральной части Кремль, — свидетельствует, сколь велико воздействие политического лидера на всю жизнь страны, на само бытие человека. Там, в Кремле, решается дальнейшая история Родины. Там решается и моя судьба».

К ночи 14 октября я перестал кому-либо звонить. Предупредил жену, чтобы не беспокоилась, — заночую в Комитете. Мы долго сидели с Алексеем Архиповичем Рапохиным. Наши судьбы странно переплелись. Алеша родился на Рязанщине, в семье крестьянина, в деревеньке, недалеко от Спасо-Клепиков — есенинских мест. Там и учился в школе. Затем окончил Ленинградский лесотехнический институт. Работал в Новосибирске на авиационном заводе. Был избран первым секретарем обкома ВЛКСМ, а позже, при Хрущеве, в Москве, — первым секретарем Центрального комитета комсомола по пропаганде. Некоторое время я трудился в качестве заведующего отделом пропаганды Цекомола под его началом, а затем он ушел на учебу, и я сменил его на посту секретаря ЦК ВЛКСМ. Нам было что вспомнить и о чем подумать наперед. Я ему рассказал как на духу обо всем, что было связано с моим переходом в Комитет. Он также верил в справедливое решение Пленума ЦК партии.

Утром мне позвонили от Брежнева и сказали, что сейчас фельдсвязью высылается постановление Политбюро и решение Президиума Верховного Совета СССР о назначении меня председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, а к 19 часам я должен быть у Леонида Ильича на Старой площади. Получив эти документы, я попросил начальника управления кадров ознакомить с ними руководящий состав Комитета, а сам, после двух бессонных ночей, поехал домой.

Вечером у Брежнева собрались Подгорный, Косыгин, Демичев, который на только что окончившемся Пленуме ЦК был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС и на него как секретаря ЦК были возложены обязанности куратора отделами пропаганды, культуры и науки ЦК партии с соподчинением Суслову. На Пленуме в состав Политбюро ЦК КПСС был избран Александр Николаевич Шелепин. Помимо меня к Брежневу были также приглашены Владимир Ильич Степанов, заведующий отделом пропаганды ЦК, исполнявший одновременно обязанности главного редактора «Правды» (П. Сатюков был освобожден от этой должности), и Лев Николаевич Толкунов, исполнявший обязанности главного редактора газеты «Известия» (А. Аджубей был освобожден от этой работы).

В ходе беседы у Брежнева было решено сформировать пресс-группу при Политбюро ЦК КПСС в составе Демичева (руководитель), Степакова («Правда»), Толкунова («Известия») и Месяцева (Госкомитет по телевидению и радиовещанию). В пресс-группу стекается вся информация, которая поступает в ЦК по различным каналам. Она группой коллективно обрабатывается, и

также коллективно вырабатываются основные направления в пропаганде и агитации, вносятся коррективы в их текущее содержание как внутри страны, так и на зарубежные государства. Было оговорено, что лишь принципиальные вопросы пресс-группа вносит на рассмотрение Политбюро ЦК.

Надо заметить, что все присутствующие вели себя свободно, раскованно. Брежнев просил не стесняться и и случаях служебной необходимости советоваться с ним и с другими членами Политбюро. Я ознакомился с докладом Суслова на Пленуме ЦК, в котором раскрывались допущенные Хрущевым недостатки и ошибки, послужившие основанием для его освобождения от занимаемых постов, и с соответствующими постановлениями. Прений на Пленуме ЦК не было, что, как говорили потом некоторые члены ЦК, было в пользу Хрущева, иначе к нему могли бы быть применены более жесткие меры партийного взыскания, судя по настроению участников этого пленума.

В нынешней печати мелькает мысль о том, что Октябрьский (1964 года) Пленум ЦК КПСС являлся заговором, а некоторые борзописцы даже сравнивают его с так называемым путчем августа 1991 года.

Октябрьский Пленум Центрального комитета КПСС заговором не был. В ходе Пленума были соблюдены все необходимые нормы внутренней партийной жизни, предусмотренные Уставом КПСС. Н.С. Хрущева на пост Первого секретаря Центрального комитета избрал Пленум ЦК, Пленум ЦК и освободил его. Пленум ЦК рекомендовал Верховному Совету СССР назначить Хрущева Председателем Совета Министров СССР — Пленум ЦК внес рекомендацию в Верховный Совет СССР о смещении его с этого поста. Как свидетельствуют документы, Хрущев уже в ходе заседания Президиума ЦК, предшествовавшего пленуму, понял и признал невозможность далее стоять у руля партии и государства. И самое, пожалуй, главное состоит в том, что Пленум Центрального комитета КПСС выразил настроение широких масс коммунистов и трудящихся, осознавших пагубность для страны субъективного экспериментаторства Н.С. Хрущева как главы партии и государства.

К этому можно было бы добавить еще два немаловажных обстоятельства. Во-первых, то, что члены Центрального Комитета КПСС впервые за долгую историю существования ЦК партии обрели смелость, проявили волю и в соответствии со своими убеждениями пошли на смещение своего лидера, который как политический руководитель перестал оправдывать свою роль. И, во-вторых, вследствие недостаточной развитости демократизма внутри самого Центрального комитета его члены в ходе

подготовки к своему пленуму прибегли к предварительному, притом негласному, обсуждению предстоящего смещения Н.С. Хрущева.

Таким образом, в ходе подготовки и проведения Октябрьского (1964 года) Пленума Центрального комитета КПСС проявились как слабые, так и сильные стороны жизнедеятельности высшего — между съездами — партийного органа.

Когда пишутся эти строки, период «перестройки» канул в Лету. Даже ее «архитекторы», не говоря уже о «прорабах», не упоминают ее в своих многочисленных речах и публикациях. Многие из них опять изменили свои взгляды (в который раз?!) и сомкнулись с теми, кто идет по капиталистическому пути. Вместе с ними, в полном соответствии с идеальным планом ликвидаторства, сначала — не разрушая сложившегося за долгие годы в партии принципа всеобщего послушания снизу доверху — вынудили партию по указке сверху уйти в глухую оборону. Потом — совершенно добровольно отдать власть; затем, используя развернувшуюся в партии критику допущенных ею крупных ошибок и просчетов — оболгали, дискредитировали ее; и, наконец, опираясь на так называемый августовский путч, раздавили ее, распустили указом Президента, не спрашивая воли народа. Они, перебежчики, перевертыши из КПСС имеете с новоявленными представителями сегодняшних властвующих кругов без согласия народа, вопреки его воле, выраженной в ходе всенародного референдума, быть или не быть Союзу Советских Социалистических Республик, разваливают страну, поворачивают ее вспять.

Проводить какие-либо аналогии между Октябрьским (1964 г.) Пленумом ЦК КПСС и так называемым путчем «гекачепистов» августа 1991 года так же несерьезно, как ребячески несерьезным был весь этот путч от самого начала до самого его конца. Мы, читающие, слушающие, смотрящие, почти не имеем достоверных данных обо всем, что с ним связано, многое в оценках идет от эмоционального настроя. Но несомненно, что организация этого путча проходила вне рамок партии, в нарушение норм внутрипартийной демократии. Партия, коммунисты в данном случке ни при чем. Они оказались причастны к так называемому путчу только тем, что стали заложниками тех сил, которые использовали действия «гекачепистов» (оказавшимися мелкими политиканами) в целях государственного переворота — слома одной общественной системы и создания на ее обломках другой. Однако будем знать, что исторические попятные движения недолговечны. Будем помнить, что социалистическую идею чьими

бы то ни было указами, приказами запретить, убить невозможно. Эта истина так же стара как божий свет. Будем верить, что внушать всем людям, массе страх в условиях тотального обнищания мыслимо, но невозможно: останутся бесстрашные и их будет много.

Несмотря на обстановку всеобщего хаоса, развал великой страны, в каждом сердце, любящем Отчизну, крепнет воля встать на защиту ее державности, а значит, и собственного достоинства.

Так думаю не я один. Поговорите об этом с любым из моего поколения, почти с каждым из его здравствующих представителей, и он, наверное, скажет то же самое. Он не может сказать иное, ибо прожитую жизнь, полную ратного героизма, трудовой доблести, положенную на алтарь отечества, нельзя перечеркнуть.

Глава XIII
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА»

16 октября 1964 года на третьи сутки после моего появления в Комитете по договоренности с партийным, профсоюзным и комсомольским комитетами Пыл собран партийно-хозяйственный актив. Зал заседаний, рассчитанный примерно на пятьсот человек, Пыл переполнен. По просьбе не попавших в зал устроили дополнительную радиотрансляцию на другие этажи. По своему обычаю я пришел минут за десять до начала собрания, дабы составить первое впечатление сразу о многих, в их «массе». Это возможно. Не зазорно. Необходимо, так как помогает быстрее найти желаемый контакт, взаимопонимание, что я хорошо усвоил на собственном опыте. В слове «масса» я действительно не вижу ничего зазорного, если этим понятием не обезличивать людей, ее составляющих. Я рассмотрел зал: овальной формы, уходящий амфитеатром вверх, двусветный. Наблюдал за группками, очевидно, из одних и тех же редакций и служб; заполнялся зал людьми и седовласыми, с уже грузными фигурами, и молодыми, с гибкими толами, модными прическами и столичным налетом небрежности в одежде. Но большинство, как мне показалось, были мои ровесники — среднего возраста, надевшие и пережившие многое, в том числе и смены «высокого» начальства. Собравшиеся были настроены живо, даже весело. В зале повисло ожидание, заинтересованность: «А ну-ка, что нам скажет новый председатель? Чем удивит?!» Конечно, удивить я их ничем не мог, да и не стремился к этому. Мне предстояло их заинтересовать моим пониманием сущности современного радиотелевизионного вещания, включить их в творческий процесс как равных и ответственных соучастников общего дела, движимых добротой к людям.

Лишь идя от некоего теоретического осмысления того или иного явления — в данном случае массового вещания — к постановке конкретных, вполне реально осязаемых задач можно привлечь к себе внимание в той ситуации, в которой я выходил в первый раз на трибуну на суд тех, для кого независимо от возраста и служебного положения деятельность в массовом вещании составляла жизненный интерес.

«Радио — это сумасшедший дом, а телевидение — пожар в сумасшедшем доме», — так говорили, по дошедшей до меня молве, знатоки — старожилы дома на Пятницкой, откуда велось радиовещание на зарубежные страны, и Шаболовки, где

создавалось телевизионное вещание на всю страну — Центральное телевидение.

В своем выступлении-размышлении на заданную самим собой тему о моем видении и сущности массового вещания, я стремился донести до слушающих меня товарищей наибольшее количество взаимосвязанных между собой идей. Я рассчитывал на понимание, которое позволит, как мне думалось, развить в многотысячном коллективе более сильное чувство спайки, взаимопомощи, разжечь профессиональный творческий интерес и, стало быть, поднять уровень массового вещания.

В ходе выступления я подчеркивал, что мои размышления основаны на личном, стороннем, как обычного рядового слушателя и зрителя, впечатлении о массовом вещании, а не на взгляде на него изнутри, с позиций людей, участвующих в процессе его созидания, что, надеюсь, говорил я, ко мне еще придет. Такое «отделение» себя от присутствующих, как мне показалось, насторожило аудиторию и приковало ко мне еще большее внимание, что мне и надо было.

Всякое явление, в том числе и массовое вещание, находится в движении, развиваясь или деградируя вместе с обществом, в котором оно функционирует и с которым строит свои взаимоотношения — радио с массовым слушателем, телевидение с массовым зрителем. В ходе этого движения полезно остановиться и основательно проанализировать, какой приобретенный опыт полезен, а какой надо, быть может, отбросить; определиться в творческой преемственности.

Сейчас, говорил я, как мне кажется, именно тот момент, когда есть возможность провести подробный анализ в плане преемственности: что брать с собой дальше из приобретенного массовым вещанием опыта и наработанных традиций, а что отсечь как наносное, чуждое, неприемлемое.

В связи с идеей преемственности я остановился на причинах освобождения Н.С. Хрущева от занимаемых им партийных и государственных постов и об известном скатывании радио и телевидения к прославлению одной персоны, загораживающей собой все остальное, к отходу от курса XX съезда КПСС. Я подчеркивал, что в условиях социализма право на культ имеет лишь труд, человек труда. Именно такой подход будет способствовать дальнейшей демократизации массового вещания, а тем самым его благотворному воздействию на все процессы демократизации жизни советского общества (на что у меня были большие надежды после Октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС).

Естественно, что преодоление культа личности Сталина,

субъективизма Хрущева, развитие демократизма диктует необходимость еще большего поворота массового вещания к человеку — не выдуманному, а реальному, со всеми его радостями и горестями, слабыми и сильными чертами характера. Лишь в этом случае мы сможем полнее выражать общественное мнение и воздействовать на его формирование.

Далее я развивал идею о том, что постоянное внимание радио и телевидения к социально-политическим, идейно-нравственным процессам, происходящим в стране, непременно будет благотворно сказываться на содержании вещания, его актуализации, связи с жизнью, без чего передачи могут превращаться в пережевывание одного и того же.

Конечно, говорил я, свободное выражение общественного мнения предполагает свободу творчества каждого. Для меня несомненно, что творец имеет право на творческую ошибку. Творить не ошибаясь невозможно. Осознание ошибки будет в свою очередь способствовать нравственной зрелости сотрудника и коллектива Комитета в целом. Демократизация творческого процесса, всей внутренней жизни будет благотворно сказываться на реализации возложенных на радио и телевидение художественно-эстетических, воспитательных функций.

Аудитория слушала меня с вниманием, которое можно было ощутить, почувствовать, как говорится, «кончиками пальцев», и я решил спросить: «Представляет ли для вас, товарищи, интерес то, о чем я говорю?» Была пауза, наверное, необходимая для того, чтобы набрать в легкие воздуха и на одном дыхании сказать: «Да!» Затем все дружно рассмеялись.

Я продолжал говорить о необходимости разворота строительства Общесоюзного телевизионного центра в Останкино, о модернизации технической базы радиовещания, о подготовке кадров массового вещания. Закончил тем, что попросил помощи и поддержки в работе. Поручил своим заместителям, главным редакторам, руководителям служб Комитета подумать и подготовить творческие заявки на новые передачи, циклы, виды и формы подачи информации, на создание новых телепрограмм.

После меня говорили многие. По-разному: страстно и сухо, серьезно и с юмором. Главное, искренне и обо всем, у кого что наболело и накипело. Я многое узнал. Глубже понял, что и как делать. Коллектив умный. Значит, дела пойдут, решил я.

В Комитете я проработал без малого шесть лет. За эти годы многое увидел, многое познал. Были взлеты духа и тяжкого упадка. Но председатель Комитета, руководитель такого большого и сложного коллектива, в котором трудились только в

Москве более тридцати тысяч человек — журналисты, артисты, музыкальные режиссеры и редакторы, инженеры, техники, строители и другие, — обязан был всегда, как говорится, при любой погоде, быть ровным, в хорошем настроении, полным сил.

Иногда приходилось играть нелегкую роль оптимиста, хотя на душе кошки скребли… И все-таки общее ощущение от работы в Комитете — запечатлевшиеся в памяти словно кадры длинной-длинной хроникально-документальной ленты факты, события, явления сплелись в одно чувство радости от доброты людей к тебе, от осознания твоей нужности людям, от гордости за свершенное вместе с коллективами работников радио и телевидения в Москве, в союзных республиках, краях, областях страны.

Я не могу передать словами то чувство, которое испытывал от того, что каждый день мы, работники массового вещания, входим как близкие друзья и каждую советскую семью, что голос Москвы — наш голос — звучит в далеких странах всех пяти континентов Земли. Приедешь в командировку в заполярный Мурманск или в южный теплый Ташкент и слышишь знакомый голос Юрия Левитана; сидишь в заснеженной подмосковной деревушке Студенцы или в далеком Хабаровске и смотришь по телевидению, как твой коллега Юрий Фокин ведет «Эстафету новостей», а Николай Бирюков программу «Время»; едешь ли по эвенкийской тундре, нежишься ли в водах Каспия, повсюду до тебя доходят позывные «Маяка». А это значит, что твои коллеги творят нужное людям дело, работа идет… Радио и телевидение помогают людям ощущать себя частицей большой многонациональной советской семьи.

Одним из первых моих практических шагов стало уточнение на Всесоюзном радио, Иновещании (вещание на зарубежные страны), на Центральном телевидении разработки концепций вещания. Это позволило сформулировать характеристики Первой, Второй («Маяк»), Третьей, Четвертой, Пятой программ, программ для Москвы и Московской области, входящих в систему Всесоюзного радио, с общим объемом вещания около 130 часов в сутки, и охватывающего практически всю территорию Советского Союза.

Разработка концепции Центрального телевидения потребовала больше усилий, так как выстраивалась с расчетом на то, что после ввода в строй Общесоюзного телевизионного центра в Останкино создастся возможность для формирования в стране многопрограммного телевизионного вещания, что и было осуществлено. Концепцией было предусмотрено, что создаются четыре программы, а также программа для Москвы и программа

для Московской области.

Общий объем вещания первоначально устанавливался в 50 часов в сутки. Предусматривалось последующее его увеличение и быстрый рост числа телезрителей на всей территории страны посредством строительства телевизионных студий в республиках и областях, радиорелейных линий, ретрансляторов, передачи телевизионных программ с помощью искусственных спутников связи «Молния» и системы «Орбита», которые уже тогда ставились в серийное производство.

Вещательные концепции несли в себе организационное начало. За ним шла повседневная, нередко изнурительная работа по созданию передач. Еще в те годы, когда формировались концепции радио- и телевизионного вещания и прежде всего их содержательная сторона, в Комитете были созданы соответствующие службы для серьезных социологических исследований в целях корректировки радиотелевизионных программ в соответствии с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, детей, подростков, молодежи, людей разных национальностей, любящих театр, эстраду, классическую музыку, кино, народное творчество, спорт, информацию, политико-экономическую, философскую тематику — словом, для удовлетворения разнообразных запросов и интересов человека.

В содержательной части наших радиотелевизионных вещательных концепций совершенно определенно закладывалась воспитательная функция массового вещания на базе материалистического, марксистско-ленинского мировоззрения, исторического прошлого пародов нашей страны, революционных, боевых и трудовых традиций советского народа.

Человеческая мысль пока не придумала более мощного средства формирования общественного мнения, мировоззренческих позиций, чем телевидение и радио. Посредством манипулирования ими можно или обогащать духовный мир человека, или обкрадывать его. Возвращая память свою ко второй половине 60-х годов, я могу с чистой совестью говорить о том, что при всех недостатках массового вещания в те годы, а их было немало, оно возвышало человека, способствовало росту его знаний, повышению культурного уровня, выработке художественно-эстетических вкусов, умению разбираться в вопросах политики, экономики, в разных жизненных ситуациях. Я подчеркиваю: в те годы — во второй половине 60-х.

Мне повезло, что судьба забросила меня на работу в Госкомитет по телевидению и радиовещанию. Посчастливилось потому, что я получил возможность в известной мере реализовать свои идеи, свою сущность на поприще массового вещания,

возглавляя целую государственную отрасль, причем такую, которая оказывала мощное воздействие на все советское общество. Конечно, эта реализация была неполной, урезанной по разным объективным и субъективным причинам. И все-таки она состоялась.

Судьба была благосклонна ко мне и в том, что на телевидении и радио получили продолжение старые, еще со времен работы в Цекомоле, дружеские отношения, связи с партийными и государственными работниками, рабочими, крестьянами, контакты со многими деятелями культуры и учеными. И, конечно, были установлены новые знакомства. А сколько людей разных профессий, как бы мимоходом, но оставили во мне частицу своего «я», обогатили меня, углубили мое стремление быть нужным людям! Уверен, что каждый человек каждый день должен делать людям добро, пускай даже самое маленькое, крохотное, но добро.

Так что же все-таки мне, как представителю своего поколения, удалось совершить в массовом вещании вместе со всеми товарищами по работе и, конечно, с моими заместителями, ныне уже покойными — Алексеем Рапохиным, Леонидом Максаковым, Георгием Ивановым (да будет им земля пухом), Энвером Мамедовым, помощниками Евгением Наером, Захаром Алояном, а также крупными организаторами массового вещания Петром Шабановым, Дмитрием Квоком, Николаем Карцовым и многими другими сподвижниками? Как хотелось бы рассказать об их душевной красоте, профессионализме, организаторских способностях… Каждый из них — это богатырь, выдержавший на своих плечах огромный груз гласа народного, а подчас неудовольствия вождей и особенно их приспешников. Так было…

Перелистаем страницы календаря год за годом — конец 1964-го, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, начало 1970-го — и задержимся на тех, которые отмечены чем-то новым, значительным в массовом вещании.

…Мой первый выход на заседание Совета Министров СССР с защитой бюджета Госкомитета на 1965 год. В то время годовой бюджет Госкомитета был большой, примерно на уровне годового бюджета некоторых союзных республик. Вел заседание председатель Совмина Алексей Николаевич Косыгин. Состав Совета Министров, за некоторым исключением, мне Пыл мало знаком. Да и с Алексеем Николаевичем ни разу не приходилось встречаться по какому-либо конкретному государственному делу. Позвонил управляющему делами Совмина М. Смиртюкову — попросил у него совета.

— Подготовься тщательно, никаких писаных речей, короткие тезисы на четвертушках машинописного листа, а все остальное по памяти, — был его ответ.

Я так и поступил. Пришел в зал заседаний Совмина — уютный, с высокими потолками и такими же окнами; ничего лишнего — стол председателя, к нему примыкает длинный стол для его замов и ряды стульев для министров, председателей госкомитетов и приглашенных. Рядом со столом председателя небольшая трибуна для выступающих. Я сидел, слушал министров, защищающих бюджеты своих отраслей, обдумывал вопросы, которые задавал им А.Н. Косыгин.

«Да, дело он знает», — думал я.

Пришел мой черед, начал говорить. Слежу за реакцией председателя и зала. Слушают внимательно — радио и телевидение всех касается. Вдохновленный всеобщим вниманием, перехожу к «картинкам» жизни и быта телевидения и радиовещания.

А.Н. Косыгин, прерывая меня, говорит: «Товарищ Месяцев, покороче, это вам не радио и телевидение». Все смеются.

Я — Косыгину: «Неплохо вы, Алексей Николаевич, меня подклеили». Все хохочут.

Бюджет принят. Можно спокойно вести дело по дальнейшему развитию и совершенствованию массового вещания.

После этого первого радостного для меня листка в календаре пошли чередой другие…

15 ноября 1964 года мы выпустили в эфир радиостанцию «Мир и прогресс», учредителями которой стали советские общественные организации. Она знакомила зарубежных слушателей с общественной, экономической, культурной жизнью в СССР, а также с точкой зрения советской общественности на важнейшие события внутренней и международной жизни, которая не обязательно совпадала с государственной, что явилось несомненным шагом вперед на пути демократизации радиовещания.

13 января 1965 года по радиопрограмме «Маяк» прошла первая передача под названием «Найти человека», посвященная поиску родственников, разлученных войной. Вела передачу известная детская писательница Агния Барто. Почта передачи, несмотря на то что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло около двадцати лет, была огромной.

Может быть, не выдерживало сердце Агнии Львовны — уже немолодой, но по-прежнему восприимчивой к чужому людскому горю, — она приходила ко мне в кабинет, читала письма

благодарности за помощь в нахождении матери, отца, брата, сестры, дочери, сына и плакала с тихой радостью…

18 февраля того же года Центральное телевидение впервые начало премьерный показ первого отечественного многосерийного телефильма «Вызываем огонь на себя», поставленного режиссером С. Колосовым на созданной на «Мосфильме» студии телевизионных фильмов.

Как-то в конце восьмидесятых годов в концертной студии Останкино на встрече с телезрителями выступал С. Колосов. Сидел я, смотрел на него, слушал и думал: куда же подевалась его элементарная порядочность? Он, не жалея красок, рассказывал о том, как чиновники от телевидения мешали ему работать, ставили палки в колеса его творческого процесса.

Говорил он облыжно, не приведя ни одного заслуживающего внимания факта. И не мог привести. Ибо в действительности все было наоборот. Чиновники от телевидения не могли не помогать С. Колосову, ибо он первый пошел на создание телевизионного сериала, отсутствие которого на малом экране ощущалось. Это, как говорится, объективная сторона дела. А субъективная сторона состояла в том, что председатель Комитета поверил в способности С. Колосова и не ошибся. Гостелерадио щедро финансировало все последующие работы режиссера Колосова с непременным участием в каждой из них его супруги — превосходной актрисы Людмилы Касаткиной.

Новый телевизионный альманах «Подвиг» впервые появился на экранах телевизоров 2 марта 1965 года. Вел его писатель Сергей Смирнов. Он рассказывал о памятных событиях войны, о бывших фронтовиках и партизанах, об отдельных родах войск, о красных следопытах, идущих в походы по дорогам войны, и городах-героях.

Потом начались передачи Сергея Смирнова о трудовом героизме — «Поиск». Эта многолетняя работа Сергея Сергеевича Смирнова стала общественным явлением. Страна ждала его выступлений. Своими рассказами о войне, заступничеством за нуждающихся, защитой от незаслуженных обид или забвения, гимном отважным Сергей Смирнов взрывал атмосферу равнодушия, приспособленчества, карьеризма, которая кое-где давала себя знать, будил общественную активность.

Почта на передачу шла огромная. Была создана специальная группа редакторов в помощь С. Смирнову. Большую работу вместе со Смирновым проводили Николай Карцов — главный редактор литературно-драматического вещания ЦТ — и обозреватель Юрий Гальперин — два самоотверженных, талантливых, под стать

Сергею Сергеевичу, человека. Мы старались организовать работу с почтой, поступающей на передачи «Подвиг» и «Поиск», таким образом, чтобы немедленно, через соответствующие партийные, государственные, общественные организации добиваться положительной реакции на просьбу о помощи, в защиту справедливости. Мы исходили из того, что именно таким образом наше массовое вещание проявляет свою демократическую сущность.

Альманах «Подвиг» шел в эфире, а за кулисами разворачивались настоящие сражения между Гостелерадио (Месяцевым) и Главным политическим управлением Советской армии и Военно-морского флота (Епишевым). Оттуда шли обвинения в адрес С. Смирнова в том, что он, рассказывая о героизме наших солдат и офицеров, попавших в немецко-фашистский плен, тем самым обеляет сдачу в плен как явление, а я (Гостелерадио) предоставляю ему — Смирнову — эфир для распространения такого рода вредных суждений..

Епишев требовал «прикрыть» или «изменить» характер выступлений Смирнова по Центральному телевидению. В данном случае я нашел поддержку у Л.И. Брежнева, и, как говорится, вопрос был закрыт. На Брежнева подействовал мой довод, что выступления Сергея Смирнова имеют широчайшую народную поддержку со всеми вытекающими отсюда последствиями политического и нравственного свойства.

Сергей Смирнов внешне не приковывал к себе внимания. В московской толпе его, пожалуй, и выделить было невозможно. Как все — большинство из нас. Но близкое с ним знакомство, а тем более взаимное дружеское расположение раскрывали его недюжинную натуру. Конечно, он обладал большой работоспособностью, умел совмещать свою литературную деятельность со всякого рода общественными поручениями, лишь бы они, говаривал он, имели толк.

Но главное свойство его души — это отклик на человеческую боль, неприятие несправедливости по отношению к другим, стремительное выступление на защиту того, чьи права попраны. Думается, что творчество Сергея Смирнова на радио и телевидении порождено именно борьбой за тех, кого забыло или обидело государство. Не Родина. А именно государственная власть.

Его «Брестская крепость» — гимн красноармейцам и командирам, поднятым из беспамятства власти на высокий пьедестал признательности Отчизны. Как член Комитета по Ленинским и Государственным премиям, я вместе с другими с чувством глубокого удовлетворения проголосовал за

присуждение Сергею Сергеевичу Смирнову Ленинской премии в области литературы за его работу «Брестская крепость».

Строительство Общесоюзного телецентра шло полным ходом. Уже были видны его контуры, поднявшиеся в высоту стены. Все сильнее «упиралась» в небо и телевизионная башня, создаваемая по проекту инженера Н.В. Никитина. Более 600 заводов участвовало в строительстве телекомплекса в Останкино. В цепях ускорения ввода его в эксплуатацию нами было решено: одновременно со строительством начать разработку и производство радиотелевизионной аппаратуры, ее установку, опробование, естественно не в ущерб качественной стороне дела.

Для освоения новых мощностей и работы на общественном телецентре нужны были тележурналисты, телеоператоры, видеоинженеры, осветители и другие специалисты. Нами были открыты курсы по подготовке таких кадров в арендуемой у Моссовета обычной средней школе, недалеко от телецентра на Шаболовке.

В ходе бесед с Алексеем Николаевичем Косыгиным было получено добро на строительство трех больших жилых домов на проспекте Мира, недалеко от Останкинского телецентра. Это была большая победа — впервые Комитет строил для своих сотрудников жилье. Но и это не все: по договоренности с Моссоветом было решено создать кооперативное жилищное товарищество и с его помощью построить еще несколько жилых домов. По нашим расчетам, осуществление плана жилищного строительства должно было снять в коллективе остроту жилищной проблемы.

Немало усилий было приложено и к тому, чтобы превратить столовую на Пятницкой улице — в основном здании Комитета — в образцовый, именно образцовый пищеблок. И это было осуществлено: качество приготовленных блюд было на уровне первоклассных московских ресторанов при низкой стоимости. На некоторых этажах были созданы красиво оформленные буфеты; в определенное время развозились по этажам кофе, чай, молоко, булочки, бутерброды, пирожные и прочая снедь. Я с удовольствием принимал самых высокопоставленных гостей из-за рубежа в общем зале столовой, на виду у всех, потчуя их теми блюдами, которые обозначались в меню на данный день.

Естественно, что всеми видимые и ощущаемые сдвиги в работе Комитета вызывали в коллективе прилив энергии, деловитости, повышали творческий вклад в подготовку радиотелевизионных программ, критическое отношение к результатам своего труда. Меня, как председателя, радовало растущее в коллективе чувство взаимного уважения друг к другу,

доверительности, товарищества, этического поведения в стенах Комитета, иначе говоря, всего того, без чего нет духа открытости. Конечно, в целях развития демократизма в коллективе приходилось прибегать и к необычным мерам, выходящим за рамки привычных, накатанных форм и методов партийной и профсоюзной работы. Так, например, я установил ежеквартальные вечера-встречи с работниками Комитета, встречи без заранее обозначенной повестки, на которых я и мои заместители отвечали на поставленные вопросы, рассматривали жалобы, претензии к руководству — в общем, занимался тем, из чего складывалась повседневная будничная жизнь работающего коллектива.

В главных редакциях и отделах Комитета, его коллегии шла напряженная работа по уточнению концепции отечественного массового вещания. Ее рабочая основа была отработана и получила воплощение и практической работе.

В качестве подтверждения сказанного о последовательном воплощении в практику разработанной концепции вещания может служить создание в марте 1965 года учебно-образовательной программы на Центральном телевидении. Ее учредителями явились Госкомитет по телевидению и радиовещанию, Министерство высшего и среднего специального образования СССР и Всесоюзное общество «Знание».

Или другой пример. В том же году с помощью спутника связи «Молния-1» впервые из Москвы жителям Дальнего Востока были показаны первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади, парад, а в ноябре проведена экспериментальная передача из Москвы в Париж.

Усилия коллективов Центрального телевидения, Всесоюзного радио, вещания на зарубежные страны, комитетов по телевидению и радиовещанию в союзных республиках, краях и областях, материальная база которых тоже или модернизировалась, или создавалась заново, были сосредоточены на содержательной стороне вещания — на идейно-художественном уровне всех программ и передач.

В общий поток новых передач вливалось творчество работников вещания Украины, Белоруссии, Узбекистана, Грузии, Армении — всех союзных республик страны, многих краев и областей РСФСР.

9 октября 1965 года вышла в эфир новая рубрика ЦТ «На улице Неждановой» — передача из Всесоюзного Дома композиторов в Москве. Музыкальные вечера, которые транслировались оттуда, знакомили телезрителей с современной симфонической, камерной и эстрадной музыкой, с песнями и

романсами, с творчеством композиторов союзных республик, краев и областей РСФСР.

По старой, еще с комсомольских времен традиции я часто бывал на заседаниях секретариата Союза композиторов СССР, на которых обычно председательствовал Тихон Николаевич Хренников, много сделавший для популяризации классической и современной музыки на радио и телевидении, вместе с другими композиторами помогавший ставить заслон проникновению в эфир различного рода музыкальных поделок, а то и просто пошлятины. Подлинными музыкальными праздниками являлись творческие вечера композиторов в Колонном зале Дома союзов в Москве: Д. Шостаковича, Г. Свиридова, М. Блантера, Н. Богословского, В. Мурадели, А. Новикова, А. Островского, Я. Френкеля и других не менее известных в народе композиторов. Эти вечера рождали новых исполнителей советской песни.

А какой популярностью у зрителей пользовался «Голубой огонек», в котором принимали участие выдающиеся мастера искусств и крупнейшие музыкальные коллективы страны! Почти со всеми из названных выше композиторов у меня были добрые отношения. В Комитете по Ленинским и Государственным премиям я участвовал помимо пленарных его заседаний в работе секции музыки, которую возглавлял Дмитрий Шостакович. Там я близко узнал Георгия Свиридова. До знакомства с ними мне казалось, что они далеки от обычных мирских дел, а тем более закулисной жизни столичного «света». А оказалось, что Шостакович, например, хорошо осведомлен о расстановке сил внутри Политбюро ЦК КПСС, знает, кто из крупных деятелей культуры кому из действующих в нем фигур выражает свои привязанности. Но это так, к слову.

Конечно, и для Шостаковича, и для Свиридова, и для Хренникова, да и для других членов секции музыки этого Комитета характерна была истая поддержка подлинных талантов в отечественной музыке. Кандидаты на соискание Ленинской и Государственной премий подолгу и обстоятельно обсуждались на секции, их произведения обязательно прослушивались в публичных концертах (то же самое относится и к кандидатам из числа исполнителей). И лишь потом согласованное в секции мнение докладывалось на пленарном заседании Комитета, который после открытого обсуждения той или иной кандидатуры тайным голосованием решал вопрос о присуждении столь высокой награды. Георгий Свиридов нередко с увлечением рассказывал о новых для себя открытиях среди творческой молодежи, самодеятельных исполнителей.

Для меня было очевидно, что радио и телевидение призваны

быть своеобразным «решетом», через программы которого «просеиваются» люди, увлеченные искусством, достигающие в нем больших творческих успехов, которым при их желании надо помочь получить специальное, художественное образование и влиться в ряды профессиональных исполнителей.

Таким «решетом» была призвана стать созданная на ЦТ Главная редакция народного творчества. Ни один театральный или клубный зал не может сравниться по величине со зрительным залом передач, шедших под девизом «народное творчество», да к тому же с неизменно высоким исполнительским мастерством солистов и коллективов, принимавших в них участие. Сказанное объективно выражает одну из качественных сторон средств массового вещания, но лишь одну.

Сущность массового вещания в его многомерности, функциональном разнообразии. Оно информатор и в то же время комментатор происходящих окрест и в целом мире событий, явлений, намечающихся тенденций, проявляющихся закономерностей.

Для меня было несомненным, что к середине 60-х годов отечественное радиовещание и телевидение достигли такого уровня, когда требовалось научное осмысление перспектив их дальнейшей роли в советском обществе. Определять их развитие по личному или коллективному наитию было бы, мягко говоря, ребячеством, и на поверку могло бы повести не только к растрате огромных материальных ресурсов, а к нанесению нравственного ущерба обществу. С помощью массового вещания можно духовно растлить людей, поссорить между собой поколения, посеять национальную вражду, разбередить в душах низменные инстинкты — зло, грубость, насилие, жестокость, преступность.

Эти мысли все чаще и чаще навещали меня. Я их не скрывал. Делился ими со своими заместителями, с главными редакторами, затевал разговор на различного рода собраниях. В итоге было решено: во-первых, создать в Комитете научно-исследовательскую лабораторию социологических исследований эффективности радио и телевидения среди различных категорий слушателей и зрителей. Во-вторых, усилить аналитическую сторону в работе отделов писем Всесоюзного радио, вещания на зарубежные страны, Центрального телевидения, а также всех главных редакций и служб Комитета. В-третьих, повести работу в направлении постепенного превращения курсов по подготовке и переподготовке кадров во Всесоюзный институт радио и телевидения. В-четвертых, ввести в практику проведение совместно с другими учреждениями научных конференций по актуальным проблемам массового вещания. В-пятых, решить

вопрос о создании в Академии общественных наук при ЦК КПСС аспирантской группы на кафедре журналистики и расширить контингент специализирующихся в радио- и тележурналистике на факультете журналистики МГУ.

Реализация этих замыслов была поставлена на практическую основу. Уже летом 1966 года нами в Москве было проведено первое всесоюзное совещание по вопросам социологии телевидения и радиовещания, в котором приняли участие социологи и психологи институтов Академии наук СССР, ее Сибирского отделения, Академии общественных наук при ЦК КПСС, Московского и Ленинградского университетов. С выводами и предложениями ученых были ознакомлены сотрудники телевидения и радио, что дало им пищу для осмысления собственной практики, ее корректировки.

Постоянный внешний критический анализ и внутренний самоанализ содержания передач необходимы во всех видах вещания — будь то информация, общественно-политическое или художественное вещание, естественно, при непременном учете мнения зрителя и слушателя.

К этому обязывали и принятые XXIII съездом КПСС Директивы по пятилетнему плану развития на 1966–1970 гг. В них, по нашему предложению, указывалось на необходимость расширить сеть радиовещательных и телевизионных станций посредством использования искусственных спутников Земли, развивать сеть телевизионного вещания (в том числе и цветного). Отмечалась важная роль радио и ТВ в сближении культурных уровней населения города и села, а также различных районов страны. Замечу, что на XXIII съезде КПСС (29 марта — 8 апреля 1966 года) я был избран кандидатом в члены ЦК КПСС; 12 июля того же 1966 года — был избран депутатом Верховного Совета Союза ССР (Совета национальностей от Термезского избирательного округа № 111 Узбекской ССР).

Вхождение в состав высших партийных (ЦК КПСС), государственных (Верховный Совет СССР, Правительство Союза ССР) органов, несомненно, позволило мне добиваться большей результативности в решении различных вопросов массового вещания. И действительно, оно набирало силу как по охвату населения, так и по все большему разнообразию радио- и телевизионных передач. Думаю, что и 1967 год в этом смысле показателен — удалось многое из задуманного свершить.

Если год 1965 был освящен 20-летием Великой Победы советского многонационального народа в Отечественной войне 1941–1945 гг. против немецко-фашистской Германии и ее сателлитов, то в 1967 году в массовом вещании ведущим стал

жанр эпической поэмы о поколениях советского народа, свершивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, отстоявших ее завоевания в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции, поднявших Отчизну до уровня самых развитых стран мира, укрепивших ее державность, оказывавших помощь народам братских социалистических стран Европы, Азии и Латинской Америки, народам, борющимся против колониализма, за свободу и независимость.

Недостатки, ошибки и просчеты во внутренней и внешней политике, которые, конечно, имели место, отошли как бы на второй план. О них говорилось, их обнажали на экране. Но лейтмотивом радио- и телевизионных передач была героика исторического значения свершений советского народа под руководством своей партии, преемственность в поколениях революционных, боевых и трудовых традиций.

Вот лишь некоторые к тому факты.

21 апреля Центральное телевидение начало показ историко-революционного многосерийного документального фильма «Летопись полувека», посвященного пятидесятилетнему юбилею Октября. Восемь месяцев миллионы телезрителей, не отрываясь от голубых экранов, как бы перелистывали полувековую историю первой в мире страны социализма. Была огромная почта…

Телезрители, отдавая дань благодарности создателям этого сериала, рассказывали, как они торопились с работы домой, чтобы не опоздать к началу очередной серии, усаживались дома семьями, с друзьями и с гордостью смотрели, какими были их деды, отцы и матери, старшие братья и сестры и какими стали благодаря советской власти. В коллективных письмах сообщалось о дискуссиях и диспутах по поводу увиденного. К сожалению, я никогда не вел дневниковых записей — было не до них, работа — и потому не могу назвать ни одного из создателей той или иной серии. Над каждой из пятидесяти серий тщательно работали мой заместитель по ЦТ Георгий Иванов, его помощник Владимир Трусов и я. Я же давал добро на выход в эфир.

Однажды позвонил мне Петр Нилович Демичев и сообщил, что один из членов Политбюро (фамилию не назвал) выразил свое неудовольствие или возмущение по поводу увиденного в сериале и добавил, как бы Месяцев не разделил судьбу Некрича (автора работы по истории КПСС, трактовавшей некоторые ее вопросы не в духе принятой официальной версии. — *Н.М.*).

— Ты имей это в виду.

— Может быть, привезти ему мешки писем с восторженными отзывами, откликами зрителей на этот сериал?

— Не шути, все не так просто.

Конечно, я засек сказанное в памяти.

Петр Нилович Демичев много помогал мне в работе. Он оказывал всяческую поддержку развитию массового вещания в стране, гасил всякие нашептывания со стороны некоторых работников аппарата ЦК партии, перестраховщиков, в адрес коллектива Комитета и его отдельных представителей, чем способствовал развитию смелого подхода к решению творческих задач, без чего творчество превращается в худший вид ремесла.

8 мая 1967 года по радио и телевидению прошла трансляция репортажа с торжественной церемонии зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Останки неизвестного солдата времен Великой Отечественной нашли в Подмосковье, в районе Дубосеково, там, где сложили головы двадцать восемь героев-панфиловцев, — ребят, сформированных в боевой порядок далеко от Москвы, под Алма-Атой. А какая разница где — под Алма-Атой или под Иркутском? Никакой. Ровным счетом. Вся суть, все естество в том, что это были советские солдаты — казахи, русские, узбеки, армяне, украинцы, белорусы, евреи, чуваши, татары, грузины и другие, стянутые Великой войной в один тугой жгут, который, если ударит по врагу, то переломит ему хребет. И переломил…

Шел май. Александровский сад под кремлевскими стенами наливался сиреневым цветом, на земле полыхали ярко-красные, словно кровь, тюльпаны, а над Москвой висел легкий, словно пух, туман, едва-едва пробиваемый солнечными лучами.

— Глядел я из сада, от самого еще не возгоревшегося огня, который получит название «Вечного», — так через считанные минуты скажет Николай Григорьевич Егорычев — фронтовик, первый секретарь Московского городского комитета партии, мой сверстник и единомышленник, — а за ним слова «Вечный огонь» повторит Москва, вся страна от западных ее границ до восточных, — глядел я сквозь чугунную ограду Александровского сада через Манежную площадь, вверх, на улицу Горького, налево, на Манеж, и направо, туда, где Большой театр, — везде были люди, мои дорогие москвичи, мой народ-победитель в недавней жестокой схватке с хитрым, сильным врагом — фашистской Германией.

Было тихо. Очень тихо. Тысячи людей ждали. Часы отсчитывали секунды до захоронения того, Неизвестного Солдата, кто на века, как мне думалось, станет символом Бессмертия каждого из нас, прошедших сквозь Великую Отечественную войну. Хоронили его… Никто не стеснялся слез. Николай Егорычев, произнося слова прощания, говорил сквозь сдерживаемые рыдания.

Плакал и я. Плакал по фронтовому другу, весельчаку с огненными волосами Федору Тюшину, погибшему при налете на станции Миллерово под Ростовом… Плакал по своей матери, не дожившей до Победы.

Плакали, казалось мне, все. У каждого было свое горе. И у всех одно великое невосполнимое несчастье — утрата родных, близких, друзей. Незабвенных.

Грянул орудийный салют. Потянуло запахом войны. Зазвенела медь оркестра. И подумалось мне уже не в первый раз: надо жить и трудиться — во имя павших, ради живых.

Я подошел к Брежневу, попрощался с ним и с другими товарищами, забрал у Егорычева текст его выступления и пошел через Красную площадь в Замоскворечье, на Пятницкую, в Комитет. Бывают минуты, мгновения, когда в тебя вливаются такие силы, которые, кажется, не израсходовать, не истратить вовеки…

23 февраля 1992 года «демократическая» власть, перегородив центр Москвы грузовиками и цепями милиции и ОМОНа, применив силу, не допустила десятки тысяч москвичей — детей, женщин, молодежь, стариков — к Вечному огню. Позор!!! Горе тому, кто попытается остановить Его Величество Народ насилием.

20 декабря 1991 года нашего державного Государства уже не стало. Архитекторы перестройки, а вслед за ними так называемые демократы, люди с амбициями, не стоящие, с точки зрения подлинной государственности, державности, ломаного гроша, над прахом которых еще скажет свое окончательное слово история, развалили Союз Советских Социалистических Республик, а на его развалинах создали нечто аморфное — содружество новоиспеченных суверенных государств.

Выше я уже писал о том, что у меня, к моей радости, был фронтовой друг — Давид Златопольский, доктор юридических наук, специалист в области государственного права и, в частности, советского федерализма. Я не могу описать, как он переживал в связи с развалом советской социалистической федерации. Да разве он один! Таких, как он, миллионы — рабочие, крестьяне, студенты, доктора наук, мужчины, женщины, люди молодые и старые.

6 июня 1967 года Центральное телевидение впервые передало на всю страну репортаж о первом Всесоюзном Пушкинском празднике поэзии. Праздник собрал поэтов со всей страны и тем самым как бы расцветил поэтическими красками Пятидесятилетие Октября, его интернациональную сущность. Душой этого праздника был Ираклий Андроников.

Вскоре после моего появления на Пятницкой ко мне в кабинет на большой скорости, что называется, вкатился небольшого роста, округлых форм седовласый человек и уже с порога громким, хорошо поставленным голосом, четко выделяя звонкие согласные, заговорил: «Вы, Николай Николаевич, можете меня называть по имени — Ираклий, так как выговорить отчество мое весьма затруднительно — Луарсабович». — «Ничего, Ираклий Луарсабович, справлюсь», — ответил я ему в том же шутливом тоне.

Андроников представлял для меня интерес не только как прозаик, литературовед, непревзойденный мастер устного рассказа, но и как знаток радио и телевидения, его открытого, живого эфира.

В разговоре Ираклий Луарсабович, насколько я его понял, стремился убедить меня в необходимости оградить художественное, и в первую очередь литературно-драматическое вещание, от возможного наплыва в него разного рода подмастерьев от искусства.

«Всесоюзное радио и телевидение призвано впускать в массовую аудиторию настоящие таланты или делающих на таковые заявку». Позиция Андроникова совпадала в этой части с моей, и я просил его помогать и наших поисках новых интересных людей. Прелесть радио и телевидения состоит в том, что они объединены во времени одним словом — сегодня. Они ничего не могут упустить из событий текущего дня. Они обязаны находить людей — мастеров своего дела, — сознанием отражающих каждодневность, и поставлять тем самым материал для будущих историков.

Одной из сильных черт искусства Андроникова-рассказчика было то, что, входя в наш дом вместе со своей радио- или телевизионной передачей, он вместе с собой приводил к нам из далекого далека Лермонтова, Пушкина, Толстого, Репина или совсем близких нам по времени Маршака, Качалова, Фадеева, Симонова, Твардовского и многих других, трогающих наши сердца.

Ираклий Андроников после нашей первой встречи нередко заходил ко мне на стаканчик чаю. Бывало это всегда вечером, когда на Пятницкой, 25, уже спадала рабочая суматоха, становилось сначала тише, а поближе к ночи совсем тихо. Попивая чай, мы нередко «съезжали» на одну и ту же тему — о свободе творчества, а точнее, на степень допустимости вмешательства власти в творческий процесс. И здесь наши точки зрения тоже совпадали.

«Вмешательство власти, если можно в данном случае

использовать это слово, не должно носить императивный — приказной, „разносный“ характер, а лишь товарищеский совет, дружеское пожелание при непременном согласии на это творца», — говорил Андроников.

По мере оживления беседы он вставал из-за стола и начинал быстро ходить по кабинету, отчего ход его мыслей убыстрялся, а голос становился громче и выразительнее. Смотреть на него — седовласого, с живыми выразительными глазами, резко очерченным ртом, скупой жестикуляцией, полного жизни — было приятно, а на душе становилось почему-то спокойнее.

2 сентября 1967 года на волне радиостанции «Юность» вышла в эфир первая субботняя передача «Здравствуй, товарищ!», основанная на письмах молодых слушателей. 10 сентября впервые по «Маяку» прозвучала радиопередача «Полевая почта „Юности“» — письма-заявки солдат и их родных. И та, и другая передачи шли в русле углубления взаимосвязи массового вещания со слушателем и зрителем.

Мне хочется сказать теплые слова о коллективах редакций радиовещания для детей и юношества (главный редактор Анна Александровна Меньшикова), радиовещания для молодежи (главный редактор Владимир Иванович Фадеев), телевидения для молодежи (главный редактор Валерий Александрович Иванов), телевизионных передач для детей (главный редактор Виктор Сергеевич Крючков), которые своим прилежанием и любовным отношением к делу, своим творческим подходом сделали вещание для молодежи и детей лучшими в ряду подобных передач в других странах. Радио- и телевизионные передачи для детей и юношества были пронизаны солнечным светом и наполнены человеческим теплом. Они закладывали в формирующееся сознание идеи добра, долга, товарищества, уважение к старшим, любовь к родине. Чувства патриотизма, интернационализма, преемственной связи между поколениями борцов за социализм были той основой, на которой выстраивалась высокая и светлая гуманистическая идея передач для детей и юношества.

Не скрою — и мои заместители, и я гордились нашим детским и юношеским вещанием и постоянно трудились над его дальнейшим совершенствованием. Алексей Рапохин и я, как бывшие секретари Центрального Комитета комсомола, особенно близко к сердцу принимали успехи и отдельные неудачи этого очень важного вида массового вещания. Может быть, оно, как никакое другое, было тесно связано со своими юными слушателями и зрителями, что выражалось в огромной почте, поступающей в эти редакции, и в умении их коллективов

находить в этой почте живые, вполне демократические формы взаимных отношений.

10 октября Центральное телевидение начало регулярно передавать по первой программе цветные передачи. Это была большая техническая победа конструкторов, инженеров, рабочих телевизионных заводов Москвы, Ленинграда, Новгорода. Вместе с тем это был и плод добрых советско-французских отношений, ибо система цветного телевидения базировалась на французской системе СЕКАМ.

Я вспоминаю переговоры главы нашего правительства Алексея Николаевича Косыгина с президентом Французской Республики генералом Шарлем де Голлем, которые проходили в духе доброго взаимопонимания. Припоминается, что меня поразило тогда выступление президента по ЦТ, произнесенное, как говорится, на одном дыхании, без всяких бумажек и телесуфлеров, что, конечно, было удивительно по сравнению с чтением Брежневым и другими нашими руководителями подобных речей по бумажкам. Меня заинтересовал этот факт. Во время одной из поездок в Париж я расспросил моего коллегу — министра информации во французском правительстве, и он рассказал, что Шарль де Голль, как правило, свои небольшие выступления по телевидению заучивает наизусть.

«Да, — подумал я, — генерал хорошо знает силу телевидения: оно может или сделать политика, или убить его».

21 октября в честь Великого Октября коллектив Главной редакции информации Всесоюзного радио — «Последние известия», «Маяк» (главный редактор Владимир Дмитриевич Трегубов) — был награжден памятным Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС, которое было оставлено на вечное хранение в редакции.

Награждение этого коллектива столь высокой наградой вызвало в стенах Комитета одобрение. Все знали, как много и плодотворно трудятся их товарищи в службе радиоинформации — днем и ночью, подчас не щадя себя, оправдывая высокое звание радиожурналиста. Это он — молодой или в возрасте, вызывающем уважение, — должен сделать так, чтобы новости дня первыми прозвучали в эфире нашего радио. Что бы ни было — сделать. Иначе радио и телевидение утратят свою притягательную информационную силу. Люди будут «шарить» новости на других волнах.

Надо сказать, что проблема опережения в информации зарубежных радиостанций, и прежде всего таких, как Би-би-си, «Немецкая волна», постоянно «висела» надо мною как укор в беспомощности. А суть ее состояла в том, что нередко именно эти

радиовещательные станции опережали нас в подаче новостей дня. Пускай на минуту, на час, но опережали. Почему? Как правило, потому, что по заведенному у нас «наверху» порядку, некоторые виды внутренней и внешнеполитической информации могли выходить в эфир только после одобрения в ЦК партии. Естественно, на это требовалось время, иногда немалое.

Дабы избежать подобных проволочек я в разговорах с членами Политбюро ЦК Сусловым, Кириленко предлагал предоставить мне, как председателю Гостелерадио, право на самостоятельное решение подобных вопросов. Чтобы облегчить принятие товарищами Политбюро желаемого решения, я убеждал их в том, что любая информация как бы делится на две части: первая — это подача самого факта, вторая, идущая следом за первой, не обязательно сразу, комментирует этот факт, то есть у высших инстанций после того, как я выпускаю (немедленно) факт в эфир, есть время на то, чтобы сказать, дать указание, как именно желательно прокомментировать этот факт. Но, к сожалению, мои просьбы и аргументы в расчет не принимались, дело информации по-прежнему страдало. Вместо того чтобы опережением информации заставлять другие радиовещательные корпорации идти вслед за нами, у нас предпринималось «глушение» некоторых западных радиостанций специально установленными в этих целях приспособлениями. Наиболее рьяным «глушителем» был член Политбюро, секретарь ЦК партии Кириленко. Простая арифметика и та не могла его убедить: для того, чтобы заглушить один киловатт мощности «нежелательной» радиостанции, надо затратить шесть киловатт, а чтобы заглушить «нежелательных» по всей стране, не хватит никаких имеющихся в распоряжении нашего Министерства связи мощностей.

Свои поездки в Англию, Францию, Италию, Японию и другие страны я, естественно, использовал для изучения опыта организации радиотелевизионного вещания и в том числе постановки информации. В ряду других меня очень интересовал вопрос о свободе радиотелевизионных журналистов в подаче информации, их независимости от правительственных верхов, о чем так много и шумно говорилось на Западе. Конечно, из моих источников я знал об ограниченности этой свободы, но мне удалось услышать об этом, что называется, из первых уст.

Как-то в один из дней своего пребывания в Лондоне, на Би-би-си, я попросил ее генерального директора сэра Хью Грина (родного брата известного у нас писателя Г. Грина) предоставить мне возможность побывать в русской редакции и побеседовать с ее ведущими журналистами (ранее, будучи в Москве, Хью имел возможность встретиться с нашими журналистами, ведущими

вещание на Англию).

В ходе беседы я спросил: «Насколько свободны вы, сотрудники русской службы Би-би-си, от властей в своих информациях и комментариях на Советский Союз?» Посыпались однозначные ответы: «свободны», «свободны». Тогда я тот же самый вопрос обратил к известному комментатору Борису Гольдбергу. Недолго раздумывая, он сказал, что все свои более или менее значительные комментарии строит на основе рекомендаций Министерства иностранных дел и других высших эшелонов власти.

Однозначные ответы своих коллег Гольдберг аккуратно отвел как следствие неточности перевода моего вопроса с русского языка на английский. «В освещении проблем большой политики, — говорил он, — я не могу быть самостоятелен. Я выполняю волю власти из ее высшего эшелона».

Я поблагодарил Гольдберга за прямоту и откровенность. Хью Грин, слушая ответы Гольдберга, кивал своей большой головой, увитой огненно-рыжими кудрями, в знак согласия. Он предложил мне пройти в радиостудию, откуда в это время шла передача на нашу страну, заметив при этом, что в содержании передачи сейчас нет ничего такого, что могло бы задеть мою честь как советского человека. В студии диктор Милюков, племянник известного дореволюционного государственного деятеля, читал текст. Мне захотелось подойти к стоящему перед ним микрофону и что-нибудь сказать своим на Пятницкой, в Москве…

Сказать озорное, бодрое, веселое…

1 ноября по первой программе ЦТ прошла передача «СССР-67: Один час жизни Родины». Подобная передача проводилась впервые. Это была своеобразная телевизионная перекличка городов нашей страны. В эфир шли исключительно прямые, с места события репортажи продолжительностью от одной до трех минут. А с 1 по 10 ноября Центральное телевидение и Всесоюзное радио работали по программам, которые как бы дополняли друг друга, передавали эстафету один другому.

Это было осуществлено впервые, как и то, что со 2 ноября Центральное телевидение начало регулярно передавать программы для сети приемных станций системы «Орбита» через искусственные спутники связи «Молния-1». В дома миллионов жителей Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии вошла Москва. Работники Центрального телевидения тем самым взваливали на свои плечи новые заботы, связанные с обеспечением высокого технического и художественного уровня передач, при непременном учете интересов и запросов этих огромных по территории и значимых по своему хозяйственному

потенциалу регионов.

Большое участие в развитии телевидения и радиовещания в стране принимал председатель Совета Министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС Алексей Николаевич Косыгин. Он отлично понимал, что в перспективе их воздействие на широкие массы населения будет возрастать. И потому надо постоянно вглядываться в это воздействие: делает оно человека лучше или хуже. С годами мои встречи с Алексеем Николаевичем становились чаще и продолжительнее. Я думаю, что он чувствовал мое влечение к нему, отвечая своим добрым ко мне отношением. Обычно я просился к Алексею Николаевичу на доклад во второй половине дня, поближе к вечеру. В эти часы трудовой ритм становился менее напряженным, человек, казалось мне, больше расположен к размышлениям, к сравнениям с прошлым, к заглядыванию в будущее.

…Как-то я пробыл у Косыгина часа два с половиной. Выхожу от него в приемную, а там помимо дежурного помощника сидит еще и управляющий делами Совета Министров СССР Смиртюков Михаил Сергеевич.

— Ты что это так много времени отнимаешь у моего председателя?!

— Он и мой председатель. Время ушло на дела. Неужели по мне не видно, что Алексей Николаевич подписал распоряжение об ассигновании двух миллионов инвалютных рублей на приобретение импортной мебели для телецентра в Останкино?

— Поздравляю! Что же два с лишним часа он подписывал это распоряжение?

— Вспоминал свое прошлое.

— Что?

— Спроси у Алексея Николаевича…

Строительство Общесоюзного телецентра подходило к концу. И я подробно докладывал председателю Совмина о состоянии дел, поражаясь его знаниям и собственно строительства, и технических характеристик телевизионной аппаратуры, и возможностей заводов — изготовителей этой аппаратуры.

В ходе строительства Общесоюзного телецентра, его технической оснастки, создания нормальных производственно бытовых условий для его работников Алексей Николаевич Косыгин оказывал постоянную и ощутимую помощь.

И в тот вечер я в сжатой форме доложил председателю о завершении к 50-летию Октябрьской революции строительства первой очереди телецентра. Я собирался уже попрощаться с Алексеем Николаевичем, когда он спросил:

— Вас часто беспокоят товарищи из ЦК?

— Члены Политбюро, секретари Центрального Комитета партии — редко. Сложилась примерно следующая цепочка передачи замечаний: секретарь ЦК — его помощник — отдел пропаганды и агитации — кто-либо из моих замов — я. Замечания идут, как правило, в связи с тем, что кому-то в эфире не понравилось что-то или кто-то. Главным «цензором», конечно, выступает Отдел пропаганды и агитации ЦК, который в своем составе имеет специальный сектор, и товарищи из него обязаны «отрабатывать» занимаемые ими должности, что некоторые из них с особым рвением и делают под руководством замзава А. Яковлева. Мое отношение к замечаниям я не скрываю: если я буду поворачивать голову на каждое замечание, идущее то слева, то справа, то спереди, а то и сзади, то моя голова быстро сорвется с плеч.

Своих замов я тоже просил критически относиться к замечаниям, идущим сверху, не пугаться, не привносить страх в коллектив, дабы не раскачивать его из стороны в сторону в связи с субъективными замечаниями, а удары принимать на себя.

— Вам это удается?

— Да. В главном.

— По моему убеждению, вы поступаете правильно. Конечно, вам в нынешних условиях выдержать свою позицию гораздо легче, чем мне в былые годы, во времена Сталина. Тогда я тоже был молод, и, естественно, мне хотелось привнести в работу свое, выстраданное вопреки идущим указаниям сверху. Однако это оказывалось, как правило, невозможным. Жесткий прессинг сковывал инициативу. Все годы работы на любых должностях я в меру своих полномочий стремился дать своим подчиненным максимально возможный простор для самостоятельности, творчества. Сталин упрекал меня за это. Но щадил. Он умел зажимать волю других в своем кулаке и направлять ее в нужном ему направлении. Мне порой казалось, что он видит все кругом и даже насквозь. Работали мы тогда за полночь, если не до утра, — продолжал вспоминать Алексей Николаевич, — бывало, что Сталин около часа ночи приглашал поужинать. После ужина шли смотреть кино. Я обычно садился сзади или сбоку от Сталина. Однажды, сморенный усталостью, я во время просмотра фильма задремал. Сталин заметил и сказал: «Если вы, товарищ Косыгин, устаете на работе больше, чем другие, идите спать». Сон, конечно, с меня сразу слетел. Я извинился. Сталин молчал. Он умел держать паузу.

Рассказывал Алексей Николаевич о былом обычно неторопливо, на него набегала грусть. Надо сказать, что внешне

он обычно выглядел спокойным. Коротко, «ежиком» подстриженные седые волосы (ему тогда перевалило за шестьдесят), большой с залысинами лоб как бы приковывал к себе внимание, отвлекая от серых живых глаз, крупного носа и округлого подбородка.

Работал Косыгин быстро и красиво. Он знал свое дело. Я завидовал его познаниям в различных отраслях экономики и культуры. Он, будучи по образованию инженером-текстильщиком, со знанием дела мог «распекать» директора Магнитки за излишние припуски при прокате металла или высказывал глубокие суждения о сути реформы школы на основе связи профессионально-технического образования с производительным трудом. Он понимал природу массового вещания и видел за ним большое будущее в деле просвещения народа.

Алексей Николаевич был, как мне кажется, из породы тех политиков, которые на политической арене редко выступают на первый план. Мне доводилось наблюдать Брежнева — Генсека КПСС, Подгорного — председателя Президиума Верховного Совета СССР, Косыгина — председателя Совета Министров СССР, когда какое-то дело сводило их вместе, слушать их суждения, сравнивать…

Напыщенный вождизм Брежнева при заурядности суждений; безликость Подгорного, обязательно вступающего в дискуссию вторым, при посредственности аналитических оценок; глубина мыслей Косыгина и некая то ли стеснительность, то ли нежелание выпячивать себя — скорее всего именно последнее. Алексей Николаевич обладал колоссальным практическим опытом руководства народным хозяйством. Вряд ли кто-либо еще из плеяды «стариков», прошедших Великую Отечественную, мог возглавить советское правительство после освобождения Н.С. Хрущева с этого поста в октябре 1964 года.

Д.Ф. Устинов, но он был знатоком более узкого профиля — того, что ныне входит в понятие «военно-промышленный комплекс». Назначение А.Н. Косыгина на должность председателя Совета Министров СССР было воспринято с удовлетворением. В народе к нему относились с большим уважением. И если авторитет Брежнева и Подгорного с годами снижался, а со второй половины 70-х годов просто-таки катился вниз, то Косыгина и после его кончины (18 декабря 1980 года) люди продолжают вспоминать светло, с благодарностью за честное служение Отчизне.

С приходом Алексея Николаевича к руководству Совмином были отсечены некоторые бюрократические элементы в его

деятельности, члены правительства заговорили не по бумажкам, а своим языком, по отведенному каждому из них природой уму. Были упразднены областные и региональные совнархозы и восстановлено отраслевое управление народным хозяйством страны при расширении прав и самостоятельности отдельных, особенно крупных предприятий, фирм, концернов.

В 1965 году на сентябрьском Пленуме Центрального комитета партии с докладом об основных параметрах экономической реформы выступил А.Н. Косыгин. Было принято соответствующее решение. В интересах дела и ликвидации бюрократического параллелизма в руководстве народным хозяйством, повышения роли министерств Косыгин предложил ликвидировать соответствующие отраслевые отделы в ЦК КПСС. Однако Брежнев расценил это как умаление роли Центрального комитета партии, а стало быть, и его роли как Генерального секретаря ЦК.

На заседаниях Секретариата ЦК, которые в те годы обычно вел Суслов, я не наблюдал активной поддержки экономической реформы. Суслов и другие приспешники Брежнева цедили что-то невнятное по поводу этой реформы.

И все же экономическая реформа набирала силу, а состояние народного хозяйства шло в гору. В 1965–1967 гг. валовый национальный продукт увеличивался в среднем на 8 процентов в год, производство товаров народного потребления — на 10 процентов, а производство сельскохозяйственной продукции на 4 процента. Настроение Алексея Николаевича тоже улучшалось. Но так продолжалось недолго. В конце 1967 года я заметил резкий спад в его настроении и как бы мимоходом во время очередного доклада спросил о состоянии здоровья, хотя знал, что недавно он отдыхал в Кисловодске, в санатории «Красные камни». Последовала длинная пауза. Алексей Николаевич встал из-за стола, подошел к окну, выходящему на Ивановскую площадь Кремля. Встал и я. Тоже подошел к тому же окну. Алексей Николаевич не смотрел на площадь. Мне показалось, что он как-то сник.

А потом после паузы сказал:

— Наверное, мне пора уходить отсюда.

Я не поверил своим ушам.

— Вы сказали уходить?

— Экономическая реформа дальше не пойдет, она обречена. Принято решение (как я понял, Политбюро. — *Н.М.*) о том, чтобы почти вся прибыль предприятий, в том числе и сверхплановая, изымалась «в порядке исключения» в госбюджет. Наговорил, наобещал, что реформа — это путь экономического развития

путем стимулирования инициативы и заинтересованности трудящихся в результатах своего труда. А на деле болтовня.

У меня посредственная политэкономическая подготовка, но я понимал, что принятое Политбюро решение подкашивает реформу Косыгина под корень. Она была его детищем. Всех своих министров и председателей госкомитетов он обязал два раза в месяц к девяти утра являться на лекции по проблемам экономической реформы, которые мне, например, многое помогли глубже уяснить.

…Отставка А.Н. Косыгина принята не была. Реформа забуксовала, а потом даже сами слова «экономическая реформа» вышли из употребления, в том числе и у нас, на радиотелевещании. Брежнев и его приспешники, профессионально малограмотные, продолжали вмешиваться в решение народнохозяйственных проблем, что наносило вред. Во что обошлось стране строительство, например, Чебоксарской ГЭС, предпринятое по инициативе Брежнева и Кириленко, приведшее к затоплению очень большой территории плодородной земли, переносу деревень, а в последующие годы к большим дренажным работам…

Однако Косыгин продолжал искать новые решения застарелых проблем (нехватки средств на модернизацию народного хозяйства и на непомерные военные расходы) — привлечение иностранных фирм к строительству Волжского и Камского автомобильных заводов, развитие иностранного туризма, добыча алмазов в Якутии, нефти и газа в Тюменской области и другое.

Я стремился широко рассказывать обо всех этих и других нестандартных решениях на радио и на Центральном телевидении. Естественно, рассказывать не об Алексее Николаевиче, а о свершениях трудовых людей. Но и это было замечено на самом верху, и до меня окольным путем дошло «их» неудовольствие.

Косыгин, продолжая старые традиции, когда выполнением внешнеполитических акций занимались не партийные, а советские органы, с большим успехом справился с ролью посредника в индо-пакистанском военном конфликте, с переговорами по «восточной политике» немцев, с Чжоу Эньлаем по советско-китайским отношениям… Естественно, что все эти акции находили достойное отражение в эфире. Во время пребывания А.Н. Косыгина в Лондоне Всесоюзное радио, вещание на зарубежные страны и Центральное телевидение широко освещали этот официальный визит главы советского

правительства. После одного из таких прямых репортажей из Лондона Л. Замятин, тогдашний Генеральный директор ТАСС, сказал мне:

— Знаешь, Леонид Ильич очень недоволен тем, что ты уделяешь такое внимание визиту Косыгина в Англию, его рассиживанию там в золоченых креслах.

— Для меня Косыгин — глава советского правительства, пользующийся доверием своего народа, и я обязан достойно освещать его визит, в том числе и золоченые кресла, если хозяева ему именно в эти кресла предлагают сесть.

— Смотри, тебе виднее…

Что такое «тебе виднее», я, конечно, сообразил. Но поступаться принципами — не в моих правилах.

Постепенно Брежнев и его окружение начали отстранять Косыгина от проведения наиболее важных акций во внешней политике. Пройдет немного времени, и Брежнев, Подгорный, Устинов, Тихонов и некоторые другие превратят Косыгина из председателя Сонета Министров в простого экономиста, отодвинув от большой политики.

Алексей Николаевич был скромным человеком. Эго нередко можно было видеть гуляющим по московским улицам, в магазинах и, конечно, на заводах, и колхозах и совхозах. Он не любил излишеств и разной мишуры пышности приемов, барства. Как-то он рассказал мне о своей стычке с Н.С. Хрущевым (с которым работал в общем дружно), происшедшей как раз на почве барства.

— Вскоре после отъезда Никиты Сергеевича в США мне принесли на утверждение смету расходов, на подготовку и проведение его визита. Там значились живые осетры, стерлядь, лососевые, всякого рода икра, копчености — все, от свежатины до медвежатины, от теплохода «Балтика» до персонального самолета. Все это выливалось в весьма кругленькую сумму. Смету я не утвердил. Возвращается Хрущев из США, спрашивает: «Ты почему не утвердил смету расходов?!»

— Не могу, — отвечаю. — Цари русские, и те скромнее совершали свои вояжи за границу.

— Обойдусь без тебя, найдется кому подписать.

В 1967 году Алексей Николаевич овдовел. Скончалась его жена Клавдия Андреевна. В один из дней мне звонит Николай Егорычев, первый секретарь Московского горкома КПСС, и говорит:

— Поедем поможем Алексею Николаевичу в похоронных делах, побудем около него, он в Доме ученых.

Держался Алексей Николаевич внешне спокойно. Помогли

установить на постамент гроб, уложить цветы. Постояли вместе у гроба. Помолчали…

А накануне, 3 ноября 1967 года, Общесоюзному телевизионному центру в Останкино постановлением Совета Министров СССР за подписью А.Н. Косыгина было присвоено имя 50-летия Октября.

4 ноября в 19 часов 50 минут репортажем об открытии нового телецентра начала свои передачи четвертая программа Центрального телевидения. Таким образом, в стране была заложена мощная современная техническая база телевизионного вещания, создано многопрограммное телевидение.

Перед главным входом в Общесоюзный телецентр прошел митинг. Плечом к плечу стояли Леонид Максаков, Владимир Трусов, Петр Шабанов, Евгений Наер, Владимир Кирилин, Михаил Момусов, Захар Асоян, Владислав Карижский, Вилен Егоров, вложившие свои недюжинные способности в это великолепное сооружение. Всех не перечислить. А надо бы! Стояли те, кто по нашему зову пришел в Останкино творить, — Марлен Хуциев, Виктор Лисакович, Николай Карцов, Кира Анненкова, Валерий Иванов; рядом с ними — еще совсем молодые режиссеры, сценаристы, телеоператоры, звукорежиссеры, редакторы и многие другие, без профессионализма которых не может быть полноценной передачи, программы.

На душе было радостно. Наконец-то работники ЦТ перестанут как неприкаянные ютиться в забитых донельзя комнатах, в коридорах, на лестницах! Все поздравляли друг друга. В первоклассном баре выставили бутылки шампанского. Ради такого события, к которому шли, работая и днем, и ночью, можно было и выпить по бокалу игристого вина.

На следующий день в Останкино приехали смотреть на творение разума и рук человеческих члены Политбюро, секретари ЦК КПСС, заместители Председателя Совмина. Понравилось. Затем поднялись в ресторан телебашни, высота которой 540 метров, посмотреть на Москву с высоты «седьмого неба». Облачность была высокая, в ее разрывы врывалось солнце и своими лучами, словно прожекторами, выхватывало различные части Москвы. Вдали куполами золотился Кремль, врезались в небо шпили высотных зданий, городскую каменную громаду прорезали проспекты, улицы, а внизу сновали маленькие машинки и крошечные человечки. Не понравиться и не могло. По своим размерам и оснащенности Телецентр являлся уникальным инженерно-техническим сооружением не только у нас в стране, но и в других странах. О его масштабности могут

свидетельствовать такие данные: объем свыше миллиона кубометров, полезная площадь — 154 тысячи кв. метров, протяженность фасада — 420 метров. В тринадцатиэтажном здании впервые в мировой практике было сосредоточено большинство редакций, технических и вспомогательных служб. Для их инженерной «совместимости» пришлось решить немало сложных технических и строительных задач.

О масштабности Телецентра можно составить представление следующим образом: сложим все высотные дома на Новом Арбате, приплюсуем к ним здание бывшего СЭВа и получим объем Телецентра. В его тысячеметровых студиях можно разворачивать даже «танковые бои».

К концу 60-х годов коллегиальность в руководстве, о необходимости которой так остро говорилось на Пленумах ЦК, следовавших за XX съездом КПСС, постепенно, но заметно уступала место единоначалию в лице Брежнева. Настал процесс формирования «нового» вождя.

Во время посещения высокими гостями Телецентра, мы, естественно, организовали угощение. Брежнев, Косыгин, Подгорный сидели за одним столом, я и мои замы — за соседним. Эти трое, от партийного, товарищеского понимания между которыми в конечном счете зависит обстановка в Политбюро ЦК, внутри всего ЦК, в партии и в стране в целом, вели дружеский, даже милый разговор. Но за этими внешне дружескими отношениями уже было другое. Сначала уберут из Политбюро молодого Александра Шелепина. Затем освободят от всех занимаемых должностей ничего не ведающего Подгорного, который услышит о своем смещении впервые на Пленуме ЦК и сразу превратится из большой фигуры в маленького слабенького старичка, освободят по «болезни» молодого Кирилла Мазурова. Потом Брежнев доведет дело до того, что Косыгин будет вынужден уйти в отставку.

Останется один — Брежнев, из которого его приспешники так и не вылепят вождя, при всем к тому его вожделенном желании.

С годами Брежнев все более упивался властью. Она — власть — была для него, наверное, всем: и прекрасной женщиной, и молодым вином, и лучом солнца после долгой кромешной тьмы. Глядя на него, я знал, что с властью он добровольно никогда не расстанется, как никто не делал до него этого прежде. Ради ее сохранения он пойдет не только на заклание ему неугодных, но и сведет страну в трясину стагнации.

О жизненной необходимости последовательной демократизации порядков в партии, государстве и обществе уже не говорилось, а если и говорилось, то ради приличия. Брежнев

подминал под себя свое окружение где силой, где лестью, на что он тоже был мастак. Дело подчас доходило до проявления им такого тщеславия, что становилось и грустно, и смешно, а в конечном счете омерзительно.

Заходит ко мне мой первый заместитель Энвер Мамедов и, ссылаясь на своего приятеля А. Александрова-Агентова, одного из помощников Брежнева, говорит: «Леонид Ильич прослушал свое выступление для звуковой книги о Ленине (которую я вместе с другими товарищами готовил к изданию. — *Н.М.*) — ему понравилось. Но он выразил неудовольствие тем, что в книгу включаются также выступления Подгорного и Косыгина. Их выступления не нужны». Лаконично, но предельно ясно…

Зная, насколько тщеславен и подозрителен Брежнев, когда речь идет о нем, я не пропускал «наверх» материалы радиоперехвата — в то время западным радиовещанием на Советский Союз активно разрабатывалась тема возможной замены «старых вождей» но главе с Брежневым «молодыми выдвиженцами», к числе которых назывались члены Политбюро ЦК КПСС Шелепин и Полянский. Полагаю, что раздающиеся сейчас голоса о якобы готовящемся заговоре со стороны молодых по смещению Брежнева есть не что иное, как перепевы тех давних голосов.

Не скрою, что если бы у представителей моего поколения было бы стремление к власти, то оно породило бы мужество, достаточное для того, чтобы вполне демократичным способом сместить Брежнева, переместить на второстепенные роли Суслова, Кириленко и других «старых вождей». Уверен, что в этом случае наша страна не оказалась бы в таком застойном болоте, в какое они завели ее, а сейчас не превращалась бы в сырьевой придаток Запада.

Однако, к великому сожалению, история распорядилась по-другому. Она позволила «старым вождям» преимущественно силой, а где и лестью остановить естественную смену поколений, задержать молодых на низких и средних уровнях власти.

Когда Брежнев, Суслов, Кириленко, Устинов, Тихонов, Черненко и иже с ними увидели и поняли, что молодые, даже находясь в положении загнанных, все же переросли их и в знаниях, и в опыте, а потому в состоянии дать новый здоровый импульс развитию страны, то они, обладая несравненным опытом в политических играх, прибегли к известному иезуитскому приему: отправили большинство из них на укрепление «дипломатического фронта» — подальше от Родины, от народа, что станет особенно очевидным в конце 1969 года, начале 70-х годов. А уже к этим годам время начнет уносить в небытие все

больше и больше моих сверстников. Шеренги моего перебитого поколения начнут заметно редеть.

В беседах с Алексеем Николаевичем Косыгиным я пытался вывести его на разговор по проблеме жизнедеятельности партии, государства, общества. Из его скупых ответов и размышлений по поводу волнующих меня проблем я вынес впечатление, что он был серьезно обеспокоен углублением диспропорции в развитии народного хозяйства, и прежде всего вследствие постоянно растущей милитаризации производства в ущерб подъему благосостояния советских людей, усилением монополизма в промышленности особенно.

Его возмущало появление все новых привилегий для номенклатуры, вседозволенность и коррупция в разных эшелонах власти, растущие под воздействием искусственно выращиваемых уродств «культика» Брежнева, отрыв руководителей партии от рядовых ее членов, от народа. Он не только осознавал всю пагубность этих явлений, но и давал понять, что выход из создавшегося положения — смена дряхлеющего руководства, к которому причислял себя без всякого стеснения и Косыгин, новыми, молодыми людьми, твердо стоящими на марксистско-ленинских позициях, но отражающими и выражающими новые идеи. Может быть, именно это и побуждало Алексея Николаевича к откровенности в беседах со мной — пускай порой сдержанных, но доверительных. Они подчеркивали теплоту его отношения ко мне. Он учил меня жизни как уходящий из нее старик — молодого, приходящего в нее. Тогда я так отчетливо не осознавал характер этих отношений. Осмысление пришло позже, когда А.Н. Косыгина не было в живых.

Думаю, что трагедия Косыгина как политика состояла в том, что он многое видел, понимал, но не предпринимал решительных мер к тому, чтобы восстать против негативных, уродливых, чуждых социализму явлений, в том числе в верхних эшелонах власти.

Полагаю, что необходимость «омоложения» руководства в высшем эшелоне партийной и государственной власти понимал и Анастас Иванович Микоян, занимавший в 1964–1965 годах пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Он связывал с этим «омоложением» определенные новации в политике.

У меня с Анастасом Ивановичем было несколько встреч, в том числе и в связи с пребыванием в нашей стране госпожи Индиры Ганди. В 1964 году она возглавляла министерство радиовещания и информации Индии. К нам приехала по моему приглашению. Однако в память о ее отце Джавахарлале Неру, который выступал за всемерное развитие дружбы с СССР, и

отдавая должное ее личным успехам в политической жизни Индии, было решено поднять прием до государственного уровня.

После одной из встреч с Индирой Ганди Анастас Иванович попросил меня задержаться. Был яркий весенний день. Солнечные лучи врывались в небольшой уютный кабинет, наполняя его теплотой и светом. Анастас Иванович прошел по кабинету, встал к окну и как-то по-домашнему, словно речь шла о предстоящем обеде, спросил: «Как вы считаете, следует мне уйти с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР или нет?» Когда он выговорил с заметным кавказским акцентом этот вопрос, я не видел его лица, солнечный луч, бивший из-за спины, превратил его в темное пятно. Вопрос для меня был настолько неожиданным, что я даже растерялся, что не осталось Микояном незамеченным.

Я прошел по кабинету, стремясь занять такое положение, чтобы видеть выражение лица собеседника. Пока шел, лихорадочно думал, как ответить. Ответ, собственно, был готов — «уходить!» — но в какую форму его облечь?

«Думаю, — отвечал я, — ваш огромный политический опыт может быть полезен для дела независимо от того служебного положения, какое вы занимаете. Ведь, как говорят, не место красит человека, а человек место».

«Да пора уходить! Вся штука в том, кто займет столь высокий пост?! Об этом нам предстоит лишь гадать».

Конечно, А.И. Микояну пора было на пенсию. До него наверняка доходила людская молва о нем как о политическом приспособленце, сумевшем пройти сквозь все, именно все, сложные жизненные перипетии «от Ильича до Ильича».

Во время посещений А.И. Микояна я делился с ним своими планами по развитию телевидения и радио в стране. Он всегда внимательно слушал, а его советы, замечания обычно были точными и дельными, а иначе и быть не могло — за плечами Анастаса Ивановича был огромный жизненный и политический опыт. Он советовал мне: «Если вы пришли к твердому убеждению в целесообразности того или иного своего предложения, то оформляйте его запиской и направляйте в ЦК партии. Вас не должно смущать то обстоятельство, что это ваше предложение будет отклонено. Оно останется в архиве. История все расставляет по своим местам».

В 1965 году семидесятилетнего Микояна сменил на высшем государственном посту шестидесятидвухлетний Подгорный.

…Много нового появилось на телевидении и радио в последующие за 1967 годы. Отмечу лишь наиболее интересное,

значительное.

1 января 1968 года в эфире впервые появилась информационная программа «Время», которая стала наиболее притягательной общественно-политической передачей ЦТ. Ее каждодневными творцами был со своими товарищами Николай Семенович Бирюков — главный редактор информационной службы ЦТ. Программа «Время» до сих пор в эфире, впрочем, как и многие другие программы, «рожденные» в те годы.

А на радио, на волне «Маяка», в эфир вышел первый выпуск развлекательной передачи «Опять двадцать пять». С этой «смешной» по своему содержанию передачей у меня связано «грустное» воспоминание. Прошло в эфир несколько передач, как поутру, в начале рабочего дня, раздается телефонный звонок по «вертушке» (правительственной связи). Звонит Дмитрий Степанович Полянский, член Политбюро, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР: «Еду на работу, включил в машине радиоприемник, а там звучит передача „Опять двадцать пять“, — я ее слушаю уже не в первый раз, такая безвкусица под видом юмора, столько в ней всякой дребедени, что просто диву даешься… Не можете творить хорошее, не засоряйте эфир». — «У нас на эту новую передачу очень большая почта и только с положительными оценками». — «Я сказал то, что думаю. До свидания». — «До свидания».

Посоветовался я со своими «творцами», и эту получасовую передачу передвинули пораньше на утро, когда рабочий люд встает, завтракает, а не когда «начальство» в машине едет на работу. Передача «Опять двадцать пять» долго звучала в эфире.

Плодотворно прошла первая Всесоюзная научно-теоретическая конференция радиожурналистов «Современность, человек, радио». В Ленинграде с большим успехом впервые прошел фестиваль музыкальных коллективов и солистов Всесоюзного радио и Центрального телевидения: Большого симфонического оркестра (дирижер Г. Рождественский), Большого хора (художественный руководитель К. Птица), Оркестра народных инструментов (дирижер В. Федосеев), Хора русской народной песни (к сожалению, фамилию хормейстера не помню), Эстрадно-симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер Ю. Силантьев). Надо заметить, что в мае 1970 года был создан детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (художественный руководитель и главный дирижер В. Попов).

Пишу «впервые прошла в эфир радиопередача» или «впервые состоялась»… Не буду специально подчеркивать, что «впервые», хотя все, что далее я отмечу, действительно было новым. А иначе

и не могло быть. Коллективы работников телевидения и радио в своей повседневной практике приобретали новый опыт, а с ним и смелость в творческих дерзаниях.

Вот еще некоторые примеры. В Москве в феврале 1968 года состоялся Всесоюзный конкурс цветных телевизионных фильмов. Большая заслуга в этом З.А. Асояна — главного редактора редакции цветного телевидения. В апреле в эфир вышла телепередача «В мире животных», которая сразу полюбилась и малому и старому. Вел ее народный артист СССР А. Згуриди. В июне было создано творческое объединение ЦТ по производству телевизионных кинофильмов и программ в записи на пленку — «Экран». Образование этого творческого объединения освобождало нас от прямой зависимости от кинематографа. Но это вовсе не означало отсутствия у нас интереса к деятельности мастеров кино, к работе киностудий.

Параллельно с расширением собственной производственно-технической базы мы всячески стремились создать на крупнейших студиях страны творческие объединения по производству телевизионных фильмов, что и было осуществлено в Москве, Ленинграде, в Киеве и других городах. У меня еще более тесными стали отношения со многими ведущими режиссерами и артистами кино: С. Герасимовым, С. Бондарчуком, А. Аловым, В. Наумовым, С. Колосовым, Э. Леждей, В. Сафоновым, М. Бернесом, Л. Орловой, Г. Александровым, А. Баталовым и другими. Много интересного и забавного я узнал от них. Но бывали случаи, которые омрачали добрые отношения между деятелями кино с одной стороны и радиотелевидением с другой.

Заходит как-то ко мне актриса Лидия Смирнова и со слезами рассказывает, что на Центральном телевидении во время подготовки одной из передач обидели ее подругу Аллу Ларионову. Я попросил обидчицу публично извиниться перед А. Ларионовой, что и было сделано к взаимной радости сторон.

9 августа 1968 года было опубликовано в изложении постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях по развитию цветного телевидения в СССР», над которым мы долго трудились. В этом постановлении, подписанном А.Н. Косыгиным, намечалась комплексная программа внедрения цветного телевидения на новых территориях страны при увеличении объема вещания.

Новый, 1969 год был ознаменован тем, что на Всесоюзном радио прозвучала новая передача «Сокровища нашей фонотеки», слушатели которой получили возможность совершить «путешествие» в мир редких звукозаписей. А Центральное

телевидение транслировало с космодрома «Байконур» запуск кораблей «Союз-4» и «Союз-5» с космонавтами В. Шаталовым, Б. Волыновым, Е. Хруновым и А. Елисеевым на борту. Телезрители стали свидетелями подготовки ракет к запуску, могли видеть из космоса стыковку кораблей, переход космонавтов из одного корабля в другой. К этой первой прямой передаче запуска наших космических кораблей Центральное телевидение шло долго…

Соединенные Штаты Америки не только широко информировали общественность о своей космической программе, но и заранее объявляли о времени очередного запуска космического объекта. У нас же вести об этом были за семью печатями, держателем которых был секретарь, член Политбюро ЦК КПСС Д.Ф. Устинов (позже министр обороны), возглавлявший военно-промышленный комплекс СССР. Министры оборонных отраслей промышленности были тесно связаны с ним и между собой. Добиться положительного решения какого-либо вопроса, против которого они возражали, было делом обреченным. Устинов при всем его уме и прекрасных организаторских способностях был тем человеком, который не разглядел значимость того, что самой открытостью свершений нашей страны в космосе мы подчеркиваем их общепланетарный, гуманистический характер.

Сергей Павлович Королев — конструктор первых ракетно-космических систем, основоположник практической космонавтики, лучше, чем кто-либо понимал всю важность максимально возможной, не в ущерб безопасности страны, открытости дерзаний человека в космическом пространстве. Он был моим союзником в том, чтобы радио и телевидение рассказывали о тех ученых, рабочих, инженерах, техниках, которые создавали «Востоки», «Восходы», «Союзы», отправляли космические аппараты к Луне, к Венере, получали за свой выдающийся труд высокие награды, но которые не могли в силу «закрытости темы» рассказывать о своей работе своим друзьям и даже близким. Покоряя космос, они продолжали оставаться на Земле.

Одним из таких покорителей космического пространства, остававшихся на Земле, был Сергей Павлович Королев — главный конструктор. О нем я был наслышан задолго до личного знакомства. Я часто проезжал мимо его конструкторского бюро и завода, где творились космические «чудеса», что в Подлипках (ныне г. Королев) под Москвой. Знал я и где он жил — правительство подарило ему особняк в Останкино, недалеко от Телецентра, на территории бывшего сада — Клуба имени М.И. Калинина, куда в довоенные годы, мы, ребятишки, бегали в кино.

Не знаю, что сейчас в этом особняке. Но он по-прежнему стоит в окружении старых сосен. Давно уже нет здесь соснового бора и пруда. Вместо них пролег проспект имени академика Королева — от аллеи героев-космонавтов к Общесоюзному телецентру.

Познакомил меня с Сергеем Павловичем Королевым на одном из правительственных приемов в Кремле Юрий Алексеевич Гагарин. А с Юрием Алексеевичем мы вместе трудились в Обществе советско-кубинской дружбы — он был его председателем, а я его заместителем. Прием состоялся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, но по числу приглашенных был небольшой, а по типу своему — а-ля фуршет.

Увидев Юрия Алексеевича, я подошел к нему. С ним рядом стоял человек ниже среднего роста, коренастый, с короткой шеей. Юрий Алексеевич спросил:

— Вы знакомы?

— Нет.

— Сергей Павлович Королев.

Мы обменялись рукопожатием. У Королева была небольшая, широкая кисть, а в руке твердость. Лицо Королева известно ныне миллионам жителям нашей планеты. Люди Земли знают, что это его разумом и волей было совершено то, что сейчас справедливо называется «открытием космической эры человечества». В облике Королева меня поражала его круглая голова с большим лбом и острыми, словно буравчики, глазами. О Сергее Павловиче написаны книги, множество статей, очерков, зарисовок. Позволю себе рассказать о нем то, что оставило след в сердце моем и в памяти. То же самое я поведаю и о Юрии Алексеевиче Гагарине — «Человеке планеты Земля», как с любовью называл его Королев.

В конце 1964 года я во второй раз встретился с Сергеем Павловичем. Произошло это в Военно-промышленном комитете, в Кремле. Разговор зашел о ходе строительства Останкинского телецентра, об использовании в работе радио и особенно телевидения спутниковой связи. Я высказал озабоченность тем, что американцы, судя по имеющейся информации, намерены в ближайшие годы создать глобальную систему спутниковой связи, которая будет опоясывать весь мир; более того, предпринимаются усилия по разработке такого искусственного спутника, телевизионный сигнал с которого можно было бы принимать непосредственно на телеприемник, минуя промежуточные приемные устройства.

Сказал Сергею Павловичу, что готовлю по этому поводу обстоятельную записку в Центральный комитет партии с тем, чтобы принять необходимые своевременные меры — не отставать от США в этой важной сфере развития телевещания.

— Проблема, — заметил я, — не только техническая, но и политико-идеологическая. В условиях противоборства двух социально-политических систем тот, кто первым выйдет из космоса с телевизионным сигналом прямо на телеприемник, совершит революцию в постановке всего дела пропаганды, агитации, художественного вещания. И не только — он совершит революцию в умах. У меня есть договоренность с Громыко начать дискуссии в соответствующих комитетах ООН и ЮНЕСКО о недопустимости такого рода вещания вне рамок международных соглашений.

— Да, дело серьезное, — заметил Королев. — Надо подумать. Помимо международных дискуссий, конечно, нам у себя дома надо предпринимать действенные меры. Я подумаю, посоветуюсь со своими коллегами.

Я поблагодарил, полагая, что на этом разговор можно закончить. Однако Сергей Павлович сказал еще, что недели через две он позвонит мне. И действительно, как и обещал — через пару недель позвонил и сообщил, что им сделаны некоторые наброски на обсуждаемую нами при прошлой встрече тему.

— Попросите своего помощника, — добавил он, — пускай подъедет ко мне, заберет мою записку; вы ознакомитесь, а затем еще раз обсудим ее содержание.

«Да, — подумал я, — при такой колоссальной нагрузке, которую он выдерживает, у него еще находятся силы и время обдумывать другие задачи, помогать в их решении. Так может поступать человек дела».

Приезжает от Королева мой помощник Захар Алоян и с порога с восторгом рассказывает мне, как просто, по-товарищески принял его Королев: расспросил о житье-бытье, показал модели космических устройств совершивших или совершающих свой долгий путь в космосе, коротко рассказал о содержании передаваемой мне записки.

В ней, написанной на четырех листочках в клеточку из ученической тетради, была изложена схема возможного запуска трех искусственных спутников связи, которые покроют телевизионным сигналом практически весь земной шар. Указывались места запуска, необходимые к тому мощности, содержались характеристики орбит и другие данные. Записка была настолько ясно составлена, что изучение ее содержания не потребовало особого труда.

Я поблагодарил Сергея Павловича за оказанную помощь и попросил его согласия сослаться на него при докладе в ЦК КПСС — о перспективе развития телевидения через искусственные спутники связи. (Записка Королева находится в архиве

Гостелерадио СССР. — *Н.М.*).

Летом 1965 года случилось так, что С.П. Королев, Ю.А. Гагарин и я оказались вместе на отдыхе в Крыму, в Ялте. Была та чудесная пора, когда к вечеру жара спадала, с гор к морю скатывался свежий горный воздух, и тишина приближающейся ночи располагала к раздумьям. Мы много купались.

Подбегает как-то ко мне на пляже мой младший сын Алеша и говорит:

— Папа, дядя Юра (Гагарин. — *Н.М.*) испугался прыгнуть с пятиметровой вышки, а я прыгнул.

— Да, но он не испугался прыгнуть первым из людей в космос.

Королев и его «комиссар» (охрана) заплывали далеко в море. Глядя на них с берега, трудно было отличить — кто из них кто. Да и на берегу их можно было спутать — оба коренастые, с круглыми, коротко остриженными головами, в одинаковых, салатового (или другого) цвета рубашках с короткими рукавами, в светлых брюках и летних туфлях.

Будучи на пляже, прогуливаясь по прибрежному парку, мы не вели деловых разговоров. Шел обычный товарищеский обмен мнениями, перескакивали с одной темы на другую. Было легко, свободно, приятно, в товарищеской компании этих двух людей — одного из которых знал весь мир, а другого, который сделал знаменитым первого, — знал сравнительно узкий круг людей. Я чувствовал родство между ними. Без какого-либо превосходства одного над другим. Хотя в дружбе — при всем равенстве отношений — все же есть ведущий и ведомый.

Конечно, Юрий Гагарин относился к Сергею Павловичу Королеву с глубочайшим уважением и почтением. Но в их отношениях не было ничего от рабского поклонения, подхалимажа, заискивания. Они, казалось мне, в силу своего земного благородства и космической близости были выше этих низменных свойств многих людских характеров, что подтвердилось и на встрече Юрия Гагарина с отдыхающими ребятами во Всесоюзном пионерском лагере «Артек».

На эту встречу были приглашены также Королев и я с семьями. Гагарина встречали оркестры, цветы, ребячье «ура», а Королев, неузнанный «виновник» триумфа Гагарина шел, как остальные приглашенные. Сидели мы вместе с Сергеем Павловичем, а на его лице и в его словах не промелькнуло даже тени некоего душевного неравновесия, пока чествовали Юрия Алексеевича.

Вечерело. Море отсвечивало последними лучами солнца, а затем на небе высыпали мириады звезд. Глядя на небо, я спросил

Сергея Павловича:

— Есть ли где-то в этой космической бездне миры, подобные нашему?

— Непременно! Далеко, но есть. Мы и туда доедем, — сказал он спокойно для меня одного.

Однако в моей душе эти его обыденные, сказанные без всякой натяжки слова отозвались мощным набатом безграничных возможностей человеческого разума, ибо произнес их сам Разум.

С.П. Королев, Ю.А. Гагарин и я были из разных поколений. Но я чувствовал, что между нами существует связь, и, глядя на них обоих, я гордился ими — сынами Страны советов, вобравшими в себя все лучшее, что было во всех поколениях народа нашей социалистической Родины.

Королев — человек, который был твердо уверен в том, что все зависит от него самого. Объективные обстоятельства могут ускорить или затормозить продвижение к намеченной высокой цели, но не могут изменить направление движения, так он считал. Так поступал и Юрий Гагарин. Думаю, что молодым людям надо поучиться у Королева и Гагарина умению формировать свой характер, соединять свои жизненные устремления с велением времени и волей народа.

В конце декабря 1965 года состоялась моя последняя встреча с Королевым. Меня положили в больницу на операцию — несложную, неопасную. В соседней палате оказался Сергей Павлович, который проходил обследование. Врачи должны были решить: делать ему операцию или можно обойтись без хирургического вмешательства. Настроение у него было вполне бодрое. Мы вместе гуляли по коридору, засиживались, разговаривая, в палатах. Мне сделали операцию. Перед уходом из больницы, что на улице Грановского, я зашел к Сергею Павловичу, который тоже решил выписаться, а после Нового года вернуться и сделать операцию, которая, как ему сказали врачи, не должна вызвать особых сложностей. Мы пожелали друг другу здоровья и счастья в наступающем 1966 году.

Но вскоре после Нового года Сергей Павлович Королев скончался на операционном столе.

В 1969 году телевидение и радио провели большую работу в связи с грядущим 100-летием со дня рождения В.И. Ленина. На Всесоюзном радио появились передачи «Мыслитель и революционер», «Годы великой жизни», в программах ЦТ — передачи: «Твоя ленинская библиотека», «Ум, честь и совесть нашей эпохи», «В.И. Ленин: хроника жизни и деятельности». Тогда же режиссер Л. Пчелкин приступил к созданию серии фильмов по сценарию М. Шатрова под условным названием

«Воздух Совнаркома».

Помимо ленинской тематики в эфире открывались другие новые страницы. На ЦТ состоялось первое занятие «Народного университета». На одном из его факультетов изучались проблемы науки и техники, на другом — этики, эстетики, литературы и искусства. К звуковому журналу «Кругозор» было сделано приложение — звуковой журнал «Колобок», адресованный детям дошкольного и школьного возраста. В конце года в эфире прозвучали позывные «Сельской радиостанции», которая объединила все передачи, предназначенные для жителей деревни.

Тогда же начался всесоюзный «Радиофестиваль советских республик», посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. По своим масштабам — по количеству часов звучания и по числу участников — радиофестиваль был самым значительным в ряду предшествовавших ему.

…Время не шло, а мчалось, с утра до позднего вечера, зачастую без выходных дней. В 1969 году минуло пять лет моей работы на посту председателя Комитета по телевидению и радиовещанию. Они принесли мне в конечном счете ощущение радости от своей нужности людям, я это чувствовал. Я полюбил и радио, и телевидение. Сроднился с их коллективами.

Чувствовал я и другое.

Глава XIV
СТАРЕЮЩИЕ ВОЖДИ

Где-то с середины 1969 года я стал замечать, что над моей головой сгущаются тучи, — того и гляди засверкает молния и грянет гром. Я понимал причины изменения «погоды». Они исходили «сверху» от делающих «большую» политику при активном пособничестве подпевал из кругов пониже, но кусающих более зло, даже с остервенением, дабы наверху подороже оценивали карьерное раболепие.

Мой демократизм, проявляющийся не только в отношениях с коллегами, независимость оценок и суждений по поводу положения дел в партии, в государстве и в обществе, а главное — нетерпимость к созданию нового культа личности — Брежнева — не остались незамеченными, да я их особенно и не скрывал.

На заседаниях коллегии Комитета, летучках, научных конференциях, в выступлениях на партийных, профсоюзных и комсомольских собраниях я постоянно проводил мысль о свободе творчества в рамках социалистической идеологии. Я не уставал внедрять в сознание своих товарищей, и в стенах Комитета и вне их, мысль о том, что радио и телевидение — это «не придворные слуги» у кого-то или при ком-то, а глас народа, выразитель его дум и чаяний и вместе с тем его просветитель. Не раз и не два мне приходилось поправлять тех, кто склонялся, сознательно или в силу привычки, к преувеличениям в показе и восхвалениям в рассказе об одной личности или об узкой группе лиц, будь то репортаж с крупного общественного мероприятия или повседневная информационная передача.

В ходе трансляций, например демонстраций с Красной площади или с торжественных заседаний, приходилось вмешиваться, чтобы телевизионный оператор и режиссер не держали на экране подолгу фигуру Генсека и ближайшего его окружения, а давали широкую панораму народного шествия или собравшихся на форум рабочих и ученых, крестьян и учащихся. О моем вмешательстве, конечно, становилось известно в «верхах», и оно вызывало соответствующую негативную реакцию. Но поступать иначе я не мог.

Демократизм телевидения и радио, по моему глубокому убеждению, состоит в служении человеку труда, раскрытии его нравственной красоты, устремленности к возвышенной, благородной цели, в том, чтобы быть с ним — человеком — в постоянной взаимосвязи, а через него со всем народом — его

социальными слоями, этносами, поколениями.

Критическое отношение ко мне нарастало. Я не только стал чувствовать его в своей будничной работе, но это стало проявляться в действиях по отношению ко мне Брежнева, Суслова, Кириленко и их приспешников — и прежде всего А. Яковлева. Да-да, того самого Яковлева, который слепил себе лик «архитектора перестройки», «демократа» и поучает с разного рода трибун нормам нравственности. Жаль, что обстоятельства складываются таким образом, что не представляется возможным сказать ему в глаза, что хотелось бы сказать, дабы люди узнали «кто есть кто».

«Who is who», как говорят его новые господа. А прежние его хозяева, и в первую очередь Суслов, привечали Александра Николаевича за холуйство. Стыдно было смотреть и слушать, как Яковлев даже в разговорах по телефону с кем-либо из этих лиц прямо-таки лез из кожи вон от подобострастия. Он, Яковлев, не может не помнить, как я говорил ему после одного его разговора с Кириленко, свидетелем которого я стал: «Что ты заискиваешь перед ним до потери чувства собственного достоинства? Перед кем?!»

Но Яковлеву тогда нужно было продвижение по карьерной лестнице. Он с завистью, до неприличия, всякий раз при встрече косился на мой депутатский значок…

Однако могут сказать, это все слова. Теперь хотя бы пару к тому фактов.

Однажды, где-то в середине 1969 года, в эфир по учебной программе прошел сюжет о том, как кинорежиссер Марк Донской репетирует с актером, исполняющим роль Владимира Ильича Ленина — находящимся в гриме образа, — очередные кадры будущего фильма. Донской в ходе работы объясняет актеру, что и как делать, где входить в кадр и когда выходить, обнимает актера за плечи и так далее. Яковлев от имени Отдела пропаганды и агитации внес в Секретариат ЦК КПСС записку о том, что показанный по ЦТ сюжет является грубой политической ошибкой, ибо его содержание принижает Ленина, низводит его до ученика, который выслушивает разного рода поучения. К записке прилагался проект постановления, где давалась политическая квалификация сюжета и предлагалось объявить выговор мне и моему заму Георгию Иванову.

Вел заседание Секретариата Суслов. И никто против галиматьи, содержащейся в записке Яковлева, не выступил. Наши с Георгием Ивановым категорические возражения во внимание приняты не были. Из атмосферы, которая сложилась в Секретариате ЦК вокруг меня, я понял, что меня начинают

«раскачивать», вышибать из-под ног почву.

Второй факт. Примерно тогда же под руководством Яковлева и при поддержке Суслова, а может, по его пожеланию была затеяна проверка работы Комитета по подбору, расстановке и воспитанию кадров. Сформировали бригаду проверяющих — около восьмидесяти человек. И все это в тот период, когда шла сдача в эксплуатацию Общесоюзного телецентра, его освоение, открытие новых программ и передач… Проверяли долго. Копали глубоко. Подготовили справку по итогам проверки. Меня с ней ознакомили — читал в агитпропе ЦК, с собой не дали. В справке практически охаивалась вся работа коллегии Комитета, партийной, профсоюзной и комсомольской организаций по подбору, расстановке и воспитанию кадров.

Ознакомившись с этим пасквилем, я позвонил Суслову и сказал, что в записке Отдела пропаганды факты подобраны тенденциозно, а содержащиеся оценки грубо искажают положение вещей в работе с кадрами и могут противопоставить Центральный комитет КПСС многотысячному коллективу работников телевидения и радио. Как коммунист, кандидат в члены ЦК партии, говорил я Суслову, приму все меры к тому, чтобы этого не случилось. Мне дорог авторитет Центрального комитета, также дорога и та напряженная работа, которая ведется здоровым и дружным многонациональным коллективом радио и телевидения. После этого разговора история с проверкой была закончена, оставила она, наверное, лишь след в головах ее организаторов и вдохновителей.

Уколы в мой адрес на этом, конечно, не закончились. Я продолжал работать как ни в чем не бывало, делая вид, что не замечаю происходящего вокруг меня. Силы придавало отношение ко мне коллектива сотрудников телевидения и радио, удовлетворение от свершаемых в массовом вещании новых дел. Однако меня хотя и изредка, но стали посещать думы об отходе от активной работы в государственных и общественных организациях, а в 60-х — начале 70-х годов я вел большую общественную работу: был избран секретарем Союза журналистов СССР, членом Президиума профсоюза работников культуры, членом Президиума Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами, членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям, заместителем председателя общества СССР — Куба.

Эти думы порой разрывали меня на части, я подолгу не мог справиться с ними, прийти в норму. Мне было до боли обидно, что в угоду личным амбициям стоящих на самых верхних этажах власти во мне стремятся заглушить искреннее желание служить

людям, из меня высасывают душевные силы, иссушают мой разум. Но воля, закаленная в различных жизненных передрягах, и прежде всего фронтовая закалка, удерживала меня от крайностей. Воля питалась надеждами на то, что мое поколение не может уйти со сцены истории страны, не оставив своего благородного следа. И я, как один из его представителей, оказавшийся волею судьбы на видном месте в общественно-государственной практике, не мог уйти без борьбы, не имел нравственного права на такой уход. По ночам, раздумывая над происходящим вокруг меня и моих сверстников, я для самого себя добровольную сдачу позиций расценил как предательство своего поколения.

Может быть, я ошибался, но так я думал. Думал, потому что со многим, что происходило в партии, государстве и в обществе, я был не согласен. Во мне нарастал протест против стиля и методов руководства партией и государством. Вместо демократизации — бюрократизация. Выпячивание, раздувание фигуры одного — взамен коллегиальности в руководстве. Выдвижение в руководство партией и государством подхалимов и угодников. Свертывание, а затем и ликвидация предложенной Косыгиным программы, направленной на обновление форм хозяйствования. И, может быть, самое главное — недоучет, недооценка Брежневым, вследствие недостаточного интеллекта, открывшихся благодаря достижениям научно-технической революции возможностей модернизации всего производства на новой научно-технической базе, а вместе с ней возможностей формирования более развитых социалистических производственных отношений, следствием чего станет рост уровня жизни советских людей.

Мое несогласие не выливалось в открытый публичный протест. Оно не шло дальше обсуждения наболевшего с друзьями. Но оно, естественно, проявлялось в моих практических делах. Я не мог предавать своих! И люди знали, что многосерийный фильм «Летопись полувека» стал гимном победам и свершениям поколений советских людей. «Минута молчания» с великой скорбью и величайшей гордостью пела гимн Народу-Победителю. Такие передачи могли рождаться только в коллективе, ежедневно творчески дерзающем, имеющем собственное видение и по-своему осмысливающем дни минувшие.

Вот что рассказывает о создании «Минуты молчания» одна из авторов передачи Ирина Дмитриевна Казакова, чьему журналистскому таланту обязаны успехом эта и многие другие передачи на радио и телевидении. Я воспроизвожу ее повествование без всякой правки. Ирина Дмитриевна пишет:

«А было вот так:

В феврале 1965 года меня вызвал Главный редактор редакции информации Центрального телевидения Николай Семенович Бирюков и, сославшись на поручение коллегии Комитета, сказал: «Подумайте, чем нам ознаменовать 20-летие Победы». Я пошла бродить по коридорам Шаболовки-телецентра. Я принадлежу к типу ходящих журналистов, которым светлые идеи приходят во время хождения по длинным коридорам. Новый кадровик, который часто видел меня в коридоре, предложил уволить за «безделье». Но идея пришла именно в момент такого «безделья». Я села и быстро написала сценарий будущей передачи ритуала «Минута молчания».

Николай Семенович одобрил идею и прямо в рукописном варианте отнес сценарий председателю Комитета по телевидению и радиовещанию Николаю Николаевичу Месяцеву.

Буквально через несколько дней меня вызвал Н.Н. Месяцев и начался долгий, мучительно-захватывающий процесс создания «Минуты молчания».

Мы со Светланой Володиной, редактором будущей передачи, запершись дома, писали текст телевизионного варианта передачи. Аркадий Ревенко, комментатор радио, трудился над текстом радиоварианта. Тогда еще в голову никому не пришло, что передача-ритуал должна быть единой и на радио, и на телевидении. Нужно сказать, что в этой передаче все накапливалось по капельке, по золотой крупиночке.

Когда первые наброски текстов были сделаны, Николай Николаевич Месяцев объявил нам, что отныне каждый рабочий день для создателей «Минуты молчания» будет начинаться в его кабинете. Ровно месяц изо дня в день в 9 утра мы были в кабинете председателя Комитета. Николай Николаевич, как он любил говорить, сам брал ручку в ручку и писал текст, который рождался по слову, по запятой. Это была действительно «в грамм добыча, в тонны руды».

Часто в работе принимали участие члены коллегии Комитета. Хорошо помню за столом Энвера Назимовича Мамедова, Алексея Архиповича Рапохина, Георгия Александровича Иванова.

Передача рождалась мучительно. Степень ответственности и нашей внутренней приподнятости были столь велики, что мы в дни работы ни о чем другом не думали, ничем другим не занимались. На радио готовилась фонограмма музыкального оформления ритуала. Режиссером радиопередачи стала, конечно же, Екатерина Тарханова, женщина редкой человеческой красоты. Она, как эллинская богиня, если к чему-либо прикасалась, это сразу становилось значительным, талантливым, озаренным недюжинными способностями прекрасной женщины.

Встала задача — что делать с самой минутой молчания в эфире? Ну на телевидении будет какое-то изображение. А на радио? Целая минута тишины в радиоэфире — дыра. Екатерина Тарханова с ее масштабом мышления и тонкостью воображения придумала в минуту молчания в эфире вплески, перезвон кремлевских колоколов, которые сохранились в запасниках Большого театра. И не просто перезвон, а вызвоненная на колоколах мелодия траурного марша «Вы жертвою пали». Партитура этого марша в исполнении на колоколах тоже была разыскана. Фонограмма складывалась как торжественная литургия.

Ждали текста. А он не писался. Выковывался. Страничка с небольшим литого слова. Это должна была быть молитва.

Наконец поставили точку и поняли: ни вставить, ни убрать из текста больше ничего нельзя.

Екатерина Тарханова, прочитав текст, долго сидела, опустив голову. «Кому дать прочесть молитву?» Дикторам, чей голос знаком каждому? Актрисе? Самая большая опасность сделать молитву театрализованной. Катя вышла в коридор и встретила Веру Енютину, диктора радио, чаще всего читавшую рекламу, которую у нас мало кто слушал. «Вера, — спросила Екатерина Тарханова, — ты можешь молиться?» «Не знаю, — ответила Енютина, — давай попробую». Они быстро зашли в студию. Вера склонилась над текстом и очень скоро дала знак, что готова. Записали первый дубль, второй, третий. Но лучше самой первой записи уже не получалось. Его стали накладывать на готовую фонограмму.

Голос Юрия Левитана: «Слушайте Москву! Слушайте Москву!» Тревожно-торжественные звуки метронома приковывали внимание. «Слушайте Москву!» Из-под чеканки метронома выплывали тихие звуки «Грез» Шумана.

«Товарищи! — сказала Енютина так, что сердце упало, — мы обращаемся к сердцу вашему. К памяти вашей. Нет семьи, которую не опалило бы военное горе…» Звучала молитва, и если человек шел, он останавливался, замирал и не мог оторваться от голоса молящейся. Мы сидели в аппаратной студии «Б» на Шаболовке, Светлана Володина, Николай Николаевич Месяцев и я. Еще не отзвучали последние аккорды передачи, как услышали рядом с собой рыдания. Закрыв лицо платком, не стесняясь нас, плакал Николай Николаевич. Впервые в жизни я видела, чтобы так рыдал мужчина. И мы не скрывали своих заплаканных лиц. Это были святые слезы.

Мы поняли: радиовариант «Минуты молчания» готов. Лучшего нам не сделать. И, конечно, передача должна быть

единой на радио и на телевидении. Теперь начиналось не менее трудное — сделать вариант телевизионный. Найти единственно верное и точное изображение под молитву. Что должно быть на экране в такой момент? Предстояла тьма не только творческой, но и технической работы. Редактор Светлана Володина, режиссер телевизионного варианта Наталья Левицкая, помощники режиссера не выходили из кинопроекционной. Искали изображение, отбирая документальные кинокадры войны. Решили дать самые сильные, самые трагические кадры, запечатленные фронтовыми кинооператорами. Горы пленок. Снова «в грамм добыча, в тонны руды». Наконец смонтировали семнадцать с половиной минут изображения — именно столько звучал радиоритуал «Минута молчания».

Стали соединять пленку и фонограмму. Ничего не получалось. Кинокадры шли отдельно. Молитва отдельно.

Наталье Левицкой пришла в голову идея пригласить актрису, по образу похожую на известный во время войны плакат «Родина-мать зовет». Пригласили актрису, одели во все черное. Она стала читать текст, и это был театр. Время шло, экран был пуст, придумать ничего не удавалось. И вдруг в один из вечеров наших мук, когда Николай Николаевич Месяцев был на телестудии и мы обсуждали очередной вариант, он тихо сказал: «На экране должен быть только огонь, живой бьющийся огонь». Мы ахнули. Предложение было гениальным.

Все наши помыслы были уже об огне. Какой огонь? Вечного огня в Москве тогда не было. Где должен гореть этот огонь? Снимать ли его на пленку или это должен быть живой огонь в кадре? И тут посыпались предложения — одно смелее другого. Огонь решено было зажечь в студии. К черту полетели все правила противопожарной безопасности. Разрешили всё все службы телевидения. Стоило сказать: «Это для “Минуты молчания”», — как откликался каждый.

В главной студии телевидения на Шаболовке, студии «Б» соорудили высокую стену. На экране она выглядела сложенной из массивных плит гранита. На стене выбили надпись — ПАМЯТИ ПАВШИХ. Около стены поставили гипсовую чашу, которая также смотрелась сделанной из гранита. К чаше подвели газовую горелку и зажгли огонь. Начались бесконечные репетиции. Вьющийся во весь экран огонь производил неизгладимое впечатление. Работники телевидения, проходя мимо экрана, останавливались и завороженно смотрели на живое пламя. Мы понимали, что точнее изображения не придумаешь, потому что именно огонь сосредотачивает на себе все мысли, полностью концентрируя внимание. Молитва и музыка сливались с огнем в

волнующее до глубины души единство.

Режиссер Наталья Левицкая на всякий случай сняла огонь на кинопленку, сделав «кольцо» из повторяющихся кадров. Она как в воду смотрела.

Близилось 9 мая 1965 года. Степень нашего волнения подходила к предельному градусу. Передача была объявлена на 18 часов 50 минут.

9 мая все приехали на студию задолго до начала. Режиссер проверяла и проверяла готовность — такая ответственная передача шла в прямой эфир. К назначенному времени в студии собралось руководство телевидения и члены коллегии Комитета по телевидению и радиовещанию. У пульта были режиссер, ассистент режиссера, Николай Николаевич Месяцев, редактор передачи и я как представитель авторского коллектива.

Наконец зазвучали позывные. Сердце билось где-то у горла. Ассистент по команде режиссера нажала кнопку, и раздался голос Левитана: «Слушайте Москву! Слушайте Москву!» В кадре появилась гранитная стена и крупно слова — ПАМЯТИ ПАВШИХ. С первых же звуков мелодии «Грез» Шумана в кадре во весь экран заполыхал огонь. Величественный и негасимый, он бился как сердце, как сама жизнь. «Товарищи! Мы обращаемся к сердцу вашему. К памяти вашей…» Все замерли.

Мы не чувствовали времени, оно нам казалось вечностью. Шла молитва памяти павших в Великой Отечественной войне. И вдруг раздался истерический крик режиссера: «Кольцо!» Мгновенно заработала кинопроекционная камера. Случилось то, чего мы все больше всего боялись. Огонь в чаше стал угасать. В долю секунды режиссер заметила это и успела дать команду включить кинопленку. В кадре уже бился киноогонь. А в студии к чаше с огнем по-пластунски полз помощник режиссера, чтобы поправить случившуюся неполадку. Мы все вытянулись к стеклянному окну, отделявшему пульт от студии. «Спокойно товарищи!» — сказал Месяцев. Огонь в чаше набирал силу. И вот снова включена студия. Молитва подходила к концу. Раздался голос Левитана: «Минута молчания». На пульте все окаменели. Из какой-то далекой глубины зазвучали колокола: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» И снова мертвая тишина. Только мощные фортепианные аккорды остановили эту торжественно-траурную минуту. Дальше зазвучала музыка Чайковского, Баха, Рахманинова, а мы всё не отрывались от огня, каждый уже думал о своем, о своих погибших, о страшных пережитых годах и о Дне Победы 9 мая двадцать лет назад.

Передача закончилась. Все молчали. Сидели опустив головы. Не было сил встать. «Спасибо, товарищи, спасибо!» — прервал

молчание Николай Николаевич Месяцев. Стали потихоньку расходиться.

Все качалось утром. Первым в студии я встретила одного из телевизионных инженеров, Героя Советского Союза. Он подошел ко мне, взял мою руку и сказал: «Вы не знаете, что вы вчера сделали. Наш танковый корпус праздновал День Победы в гостинице «Советская». Собрались в 16 часов, вспоминали товарищей, выпили, хорошо поужинали. И вдруг на весь зал — позывные колокольчики. Танкисты встали. И семнадцать с половиной минут стояли не шелохнувшись. Эти закаленные боями люди, не знавшие слез, плакали. От нашего танкового корпуса великое вам спасибо».

Оказывается, в этот час во многих театрах Москвы были прерваны спектакли. По стране у уличных репродукторов стояли толпы. Останавливались автобусы и троллейбусы. Люди выходили и присоединялись к слушающим.

Почту понесли пачками. Мы читали взволнованные строки и понимали, что тронули сердца людей.

Воздали должное тем, кого унесла война. Из всех писем, которые пришли на телевидение и радио, я до сего дня храню одно. Это — простая желтенькая открытка. На ней размашистый адрес — Москва, Центральное телевидение, «Минута молчания». А на обороте текст всего в два слова: «Спасибо. Мать». Это была самая высокая награда всем нам, кто сделал эту передачу.

С тех пор, вот уже почти без малого тридцать лет, каждый год 9 мая по радио и телевидению в 18 часов 50 минут звучит ритуал памяти павших «Минута молчания». За эти годы много ударов пришлось на долю этой передачи.

Вскоре после того, как расправились с Николаем Николаевичем Месяцевым и освободили его от работы в Госкомитете по телевидению и радиовещанию, мне пришлось встать на защиту нашей передачи. Незадолго до 9 мая новый председатель Комитета Сергей Георгиевич Лапин приехал на Шаболовку принимать «Минуту молчания». Можно было подумать, что народ еще не вынес своего суждения об этом ритуале или Лапин не видел в эфире «Минуту молчания». Снова студия «Б», снова в ее холле собрался весь руководящий состав телевидения. Из представителей авторского коллектива оказалась почему-то я одна. Закончился просмотр, и воцарилась тишина. Все повернулись в мою сторону. Должна сказать, что в ту пору в Москве уже зажгли Вечный огонь. Он был отснят на пленку, и передача, утратив великий эффект сиюминутности действия, шла в киноварианте. Итак, я осталась один на один с Лапиным. Его почему-то все страшно боялись.

Пауза длилась долго. Наконец Лапин сказал: «Но ведь минуты молчания у вас нет. У вас звучат колокола, какое же здесь молчание?» Я чуть не взревела, взяла себя в руки и четко сказала: «Вы старый радист, вы же понимаете, что минутное молчание в эфире — это дыра. Колокола только усиливают драматизм этой минуты». Снова пауза. «Пожалуй, вы правы, — изрекает председатель. — А почему так долго звучит музыкальная концовка передачи?» — спрашивает он. «А потому, что людей надо вывести из состояния печали. 9 мая ведь праздник. Люди, почтив память погибших, остаются наедине со своим сердцем. Музыка, да такая, какая звучит в передаче, помогает им в этом». «Наедине с чем, с кем?» — переспрашивает Лапин. «Со своим сердцем», — резко отвечаю я. «Пожалуй, вы правы, — говорит Лапин. — Ну а вот у вас нет в передаче никакого обращения к нынешней молодежи, — продолжает председатель. — В будущем вы посмотрите и добавьте это». Лапин сделал самое страшное: он одобрил передачу, но в умы руководителей впустил бациллу перекройки «Минуты молчания». И началось.

Первый удар был почти смертельным. Эмигрировала Вера Енютина. По тогдашним временам, ее имя должно было быть стертым не то чтобы с лица земли, но голос с магнитной пленки исчез мгновенно. Текст молитвы попросили прочитать Юрия Левитана. При всем нашем преклонении перед голосом Юрия Левитана мы понимали, да и он сам понимал, что для молитвы его голос не подходит. Надо было выполнять указание. Когда умер этот великий диктор, «Минута молчания» перешла в руки Игоря Кириллова, голос его звучал ежедневно со всех экранов телевизоров, и любое время.

Но главное — замахнулись на текст. Попробуйте изменить хоть одно слово в молитве последних оптинских старцев. Невозможно. С первой же советской молитвой можно было делать все. У нового главного редактора редакции информации Юрия Летунова чесались руки по поводу «Минуты молчания». Он не мог пережить своей непричастности к чему-либо значительному на телевидении. Он вызвал вездесущих журналистов Галину Шергову и Евгения Синицына. Началась перекройка текста. Естественно, появился фрагмент, связанный с Малой землей. Его писала Шергова. В тексте Синицына мне запомнились колоски пшеницы, которые хранят память о павших. Ритуал приобрел всю ту необходимую кондовость, которая была по сердцу во времена Леонида Ильича Брежнева. Со смертью Брежнева исчез лишь фрагмент с Малой землей. Все остальное осталось. Так и читает до сего дня «Минуту молчания» Игорь Кириллов. Творчество ушло, осталась обязаловка. Признаюсь, я больше никогда не

смотрю этой передачи.

Самое трогательное было в тот момент, когда открыла только что вышедший в свет первый том Военной энциклопедии. Читаю: «Минута молчания» — радиотелевизионный ритуал памяти павших в Великой Отечественной войне. Авторы: Г. Шергова, Е. Синицын»…

И я вспоминаю тех, кто был в строю у этой передачи: фронтовик Н. Месяцев, фронтовик А. Ревенко, фронтовик А. Хазанов, режиссер фронтового театра Екатерина Тарханова, дети войны — Светлана Володина, первые воспоминания которой были связаны с фашистской тюрьмой, куда она попала с матерью — военным хирургом, Наталья Левицкая и десятки людей совсем разных поколений: музыкальные редакторы, помощники режиссера, кино- и телеоператоры, декораторы, художники, рабочие студии, все те, кто пережил и помнил фронтовые дороги и голодные дни и холодные ночи тыла, и совсем молодые, чье трепетное отношение к памяти павших вошло незримо в нашу передачу. «Минута молчания» — плод вдохновенных усилий большого коллектива работников радио и телевидения. И гордость большого коллектива.

Пока торжествует ложь. Может быть, пришло время вернуть людям первую советскую молитву памяти павших в Великой Отечественной войне? А автором передачи назвать коллектив радио и телевидения?»

Так было. Рассказы о творческих успехах в коллективе радиотелевизионных журналистов можно продолжить. Сколько прекрасных творений прошло в эфир! Может быть, когда-нибудь кто-то издаст звуковидеоантологию рожденного умом и сердцем сотен и сотен товарищей с Пятницкой, с Шаболовки, из Останкино.

Но здесь мне хочется коротко рассказать хотя бы о двух фактах, свидетельствующих о расширении сферы обзора наблюдающего за мною цензурного ока и об усилении репрессий.

Факт первый. Где-то в году 68-м, на его исходе, нами (по мнению многих) было создано уникальное издание — журнал «РТ» («Радио-телевидение»). Он был большого, необычного для нашего читателя формата, издавался в цвете на отличной бумаге и благодаря превосходному художнику Н. Литвинову выглядел очень красиво — сам «прилипал» к рукам читателя. Кстати, за оформление журнал получил премию, кажется в Италии.

Вскоре Суслов сделал мне замечание: «не бережете бумагу — “воздуха” много» (журнальные полосы не закрыты текстом.). Но я понимал, что дело не в «воздухе», а в содержании публикуемых

статей. В «РТ» нам удалось собрать хороших журналистов. Главным редактором был Борис Войтехов — журналист, драматург, отсидевший после войны в лагерях по подозрению в шпионаже, а в молодости редактировавший молодежный журнал «Смена». Отделом искусств заведовал А. Золотов, отделом литературы — Ю. Рощин. Работали Л. Лихоедов, В. Моев, И. Саркисян. Даже сейчас, спустя почти четверть века, номера журнала выглядят свежо, достойно, стоит только перечитать материалы о демократии, о роли и месте радио и телевидения в социалистическом обществе, публикации В. Хлебникова, И. Бабеля и многое другое. Номер, в котором были размышления А. Стреляного по поводу книги «Что такое колхоз», стал последним. В этом виде журнал «РТ» по указанию Суслова с подачи А. Яковлева был закрыт. Вместо него стал издаваться тот «серенький журнал», который как будто выходит и поныне.

Факт второй. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина мы запустили в производство четырехсерийный фильм «Штрихи к портрету» по сценарию драматурга М. Шатрова, режиссера Л. Пчелкина. Все четыре сценария фильма (впрочем, как и все другие по важным и острым темам) я прочитал и свои пожелания и замечания высказал М. Шатрову. Михаила Филипповича Шатрова я знал давно. Еще работая в Цекомоле, я был свидетелем появления на свет его героической драмы «Именем революции». Внимательно наблюдая за писательской деятельностью Михаила Филипповича, я радовался его творческим успехам. Всякий раз, посещая с женой премьеры его спектаклей, ощущал, как вселяют его пьесы в сердца зрителей чувство оптимизма, веры в революционный потенциал нашего народа, нетерпимости к мещанству со всеми его атрибутами.

Почти все пьесы М. Шатрова вызывали в верхах во времена Брежнева настороженное отношение, ибо они своим духом демократизма противостояли тщеславию, эгоизму, корысти. Я, как мог, защищал Михаила Филипповича везде где нужно. И, как мог, подбадривал его и вселял в него веру в правильность того творческого пути, которым он шел в те годы — 50-е — начало 70-х. А тучи над ним иногда сгущались до черноты, неприязнь к нему выливалась в угрозы исключения из рядов КПСС.

Четырехсерийный фильм «Штрихи к портрету», а особенно серия «Воздух Совнаркома», всем своим содержанием восставал против партийного чванства, рутины, бездумья, самолюбования — того, что все больше и больше начало тревожить думающих и болеющих за Родину людей. Сила эмоционального воздействия шла от превосходной игры Михаила Ульянова, создавшего на экране образ В.И. Ленина, во всяком случае, так мне казалось. И

главным было не внешнее сходство, а глубокое понимание и раскрытие сущности ленинской натуры как человека, мыслителя, революционера. Фильм «Штрихи к портрету» я показал руководству, одобрения он не получил. В моей судьбе этот фильм сыграл роль той самой последней капли, которая переполнила чашу терпения — дни моего пребывания в кресле председателя Комитета по телевидению и радиовещанию были, как говорится, сочтены.

Вот в такой обстановке я встретил новый, 1970-й год. В эфире стали появляться новые теле- и радиопередачи. С 11 января по 19 апреля ЦТ в содружестве со студиями союзных республик провело телефестиваль, в ходе которого была широко показана жизнь страны. Тогда же прошел Всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов в Ульяновске. А на радио юные слушатели познакомились с новой передачей из цикла «В стране Литературии». В феврале был начат международный радиоконкурс под названием «Моя встреча с В.И. Лениным», проводимый совместно с радиовещательными центрами Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии и Монголии. В нем приняли участие около 17 тысяч человек более чем из ста стран мира. В апреле на Всесоюзном радио маршал Советского Союза И.С. Конев открыл студию «Орленок», в которой с ребятами встречались знаменитые люди Страны советов. 9 мая Центральное телевидение в связи с 25-летием Победы над гитлеровской Германией провело перекличку городов-героев.

Тема Великой Отечественной войны постоянно присутствовала в массовом вещании во всех его жанрах. Творцы всех видов искусства вбирали в себя героизм советского народа в этой воистину Великой войне. Их талант, оплодотворенный бессмертным Подвигом, откликнулся рождением шедевров, поднимающих величие духа, мысли и воли всякого, кто к ним прикоснется.

Для меня одним из таких певцов Великой Отечественной войны был и остается наш русский писатель Константин Михайлович Симонов. Судьба не раз и не два перекрещивала наши пути-дороги. И каждый раз, чтобы ни случалось на этих перекрестках, я был рад встрече с ним. Многое хотелось бы рассказать…

Но, наверное, надо поднять из глубин своей памяти лишь то, что в какой-то мере, пусть даже самой малой, может пополнить то, что известно людям об этом красивом человеке. Жизнь не баловала его. За свою самостоятельность в оценке тех или иных явлений, событий нашей действительности он не раз попадал в опалу. Может быть, это и сближало меня с ним, тянуло к нему.

…У Хрущева была цепкая память. Во время одной из его «узких» встреч с творческой интеллигенцией, состоявшейся в зале заседаний Секретариата ЦК, мы с Симоновым сидели за одним столом и в ходе довольно пространного выступления Никиты Сергеевича о чем-то потихоньку переговаривались. Хрущев это заметил и, обращаясь к Симонову, сказал: «Слушай, Константин Михайлович, ты так мило сидишь с Месяцевым, прямо-таки не разлей вода, а ведь когда он выступал в Союзе писателей, ты же его не поддержал. Почему? А надо было поддержать». Хрущев имел в виду мое критическое выступление на расширенном заседании секретариата Союза писателей СССР в связи с опубликованием стихов некоторых начинающих поэтов в журнале «Молодая гвардия».

Тогда действительно никто из секретарей Союза не только меня не поддержал, а наоборот, мне надавали увесистых «оплеух». Никите Сергеевичу Хрущеву, судя по всему, об этом рассказывал Суслов, и, увидев нас с Симоновым вместе, он вспомнил…

Если память мне не изменяет, то где-то в конце 1965 — начале 1966 года как-то вдруг стало заметно, что имя Симонова исчезло со страниц печати, не появляется он и в эфире. Много работает? Поинтересовался, в чем дело. Глухая стена. Позвонил Константину Михайловичу и говорю: «Отберите свои лучшие последние стихи, бабахнем их по радио и телевидению» — «Ты за это такую нахлобучку получишь…» — «Ну это уже мое дело». Дали в эфир. День проходит, два, три, неделя. Ничего не случилось. Звоню Симонову. Говорю: «Отнесите в “Литературку” и сошлитесь, что стихи прошли у нас по радио и телевидению». «Литературная газета» вслед за нами тоже напечатала. Стена молчания вокруг Константина Михайловича была разрушена, это очень радовало.

По Симонову, самая тяжелая должность на войне — солдатская. И это, конечно, так. Работа контрразведчика по сравнению с ней гораздо легче. Константин Михайлович как-то в разговоре заметил, что его не столько влечет тема войны, сколько люди войны. «Именно из-за любви к ним, одолевшим в неимоверно тяжелых и трудных условиях самого сильного врага, каким была фашистская Германия, мне хочется писать и рассказывать».

Думаю, что «Солдатские беседы» К.М. Симонова на Центральном телевидении и были плодом его бесконечной любви к людям войны. Когда он делился со мною своими задумками о создании телевизионного архива из бесед с солдатами — кавалерами ордена Славы трех степеней, которых уже осталось

мало на земле, а скоро и вовсе не будет, и последующие поколения советских людей не увидят и не услышат тех, кто грудью своей защищал Родину, спас потомков от рабства и гибели, предо мною проносилось увиденное и пережитое на войне.

«Дорогой, милый, Большой Человек и Большой любимый писатель, — писал я ему, — не сердись и не опускай свою седую голову. Я говорю не ради красного словца. Знайте, что властью, данной мне государством, я сделаю все к тому, чтобы вы осуществили свой благородный замысел». На Центральном телевидении мною была создана группа в помощь Константину Михайловичу, в том составе, который он пожелал. Вскоре «Солдатские беседы» К.М. Симонова вышли в эфир, приковав к себе сердца миллионов советских людей. Пройдет много лет, и 18 августа 1990 года газета «Правда» опубликует на своих страницах письмо Константина Михайловича ко мне по поводу «Солдатских бесед». К тому времени его уже не будет в живых. Прах К.М. Симонова, согласно его завещанию, развеян на Буйническом поле под Могилевом, неподалеку от обелиска того самого героического 388-го полка, о боях которого в июле 1941 года он писал в газете «Известия» с приложением фотографии разбитых немецких танков. Помните, генерал Серпилин в фильме «Живые и мертвые» показывает военкору — капитану Синцову — поле боя с уничтоженными вражескими танками?.. На большом валуне близ обелиска высечено: «Константин Симонов».

К концу 1969 года обстановка вокруг нас — «молодых» — характеризовалась уже не скрытым или открытым к нам недоброжелательством со стороны Л.И. Брежнева и сколоченного им властвующего ядра, а сначала постепенным отстранением отдельных неугодных им лиц от активной деятельности, затем смещением с занимаемых ими ключевых государственных постов, как в центре, так и на местах многих и многих товарищей, которые в силу своих личных дарований и достоинств, и прежде всего бескорыстия, снискали в народе искреннее уважение.

Историки, подняв материалы в государственных, партийных архивах, и в том числе в архивах органов государственной безопасности, где на многих из нас, наверное, были заведены или «дела-формуляры», или «агентурные дела», не пройдут мимо того, что представители моего поколения по своему интеллектуальному и нравственному потенциалу были выше тех, кем окружил себя Брежнев, отбирающий людей по принципу личной ему преданности.

А некоторые из его окружения, напрочь лишенные

необходимых для участия в руководстве такой великой державой, как наша, качеств, занялись разного рода инсинуациями и сплетнями о каком-то заговоре «молодых». Они подталкивали Брежнева к скорой и решительной расправе с молодыми. Конечно, Брежнев и иже с ним не могли повторить 1937-й год. Время было не то. Но они были в состоянии отстранить от активной работы в партии и государстве сначала десятки, а затем, как это может увидеть объективный историк, сотни и тысячи способных людей, вся «беда» которых состояла в их уме, организационных навыках, приобретенном опыте, в своем видении советской действительности, в честности, наконец.

Да-да, именно в честности и порядочности, которую все более теряли люди из окружения Брежнева. Безнравственность как зараза ползла по стране, поражая руководителей разного ранга. В день 60-летия Л.И. Брежнева я направил ему со своим помощником Захаром Алояном, превосходным человеком и работником, приветственный адрес от имени коллектива радио и телевидения. Захар Арменакович, вернувшись из ЦК партии, зашел ко мне и в смятении от увиденного там в большом зале заседаний Секретариата ЦК, рассказал: «Наше приветствие, исполненное старорусской вязью на ватмане, прикрепленном к двум строганым дощечкам, скрепленным медными кольцами, — нищенство, убогость по сравнению с теми платиновыми, золотыми, серебряными, да еще и с драгоценными камнями, изделиями, которыми заставлены столы!» «Ничего, — сказал я. — Все мы сделали правильно. Надо беречь народные деньги, а не транжирить их на подношения».

То, что мое поколение — поколение честных, подтвердили и последующие годы. Я не знаю ни одного из их числа, кто был бы замешан во взяточничестве, лихоимстве или привлечен к уголовной ответственности. Поколение честных… Оно выражало саму сущность нашего народа — его честность, альтруизм, долготерпение, пассионарность в достижении благородных целей.

Историки, изучая архивы, отметят не только эти черты, но и множество ярких идей, порожденных непримиримостью к ошибкам и просчетам во внутренней и внешней политике; идеей о путях демократизации всех сфер общественной практики, и прежде всего деятельности коммунистической партии как партии правящей. Я вполне сознательно отсылаю историков к архивам, не раскрывая конкретно сути того, что нужно было бы тогда осуществить, дабы не упрекнули меня в том, что я, глядя из сегодняшнего окошка, домысливаю к прошлому то, чем не жили мои сверстники в 60-е годы XX века.

Будущий исследователь наверняка преодолеет «недуг» тех

нынешних историков, которые в своих научных работах почти не учитывают различия, существующие между поколениями при непременной, притом определенной исторической преемственности между ними. В самом деле, разве малозначим при анализе событий, явлений, тенденций тот факт, что Брежнев и его окружение принадлежали к другому, не моему поколению?!

Может быть, именно здесь уместно подчеркнуть то существенное, что лежало в самом генезисе моего поколения. Наверное, в какой-то мере я повторяю мысли и моего сверстника Николая Егорычева, бывшего первого секретаря столичной коммунистической партийной организации. Однако думаю, что такой повтор усилит верность и его, и моих, да и других товарищей суждений.

Наше поколение родилось после Великой Октябрьской социалистической революции, на наших глазах Советская власть довольно прочно встала на ноги и повела поиски дальнейших путей своего развития, и мы по мере взросления становились не просто пассивными наблюдателями этого процесса, а свидетелями, осмысливающими происходящее вокруг нас. Воздух Октября был еще свеж, атмосфера героики огненных лет разгрома иностранной военной интервенции и Гражданской войны была горяча и опаляла наши души, а поколение творцов тех исторических свершений вело нашу юность по дорогам жизни. Их идеи о справедливости, покоившиеся на марксистско-ленинском учении, становились нашими идеями, нашими убеждениями.

Мои сверстники и я радовались тому, как в годы довоенных пятилеток мужала Родина, улучшалась жизнь нашего народа и каждого из нас, что усиливало нашу любовь к отчизне, укрепляло убежденность в справедливости избранного пути. Была ликвидирована безграмотность, и свершилось, казалось бы, невероятное: впервые за всю историю страны целое поколение — наше поколение — стало образованным.

Оно прошло сквозь дикости 1937–1939 гг., не запятнав своей совести и вынеся окрепшую волю к тому, чтобы ничего подобного впредь не повторилось. Мои сверстники, еще не изведав всех прелестей жизни, дарованных природой, со всей свойственной молодости нравственной чистотой поднялись на Священную войну. Они шли на битву с врагом, не думая и не гадая о своей судьбе: останешься в живых или будешь убит? Мои сверстники слышали набат — Родина-мать зовет! И шли… Война вырубила мое поколение.

Оно не могло во всю свою мощь принять эстафету от предшествующих поколений. И не только потому, что это было «вырубленное» поколение. Было и другое. Брежнев со своим

окружением испугался нас, оставшихся в живых. Они сделали все возможное к тому, чтобы перешагнуть через нас.

Первым убрали с поста первого секретаря МГК КПСС Николая Егорычева после его критического выступления на Пленуме Центрального комитета партии. Потом Владимира Семичастного — с должности председателя Комитета государственной безопасности СССР. Затем весной и летом 1970 года были освобождены Владимир Степанов, заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, Василий Толстиков, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома КПСС, Василий Дрозденко, член Политбюро, секретарь ЦК компартии Украины, Николай Родионов, первый секретарь Челябинского обкома КПСС, Каюм Муртазаев, секретарь Бухарского обкома ЦК компартии Узбекистана, Георгий Тер-Газарянц, секретарь ЦК компартии Армении, Дмитрий Горюнов — генеральный директор Телеграфного агентства Советского Союза, Вадим Тикунов, министр охраны общественного порядка РСФСР, Борис Бурков — председатель правления Агентства печати Новости, Рафик Нишанов — секретарь ЦК компартии Узбекистана. В апреле 1970 года от обязанностей председателя Комитета по телевидению и радиовещанию был освобожден и я. Несколько позже был выведен из состава Политбюро ЦК КПСС Александр Шелепин и направлен на работу в «Трудовые резервы».

Этот перечень я мог бы продолжить. Кто-то поехал в «глубинку». Но большинство отправилось в почетную «ссылку» — на дипломатическую работу в Африку, Австралию, Латинскую Америку, единицы в Европу — подальше от страны, в те государства, которые не очень-то интересовали наши «верхи».

Будущий историк не может не увидеть, что к концу 70-х годов в высших партийных и государственных учреждениях не осталось, за редким исключением, почти никого из тех, кто как-то был связан с работой в комсомоле в бытность там первыми секретарями Центрального Комитета Александра Шелепина, а затем Владимира Семичастного.

Но и этого оказалось мало. На примере Комитета по телевидению и радиовещанию я и другие товарищи можем засвидетельствовать, как изгонялись оттуда десятки, сотни способных работников только за то, что они работали вблизи от меня. Так было и в других ведомствах и организациях: в аппаратах ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Комитета народного контроля.

Единственной республиканской партийной организацией, в которой бережно относились к кадрам, была Белорусская организация. Тогда дела там шли несравненно успешнее, чем в

других регионах страны, да и нравственная атмосфера была чистой — дышалось легко.

После гибели в 1980 году в автокатастрофе Петра Мироновича Машерова, первого секретаря ЦК компартии Белоруссии, партизана, Героя Советского Союза, моего единомышленника, и там началось изгнание «молодых». Мой друг по комсомолу Александр Аксенов был освобожден с поста председателя Совета Министров БССР и направлен на дипработу, послом в Польшу, за ним последовали и другие. На местах — в областях, краях, республиках — ретивые руководители следовали за Брежневым и его сподвижниками.

Увы, и это еще не все: в оправдание всех подобных перемещений в партии был пущен грязный слушок о так называемой «комсомольской оппозиции», стремящейся захватить власть. Однако и этого показалось мало. Вдогонку «молодым» приписали попытку создать «русскую оппозицию. Что при этом имелось в виду, одному богу известно». Вот ведь как, с каким размахом велась компрометация людей, «повинных» лишь в честности и преданности делу социализма. Оглядываясь в прошлое, я искренне сожалею, что единомыслие молодых не было скреплено организационными связями, которые бы наверняка позволили удержать сползание экономики страны к стагнации, а общества — к равнодушию и безразличию.

Историку из будущего, да и нынешнему, небезынтересно будет уточнить количество членов и кандидатов в члены Центрального комитета партии, избранных XXIII съездом КПСС и не приглашенных на XXIV съезд, хотя это было предусмотрено не только действующими тогда партийными нормами, но и являлось демократической традицией в КПСС. Ни один из моих сверстников приглашен на этот съезд не был, в том числе и я. Почему? Да все потому же: Брежнев и его окружение продолжали изгонять с политической арены моих сверстников, и прежде всего тех, кто был в составе ЦК. А вдруг кто-то из них прорвется на трибуну и будет говорить о том, что страна все ближе и ближе подходит к рубежу, за которым начинается стагнация, а «вождь» пребывает в самолюбовании в кругу своих приближенных из днепропетровской и молдавской кадровой обоймы.

Освобождение меня от должности председателя Комитета по телевидению и радиовещанию, как я уже говорил, не явилось неожиданностью ни для меня, ни для многих других. К этому, помимо скрытых от постороннего взгляда властных пружин самого «верха», были и чисто внешние причины и побуждения.

Освободили Николая Егорычева от обязанностей первого секретаря Московской городской партийной организации, он

приехал ко мне в Комитет. И это вполне естественно. С кем еще поделиться своими переживаниями, как не с другом? Снимают Владимира Семичастного с поста председателя Комитета государственной безопасности, он, как товарищ-единомышленник, тоже приезжает ко мне в Комитет «излить» душу.

Настоящая мужская дружба не знает границ, очерченных карьерными соображениями, чувством боязни. Сидим мы с Владимиром Ефимовичем Семичастным в комнате отдыха, слушаю я его рассказ о том, как ночью собрали коллегию Комитета госбезопасности, и Пельше — председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС — по поручению Политбюро ЦК КПСС предложил, без особых к тому мотивов, освободить Владимира Семичастного от обязанностей председателя этого Комитета. Рассказывает он, волнуется, встал из-за стола, подошел к окну и говорит: «Смотри, моя бывшая служба приехала, прослушают наш с тобою разговор». «Они давно уже прослушивают, только ты в это не верил, когда я тебе говорил об этом».

Со слов одного народного артиста СССР, который и сейчас еще жив и который просил не называть его фамилию, мне было известно, что помимо службы прослушивания телефонных и прочих разговоров, имеющейся в структуре органов госбезопасности, была создана и действовала параллельная служба, выходящая напрямую на Генсека и его доверенных. Я предупреждал Семичастного об этом, но он, судя по всему, не поверил в достоверность этой информации. Что ж, в жизни всякое бывает…

Мы, сверстники, переходя на новую работу, продолжали держаться смело, не роняя чувства личного достоинства и не предавая дружбу. Дружба — часть нашей жизни. Она зиждилась на основе общности понимания принципов служения своему народу. И никому больше!

О своем освобождении от должности председателя Комитета по телевидению и радиовещанию я узнал на аэродроме по возвращении в Москву из Хабаровска, где проводил совещание с председателями комитетов радио и телевидения краев, областей, национальных автономий Восточной Сибири и Дальнего Востока. Шабанов Петр Ильич, генеральный директор Центрального телевидения, а до того секретарь Московского горкома ВЛКСМ, первый секретарь Кировского райкома партии Москвы — отличный организатор, с хорошей теоретической подготовкой — отвел меня в сторонку и сказал, что Брежневым подписано постановление Политбюро ЦК КПСС об освобождении меня от

обязанностей председателя Комитета и направлении на дипломатическую работу. Петр Ильич назвал и источник информации, так что сомнений в ее достоверности быть не могло. Выслушал я это известие совершенно спокойно. Оно не являлось для меня неожиданным. Я его ждал. Так же спокойно отнеслись к нему жена и сыновья — Саша и Алеша, уже начавшие, в меру своего возраста, понимать, что к чему.

На следующий день меня пригласил Петр Нилович Демичев. Что-либо нового к сообщению Шабанова он не добавил. Посидели. Посмотрели друг на друга. Он тоже ходил в «молодых». Было очевидно, что и его ожидает перемещение. И действительно, спустя некоторое время он перейдет на работу в Министерство культуры.

На следующий день меня вызвал член Политбюро, секретарь ЦК Кириленко. Беседа с ним была жесткой.

— Вы знаете о решении Политбюро?

— Знаю.

— Вам надлежит выехать послом в одну из центрально-африканских стран.

— Не могу. У меня больная жена. Климат любой центрально-африканской страны ей противопоказан. Вы можете это проверить через Кремлевскую больницу. Прошу вас об одном: дайте мне возможность заняться преподавательской или научной работой, не нужны мне ни высокие чины, ни должности. Оставьте дома.

— Нет. Решение принято.

Было очевидно, что мне предлагается почетная ссылка. Глядел Кириленко на меня с ухмылочкой, выражавшей удовлетворение от возможности сломать судьбу человека, неприятного ему. Я платил ему тем же: сел в непривычной для меня манере, развалившись в кресле и бесцеремонно глядя мимо него в окно, на улицу, где ворковали голуби. В Москву входила весна 1970 года. На улице в высоком небе плыло солнце, одаривая светом и теплом всех одинаково: и меня, и Кириленко. Думаю, что над таким явлением жизни он не задумывался.

— В центрально-африканскую страну я не поеду, о чем можете доложить кому следует.

На работу я не поехал. Отпустил машину и проторенной, сотни раз хоженой дорогой пошел домой. Голова была пуста, как барабан, но шел я легко. И эта легкость мне показалась необычной. Откуда она? Понял, что Кириленко, Суслов, Брежнев полагали, что, отстраняя меня от работы в Комитете, они наносят мне сильный удар. А оказалось, наоборот, с меня снято нечто большее — тяжкий груз ожиданий этого удара. Я его принял.

Мгновенно отразил. И потому мне стало легко, свободно.

Дома Алла сказала, что по «вертушке» звонил Кириленко. Сказал: как приду — переговорить с ним. В телефонной трубке: «Поедешь послом в Австралию. И на этом закончим всякие дебаты». «Что вы так торопитесь? Хотите избавиться?» Ответа не последовало. Однако мне было интересно, как поведет себя Брежнев, что он скажет. К тому же в одну из последних наших встреч он как бы между прочим заметил: «До меня дошло, что ты считаешь меня недостаточно решительным в осуществлении назревших преобразований в стране». На что я отшутился, заметив: «В Москве говорят: кур доят, а коровы яйца несут». Шутку мою, прямо скажем, не лучшую в данном случае Брежнев пропустил мимо ушей. Разговор продолжать, очевидно, не захотел. Да и к чему он ему нужен — оправдать уже принятое им решение обо мне и моих сотоварищах?! Вряд ли…

Леонид Ильич меня принял. Это была моя последняя встреча с ним на протяжении долгих лет знакомства — с 1950 по 1970 год. За эти двадцать лет Брежневым было утрачено много хорошего, о чем можно было бы с грустью сожалеть. С грустью, потому что в его характере постепенно стирались, утрачивались качества — искренность чувств, острота восприятия окружающего, сопереживание людской беде, которые украшают и обогащают человеческую натуру. Конечно, в определенной мере они где-то там, в глубинах его души, продолжали жить и вырывались наружу в минуты эмоциональных переживаний. Я был свидетелем его искренних слез по безвременной гибели нашего общего друга Николая Миронова и смеха над шутками Екатерины Алексеевны Фурцевой. Меня в молодые годы увлекала открытость Леонида Ильича, его острая реакция на то или иное событие и умение заразить людей вокруг себя решимостью осуществить конкретное дело. Так было. Но годы постепенного сосредоточения в своих руках все больших полномочий, все большей власти над людьми по мере продвижения вверх по партийно-государственной лестнице — до самого верха — сделали Брежнева другим.

Когда я пришел к нему после освобождения от работы в радиокомитете, передо мной сидел уже иной Леонид Ильич. Под воздействием быстрого старения он стал ростом пониже, однако сидел в кресле так, что казался выше и монументальнее: приподняв подбородок и поглядывая на меня как бы сверху вниз. Как и всегда до этой встречи, он называл меня, как и многих других, по имени — Коля, но в произнесенном им имени уже не было теплоты партийного товарищества.

«Ты ведь знаешь, — говорил он, — мое отношение к тебе. Оно

всегда было добрым. Но сейчас сложилась такая ситуация, что тебе надо поехать послом в Австралию. Это не мое личное решение, это мнение Политбюро».

Было понятно, что он загораживается Политбюро вместо того, чтобы сказать правду: «Ты должен уйти с политической арены и уйти как можно дальше. Ты стал помехой на моем пути, как и другие твои сверстники». Но вместо этого он говорил: «Поедешь послом года на два, а там мы тебя вернем обратно; вот тебе мой личный код для шифротелеграмм — в случае надобности телеграфь». Говорил он сухо, не глядя на меня, а куда-то в сторону. Слова означали доверительность, а выражение лица было холодным, мстительным. Уходя от него, я внутренне пожалел Брежнева.

Попрощался я с Леонидом Ильичом и ушел от человека, превращающего самого себя и превращаемого другими в монумент. Пройдет несколько лет, Брежнев заболеет, и в течение почти восьми лет страна будет жить при руководителе, не способном им быть и с чисто физиологической стороны. Стариков — Суслова, Кириленко, Черненко и других из брежневской «обоймы» — не будет мучить ни партийная, ни гражданская совесть за то, что они «выбили» поколение, из среды которого могли бы выйти настоящие народные лидеры, а не такие, кто вследствие весьма развитых способностей строить свою карьеру оказались на руководящих ролях и в центре, и на местах. Что из этого получилось — известно.

19 мая 1970 года в газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета о назначении меня Чрезвычайным и Полномочным послом Союза Советских Социалистических Республик в Австралийском Союзе.

Прощание с товарищами на радио и телевидении было грустным, со слезами на глазах. Сократил я его, насколько было возможно. Зачем бередить душу другим и себе?! Так я считал. Но по-иному думали другие. Откликнулись мы с Аллой на приглашение Валентины Михайловны Леонтьевой, диктора Центрального телевидения — умного, доброго, красивого человека, искусницы в своей профессии, — сделанного от имени дикторской группы ЦТ, посетить ее дом и поужинать. Валя, Аня Шилова, Светлана Моргунова, Игорь Кириллов — все, кто был, — своей сердечностью и тактом создали атмосферу искренности, теплоты, участия.

Прекрасный вечер подарили нам Добросеевы, как в шутку мы называли Владимира Федосеева, дирижера, и его супругу Ольгу Доброхотову, музыкального обозревателя. Федосеев сидел, уронив русую голову на баян, и, закрыв глаза, пел и играл, играл

и пел, навевая образы милой, неповторимой, бесконечно любимой Родины. И слушать его мне, незадолго до отъезда на Зеленый континент, было просто необходимо. Владимир Иванович, конечно, это чувствовал. А я твердо знал, что Владимир Федосеев благодаря своему таланту украсит русскую музыкальную культуру, что и сбылось.

Были и другие встречи, о всех не расскажешь. Спасибо, друзья, за поддержку в трудный час!

Особую признательность я обязан выразить двум моим друзьям, работавшим со мною бок о бок в качестве помощников председателя Комитета — Захару Арменаковичу Алояну и Евгению Леонидовичу Наеру. Внешне они были разными. Захар — армянин, смуглый, с черными, коротко стриженными волосами, с темно-карими глазами, чуть ниже среднего роста, коренастый, в молодости, по рассказам, неплохо боксировал. Женя — блондинистый русак, светлоглазый, с легкой походкой при кажущейся грузности фигуры. В их характерах было много общего: большое трудолюбие, безупречная порядочность и воспитанность. И тот, и другой были внимательны к людям. И потому люди тянулись к ним.

Большой вклад в становление и развитие телевизионного вещания в стране внес и помощник моего зама Георгия Иванова — Владимир Трусов, своими творческими и организаторскими способностями.

Как-то спустя почти двадцать пять лет после моего ухода из Комитета сидели мы с Захаром у меня дома и перебирали прожитые годы… Прошло сорок дней со дня кончины моей незабвенной Аллы. Настроение было тяжелым, как никогда ранее. Наверное, поэтому и появился у меня Захар, впрочем, как всегда в трудные времена. Он настоящий, верный друг. Нет, он больше друга — брат.

Время было вечернее. Запад полыхал багрянцем лучей уходящего за горизонт солнца. Тишина располагала к возвращению в былое. Из всех прожитых лет самыми яркими и полезными оказались и для него и для меня годы работы на радио и телевидении — так мы решили после долгих неторопливых размышлений, сравнений, оценок, обмена мнениями.

Захар Арменакович мне нравился. Его честность, врожденное желание помочь человеку, оказавшемуся в трудном положении, в беде, приподнимали его над другими людьми. В нем было развито два превосходных качества, органически сложившихся воедино: образованность и организаторские способности. Первое

качество давало ему возможность не только быть на равных в любом кругу, в том числе и творческой интеллигенции, но и привносить в эту среду свое понимание, толкование тех или иных проблем окружающей действительности; второе качество — ставить на практическую основу то, что требовала жизнь массового телерадиовещания в условиях огромной многонациональной страны, с ее огромным международным авторитетом.

Он сравнительно недолго проработал моим помощником. Я чувствовал, что даже эти широкие рамки деятельности ему тесны — нужно самостоятельное дело, на котором и могут раскрыться до конца заложенные в нем способности. Такой выход его возможностям я дал. Назначил главным редактором впервые создаваемого в стране цветного телевещания. Объем работы был колоссальным — от размещения конструкторских разработок в соответствующих бюро, изготовления опытных образцов техники, постановки ее на поток до подготовки кадров, разработки концепции цветного телевидения. И надо сказать, что Захар Арменакович с честью справился с этой работой.

Если память мне не изменяет, первая цветная передача прошла в эфир во время визита президента Франции генерала Ш. де Голля в СССР — с его и А.Н. Косыгина выступлениями.

Радость свершенного на телевидении и дала Захару Асояну право сказать, что самыми счастливыми годами его жизни было время прекрасных деяний на Центральном телевидении Советского Союза. И об этом должны знать сын Захара — Армен и дети Армена, так же, как и мои дети и внуки, — о счастье, пережитом мною в годы работы председателем Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР. И это, естественно, относится ко всем, кто вложил свой труд, творчество, вдохновение в это благородное дело.

По дороге на Смоленскую площадь в МИД, на первую встречу с А.А. Громыко, министром иностранных дел, в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Советского Союза в Австралийском Союзе я решил зайти в так называемую Кремлевскую больницу, которая была тогда на улице Грановского, к маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, находившемуся там на излечении. Мне нужен был его совет по поводу продолжавшего мучить меня вопроса: ехать мне послом или отказаться, невзирая ни на какие последствия?! Угнетало меня насилие, учиненное надо мной. Кто дал право Брежневу, Суслову, Кириленко бесцеремонно распоряжаться моей судьбой?

Иван Степанович меня выслушал, не прерывал, изредка поглядывал, приговаривая: «Спокойнее, спокойнее». Когда я закончил выплескивать свои эмоции, маршал сказал: «Выбрось всю эту муру из головы. Ты должен, обязан ехать. Неужели ты не понимаешь, что в случае твоего отказа тебя сотрут в порошок? Не таких «героев» превращали в ничто. Вспомни-ка историю с Жуковым… Да и твой покорный слуга испытал на себе недавно немилость верхов. С тобой еще вели беседы, а со мной… С 1955 года я был главнокомандующим Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского Договора, и меня в 1960 году освободили от этой должности. Но как освободили? — задал вопрос Иван Степанович и с горечью человека, уже переболевшего нанесенную ему обиду, продолжал: — Сижу я, работаю, заходит адъютант и приносит очередную поступившую из Москвы почту, а в ней пакет красно-розового цвета, тебе известно, что в него закладывалось, а в пакете постановление Политбюро об освобождении меня от обязанностей главнокомандующего по состоянию здоровья». «Не может быть!» «Вот тебе и не может быть! Может, все может! Так что собирай манатки и дуй в Австралию, и всю эту эмоциональную рухлядь выкинь из головы. Послушай старого, видавшего виды служаку».

Да, маршал Конев Иван Степанович был, конечно, не просто служака, а один из прославленных полководцев Великой Отечественной войны, действительно видавших виды. Под его руководством как командующего Резервным, Степным, 2-м Украинским фронтами 5-я Гвардейская танковая армия, в которой я служил, прошла с боями путь от Курской дуги до города Ботошани в Румынии, выйдя первой на советскую государственную границу. Там, на фронте, я был наслышан о нашем командующем как о талантливом, самобытном полководце, способном не только правильно понять и оценить сложную оперативную обстановку, но и проникнуть в замыслы противника, предугадать его действия в конкретной ситуации. Такая прозорливость помогала ему находить верные решения в весьма сложных положениях, что мы, солдаты и офицеры, далеко стоящие от оперативных планов нашего командующего, ощущали по нашему наступлению на врага в 1943–1944 гг.

Иван Степанович был человек волевой, с твердым, порой резким и вспыльчивым характером, но быстро отходил, умел преодолеть минутную резкость и поступал по справедливости, так характеризовали его товарищи. Свидетелем одной из таких вспышек я был во время форсирования Днепра на переправе в районе Кременчуга под селом Озеры в сентябре 1943 года, о чем я рассказывал выше.

Бывая на Пятницкой, что случалось нередко, он заходил ко мне «поговорить». Во время бесед за чашкой чая он рассказывал о прожитом. Мне были интересны его взгляды на многие явления и события прошлого и не в меньшей мере оценки настоящего.

К тем характерным чертам, о которых говорили и писали его боевые друзья, я хотел бы добавить еще одно качество Ивана Степановича — умение проникать в сущность того или иного явления. Он совершенно определенно предрекал, что раздуваемый авторитет Брежнева «лопнет как мыльный пузырь, а брызги опять полетят в народ». Ивану Степановичу шел восьмой десяток. Он был бодр, энергичен, внимателен ко всему, что касалось человеческих дел и судеб. Наверное, это шло от его не только командирской, но и комиссарской закваски — ведь он долго был комиссаром различных воинских подразделений. На склоне лет маршал Конев был особенно внимателен к молодежи. Он нередко возвращался к мысли о том, что «будущее страны и будущее наших Вооруженных сил в руках молодежи». И добавлял — «хороший урожай начинается с семян». В здании Центрального комитета комсомола у Ивана Степановича был свой кабинет. В здании Радиокомитета на Пятницкой и в Останкино его всегда встречали с радушием и любовью и вели в студии, откуда разносился голос Полководца — Маршала-солдата, как звали его на фронте.

Министерство иностранных дел Союза ССР и, конечно, его министр мне были знакомы по дипломатической работе в Китае и в отделе ЦК КПСС. Андрей Андреевич Громыко встретил меня с радушием. Во время беседы с ним раздался звонок по «вертушке». Я понял, что звонит Брежнев. В ходе разговора Громыко, посмотрев на меня, сказал собеседнику на другом конце провода: «Он сейчас у меня. Как будто все нормально». Я понял, что Генеральный интересовался мной. Что его интересовало, мне было безразлично. Громыко промолчал, я не спросил.

Андрей Андреевич высказал свои рекомендации по подготовке к поездке в Австралию, не выходящие за пределы мне известного. Я попросил разрешения отбыть в Канберру — столицу страны моего пребывания — до 10 июля 1970 года в надежде отметить 3 июля с близкими и друзьями свое 50-летие. Министр не возражал. Позвонил кому-то из своих помощников, тот проводил меня в один из свободных кабинетов на этом же этаже. Я приступил к ознакомлению с документами, касающимися советско-австралийских отношений.

Как я убедился, эти отношения носили сугубо формально-дипломатический характер. Мало кого у нас в стране интересовал

этот огромный далекий континент, по площади равный одной трети территории СССР (в границах тех лет), и всего двенадцать с половиной миллионов человек (по состоянию на 1970 год).

В МИДе мало что изменилось за почти десять лет после моего возвращения из Пекина. Перемены были заметны лишь в том, что эта система еще более бюрократизировалась и пышнее расцвели карьеризм, угодничество, подхалимаж, стремление любой ценой выехать за границу, а там «прибарахлиться», а дальше, как говорится, хоть трава не расти. Конечно, было бы ребячеством приписывать такой образ мыслей всем и каждому. На Смоленке трудилось немало и тех, кто ради авторитета, престижа, державности Отечества в мировом сообществе не щадил и живота своего.

По характеру своей прежней работы каждый из нас, отправленных, был информирован о проблемах внутренней и внешней политики нашей страны больше, чем любой из дипломатов, исключая, естественно, министра. Потому суть дипломатической подготовки состояла в нахождении и определении конкретных путей, которые способствовали бы развитию отношений между Советским Союзом и странами нашего пребывания. Конечно, ознакомление с документами, накопленными в МИДе по проблемам этих отношений, дело нужное. Но главное все-таки состоит в умении свежим глазом, на месте, дать верную оценку этим отношениям на ближайшую и обозримую перспективу и повести дело с пользой для отечества. В процессе подготовки я побывал в посольстве Австралии в Москве, в различных наших министерствах и ведомствах. Нанес прощальные визиты А.Н. Косыгину и Н.В. Подгорному, попросил «добро» на использование их имени в случае служебной необходимости, что я и раньше делал в своих заграничных командировках, а их было немало. Впечатления, наблюдения, оценки увиденного там, в «заморских» странах, конечно, являлись моим политическим багажом, моим жизненным опытом.

В разные годы, по разным поводам я побывал в Англии, Франции, Бельгии, Италии, Финляндии, Албании, Югославии, Польше, Венгрии, Австрии, Германской Демократической Республике, Румынии, Швейцарии, Чехословакии — это в Европе; в Азии — в Китае, Монголии, Бирме, Индии, Сингапуре, Японии; в Африке — в Египте и Алжире; в Латинской Америке — на Кубе. Встречался я с президентами, главами правительств, министрами, общественными деятелями, с рабочими, крестьянами, учеными, безработными, нищими, с мужчинами, женщинами, юношами и девушками — со всеми, кто населяет нашу Землю. Имел возможность сравнить образ жизни, обычаи и традиции

различных этносов, взвешивал в уме притягательную силу разных культур, идеологических концепций, политических учений. И, возможно, самое главное состоит в том, что я видел, чувствовал, ощущал собственной кожей противоборство людей труда и капитала. Тот, кто знает, что такое всеобщая, общенациональная стачка рабочего класса, трудящихся — когда по всей стране фактически замирает жизнь, — тот не может не поверить в силу организованного трудового люда, в правоту социалистических идей. И наконец, не без воздействия примера социалистических стран класс капиталистов пошел на многие социальные уступки трудящимся.

Естественно, что я пребывал в разных странах не как эдакий нейтральный путешественник, а как носитель и защитник социалистических идей, исторической правильности избранного советским народом, другими народами социалистических стран, пути развития. В дружеских беседах и острых дискуссиях, с глазу на глаз и при большом стечении людей, в кабинетах, аудиториях и на митингах я славил свое социалистическое Отечество, не скрывая ошибок и трудностей, уже пройденных им, или недостатков, которые еще предстояло преодолеть.

Для меня поездки по зарубежным странам были наряду с моей Родиной чистилищем моей совести — через сравнение увиденного и услышанного. Всякий человек проходит, как правило, сквозь свой — ему данный обстоятельствами и им самим избранный — очистительный огонь совести. Не будучи мучимым совестью, невозможно прийти к Истине и Справедливости.

Я имел честь (да-да, имел честь — я не оговорился) быть знакомым со многими первыми лицами социалистических стран Европы, Азии и Латинской Америки. Читал их труды и работы о них, слышал мнения друзей и недругов, вдумывался в содержание конфиденциальной информации. Бывал у некоторых из них дома, встречался за трапезой — званой или товарищеской, вместе отдыхал, дискутировал, выслушивал их советы и добрые пожелания.

Ю. Цеденбал во время одного из приездов в Крым на отдых пригласил меня с семьей погостить у него на даче в Мухалатке под Ялтой. За неделю было о многом переговорено с этим умным человеком, большим и искренним другом нашей страны. За его плечами был немалый политический опыт. Он предостерегал меня от излишней открытости: «Не держи рубашку нараспашку. Люди вашего круга в борьбе за “кресло” могут продать так, что костей не соберешь». И Ю. Цеденбал оказался провидцем моей судьбы.

Э. Хонеккер, первое лицо в Германской Демократической Республике, стойкий коммунист, прошедший через гитлеровские застенки, строитель Магнитки, Герой Социалистического Труда. После выдачи его нашими московскими властями властям Германии — снова «судебный процесс», эмиграция в Чили. Кончина на чужбине. В одной из бесед со мной, состоявшейся в Берлине, он с гордостью рассказывал о разработке новой Конституции ГДР, которая явится своего рода программой дальнейшего строительства социализма на немецкой земле. Э. Хонеккера я знал еще по работе в юношеском коммунистическом движении. Весь его жизненный путь — беззаветное служение своему народу.

Может быть, когда-нибудь более подробно расскажу о встречах с руководящими деятелями социалистических стран…

Энвер Ходжа в Албании, Тодор Живков в Болгарии, Янош Кадар в Венгрии, Хо Ши Мин и Ле Зуан во Вьетнаме, Мао Цзэдун в Китае, Юмжагийн Цеденбал в Монголии, Болеслав Берут, Владислав Гомулка в Польше, Николае Чаушеску в Румынии, Густав Гусак в Чехословакии — все они возглавляли руководящие органы правящих коммунистических партий и в большинстве случаев занимали высшие государственные посты. Каждый из них по-своему был неординарным человеком, обладающим способностями и талантами оратора, публициста, организатора или политического стратега, тактика.

Но их борьба была исторически ограничена теми объективными условиями, которые сложились вовне и внутри их стран. Народно-демократические революции, происшедшие в странах Восточной, Юго-Восточной Европы, в Азии и в Латинской Америке, были несомненным следствием разгрома германского нацизма, итальянского фашизма, японского империализма и подъема национально-освободительного движения. Эти движения переросли или в режимы народной демократии, а затем — в диктатуры рабочего класса, или сразу стали таковыми.

Коммунистические и рабочие партии по воле народа пришли к власти как правящие. Перед их первыми лицами — вождями — был один-единственный исторический пример построения общества без эксплуатации и других видов социального и национального угнетения трудящихся.

Авторитет Страны Советов в годы Второй мировой войны настолько возрос, а его воздействие на мир в целом и его составные было столь сильно, что не учитывать накопленный опыт преобразования государства, раскинувшегося на одной шестой части земной суши и населенного более чем ста национальностями и народностями, было бы невежеством.

Однако мудрость первого лица состояла в том, чтобы, учитывая исторический опыт СССР, прокладывать путь своей стране сообразно ее историческому прошлому, национальным особенностям, прогрессивным обычаям и демократическим традициям народа. Мне представляется, что глубокое философское и политическое осмысление советского опыта с учетом специфических особенностей своих стран вождями осуществлено не было. Дух критицизма, заложенный в основу методологии марксизма, был отодвинут. И потому почти во всех странах в той или иной мере были повторены ошибки, сделанные в СССР.

Главными из них являются следующие:

— копирование сталинской модели властвования; ставка на насильственные, преимущественно административные методы социалистических преобразований;

— недооценка необходимости широкого развития демократических процессов, прежде всего в самой правящей партии, а также во всех сферах экономического, социального и культурного строительства;

— подстегивание темпов социалистических преобразований и в этой связи постепенный отрыв действительного осознавания массами трудящихся необходимости, выгодности, целесообразности этих преобразований, вполне сознательного их выбора от декларируемого официальными властями уровня массового сознания;

— разрыв между вождями — партией — массами в этих условиях нарастал: неудовлетворенность политикой, скрытая — чаще, открытая — реже, порождала в одном случае равнодушие, безразличие, в другом — формирование оппозиции, диссидентства;

— вожди в большинстве социалистических стран, может быть, в известной мере, за исключением Китая, Кореи, Кубы, мало заботились о творческом развитии теории марксизма-ленинизма применительно к изменяющемуся буквально на глазах миру.

К сожалению, многие из первых лиц в братских социалистических странах в том, что касалось теории, ориентировались на КПСС, идеологи которой в этой сфере были по существу бесплодны, особенно в 70-х — начале 80-х годов. Концепция развитого социализма стала одним из существенных источников догматизма в теории и застоя на практике;

— опора на административные меры хозяйствования повела к пренебрежению научной разработкой экономических стимулов, что в свою очередь стало одной из главных причин затратной системы ведения хозяйства, его слабой восприимчивости к

техническому прогрессу и творческой инициативе трудящихся;

— вожди, укрепляя административно-бюрократическую систему, волей-неволей принижали человека, превращая его в простого исполнителя; они своевременно не обратили внимание на образование, здравоохранение, культуру, на другие людские нужды, или иначе говоря, первые лица шли по неправильному пути — недостаточное овеществление социального, гуманистического потенциала социалистического строя;

— первые лица не подняли партию, массовые организации трудящихся на борьбу со складывающейся в обществе коррупцией, взяточничеством, спекуляцией и другими негативными явлениями, порождавшими паразитизм, стяжательство, способствовавшими появлению теневой экономики;

— вожди не поняли того, что мерами экономическими, политическими, идеологическими нужно сделать акцент на первой части формулы социализма — «от каждого по труду», чтобы каждый член общества производительно трудился, овладевая достижениями научно-технической революции, обгоняя по темпам роста производительности труда коллег из передовых капиталистических стран; превратить эту формулу в живую будничную практику миллионов;

— и последнее: они, вожди, вовремя не увидели разрастания в обществе равнодушия и социальной пассивности граждан — в отличие от противников социализма из зарубежных капиталистических стран, которые постоянно использовали эти недостатки в целях разложения социалистического общественного и государственного строя и реставрации капитализма.

Конечно, задним числом говорить о просчетах первых лиц в конце 60—70-х годах просто. Естественно, повинны в них не только первые лица, а и руководящее ядро коммунистических и рабочих партий, действовавших в каждой отдельной стране.

Наибольшую ответственность несет руководство КПСС, которое авторитетом своей партии, Великой Державы «подминало» под себя руководителей братских социалистических стран. А те не были столь мужественными, чтобы прокладывать свои социалистические пути, учитывающие все и всяческие особенности исторического развития их стран. К чему все это привело после периода стагнации общественного развития в этих странах в 70-х — начале 80-х годов, известно.

«Архитекторы» и «прорабы» перестройки 80-х годов оказались неспособными найти пути преодоления крупных недостатков и

ошибок, сложившихся в процессе строительства социализма. Да нет же, не то. Наоборот, их «способностей» хватило с избытком на то, чтобы развалить не только Великую Державу — Союз Советских Социалистических Республик, но и помочь силам реакции разрушить содружество социалистических государств. Ведь это и была их программная установка, их цель.

Тогда, на пороге 80-х годов, мы, молодые, не могли предвидеть всех пагубных последствий того, что уже начинало давать о себе знать. Не было оснований думать и о том, что процесс стагнации общества пойдет такими быстрыми темпами. Может быть — и наверняка — мы были бы решительнее в своих суждениях и особенно в действиях, если бы могли предвидеть грядущее. К тому же тогда не хотелось верить, что время так быстро катится, что на историческую сцену готово выйти новое поколение и скоро самим можно будет записываться в старики.

Глава XV
ПОСОЛ НА КОНТИНЕНТЕ

Неразгаданная далекая-предалекая страна. Континент, не похожий на другие, мне знакомые. Под своим звездным небом, осененным сверкающим Южным Крестом; омытый Тихим и Индийским океанами; продуваемый ледниковой свежестью антарктических ветров, но не могущий превозмочь безводность однообразных пустынь. Континент, где, кажется, все наоборот, если смотреть от нас — с севера, сверху. Даже вода в воронке вращается против часовой стрелки.

Но все ли наоборот?

Когда я буду покидать Австралию, я буду думать не о вечнозеленых лугах и красных скалах, не о пересыхающих реках и непроходимых тропических лесах, не о медвежонке коала и не о подаренном мне лейбористами-парламентариями маленьком кенгуренке, что спал со мной в одной постели. В моем сознании восторжествует чувство гордости за австралийцев, сумевших совершить подвиг — за сравнительно короткое историческое время они на данном континенте создали современную цивилизацию.

В этом смысле австралийцы были похожи на мой советский народ, который тоже за неполные семьдесят лет создал новую цивилизацию, оказавшую огромное воздействие на развитие человечества, в том числе на трудящихся Австралии.

Несмотря на лежащие на поверхности и скрытые различия государств, у населяющих их этносов много общего. Послу Союза Советских Социалистических Республик в Австралийском Союзе и предстояло найти это общее, что может и должно способствовать сближению народов, взаимопониманию во внешнеполитическом общении обоих государств, их деятельности. Друзья в шутку стали называть меня «послом на континенте».

Австралией по существовавшей в ту пору структуре МИДа занимался 2-й Европейский отдел — как доминантой Великобритании. Насколько я понял, в отделе работали, так сказать, «коренные дипломаты» — в основном выпускники Института международных отношений разных лет. Как правило, это были профессионально подготовленные сотрудники, готовые всегда прийти на помощь друг другу и словом, и делом. Но в стенах МИДа были и такие, кто «косо» поглядывал на людей, призванных в дипломатию со стороны — с советской или партийной работы: одни ждали своего часа выйти в послы или в

советники и полагали, что эти «призванные» перебегают им дорогу; другие не могли смириться со своей отставкой с высоких дипломатических постов по возрасту.

По прибытии в Канберру я узнал, что мой предшественник, покидая с явным неудовольствием посольство, уничтожил все основные документы, характеризующие деятельность коллектива посольства за последние три года (годовые, полугодовые отчеты, информационные записки, записи бесед с австралийскими высшими чинами и прочее), которые могли быть весьма полезными даже с точки зрения элементарной преемственности в работе. «Что ж, и не такое случалось в жизни, — подумал я, — благо память моя еще надежный инструмент». Начитанное и обдуманное в МИДе было еще свежо; и на чистом листе советско-австралийских отношений мне еще предстояло написать свое…

Моя стажировка в МИДе проходила по собственному плану. Пригодился опыт работы в посольстве в Китае и в отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Надо было внимательно проследить историю дипломатических отношений между СССР и Австралийским Союзом за последние десять лет, характер межгосударственных и иных отношений.

В самом общем виде содержание советско-австралийских отношений конца 60-х годов можно было свести к следующему: Австралия интересуется Советским Союзом постольку, поскольку является верной союзницей США и Англии, проводником, в том числе и в Тихоокеанском регионе, политики США, в кильватере которой последовательно и послушно идет. В годы «холодной войны» СССР для США — враг № 1! Таким же врагом он был и для властей Австралии.

Вместе с тем к началу 70-х годов Австралия, судя по информации, поступающей в МИД из различных источников, активизирует свою роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытается проявить самостоятельность в Юго-Восточной Азии и в юго-западной части Тихого океана. Однако это выражение национальных интересов сковывается обязательствами перед США, которые к тому же отводили Австралии в своей внешней политике второстепенную роль. И лишь после поражения США во Вьетнаме происходит некоторая трансформация военно-политической стратегии американского империализма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно «гуамской доктрине» США «передоверяют» значительную часть «ответственности» за положение в Тихоокеанском регионе преимущественно Японии, а уже затем Австралии.

В Австралии на рубеже 60-70-х годов проблемы внешней

политики становятся предметом дискуссий среди политиков, на страницах печати. Лейтмотивом обсуждений становится необходимость разработки своей внешней политики, и особенно по проблемам Азии и Тихоокеанского региона. Все громче раздаются голоса сторонников отхода внешнеполитического курса от ориентации на американских и английских партнеров.

Прослеживались три варианта «нового» внешнеполитического курса страны, с учетом происходящих изменений в мире. Сторонники первого полагали, что надо по-прежнему проводить курс следования в кильватере США, несколько приспособив его к изменившимся в стране и в мире условиям. Другие считали, что пора сменить ориентацию с США на Японию, учитывая ее возросшую экономическую и политическую роль, да и собственные возросшие возможности. Третьи ратовали за внешнеполитическую самостоятельность, исходя из собственных национальных интересов. При этом они опирались на значительно возросший экономический и военный потенциал страны в послевоенное время. В обстановке «ядерного равновесия» СССР и США средние и малые страны имеют возможности большей свободы на мировой арене.

Надо заметить, что представители первых двух вариантов внешнеполитического курса Австралии отражали взгляды, имевшие хождение в проправительственных кругах. Что касается Австралийской лейбористской партии (АЛП), отстраненной фактически от участия во внешней политике, но активно разрабатывающей теоретические основы внешней политики, то в рядах АЛП шел процесс постепенной эволюции от следования за США через «вооруженный нейтралитет» шведского типа к большей внешнеполитической самостоятельности, и в том числе за реалистический подход в отношениях с социалистическими странами, с Советским Союзом, международный авторитет которого все более возрастал, и не принимать этот фактор во внимание становилось очевидной ошибкой.

В беседах со мной министр иностранных дел СССР А.А. Громыко обращал внимание на то, чтобы я ни в коей мере не сводил роль Австралии к сателлиту США, и тем самым не сужал базу своей дипломатической деятельности, а наоборот, постепенно подмечал различия в позициях Австралии, с одной стороны, США, Англии, Японии — с другой, по всему спектру международных отношений, анализировал новые тенденции во внешней политике Австралии. И прежде всего ее тягу к самостоятельности во внешней политике.

Наставления А.А. Громыко были естественны и в общем виде могли быть соотнесены с деятельностью любого советского посла

в любой стране. Конечно, главное состояло в установлении достоверности стремления Австралии к самостоятельности во внешней политике.

При позитивных к тому данных мне как послу предстояло всячески способствовать развитию внешнеполитической самостоятельности Австралии в соответствии с ее национальными интересами. Мощным стимулятором к тому могла явиться активизация процесса становления советско-австралийских отношений на прочную практически-политическую основу. Развитие советско-австралийских межгосударственных и иных отношений поставило бы Австралийский Союз в более независимое положение по отношению к США, Великобритании, Японии и другим государствам, в том числе в Тихоокеанском регионе. Советский Союз в этом случае, рассуждал я, имел бы большую возможность использовать имеющиеся противоречия в этой группе стран, и прежде всего противодействовать гегемонии Соединенных Штатов в целом регионе.

Перед самым выездом в Австралию я имел беседы с заместителем премьер-министра Австралии, министром торговли и промышленности Дж. Макюэном, находившимся в Москве в июле 1970 года в качестве гостя советского правительства. Тогда же посетил Советский Союз лидер АЛП Э. Уитлэм и президент Австралийского совета профсоюзов (АСП) Р. Хоук. Каждый из них поддерживал предложения советского правительства о создании системы коллективной безопасности в Азии и разделял точку зрения министра иностранных дел Австралии Г. Фрита о том, что австралийское правительство всегда приветствовало возможность конструктивных контактов с Советским Союзом, и это положение лежит, подчеркивал министр, в основе подхода к каждому отдельному вопросу, в том числе и к предложению русских о системе коллективной безопасности в Азии.

Однако под нажимом правых сил правительство Дж. Гортона по существу дезавуировало вышеупомянутое заявление своего министра иностранных дел, и он был вынужден уйти в отставку.

К моменту моего приезда в Канберру правительство продолжал возглавлять Дж. Гортон. Выходец из богатой фермерской семьи, он учился в Оксфордском университете, где стажировался по истории, политике, экономике; в годы Второй мировой войны был летчиком австралийских ВВС, в боях над Тихим океаном получил тяжелое ранение; был членом Аграрной партии, затем перешел в Либеральную партию. Министром иностранных дел в правительстве Гортона был уже Макмагон.

Естественно, что в ряду других политических фигур для меня

представляли интерес лидер лейбористской партии Э. Уитлэм и председатель всеавстралийской Федерации профсоюзов Р. Хоук. Во время моих московских встреч с Э. Уитлэмом и Р. Хоуком они оставили благоприятное впечатление; были достаточно откровенны: Уитлэм в меньшей мере, Хоук — в большей, что, наверное, шло от их склада ума, характера, политического положения в обществе. Уитлэм — лидер оппозиции, Хоук — общественный деятель. Но в их суждениях было много общего. Каждому из них, по моему мнению, было свойственно проявление какой-то скрытой неудовлетворенности положением своей родины в мировом сообществе, когда речь заходила о международных делах. Австралия уже выросла из коротких штанишек роли, отведенной ей Соединенными Штатами еще со времен Второй мировой войны.

Ведь к началу 70-х годов Австралийский Союз вошел в первую десятку экономически наиболее развитых капиталистических стран. В 1970 году ее валовой национальный продукт превысил треть валового национального продукта «матушки» Великобритании. Только по открытым залежам полезных ископаемых мирового значения Австралия вышла на одно из первых мест среди капиталистических стран. Можно вообразить, какие аппетиты разгорелись у международных (читай: американских) монополий, глядя на эти лежащие под ногами богатства?! Немудрено было понять душевную боль Уитлэма и Хоука за будущее своей страны. Они, конечно, были наслышаны, что Австралию величают «Америкой Тихого океана». Было над чем задуматься этим двум физически мощным австралийцам.

Для советского посла было бы непростительной ошибкой пройти мимо противоречия между нарастающей экономической силой Австралии и отведенным ей США весьма скромным положением на международной арене, а также недоучесть усиливающееся осознание австралийской общественностью подлинных национальных интересов, большую тягу к самостоятельности (по сути выразителями именно этих настроений были Уитлэм и Хоук) и не использовать эти факторы в целях развития советско-австралийских отношений.

Я знал, в том числе и по собственному опыту, что быть полномочным представителем СССР в других странах нетрудно — постоянно помогает авторитет отечества и его народов, надо лишь иметь голову на плечах.

Так или иначе, свою сформировавшуюся позицию советского посла в Австралийском Союзе я перепроверил в беседе с министром А.А. Громыко. Он меня поддержал; поддержал и Н.В.

Подгорный, председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Мои беседы в нашей военной разведке и в Комитете Государственной безопасности ничем особым меня не обогатили. Да и разговоры с руководством этих ведомств носили сухой, формальный характер. Они знали и я хорошо знал, что за мной приглядывают, каждый из своего угла, — таково задание «свыше».

Конечно, Советскому Союзу — великой державе — в условиях развития космической техники, возможностей нашего подводного и особенно атомного подводного флота, в обстановке постоянного наращивания военной силы США на континенте, надо было превратить советско-австралийские дипломатические отношения из формальных — в действующие, способствующие установлению добрых доверительных отношений. С послом Австралии в Москве его высокопревосходительством Блэкни мы договорились, что в этом направлении и будет действовать каждый из нас.

Представлял меня Блэкни заместитель министра иностранных дел СССР Козырев во время обеда в мою честь в резиденции посла. Блэкни был в меру учтив и любезен. Статная фигура Блэкни, гордо посаженная голова и умный взгляд, говорили о том, что гены у него добротные. Наверное, подумалось мне, не очень ему к лицу ходить в тени своих «союзников», послов США и Великобритании, да и других аккредитованных в Москве послов крупных государств.

…Прошло более двух месяцев стажировки в МИДе. Нарушать договоренность с А.А. Громыко о вылете в Австралию в первых числах июля было бы некрасиво. 3 июля в кругу многочисленных родных, близких, друзей я отпраздновал свое пятидесятилетие. Компания сложилась весьма большая, дружная. По кругу пустили блокнот, где каждый выразил свои чувства к «новорожденному». Этот блокнот хранится у меня и по сей день. Листать его — занятие грустное. Многие из тех, кто оставил в нем свои автографы, ушли в мир иной.

6 июля съездил в Академию общественных наук при ЦК КПСС, встретился там со своими аспирантами, напутствовал их на прощание, выразил пожелания по их кандидатским диссертациям.

А вечером вышли мы с женой на лоджию нашей квартиры, откуда открывался вид на Останкинскую телебашню. Было время заката. Вспомнилось, как весной вот так же стояли мы с Аллой на лоджии. В небе, полыхающем рваными красно-малиновыми цветами, невдалеке от нас появилась стая журавлей. Она плыла строгим клином в неизвестную даль. Было тихо, как всегда в это

время суток в Москве. Не было слышно и журавлиных голосов. Вдруг один из стаи начал отставать, скатываться вниз и скрылся за домами. А стая, выровняв свой строй, продолжила путь в неведомое. Увиденное потрясло. Словно какое-то предзнаменование. Алла прижалась ко мне. Я сделал вид, что не заметил ее переживаний. Скрыл и свои. Но память о них, журавлях, в московском небе в последний вечер перед отлетом в Австралию, живет во мне и поныне. Мне до боли жалко журавля, отставшего от своего клина. Вспомнилось из Расула Гамзатова:

Летит, летит по небу клин усталый —
Мои друзья былые и родня.
И в их строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня![9]

На следующий день, 7 июля 1970 года, всей семьей приехали в аэропорт Шереметьево, где уже собралось на мои проводы более ста человек: друзья по школе, институту, комсомольской и партийной работе, коллеги по радио и телевидению, обществу «Знание». Среди провожающих были, естественно, представители нашего МИДа и Блэкни — посол Австралии в СССР. Словно что-то предвидя, он спросил: «Сколько из друзей ныне провожающих придет вас встречать по возвращении из Австралии?» «Кто знает…» — ответил я. Распили по бокалу шампанского. Попрощались. Задрожала Алла в моих прощальных объятиях и, сдерживая рыдания, оттолкнула меня от себя, сказав: «Все. Иди!» И мы с Алешей, моим младшеньким, сели в самолет и поднялись в небо, выше вчерашнего клина журавлей.

Промелькнуло Подмосковье — Жуковка, вся в домиках-дачках, Подольск с окрестными вдоль речушек Десны и Пахры деревеньками, в одной из которых родилась мама, появились мои братья, сестры. Пересекли Волгу в местах, что повыше родного Вольска с его цементными заводами, дымы от которых видны издалека. Остались позади Южный Урал, казахские степи, горные хребты Алатау, и все это была моя Родина, интересы и честь которой я как посол обязан защищать.

Утром прилетели в Карачи, а оттуда в Сингапур, где и заночевали. Сыну Алеше все было в диковинку. Да и я с любопытством знакомился с островом-государством — «банановолимонным» Сингапуром. На севере, почти на горизонте, сияла Полярная звезда, на юге — созвездие Южного Креста. На следующее утро сели в «боинг» австралийской авиакомпании «КВОНТАС». Ознакомились с приспособлением на случай «приводнения» в Индийском океане. Пересекли экватор, получив

на память об этом событии от командира корабля соответствующую грамоту. И надолго открылась неоглядная со всех сторон голубовато-серая водная поверхность. Скрылось солнце. На незнакомом, чужом небосводе ярко блестели звезды в поднявшемся ввысь от горизонта Южном Кресте.

Впереди по курсу самолета — неизведанная Австралия. Туда я направляюсь во второй раз. А первый раз я побывал там давно, еще мальчишкой, вместе с детьми капитана Гранта — помните, у Жюля Верна: «Мы высадились тогда на пятый континент с брига «Дункан» у мыса Бернуилли; на ферме встретили Айртона, предводителя банды беглых каторжников; в предгорье Австралийских Альп охотились на кенгуру; огромные сосны-каури и эвкалипты поражали воображение…»

На сей раз все было по-другому — по правде. Поздней ночью приземлились на Западном побережье Австралии в городе Перте. Администрация аэропорта уже знала, что прилетел новый посол Советского Союза. Погуляли мы с Алешей немного по земной тверди незнакомого нам пятого континента, а потом снова в самолет — и дальше, на восток, в Сидней.

За бортом вставала заря нового дня. Ничего подобного дотоле я в жизни не видел: небо полыхало ровным темно-красным пламенем и только где-то там, на границе черноты и бесконечной небесной глубины, переходило в короткие полосы цветов радуги и сливалось с этой чернотой. А внизу, по мере восхода солнца, открылись серо-желтые барханы песков пустыни и красного цвета скалы. Они были похожи на океанские волны. И лишь при подлете к Сиднею мы увидели зелень субтропического побережья, омываемого водами Тихого океана. Наверное, мудрым был тот человек, который назвал самый большой водный бассейн планеты Великим, или Тихим. В сочетании этих двух слов — взаимоисключение начала самой природы: мощь шума прибоя и грохота штормовых валов и тишина, которую можно слушать, глядя на застывшую океанскую штилевую гладь.

Вот и Сидней, самый крупный город континента, вытянувшийся своими домиками-коттеджами на десятки километров вдоль изрезанного заливами, бухтами берега Великого океана, упирающийся в небо высотными зданиями, очевидно, деловой части города; внушительно-блистательный аэропорт, как в Каире. Ничего нового. Все где-то видел. Да и что разглядим в иллюминатор — на сердце тоска под стать стоящей за бортом самолета местной авиакомпании австралийской зиме. Тридцать пять минут полета над слегка пересеченной местностью, покрытой коричнево-бурой листвой эвкалиптов, сквозь которую видны их стволы — словно бело-сизые ноги — да

пыльно-желтая трава, перерезанная проволокой заборов со стоящими за ними фермами с островками зелени, окнами прудов и водоемов для скота. И, конечно, овцы, овцы да коровы.

Пока я разглядывал неожиданно появившиеся домики окраины Канберры, самолет сел и подрулил к одноэтажному зданию столичного аэропорта. Там при входе с летнего поля стояла кучка людей — встречающие меня сотрудники посольства и представители МИДа Австралии. Поздоровались. Передал приветы из Москвы. И поехали в резиденцию посла. По пути — сплошь одно- и двухэтажные коттеджики, чистенькие (как будто только что к моему приезду специально покрашенные), среди ухоженных цветников и газонов.

Канберра (на языке аборигенов — Камберра) — название долины: «место встреч», что для столицы государства весьма символично — расположена между Сиднеем (триста семь километров к юго-западу) и Мельбурном (шестьсот пятьдесят километров к северо-востоку). Она начала строиться в 1913 году после долгих дебатов между властями штатов Новый Южный Уэльс (Сидней) и Виктория (Мельбурн). Строилась столица по проекту американского архитектора У. Гриффина, на что ушло более полувека — минуло две мировые войны, сменилось более дюжины правительств… За это время сооружены здание парламента, университетский комплекс, торговый центр, высажено двенадцать миллионов деревьев. В городе запрещено строительство промышленных предприятий; кое-где нет тротуаров; мало прохожих.

Резиденция советского посла под стать облику столицы — двухэтажный домик, выкрашенный в голубой цвет. Перед домом розарий, посадки ландышей, незабудок. За домом большая поляна, обсаженная березами, фруктовыми деревьями. Заросший травой теннисный корт. Внутри — на первом этаже — холл, гостиная, кабинет, столовая, кухня. На втором — две половины; одна для хозяина, другая для гостей. Вот в этой резиденции мне и предстояло жить и работать. Пока со мной сын — мы вдвоем. Он уедет — и я останусь один в этом казенном, ненужном мне доме. По соседству с резиденцией еще домик, тоже принадлежащий посольству. Живут в нем две семьи: шофер посла с супругой и повар с семейством.

Посольство от резиденции посла в минутах десяти ходьбы. Но в Канберре по улицам редко кто ходит, не принято. Ездят в автомобилях. Здание посольства из красного кирпича, двухэтажное, переделано из жилого дома. Внизу шесть маленьких комнат-кабинетов, в которых трудятся по два сотрудника посольства и отдельно — посол. На втором этаже — комнаты

референтуры (шифровальной службы) и квартиры заведующего референтурой, дежурных комендантов, несущих охрану посольства. На территории посольства три двухэтажных дома, в которых живут сотрудники посольства с семьями. В них же — небольшое клубное помещение. В метрах двухстах еще один жилой дом, арендуемый посольством. Во дворе посольства теннисный корт, биллиардная, волейбольная площадка. Вот и все богатство.

Численность оперативных работников посольства составляла девять человек, десять технических, а всего с семьями тридцать два человека. Сотрудники торгпредства, кроме торгпреда, тоже жили в домах посольства. Сравнительно недалеко от них обитали в арендуемых домах корреспонденты ТАСС, АПН, газеты «Правда». Всего советская колония в Канберре, а стало быть, и во всей Австралии, составляла около пятидесяти человек.

Вся жизнь членов колонии фактически замыкалась территорией посольства. Редкие коллективные выезды за город скрашивали однообразие. Наряду с этим, как и для подавляющего большинства коренных жителей Канберры, развлечением было посещение по пятницам торговых центров, которых в городе было три, приобретение продуктов на очередную неделю и хождение вдоль забитых всякой всячиной прилавков и витрин. В городе тогда действовало два кинотеатра, один из них, «драйв-ин» — кинотеатр под открытым небом, позволяющий смотреть фильм из автомашины с подачей в ее салон звука. Промышленных предприятий в городе, кроме монетного двора, не было.

Советская колония в Австралии жила дружно. Бывали «стычки» по тому или иному поводу, но их удавалось быстро устранять, не оставляя заметных «рубцов» на теле маленького коллектива в далекой Австралии, куда дипломатическая почта из Москвы приходит один раз в месяц, а газеты с опозданием в десять-пятнадцать дней.

Пройдет немного времени, и я пойму, что Канберра для меня, одинокого человека, — красивый, тихий, уютный гробик. Говоря так, я далек от мысли как-то обидеть жителей этого действительно красивого и очень удобного для проживания семейных людей города. Мне же, оставшемуся одному после отъезда в Москву Алеши, было подчас невмоготу.

И потому, дабы избежать одиночества, я больше чем, может быть, надо было по службе, ездил по стране, приглядывался к австралийцам — гостеприимным, радушным, жизнелюбивым людям. Как правило, они выше среднего роста, хорошо сложены, подвижны, любят шутку и острое словцо. Одеваются просто, но удобно и красиво; и не только — носят такую одежду, которая

молодит и женщин и мужчин. Мне кажется, что мужчины в Австралии красивее женщин (это же наблюдение относится и к аборигенам).

Замечу, что до самого отъезда из Австралии я не мог понять — и никто из властей предержащих не мог мне вразумительно ответить на вопрос: почему сложившийся на этом континенте англо-австралийский этнос — нация, обладающая свободой, собственной культурой, имеющая широкие связи со всем цивилизованным миром, — так постыдно, не по-человечески относится к аборигенам. До 60-х годов середины XX века они по сути не имели элементарных человеческих прав, лишь в 1967 году правительство Австралии было вынуждено отменить дискриминационные статьи Конституции, принять меры для улучшения условий жизни аборигенов — их образования, медицинского обслуживания, самоуправления. Говорят, что и ныне судьба аборигенов тяжелая.

Мне в начале 70-х годов довелось побывать в кочующих племенах аборигенов. Описывать боль, испытываемую при виде этих обиженных историей и обманутых властями несчастных людей, поверьте, нет сил! И все-таки среди аборигенов найдется смелый, гордый, сильный человек, который изменит судьбу 43–50 тысяч оставшихся на континенте аборигенов и выведет их в новое тысячелетие наравне с другими нациями, народами, племенами, живущими на планете Земля.

Именно под воздействием встреч с фермерами, рабочими-строителями, докерами, с писателями, студентами, с аборигенами у меня начала «сходить кожа» — дичайшая хандра, с которой я улетел из Москвы. Стал постепенно нарастать интерес к Австралии, ее неразгаданным тайнам, и в том числе лежащим в сфере советско-австралийских отношений.

Не скрою, что к этому меня побуждала и та застарелая, изо дня в день насаждаемая реакционными кругами предвзятость к советской власти, к социализму, как к чудищу. Подобное отношение к моей Родине меня возмущало, оскорбляло. Задачу побороть или ослабить эту предвзятость я поставил перед каждым сотрудником посольства, торгпредства, включая повара и шоферов, — словом, перед всеми. Я рассчитывал при этом на международный вес Союза ССР и здравомыслие австралийцев и их властей, на то, что мир на глазах меняется и нельзя жить ложными, устаревшими представлениями. Ведь до сих пор при входе в Сиднейскую бухту стоят две пушки, защищающие пятый континент от русского вторжения, — пушки поставлены во время русско-японской войны в начале XX века. Ох уж эта «русско-советская угроза», как она живуча!

Первый месяц пребывания в Канберре ушел на протокольные мероприятия. Вручил верительные грамоты его высокопревосходительству генерал-губернатору Австралии Хезлаку, который, как отмечалось в местных дипломатических кругах, ради этого акта прервал свой отпуск. Вместе с моим шофером в автомашине советского посла сидел сын Алеша. Я ехал отдельно, на специально присланном за мной МИДом Австралии автомобиле. В Москву донесли, что сын присутствовал при самом акте вручения мною верительных грамот. «Интерес», стало быть, ко мне не ослабел даже на таком отдалении от Москвы. Кстати говоря, незадолго до моего появления в Австралии местные газеты рассказывали своим читателям обо мне. Газета «Острэлиан» под моей крупной фотографией написала: «Посланец из Кремля»! А вот другая уже дала статейку в чисто «московском духе» под известной шапкой «Шаг вперед, два шага назад», поясняя, что новый посол делает в своей дипломатической карьере шаг вперед по сравнению с работой советника-посланника в Китае и два шага назад в общественно-политической деятельности.

На первую пресс-конференцию в резиденцию советского посла собралась вся журналистская рать Канберры. Вопросы были разные, бестактных не было. Отчеты о пресс-конференции были вынесены на первые полосы, в довольно полном освещении. Следует отметить, что газета «Острэлиан» наиболее полно и объективно освещала внутреннюю и внешнюю политику нашей страны и наиболее значительные мероприятия нашего посольства.

В ходе пресс-конференции я отметил, что дипломатические отношения между СССР и Австралией складывались непросто. Они были установлены впервые в годы Второй мировой войны, в 1942 году, когда австралийцы сражались на стороне антигитлеровской коалиции. В годы «холодной войны» в стране вслед за Вашингтоном развертывается разнузданная антисоветская кампания, которая в 1954 году приводит к разрыву дипломатических отношений с СССР. Они восстанавливаются лишь в 1959 году. В 1965 году подписывается первое торговое соглашение между СССР и Австралией.

Для многих мои извлечения из прошлого были новостью. Да и моя характеристика тогдашних советско-австралийских отношений как формальных по существу тоже звучала по-новому. Если Австралия хочет быть независимой в своих внешнеполитических действиях, а к этому ее ведут объективные реальности и стремление широкой общественности, то добиться желаемого без нормально развитых отношений с Советским

Союзом не представляется возможным. СССР проживет без Австралии, проживет ли Австралия без СССР — европейско-азиатской-тихоокеанской державы? Едва ли!

Как мне потом передавали, посол США в Австралии был недоволен такой прямой постановкой вопроса советским послом. И это хорошо. Пусть знает, что к чему…

Затем пошла обычная в своей необычности дипломатическая работа посла и коллектива советского посольства.

Встречи с министром иностранных дел Макмагоном, его заместителями и некоторыми заведующими отделами укрепили меня во мнении, что МИД Австралии не проявляет особого «рвения» к развитию австралийско-советских отношений. Такое же впечатление я вынес и из первой беседы с премьер-министром Дж. Гортоном.

Обмен протокольными визитами с послами других государств свидетельствовал о том, что их интересы в основном сводятся к сфере торгово-экономических отношений своих стран с Австралией. Что же касается отношений политических, то они оценивают их как удовлетворительные, исходя из того, что Австралия, будучи членом Содружества, в своей внешней политике следует в фарватере внешнеполитического курса США. И это действительно было так. Мои дальнейшие встречи, беседы с официальными лицами, общественно-политическими деятелями, учеными-политологами, подтверждали последовательность в избранной правящими кругами Австралии внешнеполитической ориентации на Соединенные Штаты Америки.

США прикрывали своей мощью пятый континент, имея на нем военные объекты, связывающие в единое целое военно-морские базы и флот Индийского и Тихого океанов. Между Австралией и США существовали тесные финансово-экономические и торговые отношения. Американский посол чувствовал себя в Канберре, как у себя дома, оглядывая с холма, на котором стояло охраняемое морскими пехотинцами посольство, всю столицу Австралийского Союза.

Советское посольство стояло в «низине» межгосударственных и других отношений с Австралией. Советскому послу предстояло еще насыпать холм, пусть не такой высоты, пусть лишь его основание, а уже потом… Как насыпать? Дело весьма и весьма трудное. Во мне нарастало стремление, укрепилась воля столкнуть с мертвой точки советско-австралийские отношения. Ведь за мной моя Великая Страна. С неменьшим авторитетом, чем у США, во всяком случае в массах трудящихся Земли.

Исходные для меня были ясны, но, прежде чем начать действовать, надо было еще и еще раз проверить прочность

наработанного ранее, имеющихся заделов в советско-австралийских отношениях. Ежедневные летучки дипсостава и корреспондентов советских СМИ, производственные совещания, коллективная разработка наиболее важных документов, исходящих в Москву, несомненно, способствовали выработке коллективных мнений и действий, более продуктивному распределению сил. «Нас мало, — говорил я, — но мы в тельняшках под дипломатическими мундирами. И действительно, коллективная работа приводила к нахождению нужных решений.

Посол и весь коллектив посольства исходили из того, что платформа, на которой предстоит развивать межгосударственные отношения СССР — Австралия, характеризуется тем, что они, эти отношения, конкретным содержанием не наполнены.

В политической сфере ограничивались, как правило, обменом приветствиями по случаю государственных праздников обеих стран; в редких случаях — согласовывали действия в рамках ООН по малозначащим вопросам. Австралия участвовала одним батальоном мотопехоты в войне США против Демократической Республики Вьетнам и негативное отношение Советского Союза к этой акции хорошо знала; торгово-экономические связи были слабо развиты, носили эпизодический характер.

Конечно, это была платформа слабенькая. По ее усилению в правительство Австралии советским посольством вносились необходимые предложения. Но они не получали положительного ответа. Надо было их расширить, дополнить новыми предложениями и с возможной настойчивостью побудить правительство Австралийского Союза к их рассмотрению. Учитывая, что в австралийских правящих кругах были, как я убедился, определенные силы, стремящиеся к большей независимости во внешней политике от США, я решил предложить австралийцам проведение регулярных политических консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, и наладить обмен политической информацией.

Затем, помимо правительства, предстояло активизировать деятельность посольства в парламенте Австралии, как среди лейбористской его части, так и консервативной, в пользу развития взаимовыгодных советско-австралийских отношений. По настроению, складывающемуся у общественности Австралии, чаша на весах ее симпатий склонялась в начале 1970 года в пользу создания лейбористского правительства вместо коалиции консерваторов и аграриев.

Было также решено активнее углублять связи с профсоюзами, являющимися политическим фундаментом лейбористской партии и прежде всего с австралийской Федерацией профсоюзов,

объединяющей подавляющее число рабочих, служащих, инженерно-технических работников. Надо подчеркнуть, что австралийское рабочее движение представляло собой значительную силу, опирающуюся на многолетний опыт борьбы трудящихся за свои права.

И, наконец, в ряду обозначенных направлений деятельности посольства самостоятельная роль отводилась нашему торговому представительству. Надо было найти в Москве в соответствующих ведомствах те товары, в которых была заинтересована австралийская сторона и продажа которых повела бы к устранению дисбаланса в торговых отношениях, сделала бы торговлю взаимовыгодной и постоянной.

Помимо этого было решено усилить связи с учебными заведениями, с творческой интеллигенцией, опираясь при этом на общество австралийско-советской дружбы, ряды которого были, к сожалению, немногочисленны.

Но над всеми этими архиважными делами стояла одна сверхзадача: надо было если не снять, то хотя бы максимально ослабить тот антисоветский прессинг, который создавался средствами массовой информации не без ведома, естественно, правящих кругов и давил на австралийскую общественность.

Рассредоточив силы сотрудников посольства на этих основных направлениях, я изначально стремился развить дух творческой коллективной работы. Увлечь каждого нужностью его труда. Изгнать из стен посольства скепсис по поводу перспектив развития советско-австралийских отношений.

Особый, дополнительный участок деятельности для меня как посла определился в связи с положением, сложившимся в коммунистической партии Австралии. В ней совершенно определенно было два идейно-политических течения: марксистско-ленинское и ревизионистское. Задача состояла прежде всего в том, чтобы найти между ними компромиссы, предотвратить раскол партии и без того немногочисленной по своему составу, не имеющей большого влияния в рабочей среде, вбирающей в свои ряды преимущественно интеллигенцию.

Примерно за три месяца я познакомился почти со всеми членами тогдашнего правительства Австралии, с послами государств, аккредитованных в Канберре, с видными австралийскими писателями, художниками, университетской профессурой, с русской колонией в Сиднее и Канберре.

Об интенсивности моей работы с членами правительства Австралии говорят три дня в августе 1970 года: 25 августа встреча с министром гражданской авиации Коттоном о продлении линии Аэрофлота от Сингапура до Сиднея; в тот же

день — с Макюэном, заместителем премьер-министра, министром торговли и промышленности, — о возможности налаживания торгового «моста» между советским Дальним Востоком и городами Восточного побережья Австралии; тогда же, 25 августа, встреча с Бери — министром финансов — по вопросу взаимных расчетов при крупных сделках; 26 августа — встреча с Антони, заместителем премьера, министром пищевой промышленности, — по вопросу возможности перевода закупок Советским Союзом продовольствия у Австралии на постоянную основу; со Снеденом, министром труда и национальной службы, лидером палаты представителей, — по вопросу о межпарламентском обмене между двумя странами; 27 августа — встреча с Синклером, министром судоходства и транспорта, — по вопросу об установлении постоянной товаропассажирской пароходной линии между Ленинградом и Сиднеем; и в этот же день, вечером, встреча с Макмагоном — министром иностранных дел, состоявшаяся на ступеньках парламента, в которой я в резкой форме потребовал прекращения антисоветчины в газетах, пикетирования посольства профашистскими группами и тому подобных акций.

Встречи только этих трех августовских дней, как и последующие, убедили меня в том, что надо «переломить» настроения премьера и его заместителей, перетянуть их для начала хотя бы немного на свою сторону.

В одну из встреч с Макмагоном я ему в течение десяти минут, нарушая дипломатический этикет, задавал один и тот же вопрос: «Вы хотите идти на расширение советско-австралийских связей?» «Хотим, но не можем, — отвечал он. — Время не созрело к этому…»

Для меня стало очевидным, что главный «дирижер» советско-австралийских отношений по-прежнему где-то выше правительства Австралии, а точнее, далеко за океаном.

Примерно в это время я получил телеграмму с указанием А.Н. Косыгина обеспечить срочную закупку 320 тысяч тонн говядины и баранины с поставкой в Одессу, Ленинград, Мурманск, Находку. К тому времени у меня уже были установлены постоянные связи в правительстве, аграрном союзе, торговой палате. Австралийцы взяли на себя обязательства провести массовый забой скота, сосредоточить мясо в холодильниках Сиднея, Мельбурна, Перта и, зафрахтовав быстроходные суда-рефрижераторы, доставить его в указанные нами порты в надлежащие сроки. Задание правительства было выполнено. Однако наша торговля с австралийцами шла в одностороннем направлении — в их пользу, что, конечно, было

явлением ненормальным и вопрос о ее превращении во взаимовыгодную вставал еще острее.

Надо заметить, что работа в посольстве шла интенсивно. Некоторые жены дипломатов сетовали на то, что посол-де без семьи, ему в резиденции скучно, вот он и побуждает наших мужей засиживаться допоздна на работе, часто ездить по стране, участвовать в различных протокольных встречах, присутствовать на массовых мероприятиях, проводимых австралийцами. Это были «хорошие» сетования, они по-своему освежали атмосферу застоя, которая обычно царит в «маленьких» посольствах в странах, не участвующих в «большой» политике.

В начале 70-х годов Австралийский Союз и являлся, не в обиду будет сказано, именно таким государством. В австралийских кругах левого и демократического толка не могли не соглашаться с нами, что нормально развитые отношения с СССР объективно выводят Австралию в разряд государств, активно действующих в международных отношениях, о чем свидетельствовали мои беседы с премьер-министром Макмагоном, с лидером лейбористов в парламенте Уитлэмом, который после победы на выборах возглавил правительство Австралии, а также с председателем Всеавстралийской федерации профсоюзов Хоуком. Однако официальные лица в местной администрации находились под давлением политики «холодной войны» и в традиционном отстранении от Страны Советов по заданной из Вашингтона схеме.

Нужно было время, чтобы до далекого пятого континента докатились некоторые позитивные изменения, происходящие в отношениях между СССР и другими государствами, чтобы и на нем почувствовалось потепление международного климата в целом. К началу семидесятых годов расширились связи СССР с Францией; договорами Советского Союза и Польши с ФРГ была подтверждена нерушимость послевоенных границ; шла подготовка к заключению государственного договора между СССР и ФРГ; развернулись переговоры о развитии сотрудничества на общеевропейской основе — так называемый Хельсинкский процесс; вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия; были заключены договоры о запрещении размещения ядерного оружия в космосе, а также на дне морей и океанов; между СССР и США полным ходом шли переговоры о сдерживании стратегических вооружений; ширилась борьба народов за прекращение гонки вооружений как ядерных, так и обычных. И надо заметить, что правящие круги Австралии стали постепенно учитывать изменения, происходящие в мире. Я это чувствовал по их отношению к предложениям советского

посольства по всему комплексу советско-австралийских отношений.

Усилия посольства надо было подкрепить организацией визита на уровне члена правительства Австралии. Такой визит состоялся. Заместитель премьера правительства Австралии Макюэн был приглашен в Москву. Накануне его отлета я еще раз напомнил ему о всех выдвинутых советской стороной перед австралийским правительством предложениях, направленных на развитие отношений между двумя странами: об авиационном сообщении, об открытии в Сиднее представительства Аэрофлота, о соглашении по поводу рыболовства, об обменах в области науки, культуры, искусства и особенно о совместных политических консультациях и обмене политической информацией. Макюэн в Москве был принят на высоком уровне. С ним состоялись обстоятельные беседы первого заместителя председателя Совета Министров СССР Д.С. Полянского. Визит, несомненно, подтвердил серьезные и добрые намерения Советского Союза в отношении Австралии.

В это самое время случилось то, что переполошило всю официальную Канберру… Из МИДа Австралии, от заместителя министра иностранных дел Уоллера раздается ко мне в посольство звонок. Тревожным голосом он спрашивает: «С какими целями всплыла недалеко от Барьерного рифа советская атомная подводная лодка?» — «Посол по этому факту не располагает никакой информацией. Успокойтесь и успокойте свое правительство». Срочно запросил Москву. Немедленно получил ответ, который и передал Уоллеру: «Лодка всплыла в связи с необходимостью непродолжительного ремонта. Советская сторона сожалеет о случившемся. Впредь в подобных ситуациях, когда будет к тому малейшая возможность, австралийские власти будут непременно ставиться в известность».

Австралийцы знали, что наши атомные подлодки совершают «кругосветки». Да и в мире это было широко известно, так же, как и о полетах советских космических аппаратов вокруг Земли. Мне показалось, что этот извинительный жест советской стороны сыграл положительную роль, усилив доверие к СССР. Воистину нет худа без добра…

Весьма полезным было посещение Австралии советской парламентской делегацией во главе с председателем Совета Национальностей Насретдиновой. Женщина, возглавляющая одну из палат высшего органа власти, — это производило впечатление. Я сопровождал Насретдинову по многим городам Австралии. Выступая в студенческих аудиториях, на собраниях профсоюзной общественности, она последовательно стремилась убедить

слушателей в необходимости развития советско-австралийских отношений. В моменты, когда Насретдинова входила в раж, говоря что без Советского Союза Австралийский Союз просто-де может «пропасть», я аккуратно корректировал ее: может остаться второразрядной, не вполне самостоятельной страной.

Таким образом, и поездки Макюэна в Москву, и Насретдиновой в Канберру позволили на довольно высоком уровне обсудить весь комплекс вопросов взаимовыгодного сотрудничества и сделать к тому реальные шаги. Приносили свои плоды и многочисленные поездки по стране наших дипломатов, их встречи и выступления перед людьми, относящимися к различным слоям австралийского общества.

Я нанес официальные визиты властям почти всех австралийских штатов — губернаторам, премьерам их правительств, видным общественным деятелям. Посещал самые глубинки. Был гостем промышленников и фермеров, бывал у портовых грузчиков и у рабочих автомобильных заводов.

Немало состоялось и моих публичных выступлений. Запомнились: острая по своему содержанию встреча со студентами и профессурой университета в Сиднее; дружеская атмосфера, царившая на встрече в Мельбурне с членами и активом австралийского совета профсоюзов; обстановка непринужденности в ходе моего выступления и ответов на вопросы молодых лейбористов в штате Квинсленд; сдержанная и вместе с тем наполненная чутким вниманием реакция слушателей высшего военного колледжа Австралийских вооруженных сил — под Канберрой.

Выступления приносили мне большое удовлетворение. Я познавал страну своего пребывания, а слушатели открывали для себя советского человека — посла Советского Союза. Во время поездок иногда дело доходило до курьезов. В какой-то глубинке подходившие ко мне женщины «незаметно» оглаживали, ощупывали меня и говорили между собой, что я сделан из того же «теста», что и они. «Ничего себе, — думал я, — как глубоко внедрили в сознание людей исковерканный донельзя, до абсурда образ советского человека».

Перелистывая свои короткие австралийские дневниковые записи, я прослеживаю в них перемены, происходившие во мне по отношению к Австралии. Первое, что сидело во мне, после того как я ступил на ее землю, — было неприятие окружающего меня в этой стране. Затем неприятие сменилось погружением в дело, которое мне было поручено. А позже, по мере того как я наматывал на спидометр «мерседеса» или «чайки» тысячи километров, в памяти запечатлевались многочисленные встречи с

жителями совсем маленьких городков, с семействами фермеров, и во мне нарастало доброе отношение к окружающему, а с ним и привязанности к раскрывающимся неповторимым красотам пятого континента.

На превосходной автостраде Канберра — Сидней я всегда останавливался на ее высшей точке: открывалась такая необъятная ширь. С далью лесов и пустынь, с синевой океана, сливающегося в далеком мареве с дрожащим от зноя воздухом. Эта великолепная панорама чем-то, наверное, своей неоглядностью, напоминала мне о родной Волге.

Мне нравился дневной ритм Сиднея своей деловитостью, даже тем, как девушки-служащие в обеденный перерыв высыпали на ступеньки своих офисов и уминали что-то лакомое. Потоки машин, зеркальные витрины шикарных магазинов в нижних этажах небоскребов, море огней ночного города, наполненного кафе, ресторанами, отелями, отражающееся в водах Сиднейского залива. Естественно, я знал, что центр города не для всех. Бывал и в том Сиднее — Рэдферне и Вулумулу, где обшарпанные дома, грязные улицы, бедный люд. Я хорошо знал природу этих контрастов и знал, что надо сделать, чтобы их изменить.

Мне была понятна внутренняя боль известного во всем мире, и в том числе в Советском Союзе, писателя Алана Маршалла, хорошо знавшего жизнь своих соотечественников. Встречи с ним (он был вице-президентом Общества дружбы Австралия — СССР) укрепили мою веру в нормализацию советско-австралийских отношений. Смотрел я в его умные, чуть усталые глаза под густыми бровями, на выделяющийся на продолговатом лице нос с горбинкой, на упрямый подбородок, и мне хотелось, чтобы долго-долго жил этот талантливый человек, понимающий не только боль людскую, но и, как поговаривали его друзья, язык птиц.

Большой интерес вызывали у меня посещения фермерских хозяйств в разных штатах, с разной сельскохозяйственной специализацией. Поражала меня не столько сама постановка дела на ферме, где трудолюбие фермера является решающим условием процветания или упадка хозяйства, а организация сельскохозяйственного производства в разных штатах страны. Надо заметить, что партия аграриев крепко держала в своих руках вожжи управления государством и собственно сельским хозяйством. 200 лет существования современной Австралии — это два века постоянного совершенствования фермерского сельскохозяйственного производства — от рождения ягненка, теленка или посадки в землю семян до желаемого продукта и его реализации.

Заместитель премьера в правительстве — Антони —

красивый молодой мужчина со светлыми волосами, голубыми глазами, пухлыми губами, среднего роста, атлетического сложения, мог бы сыграть героя-любовника в американском вестерне (собственная кинопромышленность Австралии тогда делала еще первые шажочки и не могла предложить ему достойную роль). Про кино — это, конечно, шутка, однако, несмотря на молодость, дело свое Антони знал и пользовался немалым авторитетом в фермерских кругах. Насколько я мог понять, сельское хозяйство Австралии является частнокапиталистическим и фермерское хозяйство средней руки, и так называемые станции (в руках которых земли, по площади равные территории государства Люксембург), управляемые капиталистическим кооперативным механизмом с элементами планирования: фермер на свой страх и риск может произвести сельскохозяйственной продукции больше, чем ему запланировано. Нынешним правителям нашего государства надо не расколлективизировать сельское хозяйство страны, а создать механизм управления им и поучиться этому у австралийцев.

Машиностроительная, металлургическая, горная промышленность была поставлена в Австралии на современную основу и конкурентоспособна. Для примера скажу, что на сталелитейном заводе в Порт-Кембла в цехах было просторно, светло, чисто. Рабочие, с кем пришлось беседовать, были удовлетворены условиями работы, а в случае какой-либо нужды, говорили они, «наш профсоюз, наш Боб Хоук нам помогут». У нас в стране многие, кто был связан с международным рабочим движением, знали о силе профсоюзного движения в Австралии, а мне удалось убедиться воочию, как говорится, «увидеть и пощупать».

Помимо введения в практику частых поездок советских дипломатов по Австралии я увеличил количество различного рода дружеских приемов а-ля фуршет в посольстве. На них приглашали писателей, художников, профессуру, артистов, общественных деятелей, сотрудников различных государственных учреждений и, конечно, молодежь, в том числе армейскую. Приемы проходили живо, в интересных беседах и разговорах. Как правило, погода позволяла выносить приемы из стен резиденции посла на лужайку. Приемы также способствовали расширению и укреплению связей посла и сотрудников посольства с различными представляющими интерес для посольства людьми.

В Австралии получили широкий резонанс выступления нашей всемирно известной балерины Майи Плисецкой и также известного композитора Родиона Щедрина. Концерты прошли вскоре после моего приезда в Австралию. Сцена была буквально

усыпана цветами. Балерину публика не отпускала в течение получаса. Я представил Майю Плисецкую и Родиона Щедрина губернатору и премьеру правительства штата Новый Южный Уэльс.

Было решено активизировать концертную деятельность советских артистов в Австралии, равно как и связи ученых академических и университетских центров, тем более что многих я знал лично.

Незаметно прошел год моей работы на пятом континенте. Собрав чемодан, я приехал на побывку на Родину. Доложил о делах своему министру — он остался доволен. Побывал в Центральном комитете партии, в ряде министерств и ведомств.

Посетил Алексея Николаевича Косыгина. Рассказал ему об Австралии, об отношении к нам, о деятельности советского посольства. Изложил свою идею, которую в принципе поддержал премьер-министр Австралии, о налаживании постоянно действующего торгового моста между восточными портами пятого континента и нашими дальневосточными портами. Австралийцы готовы поставлять на наш Дальний Восток в течение всего года говядину, баранину, свинину, птицу, овощи, фрукты — то, в чем испытывают нужду наш Дальний Восток, Крайний Север и отчасти Восточная Сибирь. Взамен мы поставляем им деловую древесину в обработанном и необработанном виде.

«Алексей Николаевич, — говорил я, — представляете себе, в лютый мороз ребятишки от Владивостока до Магадана и от Находки аж до самой Читы будут иметь круглый год арбузы, ананасы, яблоки, всякую снедь. Как это было бы здорово!» «Да, это действительно идея, заслуживающая реализации. Но мы не в состоянии ее осуществить. Наши дальневосточные порты имеют очень малую причальную линию, да к тому же не обладают необходимыми холодильниками и другими складскими помещениями. Вот сейчас расширяются торговые отношения с Японией, но и они сдерживаются именно неготовностью наших портов с размахом вести торговлю. Но Ваше предложение я запомню. Буду думать…»

В конце марта — начале апреля 1971 года в Москве состоялся XXIV съезд КПСС. Перед съездом я вместо вызова для участия в его работе получил из Москвы указание о том, что посольство обязано широко информировать Центр об откликах на работу съезда в различных общественных кругах Австралии. Причем в шифровке было подчеркнуто, что эту работу должен вести лично посол. Было очевидно, что я на съезд приглашен не буду. Да я и не рассчитывал. В кругу своих дипломатов я по поводу этого

указания заметил, что в Австралии съезд не получит сколь-нибудь широкого резонанса. Так что послу, собственно, в этой связи и делать будет нечего; он в составе ЦК, и его место на съезде.

Через несколько дней получаю вдогонку первой телеграмме другую, но уже не на одной страничке, а на четырех, на которых расписано, что именно может интересовать Центр в связи со съездом и опять подчеркивается личная роль в этой работе посла. Стало ясно, что мое отношение к первой телеграмме было «донесено» до Москвы, и последовала другая, более оскорбительная по своему назидательному тону и изложению в ней прописных истин.

Будучи в Москве, я узнал, что примерно одна четвертая часть состава ЦК, избранного XXIII съездом партии на XXIV съезд приглашена не была, и прежде всего из «молодых», находящихся не только далеко от Москвы, но и в ней самой. По составу Центрального комитета, избранного XXIV съездом КПСС, было очевидно, что высшее руководство партии во главе с Брежневым окончательно перешагнуло через «молодых», укрепив свое положение за счет тех, кого устраивало существующее положение в партии и стране и кто, пренебрегая интересами Родины, пел осанну Брежневу.

В Москве друзья предупредили меня о том, что в разговорах, где бы я ни был, надо держать ухо востро, а язык не распускать — все берется на соответствующий учет…

Дома обстановка была не из легких, если не сказать просто тяжелой. Алла по-прежнему часто страдала гипертоническими приступами. Сыновья росли. Справляться ей особенно со старшим — Сашей было все труднее. Они становились неуправляемыми. Мои увещевания вряд ли могли долго сохранять воздействие на них. Нужна была постоянная мужская рука.

Где-то за неделю до окончания моего отпуска из Канберры была получена телеграмма о том, что кем-то из числа эмигрантов, бывших членов украинской националистической организации ОУН, была брошена в здание посольства бомба большой взрывной силы, причинившая значительный материальный ущерб. К счастью, жертв нет. Произошло это в воскресный день. В помещении посольства, кроме дежурного, никого не было. Сила взрывной волны была погашена зданием посольства, и потому она не коснулась отдыхающих на территории посольства членов семей сотрудников посольства. По договоренности с Громыко подготовили от имени МИД СССР протест австралийской стороне, потребовав принятия мер по

недопущению впредь подобных вылазок против советского посольства и полного возмещения ущерба.

Конечно, надо быть наивными, говорил мне Громыко, чтобы не увидеть за действиями оуновцев влиятельные силы, которых не устраивает политико-дипломатическая активность посольства по развитию разносторонних отношений между Советским Союзом и Австралией и которые стремятся сорвать наметившуюся позитивную тенденцию. Такие силы были и внутри Австралии и ее правительства, и за ее пределами.

С Громыко было условлено, что я со своим отъездом в Канберру повременю, и пускай австралийцы подумают: почему не едет советский посол?!

…Шел я как-то из посольства в резиденцию. Вдруг слышу сзади нарастающий звук, рассекающий воздух, и чувствую цепкую скользящую хватку когтей по вороту сорочки. Я стащил «агрессора». Им оказалась птица-кукабарра, гигантский зимородок. Она села неподалеку на дерево и самым бесстыдным образом разглядывала меня. Я показал ей кулак…

В связи со взрывом посольства австралийским властям кулак не покажешь. «Работой посольства и посла мы здесь, в Москве, довольны», — большей похвалы от министра Громыко получить было невозможно. Его сдержанность в оценках мне была хорошо известна. Одобрил министр и дальнейшие планы посольства.

Накануне отъезда в Канберру я зашел к Андрею Андреевичу Громыко попрощаться и рассказать об обстановке, сложившейся в семье. «Потерпите», — посоветовал министр.

В Канберре мое прибытие было встречено со вздохом облегчения. Официальные власти были обеспокоены тем, что советская сторона на взрыв посольства могла отреагировать гораздо жестче. Министр иностранных дел при первой встрече выразил искреннее сожаление правительства Австралии и сообщил, что принято решение о возмещении понесенного материального ущерба и установления круглосуточной охраны здания советского посольства и резиденции посла, — меры для Канберры необычайной исключительности.

Здание посольства довольно быстро привели в надлежащий порядок. Надо заметить, что его внутреннюю отделку мы произвели собственными силами. Любо-дорого было смотреть, как по вечерам после работы дипломаты и технические работники, их жены, переодевшись в старенькие одежки, повязав головы цветными косынками, штукатурили и красили стены, мыли окна, скоблили и натирали до блеска полы. Так разохотились, приобретая навыки ремонтников, что обновили и

резиденцию посла.

Работа в посольстве после взрыва вошла в нормальное русло. Да она, собственно, и не замирала. И постепенно отношение австралийцев к нашей стране — и властей, и широкой общественности — стало меняться. Как говорили между собой дипломаты, анализируя обстановку, она стала напоминать теплую австралийскую зиму. Замечали потепление не только мы, советские дипломаты, но и дипломатические, консульские и торговые представители других стран.

Естественно, не всем послам, аккредитованным при правительстве Австралии, равно как и многим из официальных и близко к ним стоящих кругов, была «по вкусу» теплая австралийская зима в отношениях между СССР и Австралией. Я уже достаточно точно мог «ткнуть пальцем» в подобную персону, но мой дипломатический ранг и этикет не позволяли. Теперь, задним числом, могу показать на послов Канады, Англии — и, как говорится на Руси, бог с ними!

Советский Союз был единственным из всех стран, входящих в Организацию Варшавского Договора, государством, представленным в Австралии посольством. Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия, а позже и ГДР имели свои консульства в Сиднее. Между нами установились не только прочные деловые связи, но и вошло в традицию вместе отмечать национальные праздники. Жили дружно. Дружба скрашивала нам чувство постоянной отдаленности от родных мест. Но главное состояло в том, что советское посольство всеми доступными ему средствами способствовало развитию отношений этих государств с Австралийским Союзом. Многое в этом плане пришлось наработать к тому, чтобы Германская Демократическая Республика установила дипломатические отношения с Австралией. Нам всем, представителям социалистических стран, входящих в Организацию Варшавского Договора, надо было всячески — в устных выступлениях и в печати, в пресс-релизах — развенчивать миф о военной угрозе — зловещий миф. К чести дипломатов всех братских социалистических стран, действовали они дружно, напористо, проявляя высокую культуру ведения дискуссий.

Шел второй год моего пребывания в Австралии, а я так и не обрел постоянного душевного спокойствия. Отчужденность от всего окружающего, что тревожила меня первое время, прошла. Я стал ощущать красоты австралийской земли и неба, ее лесов и пастбищ, вдыхать полной грудью холодные дуновения Антарктиды и теплые ветры тропиков. Но нередко меня навещала безысходная тоска… Тяжелая, пригибающая к земле — не

разогнуться, не вздохнуть. Тоска по жене, детям, по близким, по друзьям — по всему тому, что называется Отчизной. Ведь я — русский.

В такие дни я, увлекая за собой товарищей из посольства, ехал к Великому — Тихому океану. Хотя бы на час, на мгновение. Он, океан, был единственным, с кем я был самим собой. Во мне все сливалось воедино — и разум, и дух, и тело. Тот, кто не был вместе с океаном, не может почувствовать его величие и мощь. Его свободу. Грохотом своих валов он рвал, казалось, цепи зависимости, рабского подчинения чьей-то неправедной силе. Шумящими накатами счищал неверие в осуществимость своей личной воли. Тихим спокойствием своих великих вод океан утешал.

А утешение мне было необходимо. Я чувствовал, как нарастает во мне снова возмущение против неестественности моего пребывания в Канберре. Посол без семьи, без жены. В течение всего прошедшего года я изворачивался при ответе на вопросы австралийцев, послов других государств, сотрудников посольства: когда приедет в Австралию ваша супруга? Надоело выкручиваться. Сказать, что она не приедет по состоянию здоровья, я не мог. Это означало бы признание в негуманном отношении ко мне как к человеку со стороны государства, которое дело служения человеку ставит превыше всего, в чем я, несмотря на декларативность этого постулата по отношению ко мне, был убежден и что проповедовал в своих устных выступлениях и в публикациях, в том числе и на австралийской земле.

Бывали дни, когда никакая большая загрузка по работе, которую я задавал себе без особой к тому необходимости, не сваливала меня от усталости в праведный сон. Наступал вечер, а за ним одиночество в пустом особняке, под охраной полисмена. И бессонница. Вязкая, липкая, с тягучими, изматывающими душу думами: «Ради чего я здесь, в одиночестве?»

Оно ничем не мотивировано и не оправдано. Мое нахождение в Канберре — прихоть нескольких человек, властей предержащих. Игроков в политические игры. Какое они имеют моральное право учинять насилие над человеком, распоряжаться его судьбой? Не приемлю! — кричал разум. А утром с тяжелой головой снова в работу.

Помимо советско-австралийских межгосударственных отношений, что, естественно, составляло главное направление моей посольской деятельности, много времени занимали проблемы, связанные с обстановкой в коммунистической партии Австралии. В ее рядах, а точнее, в ее Центральном комитете,

сложилось два крыла, две фракции. Одна не разделяла решений и установок, изложенных в документах Международного совещания представителей коммунистических и рабочих партий, другая выступала за их реализацию в практической деятельности партийных организаций КПА. К сожалению, к этим принципиальным расхождениям во взглядах примешивались личные амбиции — занять лидирующее положение в составе ЦК, а стало быть, и во всей партии.

В этой обстановке надо было совершенно определенно стать на позиции тех, кто придерживался курса, выработанного большинством отрядов международного коммунистического и рабочего движения, солидаризировался с политикой КПСС, что я с согласия Центра и сделал. Участились мои контакты с ними, имевшие место, как правило, вне стен посольства или моей резиденции. Австралийские товарищи делились своими планами выхода из состава КПА и создания новой, марксистско-ленинской партии под названием Социалистическая партия Австралии (СПА).

Пройдет почти двадцать лет, и я узнаю из печати, что приверженцы идей социализма в знакомой мне Австралии снова сомкнут свои ряды в единой партии, чему я искренне обрадуюсь.

С юных лет я верил в силу организованного рабочего класса, трудящихся. В этом меня убеждало многое из прочитанного, услышанного, увиденного. Но что такое всеобщая забастовка трудящихся всей страны, я понял в Австралии. В дни всеобщей забастовки жизнь в стране замерла. Все притихло. И в этой тишине ощущалась настороженность. Как перед грозой — ничто не колышется. В дни забастовки у меня было приподнятое настроение, ушли думы о моем житье-бытье. Когда я рассказывал Бобу Хоуку — лидеру профсоюзного движения в Австралии — о своих впечатлениях о всеобщей забастовке, он сказал: «Да — это акция, с которой шутить нельзя. Нужен точный политический расчет многих ее составных».

С Бобом Хоуком, впоследствии премьер-министром Австралии, у меня сложились добрые отношения. Приезжая в Канберру, он непременно бывал у меня в резиденции, а я, посещая Мельбурн, у него в доме, стоящем на берегу океана, проводил долгие часы в беседах, приносивших мне большое удовлетворение от общения с умным, интеллигентным человеком, от познания австралийской действительности.

Меня, в частности, интересовал тогда вопрос о воздействии опыта социалистических стран на борьбу рабочего класса, трудящихся за свои социальные права. Благотворное воздействие имело место в различных сферах: система социального

страхования, пенсионного обеспечения, организация детских садов и ясель и многое другое. Боб Хоук, другие деятели лейбористского, коммунистического, демократического движения подчеркивали важность опыта трудящихся Советского Союза не только в социальной сфере, но и в выборе политических ориентиров в повседневной практике. Конечно, этот опыт тщательно просеивался через решето собственных мировоззренческих позиций и сложившихся традиций рабочего движения Австралии.

Боб Хоук был в постоянных исканиях лучшего опыта рабочего движения. Он часто бывал в других странах, примеривая на австралийскую капиталистическую фигуру возможные социальные костюмы, их детали от западно-германской, еврейской, итальянской социал-демократии. Не обходил он стороной и собственный опыт. Его легко было узнать даже в многотысячной толпе: по рослой плотной фигуре, массивной голове с открытым большим лбом и курчавой шевелюрой, и по толстенному, вечно набитому до отказа портфелю. Я благодарен Бобу Хоуку за его дружеские уроки, за предоставление мне возможности выступать в профсоюзной среде, и в том числе на форумах Австралийского совета профсоюзов.

Надо заметить, что капиталистическая система создала превосходный механизм интеграции в свою среду, казалось бы, чуждых ей по самой природе явлений. Я имею в виду не только социальную практику, но и политическую борьбу трудящихся. В этой борьбе капитал в одном случае осуществляет жесткий прессинг в отношении последовательно революционных отрядов организованного рабочего движения, а в другом практикует превращение их в своих «союзников», используя различные методы, и прежде всего материальную заинтересованность. На современном этапе развития мирового капитализма он имеет довольно широкие возможности именно для такого рода манипуляций.

К величайшему сожалению, перевооружение социалистического общественного производства на основе достижений научно-технического прогресса в нашей стране в надлежащем масштабе организовано не было. Оно затронуло в основном оборонные отрасли промышленности. Остальные продолжали развиваться преимущественно на старой технике, устаревшей технологии. Было немало разговоров о необходимости коренного пересмотра в стране технической политики, намечались даже сроки проведения Пленума Центрального комитета партии по этому вопросу, но дальше слов дело не шло. Старые кадры верхнего эшелона власти были не

способны на революционные меры в экономике СССР, которые диктовались ходом научно-технической революции.

Однако вернемся к деятельности посольства. Реализация намеченных направлений по развитию советско-австралийских отношений приносила свои положительные результаты. Мои встречи как посла с премьер-министром, министром иностранных дел и с другими членами австралийского кабинета стали регулярными. Стали более откровенными отношения с председателем Торговой палаты, объединяющей крупные промышленные корпорации, а также с председателем Аграрной партии. Связи в дипкорпусе были вполне удовлетворительными. Отношения с американским послом У. Райсом улучшились настолько, что он пригласил меня совершить с ним полет в Антарктиду на одну из расположенным там научных баз, от чего я вежливо отказался.

Надо заметить, что состав дипломатических представительств в Канберре был заметно слабее, нежели в Пекине. Да это и не требует особых пояснений: Китайская Народная Республика со своей самостоятельной внешней политикой и воздействием на всю гамму международных отношений требовала от дипломатов высокой выучки. Пожалуй, самой интересной для меня темой при общении с послами других государств было их мнение по поводу того, сумеют ли лейбористы в случае победы на выборах в парламент повести страну именно по пути определенной самостоятельности во внешнеполитической сфере.

Еще задолго до выборов в австралийский парламент посольство взяло «курс» на укрепление работы в рядах лейбористской партии и, естественно, в профсоюзах как ее опоре. Вряд ли найдется в Австралии штат или город, который в этом плане был бы обойден вниманием сотрудников советского посольства. Наш первый секретарь А. Якименко успешно контактировал с лейбористами-депутатами и втягивал их в добрые отношения с посольством.

С тех далеких времен прошло почти четверть века. Изменились условия бытия отдельных людей, и целых народов, и всего человечества. Стал в чем-то другим и я, и мое отношение к негаданно разгаданной Австралии. Она часто мне снится. Ни в одном из снов не было мотивов отчужденности. Отчего так? Годы стерли ностальгию. Оставили в сердце прелесть познания неизвестной земли, радость общения с ее людьми, чувство удовлетворения от личного посильного вклада в добрые отношения СССР и Австралийского Союза и их народов. Я был бы рад пройти знакомыми тропами по пятому континенту и,

конечно, счастлив встретиться с теми, кто пересекал мой путь на этих тропах.

Прости, Австралия, если что-то было не так.

Э. Уитлэм сформировал правительство после моего отъезда из Канберры. В своих программных заявлениях в ходе выборов Уитлэм призывал к проведению Австралией разумной самостоятельной политики, подкрепленной реальной мощью страны. Высказывался в пользу отдельных мер в области разоружения. Наряду с этим, хотя и с весьма неопределенными оговорками, выступал за военное присутствие Австралии за рубежом.

Э. Уитлэм говорил также об улучшении отношений с Советским Союзом и с другими социалистическими странами. Усилия посольства не пропали даром. Тенденция к самостоятельности Австралии во внешней политике набирала силу, что позитивно сказывалось на советско-австралийских отношениях.

Работа, естественно, продолжалась. Активно трудились сотрудники посольства: В. Смирнов, советник посольства, анализировал деятельность кабинета министров, М. Виленчик, торговый советник, — состояние торговых отношений между двумя странами, А. Якименко, первый секретарь, — работу парламента, А. Горев, первый секретарь, — деятельность общественных организаций, М. Алексеев, консул, — состояние и меры защиты советских граждан, проживающих в Австралии. Каждый проявлял трудолюбие и инициативу.

Многое из наработанного коллективом посольства по согласованию с Центром ставилось на практическую основу переговоров и принятия соответствующих решений.

Был налажен обмен политической информацией по взаимоинтересующим проблемам международных и двусторонних отношений, и в том числе по Юго-Восточной Азии. Проведены крупные закупки сельскохозяйственной продукции. Осуществлены продажа австралийским промышленным корпорациям шахтного оборудования и конкурсы на участие советских предприятий в строительстве гидростанций на австралийском континенте.

По договоренности с местными властями и при поддержке Патриарха Московского и всея Руси было решено соорудить для верующих православную церковь. Советское посольство обсуждало с австралийской стороной вопрос об увеличении численности дипломатических работников в Канберре на паритетных началах, о придании нашему торговому советнику статуса торгпреда с местопребыванием его в г. Сиднее,

крупнейшем торгово-финансовом центре Австралии. Интерес представляло также заключение соглашения о рыболовстве и соглашения об обмене в области науки и культуры.

Советская сторона предлагала австралийцам на взаимной основе открыть представительство Аэрофлота и Балтийского пароходства, заключить двустороннее соглашение о торговом мореплавании и о продлении морской пассажирской и грузовой линии Находка — Гонконг до Австралии. Все эти и другие предложения постоянно выдвигались перед правительством Австралии и создавали хорошую конкретную основу для практической деятельности. Или, иначе говоря, дипломатические отношения между Советским Союзом и Австралийским Союзом обрастали живой плотью, приобретали конкретное содержание.

Многое делалось ради того, чтобы в рамках советско-австралийских отношений оказывать помощь русским людям, волею разных судеб попавшим в далекую от родных мест Австралию.

Под Канберрой есть маленький городок — Квенбиан. В нем много русских. Одна из них, Мария Ш., в годы Великой Отечественной войны — медсестра медсанбата, на своих плечах вынесла с поля боя более 20 раненых бойцов и офицеров. Награждена тремя орденами Красного Знамени (тремя!!!). Попала в плен. Побоялась возвращаться на Родину. С большими трудностями добралась до Австралии. Открыла свое небольшое дело: готовит по русским рецептам колбасы, копчености. Посольство помогло ей приобрести аппарат для изготовления русских пельменей.

Или другой пример. Напротив резиденции советского посла был лицей. Его директор очень интересовался постановкой народного образования в СССР. Посольство помогло ему побывать в СССР в качестве гостя Министерства просвещения и познакомиться с советской школой. Поездкой он остался доволен, рассказал о ней своим коллегам.

Таких примеров сотни. И все-таки посольство стремилось рассказывать о жизни и делах советского народа на всю страну — на весь пятый континент. В городах Австралии дважды побывал Московский цирк, балетная труппа Новосибирского театра оперы и балета, прославленные мастера эстрады — Иосиф Кобзон и Борис Брунов, футбольная команда московского «Динамо» во главе со Львом Яшиным, очень представительная группа крупных ученых-специалистов в различных отраслях знания. Большой популярностью пользовались кинопросмотры советских фильмов.

На обедах и коктейлях в моей резиденции, на кинопросмотрах и концертах в столичных залах бывали деятели

австралийской культуры и науки, журналисты, члены общества Австралия — СССР, руководители левых демократических организаций, в том числе компартии и соцпартии. Приемы по случаю годовщин Великой Октябрьской социалистической революции были многолюдными, проходили оживленно. Я ввел порядок, при котором за гостями ухаживала не только специально нанятая прислуга, но и жены дипломатов, сотрудников торгпредства, наших журналистов, что снимало формальный налет и придавало дружеский характер протокольным мероприятиям.

К концу второго года моего пребывания на пятом континенте реальные положительные сдвиги в советско-австралийских отношениях стали очевидными. На них акцентировала внимание австралийская пресса, выражая мнение различных общественных кругов. Спектр этих мнений был довольно широк — от искренней поддержки со стороны демократических слоев до злобных выступлений реакционных сил, призывавших даже к тому, чтобы любыми средствами пресечь активную деятельность советского посольства, и в первую очередь посла.

Надо заметить, что австралийские власти к подобным угрожающим заявлениям относились весьма серьезно и мою безопасность, о чем меня ставили в известность, осуществляли, не скрывая от окружающих. Так, например, при поездке по городам Западной Австралии в середине апреля 1971 года детективы, меня охранявшие, при прощании в г. Перте со вздохом облегчения сообщили, что все обошлось благополучно, несмотря на то что они располагали информацией о возможном в отношении меня теракте со стороны крайне правых в небольшом городке золотопромышленников Калари.

Было приятно, что австралийская демократическая печать постоянно информировала своих читателей о деятельности советского посольства, иногда выступая по этому поводу с передовыми статьями, а иногда подробно воспроизводя выступления советского посла. Особо я был благодарен газете «Острэлиан», широко читаемой в стране. Усилия посольства по изменению мнения австралийцев о Советском Союзе не пропали даром. Завеса антисоветизма все заметнее сдвигалась в сторону, открывая истинное миролюбие нашей страны, чувства уважения к народу далекого континента.

…Сижу просматриваю свои дневниковые записи тех лет (никогда я раньше не вел дневник). В них отчетливо проявляются две линии: расширение и углубление деятельности посольства по развитию советско-австралийских отношений и продолжающаяся

тоска по Родине, тоска повседневная, разрушающая мою целостность.

После долгих «что делать?» 23 марта (все переломные изменения в моей жизни происходили обычно в марте — скончались отец, мать, из института добровольно перешел в военную академию, так же добровольно, по рапорту, ушел на фронт) 1972 года по дипканалам я отправил в Москву, в Политбюро Центрального комитета партии телеграмму, в которой писал:

«Прошу освободить меня от обязанностей посла Советского Союза в Австралии в связи с болезнью жены и невозможностью ее приезда, как это было очевидно и ранее, ко мне в Канберру. На протяжении последних двух лет посольством проделана известная работа, и прежде всего в двух главных направлениях: советско-австралийские отношения поставлены теперь на конкретную рабочую основу; все лучшее, честное, передовое в австралийском коммунистическом и рабочем движении объединилось в рядах социалистической партии, стоящей на позициях марксизма-ленинизма, дружбы с нашей страной. И это приносит удовлетворение. И вместе с тем у меня есть долг, обязанности перед дорогим и, к сожалению, очень больным человеком — моей женой, которую я боюсь потерять. Прошу вас, уважаемые товарищи, помочь мне совместить мои обязанности перед партией и семьей».

5 мая того же 1972 года я получил телеграмму от А.А. Громыко о том, что в связи с моей просьбой принято решение об освобождении меня от обязанностей посла Советского Союза в Австралийском Союзе.

В моих дневниковых записях, чьи странички за прошедшие двадцать с лишним лет уже успели пожелтеть, написано: «Я не жалею, что запросил у Политбюро ЦК отставку с поста посла. Конечно, с меня за этот вызов — как это он посмел пойти против решения Политбюро! — спросят. Да еще ой как спросят! Будут учить… И не просто воспитывать, а постараются проучить так, чтобы другим, находящимся в «почетных» ссылках, неповадно было».

В дневнике значится, что 8 мая я был на приеме у министра иностранных дел Австралии Уоллера, сказал о своем отъезде и запросил агреман на нового посла Советского Союза в Австралии. Уоллер, как мне показалось, от неожиданности растерялся, долго собираясь с мыслями, повторял: «Как жалко, как жалко». А затем высказался в том духе, что мой отъезд не на пользу советско-австралийским отношениям, у меня-де очень много друзей, искренне уважающих за прямоту и деловитость: «Ведь за

короткий срок так много сделано».

За встречей с Уоллером последовали визиты к другим членам австралийского правительства, дипломатического корпуса. 24 мая я дал прощальный обед, на котором присутствовали те из австралийцев, кто способствовал мне в работе. А вечером того же дня лейбористы-депутаты в стенах парламента дали в мою честь прощальный ужин. Были еще обеды и ужины, встречи и прощания.

30 мая генерал-губернатор, наместник английской короны в Австралии, тоже дал прощальный обед. 1 июня отдал свои почести советскому послу дипломатический корпус дружеским обедом и памятным подарком.

Министр иностранных дел прислал с нарочным в аэропорт прощальное письмо с сожалением о моем отъезде и пожеланием успехов и здоровья на будущее. В эти прощальные дни июня в Австралии была зима. По утрам на зеленых газонах лежал белый иней. К полудню становилось тепло, и он таял. Солнце плыло в голубизне неба. Мои березки, привезенные в Канберру из-под Иркутска, стояли голенькие — без листвы. Я не горевал, глядя на них. Знал, что при приезде в Москву, из зимы в лето, увижу их в первородной красе на русских равнинах. Было грустно расставаться с товарищами по работе: Михаилом Виленчиком, душевным, участливым человеком, Надеждой Фетисовой, которая, несмотря на свою молодость, была для меня близким по своему духовному ни строю человеком, Михаилом Петропавловским и его супругой — часто даривших мне теплоту своего дома, и, конечно, Виктором Смирновым и его женой — моими главными советчиками во всех посольских делах. Да и другим коллегам я искренне признателен.

Исключение составляют те, кто занимался в посольстве доносительством. Я их знал. Знал или догадывался о их нечистоплотных действиях и не испытывал никакого чувства страха. Я был честен перед высшим судьей — собственной совестью. Они позорили органы государственной безопасности, исполняя волю людей, не имеющих чести.

Надеюсь, что когда-нибудь люди узнают, какие недостойные методы и средства использовались для компрометации меня в ранге Чрезвычайного и Полномочного посла Советского Союза, облеченного доверием высшей государственной власти. Так было не только со мной.

Да простит меня читатель, мне стыдно описывать конкретные факты, ибо кое-кто может подумать, что я измышляю; трудно придумать нечто более чудовищное, а документальных доказательств у меня, к сожалению, нет. Очную ставку не

проведешь. Где они — вершители тех недобрых дел? Детей их жалко, зачем им знать о мерзостях своих отцов?!

Прощался я с Австралией, зная, что никогда более не увижу кенгуру, скачущих вдоль эвкалиптовых лесов, черных страусов эму, гордо вышагивающих по пустынным песчаным равнинам, медвежат коала, с виду находящихся в постоянном сне, акул, скользящих в прибрежных океанских водах, и многое-многое другое.

Сидя в первом классе самолета авиакомпании «КВОНТАС», я знал, что это мой последний рейс. Так оно и случилось. У человека все-таки развито предчувствие…

Москва встретила меня пышным летом. Было жарко, душно. Лишь к вечеру спустилась прохлада. Но мне все было в радость. Я — дома!

Посетил А.А. Громыко, который поблагодарил меня за проделанную в Австралии работу. Сказал, что мои телеграммы были столь интересны, что некоторые даже зачитывались вслух на заседании Политбюро. Андрей Андреевич посоветовал мне немедленно уйти в отпуск, ибо в Москве из высшего руководства, от кого зависит мое назначение на новую работу, никого, кроме Кириленко, нет. Позвонил управляющему делами министерства и дал указание, чтобы мне как можно быстрее оформили санаторные путевки. Я поблагодарил Андрея Андреевича за заботу. Тогда я не придал значения его настойчивой рекомендации побыстрее уехать из Москвы отдыхать. К сожалению, смысл этой рекомендации я пойму чуть-чуть позже.

Никаких замечаний в мой адрес не было и со стороны товарищей из Центрального комитета партии. Это было в последних числах июля 1972 года.

Глава XVI УДАР В СЕРДЦЕ

2 августа 1972 года Комитет партийного контроля при ЦК КПСС исключил меня из рядов Коммунистической партии Советского Союза.

С тех пор прошло долгих тридцать три года. Но те считанные часы четырех летних дней — 28 и 29 июля, 1 и 2 августа, — когда меня вызывали в «Большой дом» по сфальсифицированным в своей сущности материалам, положенным в основу персонального дела, стоят передо мной, как будто все было вчера. Считанные часы четырех дней были «подарены» мне «на всю оставшуюся жизнь».

Это песня из одноименного телефильма о ежедневном подвиге врачей и медсестер санитарного поезда, через души которых пролегла Отечественная война. Фальсификаторы, исключая меня из партии, забыли, что и сквозь мое сердце тоже пролегла война. Она закалила меня, как и героев этого телефильма, и замечательного фильма «Белорусский вокзал», людей тоже моего поколения, — «на всю оставшуюся жизнь». И эта фронтовая закалка стала моей целительной повязкой. Я не сломался. Не сдался. Выжил. Жернова власти, сквозь которые меня протащили, не изменили мою сущность. Я все равно не стал бы соучастником тех, кто привел общество к стагнации. И тем горжусь. Повинен я в том, что не выступил публично против прямых виновников этой народной драмы. Ждал, когда придет время… И в этом каюсь.

День первый. Прошло несколько дней после встречи с А.А. Громыко. Потихоньку я начал собираться в отпуск. Но вдруг утром 28 июля позвонил мне домой М.И. Елизаветин, представившийся как контролер Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Он сказал, чтобы я зашел к нему в КПК.

— По какому поводу?

— В КПК при ЦК КПСС на вас поступили материалы.

— Какие материалы?

— Придете — узнаете. Я вас жду.

Собрался и пошел. Какие материалы могли прийти на меня? Думал-думал — так ничего и не придумал.

М.И. Елизаветина я немного знал по комсомольской работе и знал его старшего брата, с которым работал в нашем посольстве в Пекине.

Встретил меня контролер Елизаветин весьма сухо, даже отчужденно, как будто бы я совершил что-то ужасное, в чем он, контролер, совершенно уверен. Не глядя на меня, он достал из письменного стола жиденькую папочку, погладил ее и сказал: «На вас в КПК при ЦК КПСС поступили материалы, с содержанием которых мне поручено вас ознакомить и потребовать по ним объяснений».

По характеру приема меня Елизаветиным, по всей его чиновничьей раздутости я понял, что с ним «шутить» нельзя. Он, зная, что многих бывших комсомольских работников убирают из центральных партийных и государственных учреждений, будет из кожи вон лезть, дабы заслужить милость поручивших ему сработать на меня персональное дело. «Служит по декрету — живет по секрету» — пришла мне на ум поговорка, ходившая в ту пору по Москве, и я, наверное, заулыбался, потому что

Елизаветин, о чем-то хотел меня спросить, но, очевидно, передумал и стал перебирать бумаги, лежащие в папке, означающей отныне «персональное дело» Месяцева Н.Н. — кандидата в члены ВКП(б) с сентября 1939 года, члена партии с мая 1941 года.

Контролер, заглядывая в лежащие в папке бумаги, стал пересказывать содержащиеся в них компрометирующие меня «факты».

Я слушал и думал: как же так можно поступать с товарищем по партии, по общему делу?! Будучи послом в Австралии, я испытал на себе козни недругов. Там врагов моей страны толкала на физическую расправу со мной моя дипломатическая активность. А здесь, на Родине, меня хотят убить морально. Не однозначны ли эти преднамеренные действия?!

Будучи по образованию юристом, а по опыту прежней работы следователем, я слушал контролера, понимал, как и на чем вдохновители и организаторы расправы со мной — а иначе и не назовешь — выстраивают версию обвинения в аморальном поведении. Всякий раз, когда безнравственным политикам надо политически уничтожить противника, они обвиняют его в аморальности. Я запросил отставку с поста посла с тем, чтобы облегчить участь больной жены и поставить детей на ноги, а меня обвиняют в посягательстве на честь и достоинство другой женщины! Понимая, наверное, шаткость подобного обвинения, они, дабы пополнить» персональное дело», пристегивают другие небылицы, стремясь сделать из меня — всю сознательную жизнь стоявшего за политическую определенность в подходе к оценке людей, фактов, явлений — человека политически неразборчивого в своих связях с некоторыми австралийскими журналистами.

Контролер шелестел бумажками, пересказывая их содержание, а меня — его слушателя — начинала колотить нервная дрожь. Не от страха. От негодования. Оно усилилось еще и тем, что Елизаветин произносил сочинительства фальсификаторов с плохо скрываемым удовольствием. Он все упирал на то, что материалы на меня в КПК «поступили», а не кем-то организованы. Я понимал, что все обстоит наоборот. Наш первый разговор занял часа полтора. Контролер потребовал от меня письменных объяснений по существу изложенного. Я ответил: «Подумаю»… К концу рабочего дня он позвонил мне домой и сказал, что руководство КПК при ЦК КПСС требует от меня письменного объяснения.

День второй. Утром позвонил Елизаветину и попросился зайти к нему. При встрече, опираясь на положение Устава КПСС,

я потребовал, чтобы он предоставил мне возможность лично ознакомиться со всеми поступившими на меня в КПК материалами. Он отказал мне в этом. Я потребовал от него встречи с авторами этих материалов. В этом тоже было отказано. Попросил я и о том, чтобы по всем этим материалам было запрошено мнение партийной организации посольства в Канберре.

Контролер Елизаветин посчитал, что и в этом нет необходимости. Для меня стало совершенно очевидным, что в отношении меня Устав КПСС не действует. Действует команда «сверху». Значит, будет расправа.

В субботу, 30 июля, и в воскресенье, 31 июля, я писал объяснение, в котором показал, что обвинение меня в якобы посягательстве на честь и достоинство женщины были сфальсифицированы событиями полуторагодичной давности, после которых я был в отпуске в Москве и о которых тогда не промолвили ни слова, ибо говорить действительно было нечего — ни на чью честь и достоинство я не покушался. Что же касается другого обвинения, что я якобы проявлял политическую неразборчивость в связях с австралийскими журналистами, то в этом случае фальсификаторы выхватили из контекста хроникальных заметок, появившихся в двух австралийских газетах в разное время, шесть или восемь строчек, ровным счетом ничего не значащих с точки зрения обычной дипломатической практики: одна журналистка писала, что на приеме в советском посольстве выбирала блюда по своему усмотрению и посол поцеловал ей ручку, а другой писал, что после одного из приемов в нашем посольстве его «пошатывало». Вот эти строчки из австралийской печати были густо приправлены нелепыми обвинениями в том, что эти «светские газетные фитюльки» подрывали престиж советского посольства, что у меня были какие-то особые «расположения» к авторам этих строк, и я был превращен в материалах «персонального дела» в человека политически неразборчивого в связях с австралийскими журналистами.

В своем объяснении в КПК при ЦК КПСС я писал и о том, что при «изготовлении» на меня «дела» не брезговали ничем. Нечистоплотность явственно проступала из того, как поспешно, задним числом, создавалось мое «дело», как вынюхивалось все, что можно, по крохам. За неимением ничего большего выискивалось и сносилось до кучи все, что можно было бы затем исказить, уложить в избранную обвинительную версию, превратить ее в основание для моего обвинения в аморальности

во время пребывания в Австралии, и за это наказать.

Выдвинутые против меня обвинения, писал я, ложь. Просил, чтобы мне были названы источники и носители клеветнических измышлений против меня, члена КПСС, состоящего в ее рядах более тридцати лет.

День третий. 1 августа свое объяснение в КПК я передал Елизаветину. Он прочитал его и сказал, что меня примет первый заместитель председателя Комитета партийного контроля И.С. Густов, с которым я ранее был шапочно знаком. Елизаветин ознакомил меня с готовой уже справкой по моему делу. Нового в ней для меня ничего не было. Густов принял меня в присутствии Елизаветина, очевидно, после ознакомления с моей объяснительной запиской.

«Мне нечего вам сказать, ибо ваш политический опыт больше, чем у меня». «И за это спасибо», — ответил я И.С. Густову, толкуя эту его фразу в том смысле, что по моему «персональному делу» своего мнения он мне высказать не может, ибо будет руководствоваться «мнением» свыше. Предложил прибыть мне завтра, 2 августа, на заседание КПК, на котором будет рассматриваться мое «персональное дело».

День четвертый. Я был удостоен «высокой» чести — мое «персональное дело» рассматривалось в кабинете А.Я. Пельше, члена Политбюро ЦК, Председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, в узком, так сказать, кругу. Он числился в старой партийной когорте, так как в 1917 году был делегатом VI съезда РСДРП(б). Я знал, что его, уже немощного человека, приезжавшего на работу на два-четыре часа, держат на посту Председателя КПК потому, что он является послушным исполнителем воли Брежнева, Суслова, Кириленко и является вследствие своего долгого пребывания в партии как бы олицетворением тех, давно ставших фальшивыми кем-то сказанных слов о том, что Комитет партийного контроля является «совестью партии». КПК таковой быть не мог по той простой причине, что был органом несамостоятельным, то есть не избранным съездом партии, а был при Центральном комитете партии, был подчинен ему. Мне было известно и то, что А.Я. Пельше, чтобы как можно дольше удержаться на занимаемом им высоком посту, весьма угодлив не только перед членами Политбюро, его секретарями, но и перед заведующими отделами ЦК. Словом, заходя в кабинет Пельше, я не ждал объективного, внимательного, товарищеского и тщательного разбора моего «персонального дела», как того требовал Устав КПСС. Я знал, что

он будет исполнять волю Кириленко, который замещал в это время Брежнева, находившегося на отдыхе.

Председатель сидел за длинным столом, по бокам которого, вдоль стен, расположились члены КПК, я сел напротив Пельше, на другом конце стола. Содержание «персонального дела» изложили по справке, предварительно розданной членам Комитета, той самой, с которой был ознакомлен и я накануне. Затем выступил я, повторив основные тезисы своей объяснительной записки и подчеркнув, что мое «персональное дело» сфальсифицировано, что я не виноват перед партией, и тем более в том, в чем меня пытаются обвинить. После моего выступления говорил первый заместитель председателя КПК, затем просто заместитель. Они потребовали моего исключения из рядов КПСС за нарушение норм коммунистической морали и неискреннее поведение. Попытки члена КПК Н.В. Муравьевой и кого-то еще сказать слово в мою защиту пресек Пельше. Он поддержал предложение своих верных замов.

Я сказал Пельше, что исключение меня из партии грубая ошибка. Нельзя изгонять из ее рядов ее верных сынов. В партию я все равно вернусь. Мне во след Пельше сказал: «Можете вступать вновь». Не оборачиваясь к нему, на выходе из кабинета почти крикнул в ответ: «Меня восстановят!» Когда они говорили, то вся атмосфера этого заседания напомнила мне ход Особого совещания НКВД СССР.

Вот так в течение четырех дней, за какие-то в общей сложности считанные часы, была перечеркнута вся моя жизнь и работа в партии.

Эпилог БУДУЩЕЕ И В ПРОШЛОМ

Спустя месяц или полтора я был ознакомлен с решением КПК при ЦК КПСС по моему «персональному делу». В нем было написано, что я, будучи послом, грубо нарушил нормы коммунистической морали, не оправдал доверия коммунистической партии и правительства, на заседании КПК вел себя неискренне. Для «подкрепления» этой формулировки были притянуты за уши еще какие-то «факты», которые убедили меня в том, что мое «персональное дело» готовилось при посредстве Комитета государственной безопасности.

После исключения из партии мне было сказано, чтобы я сам не трудоустраивался, неудобно-де бывшему министру Союза ССР и Чрезвычайному и Полномочному послу Советского Союза

искать работу — КПК через соответствующий отдел ЦК КПСС меня трудоустроит. Работу мне подыскивали со 2 августа по 29 декабря 1972 года — пять месяцев. Прервали мой тридцатипятилетний трудовой стаж со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Пришлось до дна испить уготованное многим из моего комсомольского братства — пройти тяжкие испытания. Это была форменная расправа, построенная на сфальсифицированных доносах.

Вряд ли есть необходимость писать о всем пережитом, что последовало за исключением из партии. Глубину личной трагедии не измерить. Но как бы ни была тяжка личная драма, за ней в конечном счете стоял общественный, партийный смысл. Фактом исключения меня из рядов КПСС стоящие у кормила власти сеяли страх среди людей, грозили моим друзьям-сверстникам, разогнанным по разным местам, что и с ними при непослушании, своеволии могут поступить так же. Но друзья были бесстрашны. Они не оставляли меня. Помогали кто чем мог. Появились и новые друзья. Николай Александрович Панков — наши дома стали открыты друг для друга. В семье Зайчикова Василия Никифоровича приняла эстафету дружбы его невестка — Тамара Кирилловна, чья доброта, сострадание, постоянная помощь, стремление к поиску в жизни справедливости были близки мне и приносили радость.

В КПСС меня восстановили после моей апелляции в адрес XXVII съезда партии. Тогда же в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС меня ознакомили почти со всеми материалами моего «персонального дела», за исключением, как полагаю, материалов из КГБ СССР. То, что я писал в своей объяснительной записке по поводу предъявляемых мне обвинений и что говорил на заседании КПК 2 августа 1972 года о фальсификациях, лжи, недобросовестных способах сбора материалов, оказалось правильным — мое чутье следователя меня не подвело.

Четыре дня лета 1972 года остались мне в наследство на всю оставшуюся жизнь. Они не посеяли во мне страх. Со мной были мои старые друзья. Спасибо им за все…

Меня трудоустроили в Институт научной информации по общественным наукам Академии наук СССР на должность старшего научного сотрудника, благо я имел ученую степень кандидата юридических наук, где и трудился до ухода на пенсию. Я искренне благодарю коллег по институту за их понимание моей участи, такт и товарищество.

Каждый год, 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, мы, друзья-фронтовики по школе, институту, — словом,

ровесники — Сергей Дроздов, Давид Златопольский, Алексей Ковалев, Самуил Торбан, Леонид Ростовцев со своими женами — собирались вместе: вспоминали, радовались, грустили. С нами всегда были рядом те, кто не вернулся, — пал смертью храбрых на поле брани. Они тоже скрепляли наши дружеские узы. Ведь у каждого из нас при общности пути — своя судьба, которая не могла не наложить своих отпечатков на взгляды, позиции, привязанности, на все то, что в конечном счете выражает сущностное «я» каждого. Мы были терпимы друг к другу в оценке тех или иных явлений действительности, но были единомышленниками в главном — в желании увидеть Родину процветающей, а народ — счастливым. А иначе и быть не могло, ибо жизнь и деятельность каждого из моих друзей была отдана Отчизне. И это не дежурные слова. Так оно было в действительности на протяжении долгих, долгих лет жизни.

Алеша Ковалев прошел немецкие концлагеря, Самуил Торбан — исполосован осколками вражеских снарядов, Сережа Дроздов бил фрицев минами, Давид Златопольский боролся с вражеской агентурой, Леонид Ростовцев крепил правопорядок в годы войны. А затем работа, работа по избранной специальности. Каждый из нас имел своих друзей. Мы часто вспоминали своих товарищей по школе, институту, фронту, работе. О многих я уже писал. С глубоким уважением я отношусь к Виктору Катровскому, Владимиру Шафиру, Иосифу Басу, и все они — мои милые друзья, гордо и с честью несущие звание фронтовика. В наших сердцах память об ушедших. Мои старые и новые друзья были все время со мной. Их внимание и поддержку я и моя семья чувствовали неизменно. Никто из тех, о ком я рассказывал в своем повествовании, не изменили благородному чувству дружбы.

Росли мои дети — Саша и Алеша. Окончили школу — ту, что и я, — 279-ю на Церковной горке, близ Останкино. Получили высшее образование. Вступили в самостоятельную жизнь. Мы с женой гордились своими детьми — они совестливые, добрые, любящие свой русский народ. И у Саши, и у Алеши дети — наши внуки: Коля-старший и Коля-младший учатся в школе.

…10 сентября 1994 года меня постигло тяжкое, неуемное горе — после продолжительной болезни скончалась моя незабвенная Алла — жена, друг, мать моих детей и бабушка моих внуков. Она была моей надежной опорой, умной, доброй, скромной. Аллу искренне любили и уважали все, кто ее знал. Со своими думами и печалями я часто прихожу к ней на могилу. Меня туда, на Троекуровское кладбище, влекут неведомые силы…

Одиночество…

А совсем недавно я понес ничем не измеримую утрату — после тяжелой болезни скончался мой незабвенный сын Александр.

Наши дети и внуки вступили в новый, XXI век, а с ними вместе дети нашего поколения и их дети. Что они внесут в жизнь грядущего столетия из взятого от нас? Верю, что благородство моих сверстников, их убежденность в идеалы справедливости непременно войдут вместе с ними в жизнь.

А это именно так и будет!

Значит, жизнь моего поколения, моя жизнь, прожита не напрасно. Грядущие поколения найдут в нашем совместном опыте нечто бесценное. Они поймут, что «наш» социализм зиждился на той культуре, которая существовала при нас. Потомки воздвигнут социалистическое общество на иной культуре, на глубоком познании тайн микро- и макромира, возможности общественного обустройства, новых отношений между людьми. Словом, это будет другая культура и иной социализм. В нем, несомненно, сохранится все лучшее, что было порождено нашим социалистическим опытом во всемирной истории. И впервые…

Так вперед, потомки!

Помните, что наше поколение, о котором я вам немного, совсем немного поведал, вместе со всем многонациональным народом выстроило Великую Державу — Союз Советских Социалистических Республик. Помните и о том, что время советского государства составило целую эпоху, вершину всей доселе истории Отечества, воссияло в цивилизации человечества.

Рекою жизни называют Волгу, мою колыбель, мою боль и мою радость. Но текла ежедневно, в буднях, заботах и другая река — самой моей жизни, где не было даже временной безмятежности: проблемы жизни не просто задевали душу, а глубоко проникали в нее. Иногда трудным кажется будущее, оттого что не за себя боишься, а за других. Все было в жизни, и трудно сказать, чего больше — радостного или горького.

Пришло время вспоминать. Сколько всего всплывает в памяти… Я решил написать книгу не только для своего удовольствия, я написал ее, думая о будущем моей Родины, для идущих вслед за мной.

Все течет, все изменяется — неизменным должно оставаться одно: понимание всех противоречий жизни, ее целостности в главном — в нравственной позиции во имя добра, против зла, в

неизменной верности своему народу и его счастью.

1992–1994 гг.; 2005 г.

Москва

notes

Примечания

1

Ныне Новая площадь, Маросейка, Сретенка, Мясницкая, Ильинка, Никольская соответственно.

2

Машинно-тракторная станция, государственное сельскохозяйственное предприятие, создававшееся для технической и организационной помощи колхозам.

З

Это название осталось от дореволюционной России: так назывались общежития для рабочих.

4

Фритьоф Нансен (1861–1930), норвежский исследователь Арктики. В 1920—21 гг. — верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных, один из организаторов в 1921 г. помощи голодающим Поволжья.

5

Комсомольские руководители, не выбранные из учащихся, а назначенные извне.

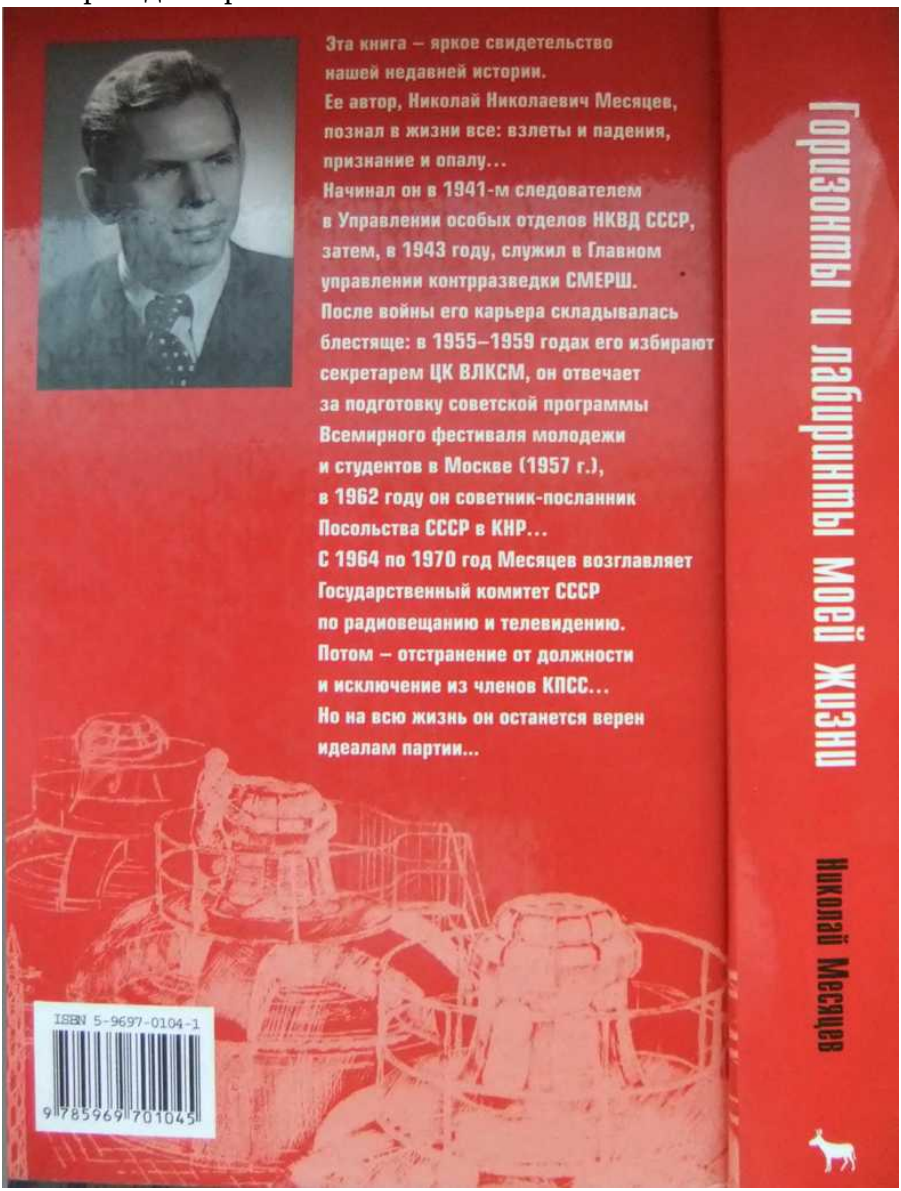
Ныне ул. Б. Никитская.

Ныне г. Екатеринбург.

8

Высокочастотная связь, защищенная от подслушивания.

Перевод Н. Гребнева.


Горизонты и лабиринты моей жизни
Николай Месяцев
Эта книга – яркое свидетельство нашей недавней истории.
Ее автор, Николай Николаевич Месяцев, познал в жизни все: взлеты и падения, признание и опалу...
Начинал он в 1941-м следователем в Управлении особых отделов НКВД СССР, затем, в 1943 году, служил в Главном управлении контрразведки СМЕРШ.
После войны его карьера складывалась блестяще: в 1955–1959 годах его избирают секретарем ЦК ВЛКСМ, он отвечает за подготовку советской программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957 г.), в 1962 году он советник-посланник Посольства СССР в КНР...
С 1964 по 1970 год Месяцев возглавляет Государственный комитет СССР по радиовещанию и телевидению.
Потом – отстранение от должности и исключение из членов КПСС...
Но на всю жизнь он останется верен идеалам партии...
ISBN 5-9697-0104-1
9785969701045